ИЗ ИСКРЫ ВОЗГОРИТСЯ ПЛАМЯ



к 200-летию восстания декабристов

ДАНИЭЛЬ КЛУГЕР, ДАЛИЯ ТРУСКИНОВСКАЯ, АЛЕКСАНДР БЕСТУЖЕВ, ВЛАДИМИР ОДОЕВСКИЙ И МНОГИЕ ДРУГИЕ

Из искры возгорится пламя

Александр Александрович Бестужев-Марлинский, Влада Ладная, Дмитрий Осин, Даниэль Клугер, Татьяна Минасян, Александр Путятин, Сергей Борисович Удалин, Борис Богданов, Олег Павлович Кулагин, Алексей Филиппов, Виталий Шишикин, Тимофей Владимирович Алёшкин, Владимир Фёдорович Одоевский, Федор Николаевич Глинка, Владимир Владимирович Лещенко, Олег Матросов, Григорий Константинович Панченко, Ника Батхен, Далия Мейеровна Трускиновская, Тадеуш Стоцкий, Павел Владимирович Виноградов, Вячеслав Ледовский, Александр Просвирнов, Александр Улыбышев

Аннотация

Из искры возгорится пламя. Повести и рассказы

Под сенью Пушкина
Далия Трускиновская
Секунданты
Виталий Шишкин
Зайчик
Александр Просвирнов
Станция Залазы
Хроника несбывшегося
Ника Батхен
Поединок
Тимофей Алешкин, Олег Матросов
Три разговора с императором. (из бумаг Лунина)
Борис Богданов
Дети революции
Константин и Конституция
Григорий Панченко
Звезда пленительного
Тадеуш Стоцкий
Châteaux en Pologne
Даниэль Клугер
Двойное отражение, или Эпизоды иной жизни Александра Грибоедова
Очень странные варианты
Дмитрий Осин
Шестая петля

Татьяна Минасян, Александр Путятин
Кто ты и откуда?
Сергей Удалин
Искра надежды
Декабристы: мы и они
Вячеслав Ледовский
Наши мертвые нас не оставят..
Алексей Филиппов
Заботы отца Евдокима
Павел Виноградов
В тот назначенный час..
Влада Ладная
День открытых дверей в отечественной истории
Декабристы: они и мы
Олег Кулагин
Общество соединенных славян
Татьяна Минасян
Ольга I, Павел II..
Владимир Лещенко
Из «Очерков Второй русской Смуты»
Декабристские страницы
Александр Бестужев (Марлинский)
Объявление
Федор Глинка
Чудесная сопутница

Александр Улыбышев
Сон
Владимир Одоевский
Зефироты

Аннотация

Восстание на Сенатской площади в декабре 1825-го – судьбоносное событие для России. В тот день история страны могла направиться в совершенно иное русло. Все мог решить один отважный поступок, ошибочный приказ или даже меткий выстрел. Представим, что так и случилось… За двести лет вокруг восстания декабристов появилось и исчезло столько мифов, легенд и небылиц, что давно пора бы им перейти в область чистой фантастики. Фантастики разной по духу: боевой, сатирической, философской, юмористической, но неизменно увлекательной. Настоящий взгляд сквозь века, ведь рассказы в сборнике принадлежат перу как наших современников, так и непосредственных очевидцев тех грозных событий – Александра Бестужева, Владимира Одоевского, Федора Глинки, Александра Улыбышева.

Из искры возгорится пламя. Повести и рассказы



Серия «Фантастика. Русский путь»

Художественное оформление Андрея Ивахненко и Марии Фроловой

Авторы:
Александр Бестужев-Марлинский,
Александр Просвирнов,
Александр Путятин,
Александр Улыбышев,
Алексей Филиппов,
Борис Богданов,
Виталий Шишикин,
Влада Ладная,
Владимир Лещенко,
Вячеслав Ледовский,
Григорий Панченко,

Далия Трускиновская,
Даниэль Клугер,
Дмитрий Осин,
Ника Батхен,
Олег Кулагин,
Олег Матросов,
Павел Виноградов,
Сергей Удалин,
Тадеуш Стоцкий,
Татьяна Минасян,
Тимофей Алёшкин,
Федор Глинка



© Авторы, 2026
© Иллюстрации: Фролова М., 2026
© Дизайн обложки и форзацев: Ивахненко А., 2026
© Оформление: ООО «Феникс», 2026
© В оформлении книги использованы иллюстрации по лицензии
Shutterstock.com

Под сенью Пушкина


1825

Далия Трускиновская
Секунданты

Жизнь понемногу наладилась.

Убедившись, что Валька вовек не заработает больше двух тысяч в месяц, тесть, теща и Татьяна вдруг успокоились, да и его оставили в покое. Даже по утрам будить перестали.

Но Валька все равно слышал, как первой вставала теща, возилась в ванной, потом на кухне, минут через двадцать вставал тесть, тоже возился в ванной и перебирался на кухню, потом теща на цыпочках, уже совсем одетая, приходила в Валькину с Татьяной комнату вынуть из кроватки двухлетнюю Илонку. Заодно она будила Татьяну, и та осторожно перебиралась через Вальку — он любил спать с краю.

К восьми утра дома уже никого не было.

До девяти Валька слушал лежа радио или маг, потом брел на кухню. Завтракал он медленно и наслаждался одиночеством — за все сутки только эти полтора часа принадлежали ему безраздельно, и он их любил. Потом, застелив тахту, Валька одевался и ехал на завод — бездельничать.

За что ему платили эти два куска, почему еще не уволили, он понять не мог. Если совсем честно, не очень и пытался. Работа свелась к присутствию в крошечной конурке возле склада инструментального цеха, где Валька числился контролером ОТК. А фактически он несколько лет проработал художником-оформителем, хотя никакого художественного образования не имел. Начальство рассудило на редкость здраво: чтобы размалевать дурацкий экран соцсоревнования, диплом не нужен, да и не положено такой штатной единицы — оформитель с дипломом. Опять же, без экрана ему, начальству, почему-то нельзя было, бескорыстно корпеть над ним никто не станет, и проще всего спрятать молодого и неприхотливого балбеса с гуашью и ватманом в конуру возле склада.

Как год назад, как два года назад, Валька ощутил на щеке поцелуй жены, но сон еще длился, вываливаться в утро не хотелось. Хотелось разве что включить радио, но как-нибудь так, чтобы без малейшего движения. И очень осторожно, по капельке перелиться из тьмы в свет, из ночи — в обыкновенное утро.

Потомившись минут пятнадцать, Валька высунул из-под одеяла руку, стараясь зря не расходо-

вать драгоценное ночное тепло, включил радио и сразу же услышал начинающуюся песню.

Такие песни должны любить пенсионеры, подумал Валька, потому что вся она была насквозь старомодная. Но было в ней и обаяние, прелестная печаль о несбыточном, да и не хотелось второй раз высовывать руку, гонять настройку. Вот почему Валька просто лежал и слушал.

— Ночь весенняя блистала свежей южною красой, тихо Брента протекала, серебримая Луной, — описывал итальянскую ночь мнимобеззаботный голос. — Отражен в волне искристой блеск прозрачных облаков, и восходит пар душистый от зеленых берегов…

Валька от души позавидовал тем, кто в такую ночь катается в гондоле. Еще и потому, что вот раскинулись на заднем сиденье, полоща холеные пальцы в адриатической воде, а лодка скользит, а над глазами — большие южные звезды. Прямо сон наяву.

Пока он так завидовал, песня подошла к концу, и оказалось, что он ее толком и не услышал — так, хвостик поймал про то, что смолкли пышные забавы, все спокойно на реке, лишь Торкватовы октавы раздаются вдалеке… Осталась лишь тоска, совершенно не утренняя, по той далекой гондоле

и той поющей женщине, и тоска эта вдруг сложила в голове кусочек песни откуда-то из середины — и вдали напев Торквата гармонических октав… Что за октавы такие, подумал Валька, почему они звучат ночью над рекой?

Растревоженный немудреной песней, Валька выбрался из постели и на автопилоте побрел в ванную, думая, что Лешка наверняка скажет ему про эти Торкватовы октавы — его в детстве как раз на фоно играть учили целых три года, до бунта и вооруженного сопротивления.

По коридору Валька брел медленно, зная за собой способность со сна стукаться об углы. Но он все же споткнулся и чуть не влетел лбом в закрытую дверь. Это была упакованная пачка книг, судя по всему, толстых. Квартира иногда под завязку набивалась такими вот пачками. Теща наладилась промышлять дефицитными изданиями. Откуда-то она их привозила, куда-то увозила и даже похудела от этого бурного бизнеса. Валька в ее дела носу не совал. Но краешек бумаги он оторвал, чтобы посмотреть, что это за кирпичные тома. Сидя на корточках, он попытался прочитать слово на корешке, но буквы из серединки не складывались ни в какое знакомое слово. Тогда Валька осторожно вытащил всю книгу.

Это был солидный том в прекрасном темно-синем переплете и на газетной желтой бумаге. Наслушавшись за столом тещиных монологов, Валька стал в таких вещах разбираться. Автора звали Александр Корнилович. Валька открыл том, оказавшийся вторым, и прочитал: «История Петра Великого».

Со вздохом Валька засунул книгу обратно в стопку. Такую историческую тягомотину он бы и за деньги читать не стал. С него вполне хватило того Корниловича, которого еще в школе проходили. Теща в душе тоже не одобряла повального интереса к прошлому и позапрошлому веку. Но раз за Корниловича народ был готов платить деньги, даже за двухтомник на газетной бумаге, то и разговора нет!

На кухне Валька обнаружил макаронник, бутерброды с сыром и чайник со свежей заваркой. Чтобы не возиться с посудой, он поставил на стол всю сковородку, благо она достаточно остыла, и стал наворачивать макаронник прямо оттуда, особенно радуясь его поджаристым бокам. Бутерброды он решил унести в комнату и жевать их под хорошую музыку… впрочем, тот куплет так и не сложился, хотя явно записался на внутренний Валькин магнитофон. А музыка вот внутри слы-

шалась, и даже виделась женщина — в длинном простом платье, с тяжелым узлом темных волос на затылке, с изящным профилем, сидящая почему-то не в гондоле, а за маленьким пианино. Рядом стоял круглый столик на ножке, на столике ваза, в вазе был большой букет. За столиком обнаружилось раскрытое окно. На подоконнике лежали скомканные перчатки и свернутый в трубочку лист бумаги.

Вот такое наваждение случилось утром с этим самым Валькой, невысоким блондином щуплого телосложения, примечательным разве что ясными и широко распахнутыми голубыми глазами, и с наваждения началась история настолько странная, что, когда он попытался ее толком осознать, ему пришлось набросать на бумажке краткий план событий, причудливо зацепившихся друг за дружку именно таким образом, а не каким-либо другим. Впрочем, перед тем, как войти в кабинет следователя, он эту бумажку, сплошь исчерканную за время сидения в коридоре, выбросил и на все вопросы отвечал четко и кратко.

Да, с Изабеллой Гронской познакомился на заводе, в марте, числа не помнит. Встречались несколько раз у нее в мастерской, что на озере. Она консультировала его перед поступлением на

дизайнерские курсы.

В мастерской познакомился с ее соседями по дачному поселку и с Анатолием Широковым. Широков приезжал заказывать зайца. Он писал пьесу, где по ходу действия должен появиться почти натуральный заяц. Гронская обещала ему сделать зайца из папье-маше.

Об ответственности за дачу ложных показаний предупрежден.

Свое положение осознает.

Да, провести вечер в Доме работников искусств предложила она. Она хотела познакомить его с Микитиным. Они пошли искать Микитина по номерам. Нашли. Потом сидели в чьем-то номере и говорили… Ну, о дизайнерских курсах, о чьей-то выставке. Там еще была супружеская пара, друзья Микитина. Кто такие? Об этом лучше спросить его самого. Потом Микитин пошел провожать их на предпоследнюю электричку. Еще заходила женщина в брюках, принесла Микитину газеты. И пришли посидеть двое мужчин, принесли бутылку сухаря.

Гронская в это время ходила в гости на другой этаж. Да, она просто хотела познакомить его с Микитиным, чтобы тот помог насчет курсов. Она вернулась, когда все разбрелись, а Микитин еще

не вернулся.

Она была очень сердита. Пожаловалась, что к ней в каком-то холле привязался пьяный. Чтобы не пошел следом, она обещала ему через пять минут прийти в этот холл на пятом этаже. Или в коридор. Или в холл. Где-то там, на пятом этаже. И удрала.

Валентин сам вызвался шугануть пьяного, чтобы не шастал по номерам в поисках Гронской? Вроде бы сам. Она попросила обойтись без шума, просто сказать пьяному, чтобы шел спать. Или, если понадобится, вывести его на свежий воздух поаккуратнее. Описала ли она пьяного? А зачем?

Приходилось ли Валентину слышать в мастерской у Гронской такое имя — Александр Миллер? Никогда в жизни.

По дороге к холлу он никого не встретил. Очень просто — он спустился с шестого по лестнице, а там все ездят на лифте. В коридоре горело лишь несколько лампочек. Да, было темновато. Пьяный стоял у огромного, во всю стену окна. Расстояние между ними было… шагов десять? Пьяный услышал шаги и обернулся? Наверно… Он стоял на ковре? Конечно, там всюду ковровые дорожки. И Валентин стоял на ковре? Стоял. Так и окаменел.

И когда распахнулась дверь пятьдесят второго

номера? Ну, стоял. Он просто ничего не понял. На том же месте. Его отпихнул толстяк в розовой рубашке. Или в бежевой. Потом закричали женщины. Толстяк пихнул его. К окну или от окна? Кажется, от.

Где была Гронская? Наверху. Ждала его. Потом он опомнился и побежал к ней. Рассказал… Ее реакция? Растерялась. Ошалела. Допила то, что оставалось в бутылке. А вообще она как, пьет? Всякое бывает… А вообще в этом Доме работников искусств пьют будь здоров!

И ничего не сказала про пьяного? Сказала… повторить? Крепко про него сказала, на ту тему, что допился человек. Она его знала? Похоже, что не знала. Или очень плохо.

Того пьяного раньше никогда не видел. Ну, память-то профессиональная. Ошибка исключается.

Сосед приехал на машине за Гронской еще раньше. Он как раз тогда явился, когда к ней пьяный пристал. Может, она его по телефону вызвала, а может, заранее договорились. Там еще случайно оказалась одна ее подруга… Как зовут соседа? Хм… В мастерской Карлсоном дразнили. Он жил напротив. Подруга — Вера.

Вполне хватало имени Карлсон, он же с крыши

не слезал…

Да, об ответственности за дачу ложных показаний предупрежден. Причина драки неизвестна. К пистолету даже не прикасался. Как пистолет попал под кресло? Кто его знает… Широков никогда не был агрессивным. В мастерской никто ни с кем не ссорился… Нет. Нет. Неизвестно. Да… Нет!

Валька провозился с плакатом по технике безопасности и не успел к открытию столовой. Чтобы не пихаться в очереди, он решил подойти к концу кормежки. Тем более что «вольный» пропуск, позволявший ему являться на завод когда угодно, распространялся и на столовую.

Подавальщица Маринка уже прилаживала к стеклянным дверям тяжелый деревянный брус, когда Валька наконец-то возник на пороге.

— Ну, куда, куда? — отодвинула она его дверной створкой. — Не видишь, закрыто!

— Еще четыре минуты! — возмутился Валька.

— Нам еще тех, кто внутри, обслужить!

— А как они выйдут?

— Выпущу!

— Ну, Мариша, три минуты же! — не сдавался Валька, хотя крепкая Маринка теснила его, и он рисковал получить дверной створкой по лбу.

— Перебьешься. Денис Григорьевич вообще

велел пораньше дверь закрыть.

— А чего это он?

— А того, что сегодня интерьер вешать будут.

— Без меня? — опять возмутился Валька. — Мариша, ну, две минуты же еще!

Но тут Марина вынуждена была приоткрыть дверь, выпуская дюжину девчонок со сборки, и Валька моментально просочился в щель.

Стряхнув с рукава Маринкину руку, он подбежал к кассе и умолил выбить шницель с компотом.

Строгий график в столовой соблюдали неспроста. Одна стенка кормежного комплекса выходила на улицу. Там проковыряли дверь, разгородили столовую эфемерной стенкой и устроили кафе. Это был хоть какой, а навар для кассы прогорающего завода. Оставалось только навести порядок и торжественно открыть кафе. Для такой благородной цели начальство пошло на кое-какие издержки.

Архитектор зачем-то придумал в стенке столовского зала большую нишу. Она пустовала по меньшей мере пять лет. И вот вокруг нее засуетились люди. Они стали резво двигать стремянку, сверлить в стене дырки, что-то волокли с тачки на придвинутые к нише столы — увесистое и

завернутое в мешковину. Валька узнал спину бывшего парторга Дениса Григорьевича, профиль директора столовки, знакомых ребят и среди них Димку, который, видно, по привычке ждал его здесь до последнего мгновения и вот дождался — запрягли!

Валька со своим подносом спрятался за колонну, чтобы, обедая, еще и наблюдать за вывешиванием интерьера.

Тут народ перед нишей на секунду рассеялся и Валька увидел единственную в компании женщину.

Она была одного роста с мужчинами, в брюках, стриженая, и неудивительно, что сперва как-то затерялась в общей сутолоке. Но, разглядев ее, Валька чуть не охнул, потому что такие женщины не каждый день встречаются.

Она была в облегающем свитере, довольно широкоплечая, длинноногая, с тонкой талией, а под свитером и брюками, чувствовалось, налитая и крепкая, вроде мощных красавиц у старых мастеров. Но ей было еще далеко до той грани, за которой сила утрачивает грацию.

Пока Валька раздирал двумя вилками остывший шницель, на столе размотали мешковину и достали металлические штуковины. Их стали

прилаживать в нише на разной высоте, причем галдели так, что голос женщины, командовавшей мужиками, совсем потерялся.

И тут Вальку обнаружил Димка Русаков.

— Ага! Вот ты где! — естественно, заорал Димка. — Денис Григорьич, тут еще одна лошадиная сила имеется!

Все уставились на колонну, за которой сидел Валька, хотя просматривался разве что его локоть. Женщина же, отойдя в сторону, увидела его в лицо.

Несколько секунд она смотрела на него, не отводя глаз, с пугающей внимательностью, хотя ничего этакого в Вальке не было: капуста на голове не росла, и одевался он не у Диора.

Увидев, что и он на нее смотрит таким же неподвижным взглядом, женщина сделала гримаску, будто стряхнула с лица все лишнее и оставила зачем-то скучающее неудовольствие. Сделав три шага, она оказалась прямо в нише и опять принялась командовать, расставляя мужчин с железяками в руках одной ей ведомым порядком.

— Русаков, Валя, давайте-ка сюда! — приказал бывший парторг. — Тут как раз две пары рук нужны.

Валька слушался разжалованного парторга не по привычке. Тот до сих пор был как бы его непосредственным начальством, давал иногда необременительную работенку вроде плаката по технике безопасности и, очевидно, дорожил Валькой как одним из двух своих последних подчиненных. Кем теперь был оформлен парторг, Валька не знал, но раз уж его не увольняли, соблюдал почтение, как, кстати, и многие на заводе.

Валька отнес поднос с посудой на транспортер и подошел к нише.

Тут оказалось, что женщина уже не очень-то молода, лет на десять старше, чем сперва показалось Вальке. Волосы у нее были жгуче-черные, короткие и прямые, подстриженные так, чтобы густая челка доставала до бровей, лицо — резкое, сухое, с прямым, малость крупноватым носом, но глаза при всем при том — светлые. Теперь Валька дал ей все сорок, отметив при этом, что его Татьяне бы такую роскошную фигуру… Татьяну-то после родов здорово развезло, а диета при ее сидячей работе проку не приносила.

Валька взялся за хвост бронзовой рыбины, ирреального гибрида щуки и угря, вместе с Димкой вознес эту рыбину на вытянутых руках туда, куда

было велено, а женщина молча на нее уставилась.

— Изабелла Альбертовна, — почтительно обратился парторг, — такой вариант вас устраивает?

— Надо посмотреть еще издали, — сказала она, и они пошли в другой конец зала.

— Это кто такая? — спросил Валька у Русакова.

— Скульпторша, — объяснил Димка. — Изабелла Гронская. Слыхал про такую?

— Ага, она не то заслуженная, не то народная. Только я не знал, что она еще и рыб лепит. Я думал, только людей.

— Лепит, лепит! — развеселился Димка. — Ты посмотри, чего она тут наваляла!

Бронзовая компания, розданная энтузиастам, состояла из двух фантастических рыбин, не менее фантастического краба, овечьей головы, плоского кувшина и блюда с экзотическими фруктами. Все это, укрепленное в нише на штырях, должно было символизировать богатство здешнего меню.

Скульпторша заботилась о художественных эффектах. Она требовала сдвигов на неуловимые доли миллиметра. Валька и Димка покорно перемещали свой ихтиологический гибрид.

Когда Гронская, поправляя рыбий хвост, встала на цыпочки возле Вальки и задела его грудью, он

понял страшную вещь. Эта немолодая женщина ему нравилась, и нравилась именно тем, что в любой другой могло бы и оттолкнуть, — своей уверенной силой.

Мысленно Валька засуетился, ища возможность как-то с ней встретиться за пределами столовки. Кроме всего прочего, знакомство могло оказаться очень даже полезным. Она принадлежала к тому кругу людей искусства, в который заводскому оформителю-самоучке хода не было. И следовало сейчас сказать ей что-нибудь такое, чтобы она сразу поняла — он тоже не лыком шит, на выставках бывает и этим вот, которых выдернули из цеха на полчасика интерьер приколачивать, не чета…

— Учись, Валентин, — вдруг бодро адресовался к нему Денис Григорьевич. — Вот как мастера работают. Семь раз примерь — один раз отрежь. Не то что некоторые — тяп-ляп, как на бумагу шлепнулось, так и ладно будет, и твердый знак с мягким путают.

Парторг подал Вальку Гронской, как на блюдечке, это он умел.

— Ну, что же вы человека конфузите, — разумеется, вступилась она. — Я тоже их путаю и ничего, жива.

— Вам можно. Вы их аршинными буквами на транспаранте не пишете, над вами весь завод потешаться не будет.

— Вы художник-оформитель? — обратилась скульпторша к Вальке.

— Он самый…

— Учитесь где-нибудь?

— Два раза на вступительных в академию провалился! — сердито отрапортовал Валька. — И больше туда не собираюсь!

— А напрасно, — гнул свою линию Денис Григорьевич. — В тебе определенно что-то есть.

— В его работах, вы хотите сказать? — поправила Гронская.

— Валентин, ты бы сбегал, принес, показал! — мгновенно среагировал хитрый парторг. — Пусть тебе умный человек скажет. А то корпишь-корпишь, как рак-отшельник, а потом в академию проваливаешься.

— Это будет очень интересно, — нейтральным тоном заметила скульпторша, — но давайте сперва добьем композицию. А то у меня в четыре комиссия, и это заседание я не могу пропустить.

Валька почувствовал себя как отодвинутая мебель.

Он выключился из общего разговора и был

очень доволен, когда рыбину стали приколачивать к стенке, а его отпустили.

Размышляя о том, что нечего неудачникам соваться к заслуженным и народным, Валька побрел к выходу. Гронская чуть раньше опять отправилась в дальний угол зала, чтобы бросить окончательный взгляд на композицию, и оказалась возле кассы одновременно с Валькой.

— Предлагаю такой вариант, — негромко сказала она. — Моя мастерская возле озера. До конца недели я буду там безвылазно, работы накопилось. Привозите свои вещи. Может быть, я смогу вам чем-то помочь.

— А это где? — ошарашенно спросил Валька.

Скульпторша дала адрес. Валька шепотом повторил его.

Весь этот разговор произошел очень быстро и для посторонних незаметно. Они могли понять это так, что Гронская вглядывается в свою бронзу и небрежно спрашивает у Вальки, как впечатление.

А потом она, не прощаясь, направилась обратно к нише.

Валька же двинулся к выходу и налетел на Маринку с кассиршей Крутиковой.

— Ну, ты даешь! — шепотом восхитилась Ма-

ринка. — Тут все перед ней на пузе ползают, а она его на дачу зовет!

— Тоже нашла сокровище… — брюзгливо заметила Крутикова. — Гений непризнанный, художник от слова «худо».

Удаляясь быстрым шагом от развеселившихся женщин, Валька услышал за спиной и вовсе пренебрежительное:

— Ни кожи ни рожи!..

Конечно, странно было, что сама Гронская — и вдруг оформитель Валька, который, действительно, ни кожи ни рожи. Валька понимал, что с ее-то внешностью и в шестьдесят можно замуж выскочить. И наверняка вокруг нее вертелись стаями непризнанные гении, наверняка они ей до полусмерти надоели.

Так в чем же дело?

Этот вопрос не давал Вальке покоя до субботы.

Дома к его сборам отнеслись с добродушной иронией. В субботу с утра Татьяна повытаскивала из антресолей все его ранние работы, запакованные в коробки из-под конфет. Он перебрал их и вздохнул — стыд и срам, старшая группа детсада… Вот разве что любимые геометрические композиции с шарами и призмами, да и то — какой в них внутренний смысл? А новых было две,

и обе — позавчерашние.

Все это время Валька мурлыкал про себя ту утреннюю песню. Под впечатлением он вытащил из-за стекла охапку художественных альбомов, над которыми теща дрожала, потому что живые деньги, и выяснил, как на самом деле выглядит гондола. Естественно, попробовал нарисовать ночной пейзаж с водой и гондолой, но вранье получилось страшное, а главное — ничего общего с песней. Тогда он нарисовал женщину в длинном платье за маленьким пианино, возле вазы с букетом. Тут уж песня хоть чуточку, да зазвучала.

А когда он обошелся без пианино, когда он просто поставил эту женщину у окна, возле стола с вазой, и положил ее руку на подоконник возле скомканных перчаток, а тонкая прядь выбилась из узла на шею и грудь, а вдали как-то сами собой возникли невысокие плоские холмы и река… причем ничего в этих холмах и реке не было итальянского…

Собираясь к Гронской, Валька обнаружил, что у нарисованной женщины одна рука короче другой, и вообще все сделано ужасно. Но поздно было малевать что-то новое. Он запаниковал.

Татьяна, которая в таких вещах напрочь не разбиралась, в конце концов ругнула его и отпра-

вилась с Илонкой гулять. А Валька еще полчаса сидел на тахте и громил вдребезги свои вчерашние мечтания. Он уже видел, как разложит перед ней на полу — знаем ваши богемные нравы, знаем! — свои листы, как она, конечно же, забракует первый, второй и третий, а над четвертым задумается, над пятым тоже. Потом медленно подойдет к телефону, накрутит номер и скажет в трубку другой какой-нибудь знаменитости: «Послушай, старик, я тут интересного парня нашла, не возьмешь ли ты его к себе осенью на дизайнерские курсы? Способный, да...» Или что они там говорят друг другу в подобных случаях.

Кое-что он все же отобрал. Остальное теща заставила вернуть на антресоли и только тогда выпустила из дому.

Дорога к Гронской заняла больше часа.

Ее дом стоял в дачном поселке среди свеженьких коттеджей, хотя на вид был довольно старый. Через дорогу как раз доделывали очередную новостройку. На крыше особняка возился коренастый мужичок в спецовке.

Перед домом Гронской был огород. Снег уже сполз, открыв голые грядки. За домом и справа от него был старый сад, калитка же находилась в проулке. И Валька понял, что Гронская и ее друзья

— ленивые люди. Им удобнее было проковырять дыру в проволочном заборе и топать к порогу через грядки, чем огибать угол и входить в дом приличным образом.

Валька вошел через калитку, миновал заросли сирени и постучал в дверь. Гронская громко пригласила внутрь.

Он вошел.

Из крошечной кухни-прихожей мастерская была видна вся целиком, потому что дверь между ними отсутствовала.

Гронская приветливо смотрела на Вальку из-за постамента, над которым лежала в воздухе женская зеленая фигура около метра длиной. Ее, как тот ихтиологический гибрид, поддерживали штыри, только не сбоку, а снизу.

Валька повесил куртку на вешалку, приткнул к стене сумку и вошел. Гронская вышла из-за фигуры поздороваться. На ней были майка и тренировочные штаны — все облегающее. А тут еще Валька углядел в углу гипсовую обнаженную даму, всей статью сильно похожую на Гронскую, и ему стало неловко.

Гронская приказала Вальке быть как дома и ушла на кухню варить кофе. Он и стал слоняться по мастерской.

Эта комната была больше, чем вся Валькина жилплощадь с ванной и туалетом вместе. Вдоль одной стены тянулись пятиэтажные нары из таких здоровенных досок, что хоть гостей спать укладывай — предварительно поснимав бронзовых болванчиков, гипсовые рожи, кривые кувшины и прочие, очевидно, еще студенческие грехи хозяйки. Напротив стояла этажерка с такой импортной искусствоведческой литературой, что теще и не снилась.

Над этажеркой висело маленькое пыльное распятие из блекло-желтого пластилина.

Крест за фигуркой Спасителя едва угадывался. Собственно, крест образовали канонически расположенное тельце и распростертые руки… впрочем, руками они могли показаться лишь издали. Это были два пригвожденных к кресту крыла.

Было в этой фигурке что-то такое пронзительное, такое отчаянное, что Вальке стало стыдно разглядывать ее с любопытством, пусть даже и с творческим.

Увидев на широком подоконнике наброски, Валька ухватился за них, стараясь не возвращаться взглядом к распятию.

Это была обнаженная лежащая девушка. На

чуть намеченном лице выделялись разве что очки, да еще толстая коса лежала на груди. Эту девушку и лепила Гронская, видимо, пользуясь эскизами, когда натурщица отсутствовала. Только у зеленой пластилиновой фигуры короткие волосы торчали дикими клочьями, да и лицо тоже было диковатое…

— Садитесь, — сурово сказала Гронская. — Сейчас попьем кофе. Да не хватайтесь вы за сумку!

Валька, подавшийся было к прихожей, окаменел.

— Совсем не обязательно обливать ваши работы кофеем и мазать их яблочным повидлом, — пытаясь смягчить оклик, объяснила Гронская. — Начнем с моих многочисленных вопросов… Во-первых… вам с сахаром?

— Да, — ответил Валька. Гронская, сунув руку за ситцевую занавеску, вытянула круглый белый одноногий столик.

— Там у меня лежбище, — объяснила она. — Когда ночью не спится, устраиваю себе банкеты.

Нисколько не смущаясь, Гронская собрала со столика грязную посуду, в том числе и коньячную бутылку, и унесла на кухню.

Валька с интересом посмотрел на этот столик. Где-то что-то похожее он недавно видел, с такими

же маленькими нелепыми лапками, отходящими от основной ноги…

Гронская принесла с кухни две огромные глиняные кружки с горячим кофе, хлеб, банку с повидлом и здоровенный, на вид очень старый охотничий нож.

— Люблю старое оружие, — ответила она, не дожидаясь Валькиного вопроса. — Ну, поехали. Сколько вам лет?

— Двадцать пять.

— Намазать повидлом?

— Пожалуйста…

— Давно рисуете?

— Со школы.

— Лепить не пробовали?

— Как-то не получалось.

— Зря вы так нарядились.

Валька, и без того ошалевший от стремительного допроса, вовсе онемел. Татьяна же нарочно выдала лучший свитер!

— А то бы я прямо сейчас вручила вам корыто с глиной и посмотрела бы, на что вы способны.

Она так это сказала, будто принесенные работы не заслуживали ее высочайшего внимания. Хотя вдруг их Вальке кто-то поправлял и вылизывал?

— А нет у вас старого халата? — вдруг, обидев-

шись, потребовал Валька. — Или рубашки?

— Точно! Халат я вам дам. А корыто одна вытащить не смогу, — без всякого удивления ответила Гронская.

— Тяжелое?

— Тяжелое — ерунда. Оно так стои́т, что не подступишься. Если Пятый что-то сдуру засунет — краном не вытащишь.

Валька чуть не спросил, что еще за Пятый, но слишком странно прозвучало слово — он мог и ослышаться.

— Вытащим, — пообещал он.

— Да вы допейте сперва кофе, — удержала его за столиком скульпторша. — Булку ешьте. Совсем забыла — у меня еще халва осталась. Вы любите халву?

Странным было, во-первых, то, что при таких словах все женщины гостеприимно улыбаются, Гронская же и не пыталась; во-вторых, она вдруг засуетилась; в-третьих, эта суета совпала с неожиданным Валькиным ощущением — будто за ними исподтишка наблюдают.

Отродясь он не чувствовал затылком чужого взгляда. Но тут сразу понял, что надо обернуться.

По ту сторону окна облокотился о подоконник человек.

Он был фантастически круглолицый, только платочка недоставало, чтобы вообразить его улыбчивой деревенской бабулей у окошечка. Да еще стоял не с той стороны…

Гронская махнула ему рукой, чтобы заходил. Она сидела лицом к окну и наверняка видела, как подкрался этот человек. Но махнула лишь тогда, когда и Валька его заметил.

Пришелец, сняв куртку, вошел в мастерскую, и Валька увидел, что он не просто плотный, а даже толстый, хотя совсем не старый. Снял он и шапку. Оказалось, что его круглая голова подстрижена смешным ежиком, еще более почему-то забавным оттого, что пришелец начинал лысеть.

Небольшие темные глаза под красивыми соболиными бровями смотрели вполне простодушно.

— Знакомься, Широков, — сказала скульпторша. — Вот, новое дарование я откопала. Зовут Валентин. Двадцать пять лет. Будет поступать к Микитину на дизайнерские курсы.

Именно такие слова нафантазировал Валька. Реплика была — в самый раз для знакомства, каждое слово — правда, и про курсы тоже, Валька понимал это. И все же Гронская сейчас лгала — голос был лживый…

— Анатолий, — сказал Широков и протянул руку.

— Кофе будешь? — спросила Гронская.

— Буду. Ты еще для Карлсона чашку поставь, он как раз с крыши слезает.

— Нашел себе трактир… — пробурчала Гронская. — Ладно, я ему яичницу пожарю и пусть уматывает, а ты спустись с Валентином в погреб и вытащи корыто с глиной. Сам его туда затолкал — сам и извлекай!

Широков повел Вальку в погреб.

Он действительно так лихо задвинул корыто за ящики и бочки, что в одиночку можно было только вцепиться в край и тянуть до грыжи. Но Широков легко и даже изящно сдвинул пирамиду тяжелых ящиков, а вся польза от Вальки была в том, что он придержал дверь, пока Широков тащил корыто по лестнице. В мастерскую они внесли его вдвоем.

Там Гронская ставила на столик сковородку с яичницей, а коренастый мужичок с крыши вытирал свежевымытые руки.

— Карлсон, — невозмутимо представился мужичок. — Поскольку живу на крыше.

— Очень приятно, — ответил, покосившись на Гронскую, Валька. — Валентин.

— Рад встрече с молодым дарованием! — пижонисто заявил мужичок. — Ибо уважаю талант в любых его проявлениях. И всякий раз, как сталкиваюсь, чрезвычайно радуюсь. А на днях я и в себе обнаружил зерно таланта. И сейчас бережно его пестую.

— Ты его поливай, — посоветовал Широков.

— Ешь скорее, — мрачно приказала Гронская. — Остынет, сам фырчать будешь.

— Для того чтобы грамотно построить баню, талант тоже необходим, и даже в большей мере, чем для иных, бесполезных жанров искусства, — садясь за стол и не отводя взгляда от Вальки, продолжал ехидный мужичок. Нож и вилку он нашарил не сразу. — Ибо о таланте можно спорить хоть сто лет и все равно не прийти к единому мнению, а если баня построена бездарно, это видно сразу и на деле.

— Мы познакомились в той кафешке, куда моих бронзовых крокодилов повесили, — объяснила Гронская. — Сейчас поедим, и Валентин покажет свои работы. Хочешь посмотреть?

— Я как-нибудь в другой раз, — сказал мужичок, наконец-то взявшись за яичницу и споро ее уминая. — Меня баня призывает. Я еще на крыше с полчасика поживу, потом баней зай-

мусь, потом за трубами ехать надо. Если есть желающие попасть в зоосад, подавайте заявки — охотно подкину. Говорят, туда экзотических зайцев привезли.

Он одним движением вытер сразу всю тарелку корочкой и отправил эту корочку в рот.

— Спасибо, все было безумно вкусно. Расплачусь натурой. Спинку в бане потру!

Улыбнувшись Гронской, скорчив рожу Широкову и еще раз быстро взглянув на Вальку, мужичок раскланялся и вышел.

Валька видел в окно, как этот ладный мужичок непонятного возраста в ловко сидящей спецовке протопал к дыре через грядки и вышел на дорогу. Обернувшись же, он заметил, что Гронская и Широков как-то странно переглянулись.

— Доставайте работы, — видно, решившись вытерпеть это тяжкое испытание, приказала Гронская. — Пятый, тащи на кухню посуду. Потом помоем.

— Изабо! Изабо! — раздалось за окном. Гронская повернулась.

Мужичок стоял посреди дороги. Гронская сделала два шага к окну, он увидел ее, притопнул, раскинул руки и заплясал цыганочку, колотя каблуками в утоптанную землю. Блеснув дико-

винным вывертом, он замер, чинно раскланялся и исчез, как привидение.

— Ему о душе подумать пора, — сказала Гронская, — а он рожи корчит.

— Это он так к тебе сватается, — прокомментировал Широков.

Гронская покосилась на Вальку. Ему стало неловко. И именно от неловкости он задал совершенно ненужный вопрос.

— Как это он вас назвал?..

— Изабо, — ответила Гронская. — Меня все друзья так зовут. И этот вот тоже…

— Имя какое странное… Откуда такое взялось? — спросил Валька, которому пришло на ум, что это была бы неплохая собачья кличка.

— Старофранцузское имя. Из средневековой литературы, — объяснил Широков со вздохом. — Ну, так где же ваши работы?

Валька неторопливо раскидал листы по полу, сам отошел в сторонку и сделал вид, будто его все это не касается. Он заранее решил быть в такой момент исключительно сдержанным и независимым.

Это были портреты, гипсы, несколько давних натюрмортов и две последние работы, с той женщиной.

Именно их и поднял Широков. Посмотрел на женщину, потом покосился на Вальку и вернул листы на пол.

— По цвету я не специалист, — проворчала Гронская, прицельным взглядом оценив все сразу, — а что касается вот этого — враки, враки и еще раз враки!

Она потыкала пальцем в рисунки. Валька сник.

— Да сойдет для дизайнерских курсов! — вступился добродушный Широков, и это было самое обидное.

— Он с такой подготовкой и до творческого задания не дойдет. Знаешь, как там Микитин мудрит?

Гронская взяла с подоконника чистый лист и карандаш.

— Вот, рисую букву «бе» — «береза». В три приема преврати букву в дерево. Важны именно промежуточные стадии. И нарисуй свои инициалы так, чтобы через них выразить себя. Свой характер. Понял? Действуй.

Валька взял из ее руки карандаш, а сама она села с Широковым за неубранный стол, отодвинув кружки. Широков достал из кейса папку с бумажками и стал их показывать Гронской, а она

молча кивала.

— А если бы ты позвонила главному в декабре, — вдруг сказал он, подняв за угол одну бумажку, — всей этой мерзости бы не случилось.

— Я не могу по три раза на дню звонить в издательство, — отрезала Гронская. — Полагаю, что все от меня зависящее я сделала и моя совесть чиста.

— Извини, — буркнул Широков и стал раскладывать листки по стопочкам.

— Ну что я могу поделать, если они привыкли мариновать сборники стихов по семь лет? — спросила Гронская. — Это просто такая привычка. Ты знаешь что-нибудь сильнее привычки?

— Да, ничего ты не могла поделать. Хорошо хоть так получилось. Всего четыре года…

— Да, чуть больше четырех лет, друг мой Пятый.

Валька навострил уши. Да, точно, Пятый.

А Гронская взяла одну из готовых стопочек и прочитала наугад из середины:

— …не мог спасти ты от купцов, фанатиков и подлецов, как не была во все века защитой голая рука, спасеньем не был лист бумаги…

И Валька понял, что первые слова она прочитала по листку, но дальше — наизусть.

Губы Широкова зашевелились — он сперва продолжил эти стихи про себя, а потом заговорил вслух:

— …ну, а потом свалить уродства на тех, кто не терпел холопства, так просто было. Русь сильна. Протянет без стихов она, поскольку гимнов хватит всем. Кремлевский горец Мандельштама ссылает в лагерь насовсем, чтоб злой поэт стал глух и нем…

— Вот за эти стихи его и вызывали, — заметила Гронская.

— А теперь такие штуки публикует каждый уважающий себя журнал, если не хочет растерять читателей.

— Мода… — проворчала скульпторша. — И скоро кончится. Когда запас покойников иссякнет. Не веришь — спроси у Карлсона.

— Все не так, и все не вовремя, — подвел итог Широков. — Ну, будем считать это последней корректурой, и завтра же я отдам ее Верочке, а она отвезет в издательство.

— Сам не можешь?

— Пусть лучше Верочка. Она другого мнения обо всем этом деле.

— По мне, главное, чтобы обложку не попортили, — сказала Гронская. — Я ведь узкий

специалист.

Широков стал укладывать листки в кейс. Гронская подошла к Вальке.

— Странно, но у него действительно есть фантазия, по работам я бы этого не сказала…

Она схватила карандаш, одной точной линией наметила более изящный вариант, задумалась и… стала рисовать. Валька вытянул шею, чтобы наблюдать. Он ждал от такого мастера, как Гронская, гениальных прозрений, но ей сходу далась только первая, основополагающая линия, дальше она уже просто мучила рисунок.

— Поеду, — объявил Широков. — Карлсон до зоосада подбросит.

— Опять твой заяц? — фыркнула скульпторша. — Тот, который дорогу перебежал? Все-таки?..

— Все-таки… — глядя в пол, подтвердил Широков. — Ведь мог же в тайге у кого-то жить ручной заяц? Ну, подобрали в лесу сироту, выкормили, стал домашний. Я про такие случаи в газетах читал. А?

— В газетах начала девятнадцатого века? — осведомилась Гронская. — И с чего ты решил, что там была именно тайга? И как ты себе представляешь живого зайца на сцене? Он же скачет! И

вообще животное на сцене непредсказуемо.

— Заяц нужен, — решительно сказал Широков. — Про зайца я точно помню. Ну, побежал… Спасибо за вкусный кофе.

— Позвони завтра и все расскажи, — потеплевшим ради прощания голосом напомнила Гронская.

— Само собой. Всего хорошего… Валентин.

Но Валька видел, что Широков не забыл его имя и насилу вспомнил. Это было, как будто Широков что-то сказал ему без слов. А что — не понять.

Гронская, стоя у окна и опираясь на круглый одноногий столик, следила, как Широков заворачивал за угол Карлсонова дома. Потом она решительно направилась к этажерке. Вытащив штук шесть альбомов, она уселась с ними в продавленное кресло и, не обращая больше внимания на Вальку, стала в них копаться.

Он понуро собрал с пола работы.

«Странно, но у него действительно есть фантазия». Вот и все комплименты. Похоже, курсы накрылись. Претензии предъявлять не к кому. Ну, заинтересовалась. Ну, разочаровалась. Кто виноват, кроме неудачника? В талант которого верит только родная жена, да и то больше по привычке…

Работы в сумку он все же сложил аккуратно. И побрел в кухню-прихожую натягивать куртку.

— Стой! Ты куда? — окликнула Гронская. — За дверью висит черный халат, надевай и становись к корыту. Будешь глину месить. Посмотри, какая прелесть!

Заяц в импортном фотоальбоме только что не дышал.

— Вы будете его лепить? — догадался Валька.

— Вместе за вечер успеем. Потом я облеплю бумагой, глину выскребу и получится заяц из папье-маше. Слышал про такую технику? Обклеим мехом и подбросим Широкову! Представляешь, приходит Широков домой из своего учреждения, а у него на кровати спит заяц! А шкурку Карлсон из деревни привезет. Он теперь только и знает, что по деревням шастать. Банщик! Заяц будет — во!

Видимо, представив себе ошалевшего Широкова, Гронская неожиданно и громко расхохоталась.

И Валька понял, что раздражало его все это время. Гронская была или ворчливо серьезна и высокомерна, или вот так хохотала, но ни разу не улыбнулась, как будто вообще в жизни не улыбалась.

Над зайцем трудилась в основном Гронская.

Когда дошло до выклеивания готового зайца клочками бумаги, она доверила всю возню с клеем Вальке. Правда, велись и разговоры о творчестве. Но вот уже четвертая неделя пошла, а долгожданного звонка Микитину со словами: «Послушай, я тут талантливого парня откопала…» все еще не было. И вообще Валька разочаровался в богеме.

Он представлял себе мастерскую художника чем-то вроде клуба, куда вламываются полупьяные буйные друзья поспорить о прекрасных истинах, приводят с собой красивых женщин, матерят халтуру и пьют вина с изумительными названиями. Валька мечтал приобщиться к этой братии.

Но к Изабо никто не приводил ослепительных красавиц, не приносил французских вин, а курил только Карлсон, и то не трубку, а всякую дрянь. Мало экзотики было и в традиционной яичнице, которую ему с бурчанием жарила скульпторша, торопясь вернуться к своей зеленой девице.

Девица совершенно не менялась, хотя, когда бы Валька ни приехал в мастерскую, Изабо в тех же жутких штанах и в той же старой майке стояла у постамента. Как-то Валька, пока на зайце про-

сыхал очередной слой папье-маше, помогал ей отпиливать кусок деревянного каркаса, который она высвободила из-под слоя пластилина.

Как правило, Изабо не обращала на Вальку особого внимания, полностью углубившись в работу. Время от времени она бормотала: «Враки, враки…» и принималась опять что-то переделывать. Впрочем, эскизы обнаженной девушки с подоконника исчезли.

Дома же началась воркотня. Домашние, зная кроткий Валькин нрав, не сомневались, что и этого за глаза хватит. Насчет дизайнерских курсов они не возражали — если есть возможность получить образование, то почему бы и нет. То, что курсы платные, как бы гарантировало надежность знаний. Тесть намекнул, что способен оплатить учебу. Но понять, что подготовка к экзаменам требует времени и сил, — это для тестя, тещи и Татьяны было уже сложновато. Они искренне считали, что конфетных коробок с антресолей за глаза хватит для любых курсов.

Когда Валька в третий раз провел полсубботы в мастерской, ему нудно перечислили, что он за это время мог и должен был сделать по хозяйству. Он же только и принес в дом, что самодельные глиняные свистульки для дочки, да и те без гла-

зури, потому что у скульптора-монументалиста глазури в мастерской не бывает. Муфельная печка вот досталась Изабо от кого-то в наследство — и на том спасибо.

Валька покорился бы семье, как покорялся всегда. Но он попал в сферу притяжения мастерской, как, наверно, много лет назад попал Широков, как попал недавно, начав строить дом, Карлсон. Был момент, когда и он осознал это.

Изабо рассказала Вальке, что в мастерскую от автобусной остановки ведет и короткая дорога, мимо крошечного озерца. Валька впервые шел этой дорогой — через насыпь с рельсами, через пустырь, через лесок. Он вышел к озерцу, и тут с ним сделалось что-то этакое — он узнал эти места. Когда-то он уже бежал здесь вдоль берега, мимо причала со старыми лодками, вдоль камышовых джунглей, откуда чинно выплыли селезень и уточка, и он останавливался, чтобы проводить их взглядом. На нем была синяя рубашка с короткими рукавами — которой, впрочем, у него никогда не было. И он весь был переполнен любовью, что-то такое ему наобещали судьба и ждущая за поворотом женщина, что он сорвался с места и опять помчался размашистым вольным бегом…

Наваждение оставило Вальку только в мастер-

ской, где Изабо первым делом дала ему разгон за безделье. Но тут он не вовремя поглядел на белый столик.

Все это было как-то между собой связано — женщина и столик с его рисунками, лодки у причала, песня, Торкватовы октавы. Валька только не мог понять, почему вся мистика закрутилась именно вокруг него. А тут еще и странные внимательные взгляды, которые он иногда ловил, отрываясь от кома мокрой глины. Изабо смотрела на него… но и только. Прочее поведение скульпторши было безукоризненно.

За это время один раз приезжал Широков, погулял с Изабо полчаса вокруг карлсоновского особняка и уехал, а она вернулась сердитая и до вечера была в дурном настроении. Что-то у них там не ладилось.

В четвертую субботу Валька уж хотел напомнить про курсы. Но начались события, которые выбили у него этот робкий вопрос из головы.

Изабо встретила Вальку, стоя за плитой. В кастрюле шкворчало что-то аппетитное.

— Сегодня Широков приедет, — сказала она. — Привезет торт и прочтет первые эпизоды своей пьесы. Так что приятно проведем вечер.

Валька хотел было сказать, что вечером кровь

из носу должен быть дома, но вдруг решил остаться, а придумать вразумительное вранье ему было несложно — не впервые.

Изабо попросила принести со двора зеленеющих веточек для вазы. Валька обрадовался и выскочил из мастерской. Он знал, где на солнечной стороне уже раскрылись почки.

Когда он наломал приличный букет, из-за поворота навстречу ему вышла девушка. Она прямо на ходу разбиралась с плеером и шла наугад. Одета она была в брюки и короткую курточку. Длинные волосы, стянутые на макушке в пышный хвост, то и дело вылетали из-за плеча.

Тут на своей крыше появился Карлсон и тоже увидел девушку. Но и Вальку он тоже увидел. Карлсон скроил Вальке страшную рожу и махнул рукой в сторону, что, видимо, означало — сгинь! Но клоунские штучки Карлсона Вальке приелись. Он отломил последнюю ветку и вышел девушке навстречу.

Все произошло очень быстро. Девушка подняла глаза на Вальку, сделала несколько шагов к нему, и последний шаг был уже падением. И она даже не упала, а просто легла клубочком к Валькиным ногам.

Карлсон, как обезьяна, ловко сорвался с крыши

и оказался возле Вальки как раз вовремя, чтобы помочь ему поднять девушку. Вдвоем они быстро донесли ее до дверей мастерской.

Изабо выскочила на порог.

— Опять! — воскликнула она. — А ну, пустите…

Она подхватила девушку на руки и внесла ее в мастерскую, а дверь перед носом у Вальки и Карлсона захлопнулась.

— Ничего себе! Вот зверюга! — восхищенно шепнул Карлсон Вальке. — Вот это баба! Кр-р-рутая баба! Ну, пошли ко мне, что ли? Она и без нас приведет девочку в чувство.

— Может, скорую вызвать? — спросил Валька.

— У Верочки бывают обмороки, и Изабо уже научилась с ними бороться.

— Но она здорово перепугалась.

— Она очень любит Верочку.

Тут Валька, которого Карлсон незаметно увлекал к своему дому, встал как вкопанный. Длинные пушистые волосы, которые только что разметались по каменно утоптанной земле, и были той толстой косой на пропавших с подоконника эскизах. Валька не сомневался, что в сумке девушки найдутся и очки. Стало быть, к Изабо пришла обыкновенная натурщица? И из-за нее

столько беспокойства?

Карлсон начал пространно и с выкрутасами рассказывать, какую устроит в погребе знаменитую баню. При этом он поглядывал на Вальку, как бы ожидая внезапного вопроса, и дождался.

— Верочка ее натурщица?

— Почему ты так решил? — спросил Карлсон, наверняка видевший на подоконнике эскизы.

— Она похожа на ту, зеленую.

— Бывают совпадения.

Когда Изабо позвала их обоих в мастерскую, Верочке уже полегчало. Она сидела в продавленном кресле с одним из роскошных альбомов и при появлении Карлсона с Валькой даже не подняла головы.

Очевидно, у Изабо с Верочкой только что окончился какой-то трудный разговор. Обе не хотели смотреть друг на дружку.

Карлсон посмотрел на Верочку, на Изабо, зачем-то опять ковыряющую свою зеленую девицу, и, наконец, на Вальку. Ощущение было такое, будто он все пытался завязать в узелок этих троих, и наконец-то узелок стал затягиваться.

— Ну как, Верочка, привезла? — спросил наконец Карлсон.

— Вот, на столе…

Валька посмотрел — там лежала маленькая, совершенно невесомая книжка. На обложке было распятие — то самое, что в пластилиновом варианте висело на стене. И там и тут лицо распятого собственными крыльями человека было закрыто свесившейся наискось до губ прядью волос.

— Это сигнальник книги, прямо из типографии, — объяснил Вальке Карлсон. — Прямо со сковородки, понимаешь?

— Тираж уже пошел, — негромко сказала Верочка, — но пока он попадет на книжную базу, то есть его с типографского склада будут полгода вывозить, это ужасно, я сказала начальнику склада, что за свои деньги куплю им бензин…

Теперь Валька увидел, что Верочка не такое уж юное создание. Уже наметились морщинки под глазами и в углах рта, уже и взгляд был не девичий. Возраст Верочки он определил в пределах двадцати четырех — двадцати шести.

— Самое ужасное не в этом, — хмуро прервала ее Изабо. — Что сказал Второй?

— Ну, я прямо от начальника склада побежала к нему, он обещал уладить насчет машины. Он столько сделал для книги, можно же, чтобы он сделал еще что-нибудь? — извиняющимся голосом спросила Верочка. — И он велел передать,

что, если найдутся еще кассеты с песнями и мы их отшифруем, он сообразит, где все это опубликовать.

— Сукин сын! — с чувством произнесла Изабо. — Он дождется, что я сама приду к нему разговаривать.

— И получится бесполезный мордобой, — мягко вмешался Карлсон.

— Кто знает…

— Ты уж послушай меня, старого бюрократа.

— Какой ты бюрократ… — глядя куда-то в сторону, проворчала Изабо. И наступила тишина.

Карлсон медленно достал сигареты, зажигалку, посмотрел на Верочку, на Изабо и остановился взглядом на Вальке.

— Пойдем, покурим, — сказал он, но это было совсем не просьбой.

Валька покорно вышел с ним во двор.

— Верочке нельзя дым нюхать, — объяснил Карлсон. — Чего-то они не доругались.

Объяснение как объяснение, подумал Валька, но ведь Карлсона сейчас непостижимым образом выдворили. И он для спасения самолюбия прихватил с собой второго курильщика. Соблюл, так сказать, достоинство…

Карлсон присел на торчащий корень сосны

и закурил, стряхивая пепел в новорожденную травку. Он молчал, молчал и Валька. Он только кивком поблагодарил Карлсона за сигарету и огонек.

Смутно было сегодня в мастерской и около.

Докуривая сигарету, Валька побрел обратно к дверям, думая, а не умнее ли смотаться. Совершенно случайно он заглянул в окно мастерской. И увидел кресло, а в кресле сидящих в обнимку Верочку и Изабо. Причем Верочка уткнулась лицом в плечо Изабо, а та гладила ее по спине.

Тут Валька решил, что наконец все понял.

Странная пылкость, с которой сдержанная Изабо бросилась к лежащей в обмороке Верочке, нежность, с которой они сейчас обнимались, да и темная история с позированием, которую все дружно от Вальки прятали, да и вообще сам контраст — мускулистая Изабо и хрупкая Верочка, короткая стрижка жестких, явно крашеных черных волос — и шелковистая нежно-каштановая коса, перемазанные в зеленом пластилине крупные руки одной и бледные слабые пальчики другой. А также хороший мужик Карлсон, которому в результате не видать скульпторши, как своих ушей. Ну вот, получил желанную богему! Бр-р…

Все так складно выстроилось, что Вальке захотелось уйти, не прощаясь.

Он был человеком правильным. Положено в двадцать пять иметь семью, растить ребенка, ладить с тестем и тещей — он все это соблюдал без размышлений. Положено в принципе быть верным мужем — в принципе он и был им, потому что среди заводских молодых мужей было еще одно негласное «положено» — время от времени затевать ни к чему не обязывающие романы, так, ради встряски. Встряхивался и Валька. Даже без особой инициативы: иногда, сообразуясь со своими женскими настроениями, посреди рабочего дня к нему прибегала Надя из бухгалтерии, и они запирались в конуре возле склада инструменталки. Но Надя — это так, благодаря ей он в мужской компании за пивом чувствовал себя полноценным сотрапезником, а вот если бы Надя развелась с мужем и предъявила претензии, Вальке пришлось бы ей втолковывать, что шалости сами по себе, а семья сама по себе.

Карлсон докурил сигарету.

— Пошли, что ли? — сказал он застрявшему возле дверей Вальке.

И Валька пошел. Потому что не удирать же без сумки и куртки.

В мастерской Изабо уже кормила Верочку чем-то тушеным, с чесночком, с травками, Валька чуть слюнку изо рта не упустил.

— Опаздывает Широков, — сказала Изабо. — Садись, Валя. Пока он еще торт привезет! И ты садись… бюрократ.

Свое варево она вывалила в эмалированную миску и дала в придачу здоровый ломоть хлеба.

— Интересно, где он торт раздобыл? — спросил Валька. — Теперь торты под пять сотен, и то их нигде нет…

— А как вообще положено слушать пьесу? — поинтересовался Карлсон, получая свою миску. — Фрак со смокингом я оставил на яхте, а лаковые туфли еще не прибыли из Парижа.

— Пьесу принято слушать молча, — ответила Верочка.

Валька присматривался, ища новых подтверждений своей гипотезы, но никаких объятий больше не увидел. Изабо и Верочка участвовали в необязательной беседе, которую разухабисто вел Карлсон, и не более того. А тем временем совершенно бесшумно у окна возник Широков с кейсом в одной руке и с тортом в другой.

Карлсон еще раз удостоверился, что его допустят к читке без фрака, все дружно убрали стол,

принесли чашки с кофе, освободили место для рукописи и, наконец, притихли.

Широков достал папку с листами.

— Значит, так. Пьеса из жизни всем известного Александра Пушкина, — с дурацким пафосом продекламировал Широков. — Названия пока нет. Действие первое. Действующих лиц всего два: сам Пушкин, ему тридцать лет или около того, и Мария Николаевна Волконская, ей двадцать четыре или чуть меньше.

— А кто это такой — Пушкин? — спросил Валька.

Валькин вопрос вызвал легкое замешательство и сразу же дружный хохот.

— Все правильно, — заметил Карлсон. — В школе не проходили.

— Теперь видишь, Пятый, какова здоровая народная реакция? — спросила Изабо.

— На фиг он им нужен! — подытожил Карлсон.

— Да перестаньте вы! — Верочка встала и обняла обиженного Широкова. — Мало ли чего не проходили! Широков, объясни ему, пожалуйста. Он же не виноват…

— Все очень просто, — проворчал Широков. — Бунт декабристов вы хоть по истории проходили?

— Ну? — спросил Валька, не из приличия, а потому что действительно вспомнил этот бунт.

— Как декабристов сослали в Сибирь, в рудники, проходили?

— Перестань, — одернула его Изабо. — Валя не виноват, что ты в такие глубины закопался.

— Почти все известные и начинающие писатели были так или иначе связаны с декабристами, — уже успокаиваясь, сказал Широков. — Ну, которые тихо сидели, тех припугнули. А которые пошустрее или, не дай бог, на Сенатскую выходили с пистолетиками, тех, естественно, в кандалы… Очень просто. Так Рылеева повязали, Одоевского, Бестужева-Марлинского, Корнилович чудом уцелел, допросами отделался. Кюхельбекер совершенно непонятно как за границей оказался, ездил потом по Европе и в голос кричал… да кто тут мог помочь?..

— Валентин, ты хоть одно имя узнал? — спросила Изабо.

— Корниловича, — честно признался Валька. — И «Думы» Рылеева помню. В девятом, что ли, классе… Скучные, правда.

— Ну вот, среди каторжан оказался молодой поэт Александр Пушкин. Его считали главной надеждой русской литературы. Но из стихов,

поэм, прозы сохранилось очень мало. Рукописи и корректуры новых изданий пропали в Третьем отделении. До нас дошли клочки. В Сибири он много писал. Куда все делось, непонятно. Одни кусочки — то в альбоме, то в письме, то на полях чужой рукописи. Из ранних его вещей сохранилось немало, можно поверить, что он стал в Сибири настоящим поэтом…

— А проверить невозможно, — серьезно закончил Карлсон. — Ну, давай, читай, исторический экскурс окончен.

— Ладно. Итак, комната с простой мебелью в деревенском одноэтажном доме. На постели поверх одеяла спит ручной заяц…

Изабо и Валька переглянулись. Их сюрприз уже сох в укромном уголке, оклеенный кусками кроличьих шкурок.

— Александр стоит у окна, спиной к зрителю. На нем поношенный сюртук, панталоны заправлены в валенки. Мария сидит у накрытого скатертью стола. Она в черном бархатном платье с белым отложным воротником. Рядом стоят пяльцы с вышивкой. На столе корзинка для рукоделия. В руке у Марии несколько листков письма, которое она и читает вслух Александру. «Вчерашний бал австрийского посла удался на славу, — негром-

ко произносит Мария. — Графиня Долли была обворожительна. Я подошла к ней, мы шепотом обменялись несколькими словами. Зная, что я собираюсь писать к вам, она велела кланяться милым друзьям, которым она сочувствует всей душой». — «Бедная Долли, — перебивает ее Александр, — как сладко сочувствовать с блюдечком ананасного мороженого в одной руке и с бальной книжечкой в другой!» — «Ты действительно не понимаешь, Саша, что для них это подвиг — на балу, где полно любопытствующих, говорить о нас и передавать нам поклоны? — спрашивает Мария. — Впрочем, если письмо бедной кузины тебя раздражает, я пропущу про бал…»

— Стоп! — Изабо захлопала в ладоши. — Широков, из какой тайги ты вышел? Кто так читает пьесы?

— Я так читаю.

— Но это же не пьеса, а рассказ!

— Написано у меня правильно, — и Широков показал ей страницу, — а читать мне интереснее так, я же не актер.

— Бог с тобой, продолжай.

— «Пожалуй, хоть и дальше пропускай, — говорит Александр, — ежели остальное в таком же духе…»

Широков исправно поминал каких-то исторически достоверных гостей на балу у австрийского посла Фикельмона, и Валька, естественно, отключился. Между его слухом и ровным глуховатым голосом Широкова как будто стенка выросла, и в какой-то миг оказалось, что Валька отгородился песней про южную ночь.

Песня словно тянула, вытягивала что-то с самого донышка души, и на оборотной стороне век нарисовалась странная комната. Она была вроде ящика с открытой боковой стенкой, обитого изнутри дорогой узорной материей с блеском, причем окон не было вовсе, ни одного, и Валька твердо знал, что в откинутой стенке их тоже нет. В ней была лишь невидимая дверь — тяжелая, отвратительная, с глазком, как в тюремной камере. А там, где в стене вполне могло быть окно, стоял спиной к Вальке невысокий щуплый человечек в сюртуке, обтянувшем узкие ссутуленные плечи, и в валенках. Он уткнулся лбом в турецкие огурцы узора. Кудрявые и сильно поредевшие его волосы отливали легким серебром.

Еще в комнате была женщина. Она сидела возле небольшого пианино, изящного, подлинно дамской игрушки, в полной гармонии с прекрасной тканью, с изысканным столиком для

рукоделия, но в совершеннейшем противоречии с глазком невидимой двери. Женщина была невысока ростом, в черном платье с большим белым воротником, в вязаной шали, ее черная коса была уложена на затылке, а длинные локоны на висках обрамляли взволнованное лицо. Очевидно, она только что плакала и теперь осторожно промокала глаза платочком, боязливо поглядывая в сторону Вальки. Валька понял — боится, как бы не вошли. И еще понял, что именно он сейчас подсматривает…

На пианино лежали ноты. Двойной разложенный лист вдруг стал расти, занял все пространство перед глазами, и Валька прочел название над первым нотным станом. «Баркарола» — так было написано крупными буквами с выкрутасами, а сбоку меленько слова песни, не дававшей ему покоя уже который день: «Ночь весенняя блистала свежей южною красой…» Вполне возможно, что за стенами этой обреченной и запредельной комнаты была сейчас ночь, но уж никак не южная. Какой же тут, к бесу, юг, если валенки и шаль на зябких плечах, если нарядная ткань на стенах не спасает от яростных сквозняков?

— Я не могу слышать эту песню… — сказал тот мужчина в сюртуке.

— Я все понимаю, Сашенька, — ответила женщина.

— Но ты спой, — вдруг попросил он.

И тут стали таять загадочные нотные закорючки, остался только лист, он тоже куда-то исчез, рухнула стенка между Валькой и теми, кто слушал занудное сочинение Широкова. Теперь и у него в ушах звучал рассудительный голос.

— «Не могу же я вовсе без книг обойтись, — говорит Александр. — Приучен читать, душа моя, притом же, читая пренудное сие сочинение, внутренне я веселился, потому что скушнее написать невозможно». — «И только ради этого?» — спрашивает она. «Только ради этого, — отвечает он. — Еще несколько времени, и попрошу я, чтобы мне прислали Четьи-Минеи, чтением которых я развлекался зимой двадцать четвертого года. Но тогда ко мне был приставлен святой отец, дабы я от сей книжицы не уклонялся. А ныне чтения от меня требуешь ты, душа моя, и я даже не могу подпоить тебя ромом, как того монашка…»

Валька посмотрел по сторонам: Широкова не перебивали, но и удовольствия его пьеса никому не доставляла.

— «Ты теряешь чувство меры, мой друг», — заметила Мария. «В том же я могу упрекнуть и

тебя». — «Меня?» — испугалась она. «А кто иной постоянно мне напоминает, что я сижу в этой проклятой тайге без дела, что я позабыт всем миром, что бездарные писаки заполонили петербургские альманахи, и ты же еще спрашиваешь меня, не желательно ли мне подержать в руках такой журналец! А время меж тем идет, и более десяти лет я не видел ни одной своей строки ни в журналах, ни в альманахах, только в наших блуждающих тетрадках, которых хорошо коли шесть штук наберется. А господ читателей — хорошо, коли вчетверо больше, считая грудных младенцев!..»

Широков замолчал, выпил с полчашки кофе и продолжил читать этот скучный, невзирая на восклицания, разговор.

— Мария ничего не ответила и лишь поднесла платок к глазам. Александр стремительно подошел к ней, опустился на колени и взял ее руки в свои. «Прости меня, — сказал он. — Это просто меня гнетет безысходность. Когда человеку в расцвете творческой поры предоставлены три права: выть от смутной тоски по лучшему миропорядку, заниматься самобичеванием или же ковырять в носе…»

— Стоп, стоп, враки! — закричала Изабо. — Тут

ты загнул! Насчет ковыряния в носе — это тебе не пушкинский афоризм!

— А все остальное — из этого самого Пушкина? — удивленно спросил Валька.

— Мы не знаем, что говорил в Сибири Пушкин Марии Волконской, но этого он сказать ну никак не мог, — ответила ему Изабо. — Это сказал совсем другой человек. Анатолий думал о нем, когда писал пьесу, вот его афоризм туда и попал.

— Его там нет, — возразил Широков и в доказательство предъявил машинописный лист.

— Ты думал, иначе мы не догадаемся, кого ты вывел в образе Пушкина? — спросила Изабо.

— Нет, не то… Я проверял реакцию, что ли… Я писал эту пьесу и воспроизводил на внутреннем магнитофоне интонации Чеськи. Ну, мне нужно было, чтобы они естественно возникали в пушкинском монологе…

— Возникли, — сказала Верочка. — Даже не по себе стало. Я смотрела, слушала и не понимала, зачем вообще Изабо затеяла этот балаган! С пьесой и тортом! А потом до меня дошло, насколько это смешно… и вообще…

Но ей уже не было смешно, с ней сегодня творилось неладное, она так мотала головой, что хвост каштановых волос носился за спиной, со сви-

стом задевая стенку. И кулачки полупрозрачные закаменели, и она трясла этими бессильными кулачками, как будто этим могла что-то объяснить остолбеневшему Широкову и вдруг утратившей азарт Изабо. Карлсон крепкой лапой обнял ее за плечи, унял дрожь, пододвинул к ней чашку с остывшим кофе и принялся вполголоса уговаривать выпить и успокоиться.

— Твоя пьеса в таком виде интересна только нам троим, и она даже не пьеса, — сурово говорила тем временем Изабо Широкову. — В ней нет действия и не предвидится. Всего два персонажа…

— Но Чесс задумывал именно так — Александр Пушкин и Мария Волконская! Я точно знаю.

— Откуда мы знаем, что он задумывал! Он рассказал тебе про Пушкина и Волконскую, потому что вычитал о них в «Вопросах литературы» какую-то гипотезу. А потом стал фантазировать дальше.

— Я пытаюсь разгадать, что хотел сказать этой пьесой Чесс, — не унимался Широков.

— И вообще можно съездить за цветами и шампанским! — нес ахинею Карлсон, и это непостижимым путем успокаивало Верочку. — Ты когда-нибудь пила шампанское в бане? Ну, в

недостроенной? Я сейчас подгоню машину и рванем за бутылкой! Извиняй, Анатолий, слушатели из нас никудышные. Вот когда твою пьесу поставят и по телевизору покажут, я под нее даже бутерброд жевать не буду, честное слово!

— Мне убрать рукопись? — спросил Широков.

— Давай сюда! — приказала Изабо. — Мы лучше прочитаем все по очереди. Так будет умнее всего. И без всякого балагана.

Она покосилась на Верочку. Но та уже пила остывший кофе, преданно глядя в глаза симпатяге и специалисту по дамской истерике Карлсону.

Дальнейший разговор был самый бестолковый: одновременно Широков пересказывал содержание следующей сцены, где Пушкин рассуждал о своей несостоявшейся дуэли с Толстым-Американцем, цитировал наизусть здоровенные куски из дуэльного кодекса и клял друга-демона, отравившего всю его жизнь, — Раевского; Верочка вспоминала что-то типографское; Изабо требовала от Карлсона, чтобы он наконец врезал ей новый замок; Валька делил торт. В разговоре этом выяснилось, кстати, что Микитин уехал из города на месяц и вернется к началу июня, не раньше. Валька понял, что и эта поездка в мастерскую была в сущности бесполезна. Он

засобирался домой.

Услышав слово «теща», Карлсон проникся к нему неслыханным сочувствием и обещал доставить прямо к дому на своем «Москвиче» — все-таки не час на дорогу, а в худшем случае двадцать минут. Он предложил свои услуги и Широкову, тот не отказался и вопросительно посмотрел на Верочку, но она сообщила, что переночует в мастерской, им есть о чем поговорить вечером с Изабо.

Сообщение это явно не обрадовало ни Карлсона, ни Широкова. А Валька решил для себя, что его эти проказы не касаются и ему они безразличны.

Карлсон выбрал объездную дорогу, которая под вечер была совершенно пустынна.

Валька с Широковым, сидя на заднем сиденье, говорили о дизайнерских курсах, когда Карлсон вдруг остановил машину и повернулся к ним.

— Разговорец есть, — решительно сказал он.

Широков отвернулся и уставился в окошко.

— Ты, Валентин, парень умный, — задушевно начал Карлсон, — и все поймешь без рассусоливаний. Тебе лучше больше не появляться в мастерской у Гронской. Лучше для всех…

Валька посмотрел на Широкова, но тот приклеился взглядом к окошку.

— Вот и Анатолий подтвердит, — жестко сказал Карлсон.

Широков неохотно повернулся и набычил круглую голову. Это, видимо, означало кивок.

— А что случилось? — как можно хладнокровней и независимей спросил Валька. — Я поперек дороги кому-то встал? Или кого-то обидел? Так я вернусь и извинюсь!

Он стал шарить по дверце, ища ручку.

— Ничего не случилось, и никого ты не обидел, — пряча взгляд, удержал его Широков.

— Просто из-за тебя тут может большая каша завариться, — сказал Карлсон. — Анатолий, объясни-ка ты ему художественно, что ли?

— Я тебе пример приведу! — оживился Широков. — И ты все поймешь. Знаешь, как устроена атомная бомба?

Валька пожал плечами. А Карлсон посмотрел на Широкова с большим подозрением.

— В ней имеется определенное количество, скажем, урана, — деловито заговорил Широков. — Если добавить еще хоть грамм, начинается реакция деления — так?

— Предположим, — туманно поддержал его Карлсон.

— И происходит взрыв. А пока этот грамм туда

не попал, количество называется критической массой. Ну вот, ты можешь оказаться этим граммом…

— Приятно послушать образованного гуманитария, — ехидно заметил Карлсон.

— Ну, я уж тогда не знаю, как объяснять, — обиделся Широков.

— А чего там объяснять! Значит, встал поперек дороги, — брякнул обиженный этим дурацким объяснением Валька.

— Ну, считай, что так, если так тебе понятнее, — поморщился Карлсон. И Валька понял, что ревность тут действительно ни при чем.

Но ведь тогда, в столовой, Изабо искала его взгляда и сама позвала в мастерскую — и чего-то же она от него хотела!..

Очевидно, все упиралось в странную дружбу между Изабо и Верочкой или же в то, что завязывалось между Изабо и Валькой. Иного объяснения он пока не видел. Хотя чувствовал, что в этой истории Широков душой на его стороне, и только понимание непостижимой правоты Карлсона заставило его плести ахинею про атомную бомбу.

— Значит, договорились, — твердо подвел итог Карлсон. — Насчет своих дизайнерских курсов не беспокойся, ближе к экзаменам я ей напомню,

она позвонит Микитину, ты сходишь к нему на консультацию, и так далее. Это даже надежнее. Сама она закрутится и наверняка забудет. А я ей точно напомню. Так что извини… Не твоя вина. Ситуевина, Валентин Батькович… Ну, говори, куда тебя дальше везти-то?..

В понедельник прямо с заводской проходной Валька отправился на колокольню.

Это была еще одна территория под юрисдикцией парторга — то есть с недавнего времени на птичьих правах. Но, как и Валькину «мастерскую» в конуре, ее пока не упразднили.

Колокольней заводчане прозвали кирпичную башню, венчающую заводоуправление. Там под самой крышей разместился радиоузел. Хозяйничал в нем пожилой фанатик Алик, которого так и звали «Алик с колокольни».

Хозяйство он наладил отменное, даже с герметически закрывающейся студией для прямого эфира. А в его фонотеку не брезговали обращаться профессионалы из городского радиокомитета. На заводе раньше устраивали в обеденный перерыв радиоконцерты по заявкам, и Алик удовлетворял все вкусы — от романсовых до хард-роковых. Одновременно с исчезновением экрана соцсоревнования сгинули и радиопередачи. Но Алик

оставался верноподданным Дениса Григорьевича, и тот, зная это, оказывал ему мелкие услуги, как второму верноподданному — Вальке.

— Привет! — сказал Алик, когда Валька вошел в колокольню. — Ну, что сломалось? Маг? Радио? Утюг?

Он подрабатывал ремонтом, как Валька — оформлением свадебных альбомов.

— Хуже, — серьезно ответил Валька. — Голова не в порядке. Склероз буянит. Слышал песню, а что за песня не могу вспомнить.

— Напой! — потребовал Алик.

— С моим голосом без бутылки не поют, — намекнул Валька.

— С твоим голосом и после цистерны лучше не петь, — съязвил Алик, добывая из тайничка пиво.

Потом Валька, как умел, исполнил ему кусок куплета про Торкватовы октавы.

— Понял! — обрадовался Алик. — Это у меня есть!

Он снял с полки бобину и насадил ее на штырь огромного пульта.

Валька прослушал песню два раза, потом потребовал конторскую книгу, где Алик вел учет своего музыкального хозяйства.

— Ну вот, «Баркарола», — показал Алик пальцем нужную строчку. — Романс. Слова написал Иван Козлов, был такой слепой поэт в начале прошлого века. Музыка Глинки. Что тебе еще надо?

— Бумажку. И ручку.

Валька записал и Козлова, и Глинку.

Вечером, когда домашние приклеились к телевизору, он спросил у тещи, где у нее могут быть всякие древние русские поэты. Она молча махнула рукой на полку — там стояло штук шесть одинаковых антологий в ожидании оптового покупателя.

Валька отыскал «Баркаролу», прочитал ее и задумался. Оказалось, что Глинка использовал только четыре куплета. Самые жизнерадостные.

— Что же, что не видно боле над игривою рекой в светло-убранной гондоле той красавицы младой, — негромко пропел Валька, — чья улыбка, облик милый волновали все сердца и пленяли дух унылый исступленного певца?..

Пелось легко, слова оказались певучие.

— Вот прекрасная выходит на чугунное крыльцо; месяц бледно луч наводит на печальное лицо; не мила ей прелесть ночи, не манит серебристый ток, и задумчивые очи смотрят томно на восток…

Валька встрепенулся — он понял, что за женщина тосковала у окна на его рисунке. Откуда, каким образом он выловил ее в беззаботной «Баркароле», он понять не мог. Валька запел дальше — скорее всего, безбожно фальшивя, но просто читать он был не в состоянии. И пропел до самых последних строчек, самых неудобных для пения:

— …О, свободы и любви где же, где певец чудесный? Иль его не сыщет взор? Иль угас огонь небесный, как блестящий метеор?..

А под стихотворением была дата — 1825 год.

— Та-ак… — протянул Валька.

Валька попытался вспомнить хоть что-нибудь про этот самый древний год. И оказалось, что в памяти — здоровенная прореха. Вот только декабристы были, а потом в шестьдесят каком-то отменили крепостное право. И кто-то с кем-то воевал под Севастополем.

Можно было спросить у Широкова. Он в эту эпоху закопался, он обязан знать. Но самолюбие не позволило. Гордый Валька решил поставить крест на Изабо со всей ее сумасшедшей компанией. И знал, что выдержит характер.

Честно говоря, он даже вздохнул с облегчением. Еще немного — и ему пришлось бы врать семье, объясняя свое субботнее отсутствие леший знает

чем. Врать он не любил, хотя умел, причем получалось естественно.

К концу третьей недели произошло нечто неожиданное.

Когда он собрался домой и пулей проскочил проходную, его окликнула Верочка.

Валька обалдел. В мастерской они хорошо если двумя фразами обменялись. И Верочка тогда даже смотреть на него не хотела. Что же ее сюда пригнало? Значит, она расспрашивала о нем Изабо? Или Изабо прислала ее?

— Здравствуйте, — сказала Верочка. — А мы с Изабо не можем понять, куда вы пропали.

— Здравствуйте, — без голоса ответил Валька, прокашлялся и соврал, — да как-то со временем не получалось…

— А сейчас у вас время есть?

Сообразив, сколько его уйдет на дорогу в мастерскую и обратно, Валька мотнул головой.

— Даже часика не будет? — явно расстроилась Верочка. — Одного маленького часика?

— Ну, разве что одного…

Валька оглянулся. Недоставало, чтобы заводские девицы увидели, как он уходит вместе с Верочкой. Непостижимым образом, но дойдет до Татьяны!

— Тогда пойдем! — заторопилась Верочка. — Пока вы не передумали. Я здесь совсем близко живу.

— А это удобно — ни с того ни с сего в гости? — усомнился Валька.

— Конечно удобно! Не в кафе же нам идти, я их не люблю. Поговорить там все равно не удается, накурено, кофе скверный, а пирожные прошлогодние. Пойдем, я печенье испекла. Мои на неделю уехали в Минск — и родители, и братик.

Валька заметил, что она уже вывела его к трамвайной остановке, и дал согласие.

Ему было страшно любопытно, зачем Верочка зазывает его в гости. Изабо его там ждет, что ли? Или она хочет объясниться? По поручению Изабо и тайком от Карлсона? Вполне! Значит, выплывут на свет божий всякие интересные вещи…

Верочка действительно жила недалеко от завода, возле старого кладбища, которое городские власти переделали в парк. Место было тихое, воздух свежий. Квартира, которую она с родителями и братом занимала на пятом этаже старого дома, тоже была соответствующая — приятно старомодная.

— Ну, вот тут мы и расположимся, — сказала Верочка, проведя Вальку через большую кухню и

открывая узкую дверь. Там оказалась комнатушка хорошо если в четыре метра, где уместился только подростковый диванчик. Над ним висели книжные полки, а на огромном подоконнике, где процветали всевозможные кактусы, стояла старая пишущая машинка и лежали стопки бумаги и копирки.

Был и совершенно неожиданный предмет — картонная репродукция на книжной полке: роскошный гусар при полном гусарском доспехе, то ли Денис, то ли Евдоким Давыдов, работы Ореста Кипренского. Странно, сабля — вот она, а пистолетов нет, удивился Валька и сразу же вспомнил, что пистолеты тогда были здоровенные и на поясе в кобуре их не носили.

Верочка поколдовала у подоконника, и возник откидной столик. Теперь в комнатушке совсем не осталось места, и Валька оказался вроде как арестован между спинкой дивана и этим столиком, а сверху его голова чуть ли не упиралась в полку. Он про себя ругнулся — как будто в комнатах было мало места!

Верочка вышла на кухню, вернулась и накрыла стол вышитой салфеткой, расставила тарелки с печеньем и бутербродами, откуда-то мгновенно возникли чашки с горячим кофе.

— Ешьте, не стесняйтесь, — предложила Верочка, — я же понимаю, что вы после работы.

Валька вздохнул — все ясно, старая дева и ни разу не кормила мужика после работы. А то бы знала, как выглядит настоящий бутерброд, и не лепила своих крошечных натюрмортов с рулончиками полупрозрачной колбасы и ромашками из крутого яичка и вареной морковочки.

Он съел штук шесть «натюрмортов», тарелку печенья и тогда только понял, что проголодался. Попросить хотя бы яичницу было неловко. А тут еще Верочка принесла отцовскую бутылку коньяка. Коньяк оказался грузинский, марочный, и Валька употребил пятьдесят грамм, а потом еще пятьдесят.

Он ждал, когда начнется настоящий разговор, но Верочка чирикала про кактусы, про альбом импрессионистов, про концерт органной музыки, еще какие-то девичьи развлечения приплела, и Валька никак не мог взять в толк, зачем он здесь сидит и что из этой светской беседы должно получиться.

Верочка предложила поставить пластинку со старинной музыкой. Слушать еще и это у Вальки не было никакого желания, он взял конверт с пластинкой и сказал что-то этакое, шибко про-

фессиональное, про рисунок.

— А вы интереснее говорите, чем рисуете, — заметила Верочка. — Я видела у Изабо ваши работы.

Начало было малообещающее.

— Ну и как?

— А вы не обидитесь?

Этот вопрос был сразу и ответом.

— Изабо считает, что вам все-таки стоит поступать в академию. А раз Изабо взялась вам помочь, то обязательно поможет, — подумав, добавила Верочка.

— А зачем ей вдруг понадобилась эта благотворительность? — в упор спросил уязвленный Валька.

Он не ожидал, что так смутит своим вопросом Верочку.

— Изабо — очень добрый, очень чуткий человек, — сказала она после довольно долгой паузы, в течение которой и глаза опускала, и ладони к щекам прижимала, сгоняя внезапный румянец. — Она никому в помощи не откажет. У меня было такое трудное время… со здоровьем стало плохо, точнее, вышло резкое ухудшение… Вот вы почему-то не спрашиваете, где я работаю или учусь, а я нигде не работаю и не учусь, потому что

не могу. Деньги себе на пропитание, правда, зарабатываю. Я печатаю на машинке, беру заказы. Сама решаю, когда мне работать, когда отдыхать. Немножко рисую в свободное время. Потому я и поселилась в мейдхенциммер, это по-немецки девичья комната, здесь раньше полагалось спать кухарке, чтобы ночью печатать, если срочный заказ. Я не хочу мешать своим и братику… Вот так. А Изабо тогда для меня очень много сделала. У меня не было человека ближе нее. Если бы не она, я не знаю, что бы со мной стало. Вот так я и живу…

Верочка разволновалась, выскочила на кухню, и Валька услышал, как льется вода из крана — то ли Верочка просто успокаивалась холодной водой, то ли запивала таблетку.

— И давно это было? — спросил он, когда девушка вернулась.

— Пять лет назад. Я еще училась в университете. Вот так я и прожила эти пять лет…

Она показала рукой на книги, на машинку, на кактусы и тут впервые посмотрела Вальке в глаза.

— Ладно, — вдруг строго сказала она и села на диван. — Я совсем разболталась.

И разлила остатки коньяка поровну в Валькину

рюмку и свою кофейную чашку.

— А вам можно? — удивился Валька.

— Мне теперь все можно… На брудершафт?

Он удивился, но поднял рюмку, их руки переплелись, а потом Верочка быстро поцеловала его в губы и взяла с книжной полки магнитофон.

— Здесь так светло, и здесь покой такой живой, песок здесь мягче и теплей, чем взгляд людей, — запел высокий мужской голос. — Как сладко видеть тишину, обняв сосну, как странно, слыша гладь воды, не ждать беды…

Валька устроился поудобнее.

Он любил эту песню. Два года назад он впервые услышал кассету безымянного певца в гостях, потом выпросил на денек и переписал. Понравилось ему в этих песнях под гитару именно то, что голос был не вылизанный, не зарепетированный, очень выразительный, то отдающий в хрипотцу, то вибрирующий на высоких нотах. Да и слова…

— Гремит водоворот игры, круша миры, ничтожны правила игры, как комары. Я пас — мне ставки не к лицу, как шнапс — жрецу. Чудесно видеть тишину, обняв сосну, — песня окончилась, а Валька вдруг вспомнил крошечное озерцо по дороге к Изабо, и лодки, и уточек, и камыш, и старые сосны — действительно, здорово бы

обнять сосну, ощущая, что все хорошо, и выстругать кораблик из коры, как в те времена, когда все действительно было хорошо, и пустить его в плаванье…

Магнитофон тихо шипел. Верочка сидела, привалившись к спинке дивана и закрыв глаза. Валька испугался — не стало ли ей плохо. Он склонился над ней и позвал.

Тут магнитофон завел другую песню. Верочка открыла глаза. Глядя в Валькино лицо, она слабо улыбнулась и, не освобождаясь от нечаянного полуобъятия, выгнулась, чтобы приникнуть к Вальке потеснее.

Песня длилась, Валька обнимал Верочку — и вдруг обнаружил, что его пальцы уже вплелись в ее пальцы. Их взгляды опять встретились, Вальке стало бездумно-хорошо, он решил будь что будет. И сразу же понял, что ему сегодня позволено все…

Диван был потрясающе узок. Если один человек лежал на спине, другой мог жаться рядом лишь на боку. Валька раскинулся, глядя в потолок, а Верочка сбоку молча глядела ему в лицо. Музыка давно кончилась.

Оба молчали. Валька представления не имел, что теперь следует сказать, и только норовил,

чтобы Верочке не попалась на глаза правая рука с обручальным кольцом — ей это, наверно, было бы неприятно.

Верочка провела тонким пальцем по его щеке, по губам, по краю ямочки на подбородке, потом улыбнулась — так улыбаются, осознав роковую, но неизбежную ошибку.

Валька взял с тарелки последний «натюрморт» и съел.

— Сварить еще кофе? — отрешенно спросила Верочка, выкладывая у него на лбу прядь светло-русых волос. — Или чаю?

— Лучше чаю, — подумав, решил Валька. — И еще я бы умылся… можно?

— Конечно можно… — Верочка понемногу возвращалась к действительности. — Пока я заварю чай, ты примешь душ. Пошли, я дам тебе полотенце и вообще все, что надо.

За дверью девичьей висел халатик. Она накинула его и повела Вальку в ванную. Пока он там располагался, она поставила на плиту чайник и вошла к нему. Он уже стоял мокрый.

— Вер, ты чего? — Вальке вдруг стало неловко. Он уже начал отходить после неожиданных сегодняшних страстей, уже начал настраиваться на домашний лад.

— Помогу тебе, — Верочка словно не замечала его смущения. — Я, знаешь что, я тебе голову помою.

— Это еще зачем? — ошарашенно спросил Валька.

— Совсем ты у меня глупый, — каким-то не своим, деланым голосом сказала Верочка. — Волосы сразу схватывают любой запах и долго держат его. А если ты унесешь домой запах моих духов? А, миленький?

— А запах шампуня? — сердито спросил Валька, понимая, что Татьяну чужие духи не обрадуют.

— Запах шампуня устроен так, что он через полчаса выветривается. Пока доедешь домой, его уже не будет, — успокоила Верочка, и в руке у нее сразу оказалась банка с импортной наклейкой. Не успел Валька усомниться и воспротивиться, как Верочка ловко нагнула его и выплеснула с полбанки на его мокрую голову. Отступать было некуда.

— Это очень хороший шампунь, лечебный, укрепляет волосы, — объясняла Верочка, втирая пену в Валькину шевелюру. — Вы, мужчины, сперва лысеете, а потом над волосами дрожать начинаете. Валь, ну, не смывай сразу, подержи хоть десять минут, это же полезно!

Десять минут роли уже не играли.

Пока пили чай и продолжали разговор об искусстве, волосы подсохли. Верочка отпустила Вальку не раньше, чем он пообещал в субботу приехать к Изабо. А о том, что можно бы им и встретиться вдвоем до субботы, даже не намекнула.

Разумеется, они провели вместе не час и не два. По дороге домой Валька придумал связную версию, как ходил к Мишке Косаренку за пластиком, чтобы вырезать трафаретные буквы, как пластик в сарае оказался, как Мишка заставил его ждать. Тем более что Валька прихватил полную сумку этих пластиковых листов на заводе — хотел вырезать буквы дома.

Версия сошла безукоризненно. Мишку домашние знали. Вальку покормили ужином — настоящим, без «натюрмортов», — подержали перед телевизором и отпустили спать около одиннадцати.

Утром же его ждал диковинный сюрприз.

Привычно перебравшись через его бок, Татьяна не поспешила в ванную, а осталась сидеть на краю постели. Потом она растормошила Вальку.

Он сел, протер глаза кулаками, и голова его оказалась в солнечном луче из окна.

— Точно! А я думала мерещится! Валь, чего это

с тобой? Выгореть успел, что ли? — изумлялась Татьяна, вглядываясь в странно посветлевшие волосы мужа. — Вроде не время, еще и солнца толком не было. Что у тебя с волосами?

Валька сперва обмер, потом сорвался с постели и подскочил к настольному Татьяниному зеркалу. Действительно, волосы прямо золотились. Наверно, Верочка сгоряча схватила не ту банку с шампунем.

— Да это… этот Мишка, будь он неладен!.. — начал Валька клеить вранье. — Мы же с Мишкой вчера за пластиком лазили, пластик у него в сарае лежал, в чемодане. Пришли, а все ржут — у нас головы в паутине и в пылище, рожи, как у трубочистов, руки черные. Вот, залезли вдвоем в душ, быстренько ополоснулись, я башку постирал. Это мы, наверно, шампунь его жены сдуру схватили. Они же все там импортные, черт их разберет!

Татьяна расхохоталась.

— Ты смотри мне! — сквозь смех выкрикнула она. — Ты это… в следующий раз… рыжий шампунь не схвати! Или рубиновый! А то еще красное дерево есть!..

— При чем тут красное дерево? — не понял Валька.

— Ну, шампунь так называется, оттенок то

есть!..

— Развеселилась! — проворчал он, стараясь, чтобы вышло покомичнее. — Мужа оболванили, а она веселится!

Но Татьяна еще пуще захохотала, повалилась на постель и ее голые ноги взлетели в воздух.

Валька совершенно естественно сделал два шага к постели и обмер. Поскольку понял, почему Верочка заставила его продержать столько времени на голове шампунную пену.

И эта мысль совершенно его не обрадовала.

Все поведение Верочки было странным, начиная с обморока. И подозрительные нежности с Изабо. И вчерашнее торчание у проходной. И голосок наивной детки… и события в мейдхенциммер… и вот, наконец, это. Полный комплект! А загадочная болезнь, несовместимая с учебой в университете? Все одно к одному…

— Ну, будет, будет… — остывшим голосом сказал Татьяне Валька. — Раз уж встали, идем завтракать. Пусть родители порадуются на мое уродство. Только что же вы все вчера молчали?

— При электрическом свете не сообразили, — и Татьяна, совсем не этих слов ожидавшая, поспешно вылезла из постели, одернула ночнушку и накинула халат.

Валька влез в тренировочные штаны и побрел вслед за ней на кухню.

Наступила суббота.

Просомневавшись с полнедели, Валька все же поехал в мастерскую.

Когда он подходил к дыре в заборе, из-за угла своего особнячка вышел Карлсон.

— Явился все-таки, — хмуро сказал он.

— Явился вот.

Оба помолчали.

— Медом тебе, что ли, тут намазано?

— Меня нашла Верочка, — честно ответил Валька. — Очень просила приехать. Отказать я не мог.

— И как же это она тебя нашла?

— Пришла к проходной и встретила.

Вальке стало весело — он осознал силу сумасбродной правды. Действительно, пришла, встретила и позвала — не дурак же Карлсон, чтобы подозревать тут вранье.

— Мог же я сообразить, что она обязательно выкинет что-нибудь в этом духе, — проворчал Карлсон. — Заходи ко мне. Гронская за хлебом пошла. Заработалась — хлеб и тот кончился.

Они вошли в дом. Он был практически построен, оставалось довести до ума крышу, наладить

воду и газ. В комнатах первого этажа уже были застеклены окна, стояли табуретки и раскладушка.

— Уже пробовал ночевать. Ничего, не мерзну, — сообщил Карлсон.

— Вы действительно построили этот дом на пари?

— Изабо проболталась? Ну, не совсем чтобы. Интересно стало — раньше мужик мог сам дом срубить, и никого это не удивляло. А теперь нельзя, что ли, вот так взять и построить себе дом? Времени у меня теперь, как комиссовался, навалом! Деньги поднакопились. Как кончил алименты выплачивать, так вообще не знаю, куда их девать. Вот, рассердился и построил. Чего и тебе желаю.

— И все сам?

— Кое-где мастеров нанимал. Но баня — мое детище, плоть от плоти моей. Я в нее столько души вложил, что уже за родную считаю.

— Не знаете, когда придет Верочка? — живо спросил Валька, чтобы сбить Карлсона с банной темы.

— А бог ее душу ведает. Она у нас с фантазиями. Может и ночью прискакать, пешком из центра. Послушай, если ты сюда ради нее примчался, то сперва головой подумай… да.

— Насколько мне известно, она не замужем, — отрубил Валька.

— И не выйдет, — усмехнулся Карлсон. — Потому что малость с приветом. Да ты садись, покурим. Потому-то с ней Изабо и нянчится, что — богом обиженная.

— Верочка? — Вальке стало не по себе, Карлсон подтвердил его собственную нехорошую догадку.

— А то кто же! Изабо пока в своем уме. Вот что, друг пернатый, давай-ка я тебе объясню наконец ситуевину, чтобы ты и на меня зла не держал, и чего-нибудь тут по простоте не натворил.

Карлсон выставил на пустую табуретку бутылку «Киндзмараули» и два стакана.

— Ну, значит, так, — начал он, отхлебнув и проследив, чтобы Валька тоже отхлебнул. — Помнишь, как они тут втроем носились с такой тоненькой книжонкой?

— Которую из типографии привезли?

— Это книжка поэта Чеслава Михайловского. Слыхал про такого?

— Не-а…

— Его песни в записях по городу бродят. Их теперь все слушают, и я тоже. Такой высокий голос, первое впечатление — коту хвост прищемили.

Песенки такие, не от мира сего… Ну, сообразил? «Чудесно видеть тишину, обняв сосну»?..

— Так это Михайловский! — обрадовался Валька. — Конечно слышал! «Истерику», «Императорскую гвардию»!.. Классные песни!

И сразу же у него возник в голове маршевый ритм «Гвардии», с отчаянными и резкими, не очень понятными, но красивыми словами: па-рам, па-рам, па-рам, пам-пам, капрал сказал, кто раз узнал дурман один, тот вечный раб его среди саванн и льдин, дурманы вместе не сведешь, хоть рой апрош, когда попробуешь, тогда с ума сойдешь!..

— Ну так вот, здесь его называют Чесс, Чеська.

Карлсон немного помолчал.

— Вообще-то их было пятеро, — сказал он. — Изабо их так и прозвала — Первый, Второй и так далее. Первый был Чесс. Второй — дай бог памяти… тоже молодое дарование, но у того хоть голова на плечах имеется, работал в одном издательстве, теперь возглавил другое, зарабатывает неплохо. Третий давно еще за границу умотал. Четвертый — не поверишь, ушел работать в цирк! Тоже где-то пропадает. Пятый — Широков, он самый старший. Ну, сосчитала их Изабо по степени убывания таланта. Чесс, видимо, был

самый из них гениальный. Второй — рангом пониже. А Пятый — ну, сам видишь, какой творец… Собственно, как они здесь оказались? Чесс влюбился в Изабо, стал ездить и их притащил. А Верочка была влюблена в Чесса.

— А Изабо? — поймав себя на ревности, спросил Валька.

— Кто ее разберет. Конечно, можно понять, почему она его так гоняла — пятнадцать лет разницы. Пожалела свои нервы. Когда взрослая женщина связывается с мальчишкой, расхлебывать кашу приходится женщине. Вот она и послала его поискать ветра в поле… Все это было лет пять назад.

— Ясно, — сказал Валька, еще не понимая, зачем Карлсон ему все это рассказывает.

— У Михайловского, кроме Изабо, были еще неприятности — с одной власть имущей организацией. Там его стихи не понравились, а еще роман дурацкий — он его до конца не дописал, но давал читать всем желающим. С работой у этого Чесса тоже были недоразумения. Поднакопилось всего. В одну прекрасную ночь Чесс выпрыгнул в окошко. Этаж был пятый, не то шестой. Тогда Верочка и угодила в больницу. Вышла малость не в себе. Ты заметь, как у нее иногда глазки бегают.

Валька задумался, вспоминая.

— Широков, по-моему, тоже спятил, хоть и не гений. А самое обидное — через год после смерти Михайловского как закрутилась перестройка! Валяй, пиши что душе угодно! Издавай чьи хошь творения! У него уже был один дохленький сборничек стихов. Верочка, Второй, Широков поднатужились, записали песни с кассет — он ведь иногда на бумаге даже не писал, прямо пел на кассету, — извлекли все возможное из черновиков, Изабо позвонила каким-то своим приятелям в издательство, обложку нарисовала, Верочка рукопись перепечатала, и пошло… Вот эту самую книжку они теперь и получили.

Валька затосковал. Человек, спевший такие хорошие песни, оказалось, пять лет как мертв.

— А теперь самое пикантное, своего рода детектив, — неожиданно сказал Карлсон. — Изабо, Верочка и Широков вообразили, во-первых, будто это они во всем виноваты, не стояли рядом и не держали за шиворот… А во-вторых, будто это не простое самоубийство, как было признано официально. Вообще я их понимаю. Когда видишь такую несправедливость судьбы, возникает чисто физиологическая потребность — найти реального виновника и покарать! А тут подходящая

кандидатура наметилась — Второй.

— Почему вдруг?

— Потому что в ночь самоубийства он пил коньяк вместе с Чессом. И последний видел его живым. Второй утверждает, что они простились в коридоре, он вышел на лестницу и оттуда услышал крик. У Чесса в комнате было окно от пола до потолка. Опять же, оба были выпивши.

— Но зачем Второму убивать Михайловского? Они же дружили?..

— Дружили. Но Широков тебе и под это базу подведет. Ты еще наслушаешься жутких рассказов про украденные рукописи, про исчезнувшие кассеты, про похищенную пьесу, про издательские интриги. Если будешь и дальше встречаться с этой компанией. У них такой пунктик. Широков вон пьесу Чесса реконструирует. Чесс, может, просто однажды брякнул: а вот неплохо бы пьесу написать про этого, Пушкина, что ли, как он там в Сибири маялся. А они уже целый детектив сочинили про то, как Второй черновики пьесы утащил. И, главное, работают эти два шизика, Широков и Верочка, в противофазе! Один угомонится — другой начинает капать Изабо на мозги. В итоге у нее на свои дела времени и настроения уже не остается. Думаешь, зачем Верочка тебя

искала? Чтобы еще один слушатель был у всех этих бредней!

— А если не бредни? — и тут Валька вспомнил, что тогда, на диване, они слушали именно песни Чесса.

— Зуб даю, что Второй в смерти Михайловского виноват так же, как я! Оказалось, я знал этого Чесса, — спокойно сказал Карлсон. — Истеричка, царствие ему небесное. Но основания имелись. Крах на всех фронтах. Да еще Изабо потеряла терпение и выставила его из мастерской — они там со Вторым напились до поросячьего визга. Второму она оплеуху залепила, а Чессу сказала, что, когда ей понадобится истерика, она сама ее закатит. В этом смысле она баба правильная — не любит, когда мужики пищат.

— А Второй?

— Второй — без заскоков. Нетрудно догадаться, что за разговор был у них ночью. Второй совершенно искренне просил его одуматься. Наверно, даже что-то реальное предлагал. А Чесс завелся: мол, не хочу быть умненьким, благоразумненьким! И тудыть — в окошко! Потом из-за этой певчей пташки целое следствие было, всех таскали. Ну, ничего, разобрались, закрыли дело. Ты пойми, это просто поиски несуществующего

виновника. Если бы Чесс выпрыгнул при Верочке — Широков ополчился бы против Верочки.

Валька встал и выглянул в окно. Изабо еще не пришла.

— Будь моя воля, выгнал бы я и Верочку, и Широкова к соответствующей матери, — сказал Карлсон. — И дал бы Изабо возможность жить и работать по-человечески.

— А разве она сама не видит, что они ей мешают?

— Видит. Но ей иногда нужна свита — кем командовать. Маленькие женские радости… Они же ей в рот смотрят — и Верочка, и Широков.

— А с чего она взяла, что мной тоже можно командовать? — подумав, спросил Валька.

— Ведьма потому что. Поживешь с мое — научишься в ведьмочек верить.

— Но зачем ей это? — искренне удивился Валька, никогда не мечтавший ни о какой власти.

— Бабе сорок пять, — ответил Карлсон. — Непохоже? Детей нет, одна глина с бронзой. Вот и самоутверждается.

Тут в переулок въехала машина, остановилась возле мастерской, и оттуда вышли двое отлично одетых мужчин и Изабо в старой куртке.

— Ага! — сказал Карлсон. — Извини, друг пер-

натый, вынужден тебя временно арестовать. Посиди здесь, пока эти господа не уедут. Ей сейчас не до тебя.

— Кто это?

— Важные шишки. Они уже сюда наезжали. Тот, который седой, он владелец галереи, голландец. Хочет купить у Изабо бронзовый торсик. Это бы неплохо. Ее ведь за рубежом ценят, ей бы работать и работать для вечности, а она тратит время на какой-то детективный бред.

— Ладно, посидим, — ответил Валька, в какой-то мере польщенный тем, что вот голландцы приезжают покупать у Гронской шедевры, а он с ней запросто кофе пьет, да еще командует, чтобы налила вторую чашку.

Карлсон, смоля сигареты, принялся травить байки из времен своей бурной молодости. Валька отвечал заводскими байками, потому что весь заводской фольклор он пропустил через себя, бездельничая на колокольне с Аликом и его давними приятелями. Ворота Изабо были под прицелом, и вот Карлсон с Валькой увидели, как она выходит проводить гостей.

Машина отбыла.

— Вперед! — скомандовал Карлсон. — Может, там у нее уже есть что обмыть!

Изабо встретила их в подозрительно ровном настроении.

— Мужики, я опять разбогатела, — сказала она. — Продам валюту, на три года жизни хватит, и незачем торчать в мастерской.

— Взяли торсик? — спросил Карлсон.

— Ага, нашлись охотники. А торсик, между нами, так себе, ошибка молодости.

Изабо подошла к нарам и показала Вальке отполированный женский торс.

— Учись, как не надо работать.

— И скоро его увезут? — спросил Карлсон.

— Месяца через два. Но валюту музей перечислит хорошо если через полгода. Его же в музей сосватали! Современного европейского искусства! Ей-богу! Вот этот ком второсортной бронзы будет представлять местную скульптуру! Рехнуться можно!

Изабо вроде бы и шутила, а вроде бы ей и не до шуток было. Валька, не зная, как на это реагировать, озадаченно взглянул на Карлсона и встретил точно такой же взгляд — Карлсон сам пытался молча с ним посоветоваться.

— Вот Верочка с Широковым обрадуются, — неуверенно сказал Валька. Изабо невразумительно хмыкнула.

— Ты ждешь их сегодня? — спросил Карлсон. — Если да, то я смываюсь. Забодали!

— Думаешь, меня не забодали? — спросила Изабо. — Вообще-то сама виновата. Пятый меня раскрутил — я ему эту чертову пьесу разгромила в пух и прах, причем он, поросенок, сидел и всю мою критику конспектировал! Я ему прямо сказала, никакая это не пьеса, а говорильня ни о чем. Ну, роман у Александра Пушкина с Марией Волконской за неимением другой женщины, ну, тоскует по любимой, оплакивает свою глупость, во всех грехах винит зайца, который ему вовремя дорогу в декабре не перебежал и с полпути в Петербург не воротил обратно в Михайловское. И мечтает подраться на дуэли с кем угодно, лишь бы не тратить без толку свои молодые годы!.. Но слушать об этом два часа подряд? Я ему сказала, вряд ли Чесс задумывал такое нудное безобразие. А он мне потом звонит: я, говорит, все переделал по твоим ценным указаниям! Тему дуэли протащил насквозь, первый акт сократил, второй расширил! И тащит мне новый вариант. Опять раскрутил меня, опять я ему указаний надавала. Он делает еще один вариант! Как будто я знаю, что хотел всем этим сказать Чесс! Вот такие тортики.

— Давай мы с Валентином встретим его возле бани и скажем, что ты срочно уехала с голландцами, — предложил Карлсон.

— Точно, мы его встретим и развернем, — присоединился Валька, которому все меньше нравилось настроение Изабо.

— Нет, — решила она. — Пусть читает, хрен с ним. Уж если скверно, так пусть будет скверно до конца.

С тем она и ушла на кухню, и сразу же там затрещала кофемолка.

— Мне это дело не нравится, — сказал Карлсон. — Торсик-то у нее последний…

— Почему — последний?

— Последняя стоящая работа. Все остальное в музеях, коллекциях и черт знает где. А он последний оставался непристроенный, понял? Больше ничего нет. Вот что плохо, друг пернатый…

— Она еще налепит, — сказал Валька и с ужасом обнаружил, что собственному голосу не хватило энтузиазма.

— Будем надеяться, — Карлсон неожиданно похлопал его по плечу. Из кухни выглянула Изабо с кофемолкой.

— Кости мне перемываете? — спросила она.

— Королева авантюр и повелительница недора-

зумений! — провозгласил Карлсон, лихо раскланиваясь. — Вы нас чувствительно обижаете, ибо… ибо… проклятый склероз, повелительница!..

— По тебе цирк плачет, — сказала Изабо и вернулась на кухню.

Зазвонил телефон. Карлсон сразу снял трубку.

— Ага, — сказал он. — Ну, ладно. Скажу. Так точно!

— Широков? — спросил Валька.

— Верочка, — ответил Карлсон, чмокая в трубку и кладя ее. — Изабо, Верочка сегодня не приедет!

— И слава богу! — отозвалась Изабо.

— Она не отпустит тебя, пока не заявится Широков и не прочитает свой маразм, — прошептал Карлсон. — Я пошел, а ты имей в виду все, что я тебе сегодня наговорил, и сделай выводы. Понял?

Тут с Валькой сделалось нечто неожиданное и ему вообще не свойственное. Он ощутил ярость — такую ярость, что глаза налились холодным блеском и зубы оскалились.

— Хорошо быть полковником, — глядя в переносицу Карлсону, сказал он. — Скомандуешь — и все по стойке смирно! Жаль, честь отдать не могу — с честью напряженка! Да и к пустой голове руку не прикладывают!

Внезапным, каким-то не своим движением он

взъерошил себе шевелюру и раскинул в стороны руки с растопыренными пальцами.

Карлсон сделал шаг назад.

— Ишь! — усмехнулся он. — А зубешки-то прорезались. Я думал, так размазней и помрешь.

— Не волнуйся, не помру, — обнадежил Валька. — Тут первый этаж, в окно сигать нету смысла.

И с ужасом ощутил, что это все уже когда-то было: ярость, растопыренные пальцы, взгляд в сторону открытого окна.

— А это кому как! — возразил Карлсон и с места обеими ногами вскочил на подоконник. — Алле-ап!

Валька обалдел.

Карлсон ласточкой ринулся в окно. Придя на руки, он сделал кульбит, ловко вскочил и, повернувшись к окну, встал в боевую стойку.

— В окно сигать тоже надо умеючи, — с необъяснимым презрением сказал он Вальке. — Вуаля!

После чего Карлсон на одной ноге поскакал через грядки к дыре в заборе.

Изабо пробежала через всю мастерскую к окну.

— Эй, вернись, безумец! — закричала она. — Я кому говорю?

— Желание дамы — закон! — Карлсон уже на

другой ноге поскакал обратно через грядки.

— Он действительно полковник в отставке? — спросил Валька у сердитой Изабо.

— Если не врет, — ответила она. — А что в десантных войсках служил, так это уж точно, сам видишь…

Но если тут кто и врал, так не Карлсон, а Валькина память. Он знал, что Карлсон носил именно полковничьи погоны, он слышал, как к тому обращались «товарищ полковник», хотя знать было неоткуда и слышать — негде. И Вальке стало очень смутно от такого необъяснимого знания.

Когда Широков приехал, Изабо встретила его довольно добродушно. Она усадила всех к белому столику, сервировала кофе, поставила блюдо с бутербродами.

— Вот, — сказал Широков. — Перед тем как он от нее удирает, я написал новый диалог.

— Куда ему удирать? — тоскливо спросила Изабо. — Удирать-то ему некуда…

— А вот и есть куда! — Широков покопался в бумажках. — Вот… Сперва действие, конечно, разворачивается скучновато, но мне нужно дать понять зрителю, что Пушкин смертельно устал от одних и тех же людей, что он стал нервен, что цепляется к пустякам, что мучает тех, кому он

дорог…

— Короче, — попросила Изабо.

— Короче, вот. Они сидят в той же комнате, ручной заяц спит на кровати. И тот же снег за окном. И то же рукоделие на столе. И то же платье с вышитым воротником на Марии Волконской. Пушкин говорит ей: «Тебе тогда нужно было выйти замуж за графа Олизара». — «Папа не отдал бы меня поляку, — копаясь в корзинке, рассеянно говорит она. — И к тому же я его не любила». Пушкин пожимает плечами. «Сергея Григорьича ты тоже не любила. А чем плохо — ты жила бы сейчас в Петербурге, блистала при дворе и обсуждала с кузиной бальные успехи господина Дантеса!» — «Я не виновата, что она пишет мне про каждого своего нового светского знакомца!» — наконец отрывается от корзинки Мария. «Ты сделала все, чтобы поломать собственную жизнь, Мари. Ты вышла за нелюбимого, это во-первых…» — «Так решил папа», — отвечает она, и ясно, что и слова эти, и покорно-усталая интонация повторяются в сотый раз…

Валька слушал историю о молоденькой генеральской дочке, которую отдали за графа, на двадцать лет ее старше, а граф оказался бунтовщиком. Широков, как видно, только недавно

вычитал где-то эту печальную историю и старательно разложил ее на два голоса. Пушкин пересказывал Марии ее биографию, она спорила или соглашалась. Выяснилось, кстати, что тогда, до бунта, он посвящал ей стихи, но и мечтать не мог о ее руке. Сейчас он ей и это язвительно припомнил.

Чувствовалось, что Широков перелопатил гору старых книг, и исторические сведения лезли из пьесы, как перестоявшее тесто из квашни. Да еще он все время возвращался к обстановке комнаты, где ссорились и мирились Пушкин с Марией, напоминая про зимнее безмолвие за окошком и спящего на постели ручного зайца.

Слушал его Валька, слушал и понял, что или он сейчас уснет от ровного широковского голоса, или поставит свою любимую преграду. Женский голос возник, как долгожданный гость издалека.

Валька радовался немудреному романсу и вдруг осознал, о чем он на самом деле тоскует. Ему нужна была та счастливая женщина, что беззаботно пела летним днем в солнечной комнате, окна выходили в сад, на маленьком белом столе стояла ваза с большим пестрым букетом, скомканные шалым наездником перчатки были только что брошены на подоконник, донской же-

ребец, привязанный к балясине крыльца, тянулся к цветам на клумбе, а сам наездник, в картузе и легком сюртучке, шаря тонкими пальцами в кармане написанное еще ночью письмо…

И тут мысль оборвалась, картина погасла.

Больно от этого стало — до стона. Мучительно пытаясь вернуть это солнечное воспоминание, это невозвратное счастье, Валька ощутил себя узником, которому приснилась прежняя жизнь, и действительно, он был узником крошечного пространства, лишенного окон. Он оказался внутри ящика, обтянутого дорогой и блестящей тканью с крупными узорами. Но ткань была обжигающе холодна.

Вместе с Валькой делила это заточение маленькая черноволосая женщина с округлым и упрямым личиком, закутанная в вязаную шаль. Обоим было холодно. И оба думали об одном: прижавшись друг к другу, они сохранили бы немного тепла. Но и это было под запретом — на них таращился из обтянутой двери черный глазок.

Женщина подышала на пальцы и подошла к маленькому пианино. Это было пианино из будуара светской красавицы — приукрашенное сзади к саням, обернутое рогожами, оно пересекло Россию и оказалось бог ведает где, за Байкалом,

в остроге, построенном без окон. Свечи, вставленные в его изящные бронзовые канделябры, почти догорели.

Валька прижался лбом к холодной узорной ткани. Эти старые портьеры тоже везли сюда за тридевять земель, из Петербурга, чтобы создать хоть видимость уюта, чтобы в остроге поселился призрак дома. Они еще пахли именно домом и хорошим табаком.

Женщина опустила пальцы на клавиши. По двум аккордам Валька понял, какую песню она собирается играть и петь.

— Я не могу больше слышать эту песню, — тихо сказал он.

— Я все понимаю, Сашенька, — еще тише ответила она.

— Но ты все-таки спой!

Ему вдруг захотелось до конца пережить и эту муку — безнадежность. Уже никогда он не услышит, как летним вечером юная женщина поет у окна песню-обещание, и в эту минуту она не полковая дама со странной и предосудительной судьбой, а та венецианка, которая хранит верность своему безумному поэту. Как странно предвидел будущее Козлов, слепец вдохновенный…

— Ночь весенняя блистала светлой южною красой, — начала Мария. — Тихо Брента протекала, серебримая луной…

Она действительно все понимала, и что не может заменить ему ту женщину тоже. Хотя бы потому, что та в воспоминаниях все прекраснее, и он отдал бы год жизни, чтобы поцеловать камень, о который споткнулась она поздним вечером в парке Тригорского, споткнулась, чтобы оказаться в его внезапном объятии. И звали ее Анна!

Все эти воспоминания были как серьги работы китайских мастеров. Один шарик резной слоновой кости заключал в себе другой, тот — третий, и так до бесконечности. Каждое неведомо чье воспоминание заключало в себе другое воспоминание, и Валька летел сквозь эти слои легко и естественно, как по событиям своей жизни, вытекающим одно из другого.

Но и тут вдруг все оборвалось — на внезапном объятии, на смешавшемся дыхании. Анна, Анна… Анна?

— Перестань ты расшифровывать замысел Чесса! — сердито воскликнула Изабо, обращаясь к притихшему Широкову. — Не было там никакого замысла! Ну, возникла идея. Ну, ее хватило на пару набросков. А окончательный вариант отлился

бы через сорок лет. И этот ваш Пушкин бежал бы через Китай в Америку, как собирался декабрист Ивашев, видишь, и мы не лыком шиты, и принял участие в войне Севера против Юга! Потому что тогда и Пушкину было бы за шестьдесят, и Чеське, и они отлично бы друг друга поняли!

— Это он сам тебе сказал? — растерянно спросил Широков. — И ты все время молчала?!.

— Ну, говорил. Только он тогда еще даже набросков не делал. Я думаю, это на уровне застольного трепа шло, — сжалившись, уже не так агрессивно объяснила Изабо. — Да и вообще, ты же его помнишь — половина всех планов осталась именно на уровне застольного трепа. Так что перестань ты мучаться с этой пьесой. Вы не нашли черновиков, потому что их в природе не было и быть не могло.

Широков, насупившись, молча складывал листки в аккуратную стопочку, и один листок все время вылезал, а Широков старательно загонял его на место.

— Слушай, Изабо, а забери-ка ты у него эту штуку, — подал мысль Карлсон. — Ну, на хранение, лет этак на двести. А то он с ней рехнется. Давай пьесу сюда, Анатолий, и сразу у тебя в жизни просветление наступит.

— Ладно, — подумав, согласился Широков. — Может, вы правы, и я просто зациклился. Понимаете, для меня это было не работой — я с Чеськой общался… Но я еще вернусь к Чеськиной идее.

Он уложил листки в папку, завязал ее и вручил… Вальке.

— Мне? — удивился Валька, но тут он встретил взгляд Карлсона. И понял, что в этом жесте был какой-то тайный смысл, понятный всем, кроме него.

— Тебе, — и Широков опустил глаза. — Может, интересно станет, перелистаешь.

— Все! Побежал! Мне машину с досками встречать, а я тут дурака валяю! — этим возгласом Карлсон перебил общее смутное настроение и унесся прочь.

Широков с той же внезапностью выхватил папку из Валькиных рук.

— Только один кусок, Изабо! — потребовал он. — Напоследок! Это не самый скверный кусок! Просто я не знал, куда это вставить… впрочем, теперь это уже безразлично…

— Я те вставлю! — рассердилась Изабо. — Положи пьесу на место!

Но Широков не послушал и моментально отыскал тот дорогой его сердцу кусочек.

— Тут я, кажется, что-то нащупал!.. — жалобно сообщил он. — Слушайте!.. «Ты жалеешь решительно обо всем?» — спрашивает она. «Да нет, конечно. О том, что помчался из Михайловского в Петербург с письмом Жанно Пущина и успел прямиком на Сенатскую площадь, что вел себя достойно, что разделил участь друзей моих, что поддался прекраснейшему порыву души — нет, не жалею. Я же мечтал об этом. В тот день все было прекрасно, смерть нам тоже казалась благородной и прекрасной. Так что лучше бы уж мне быть на той виселице…» — «Опомнись, Сашенька!» — в ужасе восклицает она, но он уже увлечен мыслью, он уже воспарил! «Я погиб бы тогда первым поэтом России, и потому не был бы забыт. А теперь ежели какой любитель российской словесности вспомнит господина Пушкина, литератора, то по таким его виршам, которые он бы собственной рукой уничтожил, попадись они мне теперь…» — «Мало ли ты их уничтожил тогда?» — с горечью спрашивает она. «Помилование, которому все так обрадовались тогда, и я тоже, это помилование было ловким, о, потрясающе ловким ходом — оно сорвало с меня и лавровый венец, и терновый венец, и вот стою я непонятно где и непонятно зачем, с непокрытой

головой, в бог весть каком году… и имеет ли это значение? Для России я остался где-то в двадцать пятом. Я должен был, да что я говорю, я обязан был погибнуть тогда, чтобы все всколыхнулось, чтобы все содрогнулось, и над Россией пронесся глас: “Горе народу, позволяющему убивать своих поэтов!..”»

— Стоп! — Изабо грохнула кулаком по столу. Валька замер с открытым ртом, изумленный, ожидая еще каких-то взволнованных слов, но она молчала и лишь полминуты спустя сказала негромко:

— Крепко сказано.

— Сказано крепко, — согласился довольный Широков. — Сам не поверил, когда написалось. Это надо мной Чесс витал.

— Ага, — неожиданно подтвердил Валька, ощущая тот же странноватый взлет, что и полчаса назад, когда зло поддел Карлсона, когда руки вытворили нечто, совершенно ему не свойственное. Но взлет был мгновенным — мелькнул в глазах узор из турецких огурцов на ледяной ткани, мелькнул разложенный лист нотной бумаги, и все погасло, и вспоминать, как это так получилось, было уже бесполезно.

— Дальше! — потребовала Изабо.

— Дальше нет.

В голосе и во взгляде Широкова было то же ощущение мгновенности и неповторимости случайного взлета.

— Послушай… А он сам так когда-нибудь говорил? — спросила Изабо, и непонятно было, о ком это она.

— При мне вроде нет, а без меня, не знаю, — ответил Широков, и Валька понял, что речь шла все-таки о Чессе.

Тем временем за окном начались бурные события. Подкатил грузовик с досками, их под руководством Карлсона стали сгружать, и это отвлекло всех троих от пьесы.

А потом Широков с Изабо затеяли какой-то непонятный Вальке спор о том, кого раньше нельзя было публиковать, а теперь — за милую душу. Они перечисляли фамилии, которых он даже от тещи не слыхивал, и в пылу полемики не обратили внимания, что машина разворачивается и уезжает.

Карлсон, войдя, встрял в разговор и напомнил, что все эти опубликованные — давно покойники.

— Тебя послушать, так нам с Толиком тогда нужно было скоренько повеситься, чтобы заслужить

право теперь пообщаться с народом! — отрубила Изабо.

— Самое интересное, что так оно и получается, — усмехнулся Карлсон. — Послушай, Анатолий, признайся честно, у тебя было тогда что-нибудь этакое… непубликабельное? Безумненькое? Ну, раз в жизни признайся — было?

— Иди к черту, — беспокойно ответил Широков, глянув на Изабо.

— Оставь его в покое, не было у него ни хрена, — зло сказала Изабо. — Он у нас был литератор правильный. Чужую нетленку он несомненно уважал, перепечатки Бродского дома держал, рукописи Чесса по ночам осваивал и фигу в кармане исправно казал. А своего чего натворить — боже упаси. А я была скульптором правильным. Все в соответствии с постановлениями! Я была скульптором без пола, возраста и национальной принадлежности, потому что и с полом-то хлопот не оберешься, а национальная принадлежность и вовсе чревата! И то вечно цеплялись к моей обнаженной натуре, как будто у этих сволочей в штанах что-то другое запрятано… А что? Пару лет назад для меня имело смысл повеситься. Сегодня бы вся Европа причитала: довели ее гады бюрократы! Хм…

Изабо задумалась.

— Послушай, Карлсон, а ведь ты меня на умную мысль навел, — заявила она. — Поеду завтра к нотариусу. Добра-то у меня много накопилось, а помирать все равно придется, и оставить некому. Валентин! Хочешь быть наследником?

Валька уставился на нее диким взглядом.

— Широкову не предлагаю — ему материальные блага не впрок. Остается еще Карлсон. Это кандидатура! Это мужчина правильный и практический. Откроет в мастерской филиал бани. Знакомым поэтам будет по блату веревки мылить. Чтоб сами, не дожидаясь приглашения…

Тут настала такая пауза, что Вальке стало страшно. Изабо и Карлсон глядели друг на друга нехорошим взглядом. Широков подвинулся вперед, чтобы в случае чего встать между ними.

— Да, я мужчина практический, а что? Вот такое я дерьмо! — хлопнув в ладоши и разведя руками, воскликнул Карлсон. — Как в хозяйстве прореха — слезай, Карлсон, с крыши! Как машина на полдня нужна — Карлсон! Как трудоустроить бездельника — Карлсон! Да если подвести баланс, я за жизнь, может, столько добра сделал, сколько ни одному гению не снилось! А в баню ко мне сами придете, потому что гениям тоже нужно

мыться. И спасибо скажете. Так что надоест дурью маяться — пожалуйте в баньку!

Он повернулся и быстро вышел. Изабо же села за разоренный стол.

— Все не так, — глядя в чашку, проворчала она. — Враки, враки… Все почему-то не так. Вот ты, Пятый, я тебя обложу последними словами и мусорник на голову надену, а ты через неделю придешь читать мне финал пьесы как ни в чем не бывало. Знаешь что? Не приходи больше. Я это серьезно говорю.

— Совсем не приходить? — растерянный Широков улыбнулся, всем своим видом показывая, что готов поддержать даже такую нелепую шутку.

— Совсем. Я устала от тебя и от твоей пьесы.

Широков пожал плечами, молча собрался и вышел. Изабо посмотрела на Вальку.

— Меня дома ждут, — сказал он.

— Всего доброго, — ответила она.

Он сунул в сумку папку с пьесой, накинул куртку и вопросительно посмотрел на Изабо. Она сделала странный жест — мол, ничего, не сердись, когда-нибудь это пройдет… а пока иди, иди…

— До свидания.

Валька вышел. Широков уходил к автобусной остановке необычно быстрым шагом. Карлсон

прислонился к столбу своего будущего забора и курил. Увидев Вальку, он усмехнулся и пошел с ним рядом.

— Так и знал, что вас тоже выгонит. Эк ее разобрало из-за этого торсика… как будто с ним вся жизнь окончилась. И чего этих гениев вечно заносит?

И тут Валька понял, чего заносит.

Карлсон еще бормотал что-то о сумасшедших женщинах, Валька еще шел с ним рядом по инерции, но в голове у него уже делалось что-то не то. Он вспомнил свой бег по берегу игрушечного озерца, размашистый бег влюбленного мальчишки, которому померещилась там, за поворотом, надежда. Хотя он знал, что никогда и ни за кем по тому берегу не гонялся…

Валька встал как вкопанный, резко развернулся и что есть духу понесся обратно — к Изабо.

Тот, кто носился по берегу милого озерца и дал сегодня сдачи Карлсону, летел на выручку к своей женщине. Ей было скверно. Она привыкла быть сильной и сейчас устыдилась своей слабости. Она привыкла быть богатой и щедрой и столкнулась с той единственной нищетой, которая для художника хуже всякой кары. Она раздала все, что имела, больше раздавать ей было нечего.

И она должна была узнать, что есть на свете человек, не обманувшийся ее приказом выйти вон.

Этот спавший и проснувшийся человек пролетел сквозь дыру в проволочном заборе, над грядками, и припал к окну. Изабо сидела за столом, пряча лицо в ладони. Потом встала. Глаза были злые. Она разорвала в мелкие клочки бумажную салфетку со стола. Грохнула чашку. Но этого ей было мало.

Схватив с нар шамотную фигуру, Изабо подняла ее над головой и что есть силы грохнула об пол. Двадцать кило осколков разлетелись по комнате, а она уставилась на другие полки, высматривая жертву.

Валька ахнул. Ноги сами спружинили, оттолкнулись, рука подсобила, и он вскочил в открытое окно.

— Не смей! — крикнул он, бросаясь между скульпторшей и нарами.

Она увидела его лицо и окаменела.

Валька обхватил ее руками, прижал, сам прижался, и они стояли так несколько секунд, пока она не шевельнулась и он не понял, что опасность миновала. Тогда Валька ослабил хватку ровно настолько, чтобы она могла убрать свой горячий висок от его виска и поглядеть ему в глаза.

— А если бы они горели? — тихо спросила Изабо, и рот ее оскалился, глаза сузились. — А из огня бы выхватил? Голыми руками? А?

— Да, — сказал Валька. — Ты же знаешь, что да…

Тогда Изабо взяла его пыльными руками за щеки, как бы собираясь поцеловать. Но не поцеловала, да это им и не нужно было. Достаточно было взгляда, сковавшего их намертво.

— Ты мой тайный знак судьбы, — прошептала она. — Знал бы ты, как я ждала этого знака!.. Ну что же, от судьбы не уйдешь… я и не собираюсь… Ну что же… значит, пора устраивать похороны.

— Какие еще похороны? — не своим, усталым, хрипловатым голосом спросил Валька. — Что ты опять придумала?

— Мои, — весело отвечала Изабо. — Когда у человека кончается одна жизнь и начинается другая, в промежутке его нужно похоронить. А то другая жизнь не начнется! Пошли за лопатой!

Тот, кто владел сейчас Валькой, понял, в чем дело. И потому Валька пошел вслед за Изабо во двор, достал из сарая старую лопату, наметил прямоугольник дерна возле указанной ею сосны и принялся копать. Она же побежала в мастерскую и вернулась, таща в объятиях еще одну

шамотную фигуру кило на сорок.

— Там, под потолком, бронзовый пацан, который голый. Тащи сюда, — приказала Изабо, забирая лопату и с силой вгоняя ее в сухую землю.

Валька принес пацана.

— Теперь голову, — велела она. — Такую, на длинной шее, слева стоит. Как есть покойница! Надо же, именно сегодня прозрела: от покойников полки ломятся, а я терплю! Ну, валяй!

Валька приволок и голову. Изабо споро вкапывалась в плотную землю. Она молча отдала ему лопату и побежала в мастерскую.

Пока Валька углублял яму, она принесла целый таз всякой мелочи и вывернула его на жухлую траву.

— И проститься-то не с кем. Ну, давай уложим их, царствие им небесное. Вот какая я тогда была, — объяснила она, показывая на гипсовую абстрактную загогулину. — Разбить я бы никогда не собралась, а похоронить — самое то! Я же их не уничтожаю, куда мне уничтожить, я же их просто хороню. Вот увидишь, придут просить что-нибудь для официальной выставки Союза скульпторов — думаешь, я откажу? Как бы не так… Позлюсь, позлюсь, возьму лопату и пойду

откапывать.

— Не пойдешь, — спокойно сказал Валька. — Теперь уже не пойдешь.

— Действуй, — помолчав, ответила Изабо, повернулась и пошла в дом.

Валька задумался, глядя на «покойников».

Одно то, что он столько раз побывал в мастерской, а никогда не испытал желания разглядеть эти штуки повнимательнее, уже о чем-то говорило… приговорило… приговор?

Поймав себя на том, что и логика у него стала какая-то не своя, Валька взрыхлил землю в яме. Уложил туда крупные работы, между ними приспособив мелкие. Закопал. Чуток утрамбовал. Прикрыл дерном. Образовался невысокий холмик.

Валька сел с ним рядом прямо на землю и затосковал. Что-то он пытался найти внутри себя, не находил, и мучало это его так, что слов бы не нашлось высказать как. В таком сумбуре его и обнаружил бесшумно подошедший Карлсон.

— Докуксилась! — кивнув на холмик, сказал он.

Валька промолчал.

— Это, друг пернатый, называется кризис, — объяснил Карлсон. — У художников бывают

кризисы, это нормальное явление. Уничтожение уродцев — это для них акт самоочищения. Уничтожат — и вздохнут свободно.

Убедительность умных слов не убеждала.

— Опять же переломный возраст, — принялся рассуждать Карлсон. — Все ей дано, мастерство — в руках, а внутренней потребности в работе кот наплакал. Вот и начинается поиск свежатинки, которая дала бы импульс. Но то, что срабатывало в двадцать лет, в сорок и более — выстрел в молоко. Например, смена любовника.

Валька покосился на Карлсона — при чем тут любовник? Намек, что ли? Так идиотский намек…

Карлсон, уже не особо заботясь, слушают его или не слушают, поворчал малость, обзывая Изабо вздорной бабой. Валька что-то буркнул в ответ. И беседа иссякла.

Помолчав, Карлсон с интересом посмотрел на окно мастерской.

— Интересно, что она там делает? — спросил он самого себя, подошел к окну и заглянул.

— Пусто! — доложил он Вальке.

Валька вскочил, побежал к дому, и в мастерскую они с Карлсоном вошли одновременно.

— Как же это она ухитрилась? — удивлялся

Карлсон. — Я тебе точно говорю, эта баба по своей сути — вождь краснокожих! Наверно, к озеру увеялась. Ничего, ей сейчас полезно прогуляться. Может, дурь из нее ветерком повыдует…

Он подошел к нарам.

— Просторно!.. Но раз столько дребедени похоронила, могла бы и еще одну штуковину в ту же яму определить. — Он ткнул пальцем в крылатого Спасителя. — Послушай, а что, если того? А? А она подумает, что сама выбросила.

Валька молча глядел на распятие.

Он обнаружил на пыльном пластилине трещины.

Спаситель приподнял голову, прогнулся, напрягся, вздохнул. Это были всего лишь два движения пальца Изабо — отделить поясницу от креста, чуть поднять подбородок. Что-то заставило ее подойти, задуматься и коснуться пальцами поникшей фигурки.

— Заметит, — сказал Валька.

— А жаль. Эта штука ей ни к чему. В Бога она все одно не верует.

— Как знать, — возразил Валька. Что-то не нравился ему сегодня этот ладненький, этот курчавенький, в рубашечке клетчатой аккуратненькой, в спецовочке тютелька в тютельку…

десантничек…

Карлсон был невысок, ниже Вальки, и слова к нему клеились все какие-то уменьшительные. Валька ничего с собой поделать не мог, они сами возникали, хотя Карлсон был почти вдвое старше, опытнее, намного крепче и сильнее. Пожалуй, и умнее. Валька задумался: а откуда они вообще берутся в человеке, слова?

Тут он обратил внимание, что на этажерке под распятием появились две новые книжки, причем одинаковые. Валька взял одну. Она называлась «Приют обреченных». И сверху на обложке, где пишут имя автора, стояло «Чеслав Михайловский».

Валька спокойно сунул эту книжку в карман.

Карлсон отошел в сторону и глядел на него с прищуром. Но насчет книги промолчал. Что-то он понимал в ситуации такое, чего Вальке в век было не понять.

— Пойду я, — сказал Валька.

— Когда приедешь?

— Как книжку прочту.

— Валяй. А я эту ненормальную здесь подожду.

Карлсон сел в кресло и нырнул в толстенный альбом какой-то заграничной галереи.

Валька вышел и понял, что должен сейчас бе-

жать к озерцу. Искать Изабо. Он даже знал, где она — возле трех сосен от одного корня, где песок немного подкопан, чтобы удобней было сидеть на отполированном корневище и глядеть на озеро. И он побежал.

Изабо действительно была там.

— Как ты нашел меня? — спросила она.

Валька пожал плечами. Очевидно, следовало сослаться на интуицию.

— А где же ты еще могла быть?

— Да, действительно… Садись.

На корневище хватало места для двоих — если обняться. И оба знали это. Валька присел, обнял Изабо и неожиданно для себя вздохнул.

— Черт, как все в жизни не вовремя, как все нелепо… — забормотала вдруг Изабо. Ее красивое лицо скривилось, будто от кислятины, она странновато засопела, но ничего не сказала.

И Валька вдруг понял, о чем она — о той книге молодого поэта с гитарой… впрочем, кажется, не только о ней…

— Я книжку Михайловского взял, — сказал он.

— Бери. Ты знаешь, что это его последняя книга? Вообще последняя.

— Знаю, Карлсон сказал.

— И много он тебе наговорил?

— Много.

— Дурак он, — неожиданно фыркнув, сказала Изабо. — Это никакое не самоубийство. У Чеськи роман был на финишной прямой, сборник первый только что из печати вышел. Пока творческий человек чувствует, что он хоть на что-то способен, он в окошко не выбросится. Вот когда он видит, что зря небо коптит, вот тогда… Этого твоему Карлсону не понять. Ты его в следующий раз спроси: пойдет он топиться, не достроив свою драгоценную баню? Фиг пойдет! Не с чего было Чессу прыгать в окно. Не было у него такой серьезной причины!

— Была, — сказал Валька. — Он был обречен на самиздат. Или на реверансы…

— Да нет же! Все было при нем, понимаешь? Всё — голова, руки… Всё. Я вот и то держусь. А он был в десять раз богаче. И кому-то это спокойно спать не давало. На мою жизнь бы кто из зависти покусился! В ножки бы поклонилась. А не покушаются, потому что завидовать тут нечему. Боезапас расстрелян.

— Карлсон сказал, что они оба тогда здорово выпили, — заметил Валька. — И следователь ведь работал. Наверно, все, что положено, изучил и улик не нашел.

— Если бы ты видел их вдвоем пьяных! — Изабо покачала головой. — Ничего более отвратительного, чем эта парочка после двух бутылок водки, я в жизни не встречала. Мне захотелось треснуть Чесса бутылкой по лбу. Чтобы поумнел. Они придумали себе игру — Второй командовал, Чеська подчинялся. Он мог вдруг опуститься на колени и рукавом начищать Второму ботинок! Второй гонял его, а этот — чего изволите-с? Когда Чеська принимался спьяну паясничать, а Второй подстегивал его — это было страшно… Я видела это два раза. В первый — ошалела, но во второй — дала кому следует по роже. И выставила обоих из мастерской. Ты пойми меня… Я не могла простить этого Чессу…

— Я понимаю, — сказал Валька. — Наверно, ты была права.

— Ты думаешь, чтобы убить человека, обязательно нужно его силком в окно толкать? Иногда и одного слова достаточно. Вот Второй и нашел подходящее слово…

— Ты любила его? — спросил Валька.

— Трудный вопрос. Очевидно, любила… потом, когда уже не могла его вернуть.

— А хотела его вернуть?

Изабо ничего не ответила, только положила

голову Вальке на плечо.

— Я верну его, — кладя жесткую руку Вальке на колено, негромко ответила она. — Знаешь, бывают ведь чудеса на свете? Если просишь у судьбы тайного знака и она его посылает, грешно отказываться. Пять лет прошло, понимаешь, пять лет…

Валька накрыл ее руку своей.

Две уточки выплыли из камышей, неторопливо заскользили через все озерцо к другим камышам, впереди — селезень, за ним — его подружка. И так они хорошо плыли вдвоем, и до того им никто не был нужен… Валька почувствовал, что Изабо думает о том же.

— Да, — сказала она. — Чеська читал мне китайских поэтов. У них уточка и селезень — символ верности. Пойдем… Я провожу тебя. Через лес.

И Валька беспрекословно пошел, потому что и это уже было однажды.

Распогодилось. Ну до того распогодилось, что Валька с утра ушел на завод в одной рубашке. И оказался в корне не прав.

Днем пролился дождь и основательно похолодало.

Валька ругал себя за глупость, ведь не первый год живет в Прибалтике, мог бы усвоить заморочки здешней погоды. Так нет же, и шустри теперь

домой походной рысью!

Он был так озабочен, что не заметил Верочку. А она, непостижимо угадав, когда ждать его у проходной, вдруг ухватилась за локоть.

— Привет! — сердито сказал Валька.

— Привет, и побежали, — ответила она. — А то простыну. Я налегке.

— Я тоже, — буркнул Валька.

— Давай ко мне? — ни с того ни с сего предложила Верочка. — Если я сейчас же не выпью горячего чаю, то умру.

— Извини, тороплюсь, — честно признался Валька. Он забыл дома книжку Михайловского, которую собирался спокойно почитать в своей оформительской конурке. Уже несколько дней то заводская суета мешала, то домашняя. А хотелось понять наконец, что это за такой загадочный Чесс.

— Ну, пожалуйста, — жалобно сказала Верочка, заглядывая ему в глаза. — Ну, я очень тебя прошу…

— А в какой цвет ты меня сегодня покрасишь? — сердито спросил Валька. — В красное дерево?

И тут же устыдился — все-таки девчонка со сдвигом, наверно, нельзя с ней так сурово.

— Извини, пожалуйста! — пылко заговорила

Верочка. — Это просто ерунда какая-то получилась, мама перелила шампунь в другую банку, она ту банку уронила, та разбилась, но больше половины шампуня осталось, и она перелила в пустую банку от моего шампуня, а мне сказать не успела, она уехала, а я не знала, что в той банке шампунь из ее банки!..

— Фр-р-р! — сказал Валька, встряхиваясь. Эпопея с банками явно придумывалась на ходу. — Я же говорю, времени нет. И холодно на углу стоять.

Такой тон обидел бы любую другую девушку.

— Ты не поверишь, но я просто без тебя соскучилась, — тихо ответила Верочка. — Даже во сне тебя видела.

— Может, в другой раз встретимся? — растерянно предложил Валька. — Давай в мастерской, а? Суббота уже скоро.

— В субботу само собой. Но, Валь, в мастерской же всегда толпа народу. А я так не хочу…

Валька изумился — так откровенно за ним еще не бегали.

И Татьяна, и Надя из бухгалтерии, в сущности, сами проявили инициативу. Но обе сделали это незаметно и ненавязчиво — Валька и в первом, и во втором случае опомнился, уже угодив в ин-

тимные отношения. А эта странная, с толстенной косой и со сдвигом, — как она может такое выделывать?..

И ведь смотрит прямо в глаза, как будто Валька ясно не дал ей понять, что хочет домой.

Она так долго не отводила взгляда, что Вальку наконец словно ошпарило: а если это любовь? Бывает же любовь ни с того ни с сего? И не обязательно числиться со сдвигом, чтобы она на тебя свалилась.

Верочка все смотрела, да еще дышала, приоткрыв рот. Валька в глубине души усмехнулся неожиданной для себя мысли: нельзя, чтобы человеку не ответили на любовь, нельзя, чтобы он понял свою ненужность. И если все дело только в ритуале нечастой близости, если именно это спасет душу человеческую, то, пожалуй, стихи Чесса должны подождать.

— Пошли, — сказал Валька. — А лучше побежали. Я совсем околел.

И они оказались в той же комнатушке, которая по-немецки называется мейдхенциммер.

Верочка вытащила откуда-то голубой свитер ручной вязки.

— Надевай. Сейчас чай будет готов.

Свитер был мягкий, пушистый, теплый, соот-

ветствующего размера. Валька с удовольствием в него забрался. Он хотел было спросить у Верочки, чья это одежка, но вовремя вспомнил про пятнадцатилетнего братика.

Верочка сервировала на откидном столике. Валька согрелся, к тому же на сей раз он не был голоден, и стало ему бездумно-хорошо. Верочка толковала о театральных новостях. Вальку озадачила мысль: а о чем бы толковала в такой ситуации Татьяна? С подругами и родителями она говорила о косметике, колготках и детских болезнях. Как-то так вышло, что с другими мужчинами Татьяна при нем почитай что и не разговаривала. Но ведь есть у нее какой-то аварийный словесный запас для таких случаев?

Валька отвлекся. Верочка почувствовала это и стала искать кассету.

— Поставь Михайловского, — попросил Валька.

— Хорошо. Он тебе нравится?

— Еще бы.

— Жаль, что ты не слышал, как он по-настоящему поет. Кассета — это так…

Верочка задумалась.

— Знаешь, я ведь и влюбилась в него, когда он играл на гитаре и пел, — призналась она. — Мы

встретились в одной компании. Там все ребята были такие высокие, спортивные, и Чесс — как кузнечик, нет, действительно, у него локти торчали, как у кузнечика. Все такие крупные, с плечищами, — и Чесс. Ну, поддали ребята, закурили, я на него даже не смотрела. И тут он сел в середине комнаты, и ему дали гитару. Когда он запел, я стояла к нему спиной, и мне вдруг стало очень неприятно, даже неловко за него: как он может петь перед людьми таким голосом?..

Верочка помолчала.

— Если тебе неинтересно, скажи, — попросила она. — Может быть, это на самом деле интересно только мне одной.

— Мне тоже, — сказал Валька. — Я вот песни его слушаю, а какой он, даже не представляю.

— Его нетрудно представить хотя бы потому, что у него высокий голос. Если бы такой голос был у здорового дяди, это было бы просто смешно… а Чесс никогда не был смешным. В нем была гармония. Понимаешь? И такой голос, и эти локти в стороны, и это лицо, тонкое и открытое одновременно… не понимаешь?

Валька чуть улыбнулся ей — мол, продолжай.

— Он так пел, что хотелось стать перед ним на колени и смотреть снизу вверх. Когда я поняла

это, мне стало страшно. И я уже не могла сдерживать себя. Он так пел, что все подобрались к нему поближе и смотрели на него одинаковыми глазами, сумасшедшими и покорными… понимаешь?

— Ага…

— Я больше не могла, я подошла сзади… на табуретке за его спиной был краешек… вот я и села, и слушала, как он поет, прижавшись к его спине, прямо ухом — к спине… и ничего не понимала, только чувствовала эту спину и каждое движение рук, но мне даже не пришло в голову, что я могу его обнять.

— А он? — спросил Валька.

— А он пел. Конечно, он почувствовал, что сзади кто-то сидит, но я ему не мешала, и он пел дальше. А потом уже, когда он начинал петь, я даже выходила в другую комнату или коридор, я просто боялась потерять сознание. Я не думала, что можно так полюбить человека.

— А он тебя? Это ведь было бы страшно несправедливо, если бы он ничего не понял, — со вздохом сказал Валька.

— Он понял… Это было осенью, — Верочка тоже вздохнула. — Я сама пришла к нему. Я весь день чувствовала, что ему плохо и он зовет на помощь. А у нас был вечером коллоквиум перед зачетом,

и я была тогда такая дура, что осталась на этот коллоквиум, представляешь? Но я чувствовала, что должна бежать к нему… С тобой бывало такое — чувствуешь, что сейчас должно случиться?

— Бывало, — ответил Валька, потому что в последние недели с ним в основном это и бывало.

— Чесс сказал, что он как раз думал обо мне. И я поняла, что никогда не уйду оттуда, что там теперь мой дом. Я была готова, чтобы уже никогда не вернуться сюда, к своим, понимаешь? Конечно, сейчас это звучит глупо… Мы провели вместе остаток вечера, а потом встали у окна. Чесс жил на шестом этаже в старом доме. Это было французское окно, знаешь, от самого пола, оно открывалось в комнату и там еще был маленький парапет, вроде балкона. Мне сразу стало холодно, я прижалась к нему, он обнял меня и стал рассказывать про звезды, про Кастора и Поллукса — это звезды-близнецы. Он очень интересно рассказывал, но я ничего не понимала — так мне было холодно и так я чувствовала его руку… Потом мы вернулись в комнату, и я села на кровать с ногами. У него была такая смешная, скрипучая, проваленная кровать…

Она улыбнулась, улыбнулся и Валька.

— Он сел рядом. Я стала целовать его руки. Я

лежала головой на его коленях, целовала руки и чувствовала, что схожу с ума. Мне казалось, что я так и умру сейчас с этими руками у губ. А он молчал и позволял мне делать все, что я хотела. Потом он так же молча лег рядом со мной. Теперь я понимаю, что просто сама не оставила ему другого выхода — был третий час ночи, не выгонять же меня! А больше лечь ему было некуда.

И дальше Верочка заговорила, глядя прямо в глаза Вальке, с болью и отчаянием.

— Я слишком любила в тот вечер, чтобы еще и думать! Я приподнялась на локте и увидела, что он закрыл глаза и закинул голову, но он не спал. Наверно, он воображал, что рядом с ним не я, а совсем другая женщина и что это она его целует. Я знала, кто эта женщина, просто мне тогда было не до правды. Я так любила, что мне было не до правды! И мне было все равно, молчит он или говорит, смотрит на меня или не смотрит. Я слишком любила его, я непростительно слишком любила…

Она помолчала — возможно, ждала, чтобы Валька что-то ответил.

Но он был занят — пытался вспомнить, как у них было с Татьяной пять лет назад. И обнаружил, что вспомнить толком не может, что ту

первую ночь, когда все было нелепо и впопыхах, заслонили другие ночи, с их уверенностью и раскованностью. А главное — Татьяна никогда не целовала ему рук, и он даже не мог бы этого представить.

Когда он усилием воли отвлекся от этих воспоминаний, Верочка наливала себе остывший чай. Вся она сникла. Как будто выговорилась, и ни слов, ни дыхания не осталось.

Она попыталась втиснуть заварник между тарелками. Валька забрал его и поместил на подоконник, к кактусам.

— Ему не за что было любить меня, — глядя в чашку, сказала Верочка. — Ну, кто я такая? Студенточка, дурочка, бегала за ним по улицам и караулила возле мастерской Изабо — нет, правда, провожала его туда и ждала, пока он там сидел с Изабо, чтобы потом проводить к трамваю и ехать в другом конце вагона, да, все это я проделывала, и Изабо видела меня в окно… Он, скорее всего, просто терпел меня. Ведь вокруг него всегда было много девчонок, вечно он поил кого-то кофе и таскал кому-то цветы, даже когда начал ездить к Изабо…

Верочка задумалась. Валька осторожно протиснулся мимо нее и вышел на кухню — зажечь газ

под чайником.

— Спички на подоконнике, — сказала ему вслед Верочка.

Вернувшись, он встретил ее вопрошающий взгляд и кивнул. Это означало что-то вроде «рассказывай, я слушаю».

— Наверно, был уже четвертый час, когда он заговорил, — продолжала Верочка. — Уже после всего. Он ни слова не сказал, но это была такая нежность, слов и не нужно было вообще, они бы только все испортили… Он встал и, как был, вышел на балкончик. Я закуталась в одеяло и ждала его, даже позвать боялась. Он вернулся, сел, и я втащила его под одеяло. Он замерз на ветру, я прижалась к нему, чтобы отогреть. И тогда он сказал: «Наверно, я когда-нибудь сделаю этот третий шаг». Окно открывалось в комнату, чтобы встать у парапета, нужно было сделать как раз два шага. Он сказал про них, когда мы еще смотрели на звезды. «Третий шаг», — сказал Чесс. Я посмотрела ему в лицо и не поняла, шутит он так или нет. Тогда с него уже сошел крымский загар, и он больше не был похож на сиамского кота. Но его волосы показались мне седыми. Такие они в темноте были светлые. Я попросила его, чтобы он больше так не говорил. Он спросил: «А

думать можно?» Я поняла, что каждый раз у окна эта глупость приходит ему в голову. Я спросила, не случилась ли с ним неприятность. Он ответил, что он сам — одна большая неприятность. И среди людей без неприятностей ему, похоже, не место. Потом оказалось, что все это были мелочи, главные проблемы его ждали зимой. Он встал, оделся и сел за стол писать. Он писал при свече и проработал так три часа, не обращая на меня внимания. Может быть, он думал, что я уснула. Но я не могла уснуть. Потом я услышала первый троллейбус и стала одеваться. Он не обернулся. Я совсем оделась, он встал, провел меня по коридору и выпустил. Ни слова о том, что мы еще когда-нибудь встретимся, он не сказал. И я побежала на остановку.

— И он не проводил? — недоуменно спросил Валька.

— Он остался работать. А я вдруг забеспокоилась насчет тетради с конспектами, я как раз успевала заехать за ней домой и — на лекции, на первую пару. Глупо, да?

— Вы после этого встречались? — пытаясь хоть что-то понять, спросил Валька.

— Несколько раз. У меня, потом у него.

— И что, тоже молчали?

— Да, молчали… Чессу было тогда очень плохо, и он знал, что будет еще хуже. Ведь он был Первый, понимаешь? Всякие там сорок седьмые публиковались, и ничего, а у него рогатка за рогаткой. Он был лишним. Они с Лешкой писали правду, только Лешка уже тогда за границу собирался, а Чесс нет. Помнишь его песни? Вся его надежда была на эти кассеты. Из первого сборника половину стихов выкинули. Повесть он даже в издательство не понес — так прямо, неоконченную, пустил по рукам. Он понял, что его проза и стихи иначе не дойдут до людей, а больше он ничего делать не умел и не хотел. И если бы случилось еще что-то скверное… Ну, вот оно, наверно, и случилось…

— А Второй? Они же были вместе в тот вечер!

— Я сама тогда видеть не могла Второго. Как он не понял, что Чесса нельзя оставлять одного?! Ведь он вышел в коридор — и тогда Чесс сделал этот самый третий шаг! Наверно, Изабо и Толик напрасно его во всем обвиняют. Он не удержал Чесса — вот и вся его вина. Но они меня не слушают. Они все это понимают как-то иначе. А если бы они слышали, как он сказал про этот третий шаг… может, они бы поняли?

— А если Изабо знает больше тебя? Он же в

последние месяцы часто бывал в мастерской.

— Она слишком сильная, чтобы понять… И Широков тоже — он хороший, он добрый, он так к Чеське был привязан. Но они не видели, что Чеська из другого теста, что он весь издерганный, что у него нервы — как волоски. Они думают, все такие же толстокожие, как они сами!

— Здрасьте! — возмутился Валька. — Ты же сама говорила, какая Изабо чуткая, как она тебя понимает!

— Меня понимает. А Чесса никогда не понимала! И Чесса я ей не прощу. Ему же так тошно было, когда он к ней приезжал! Он приедет, а она работает, и никто ей не нужен, у нее свои проблемы. Чесс посидит, посидит в углу, ну, где этажерка, и едет домой. А она, может, спасти его могла! Только она в упор видеть не хотела, что с ним творится. А потом и вовсе выгнала! Он же ей про третий шаг не говорил…

Такой злости и ярости от Верочки Валька не ожидал. А она еще, разволновавшись, вскочила, не рассчитала движения, поддела плечом книжную полку над диваном — и все посыпалось на Вальку. Он успел подхватить магнитофон. А на колени ему лег гусар, при сабле, но без пистолетов.

— Кассеты тебе Чесс подарил или сама переписала? — спросил он, благо возникла зацепка.

— Две переписала, одну подарил.

— А что, больше не было?

— Песен, конечно, было куда больше. А все ли он записал, не знаю. Да мало ли кто мог их записать, пока он пел? А может, он успел записать сам и кому-то отдал?

— Не Второму?

— Да что вы все будто сговорились! — рассердилась Верочка. — Кассеты у Второго, пьеса у Второго, роман у Второго!.. Ничего такого у него больше нет. Были Чеськины стихи, которые в редакции завернули, — так он их давно Толику отдал. А вы все из него злодея сделали! Он ведь очень даже неплохой писатель. Я потом печатала его рукописи, когда уже ушла из университета. И когда «Приют обреченных» к печати готовили, тоже здорово помог. Ведь это мы втроем книгу сделали — Широков, Изабо и я. Она обложку нарисовала, в типографию как на работу ездила, чтобы цветоделение не испортили. Широков составил книжку, я перепечатала, корректуру держала… А Второй то нужному человеку позвонит, то насчет бумаги договорится… Ой! Папа пришел!..

Действительно, в прихожей кто-то хозяйни-

чал.

В глубине души Валька вздохнул с облегчением.

— Ты выйди в тот коридор, а потом я тебя выпущу, — вдруг перешла на шепот Верочка. — Пока он будет в холодильнике шарить…

В квартире вполне можно было заблудиться. Валька смирно ждал там, где велела Верочка, и дождался — поставив перед отцом разогретый обед, она выскочила в коридор и вывела его к двери.

На улице Валька обнаружил, что забыл снять свитер. Но было прохладно, и он немедленно построил версию, как Димка Русаков сжалился над ним и уступил ему свитер, а сам ушел домой в одной куртке.

По такому мелкому вранью Валька был крупным специалистом.

Дома Вальку ждал сюрприз.

Татьяна и теща возились со здоровенным пододеяльником, укладывая его так, чтобы сверху оказались все кружева и прошивки. Но поскольку кружева были далеко от прошивок, пододеяльник складывали по-хитрому, диковинными складками.

— Валь, мы в гости идем, — сказала Татьяна,

придерживая угол, пока теща обхватывала пододеяльник голубой атласной лентой. — У Аленки годовщина свадьбы. Тебя сегодня с какой-то девочкой видели. Что за девочка?

Валька остолбенел. Он бы охотно что-нибудь соврал и не поморщился, ведь не морщился же он, когда дома случайно зашла речь о Наде из бухгалтерии. Но на языке закрутилось и не желало исчезать этакое небрежное: «Да так, натурщица знакомая...»

Валька и молчал, чтобы эти слова, совершенно правдивые, боже упаси, не сорвались с языка. Потому что тем бы и кончились его хождения в мастерскую.

— Угол держи, ворона! — очень кстати рявкнула на Татьяну теща.

Голубая атласная петля по Татьяниной милости сорвалась с угла, и все хитросплетение спуталось. Начался спор о бантиках и розочках, лента замелькала в опытных Татьяниных руках, и мгновенно пододеяльник, перехваченный на иной лад, увенчался атласной розой с двумя хитрыми листиками.

— Опять все в последнюю минуту решаем, — как бы в пространство сказал Валька. Он быстренько придумал, что Верочка может быть

заказчицей свадебного альбома. А потом — свадьба рухнула или в цене не сошлись, если только Татьяна вспомнит.

— И не в последнюю, а просто я вчера забыла тебе сказать, — ответила Татьяна, любуясь пододеяльником. — Правда, прелесть? А на прилавке я таких уже больше года не видела. И вообще никаких не видела…

Валька понял, что расщедрилась теща, дала из древних, еще застойного времени запасов, когда пододеяльников в магазинах было бери не хочу. И наверняка теща с тестем по этому поводу совместную речь держали. Но отдали без жалости — Алена считалась одной из самых близких подруг.

Валька пожалел о загубленном вечере: ждала книга Чесса, а что поделаешь?

— Чего одевать-то? — спросил Валька. — Ты серый свитер постирала? Сегодня к вечеру так похолодало — я в Димкином пришел.

— Постирала! Это Димкин, что ли? Здорово! А что если в нем и пойти? Свитер потрясный! Как раз к глазам и к новой куртке.

— Танька, утюг! — напомнила теща. Татьяна впопыхах стала раскладывать платье на доске. Потом она бегала в спальню переодеваться и

краситься. Потом торжественно вышла.

Илонка оставила свои кубики, встала с пола и потопала к маме.

— Нельзя, Илоночка, нельзя, маленькая, у мамы платьице, нельзя его ручками хватать! — удержала девочку теща. — Валь, займи ребенка, а то заревет.

Валентину дали на руки дочку. Он покачал малышку, почмокал ей, изобразил языком несколько булькающих трелей — в общем, задание выполнил. Девочка рассмеялась и не отпускала его, хотя полностью готовая Татьяна уже сердилась в прихожей.

Тесть и теща с блаженными улыбками переманили внучку к себе и встали у дверей — ожидать, пока дочь с зятем отбудут. Они очень одобряли такие выходы в гости. «Вы молодые, вам нужно встряхнуться», — каждый раз говорили они. Сперва это звучало великолепно. Пять лет спустя — ругнуться хотелось.

Придя к Алене, Валька обнаружил на лестнице компанию молодых мужей с сигаретами. Их выставили покурить, пока жены носились по квартире с тарелками, туфлями и младенцами. Татьяна радостно включилась в эту суету. Потом всех малышей уложили в ряд на тахте, пере-

мерянные туфли вернулись к хозяйкам, даже тарелки в конце концов все разместились на столе. Мужей впустили в комнату и предупредили, чтобы галдели потише — за стеной в спальне спят дети.

Съев и выпив сколько положено, гости разбились на кучки. Магнитофон был включен, но негромко, чтобы не мешать беседам, потому что танцевать все равно было негде. Валька присоседился к магнитофону.

Понемногу он перепробовал почти все кассеты, но морщился — репертуар у Алены был дешевый. А последняя кассета оказалась и вовсе прескверная — наверно, Алена мудрила сама, а техника женских рук не уважает. Но вдруг сквозь запись прорезался из хрипов высокий и вибрирующий мужской голос. Прорезался и исчез.

Валька поскорее прогнал до конца скверно записанную дребедень Modern Talking. Шипение продлилось пару секунд, не больше, и голос Чесса явственно пропел: «Да беда, досуга нет, каждый день расстрелы». И снова повторил эту загадочную строчку.

Валька про себя ругнул Алену дурой, и даже почище, — записала какое-то дерьмо собачье на такой кассете! Но тут Чесс запел совершенно

незнакомую песню.

— Я слышу, как я умираю, как кровь течет куда-то вбок, как плющит плечи потолок и как нога скользит по краю… — пел он без надрыва, просто, даже задумчиво. — И как улыбка на губах смерзается заиндевело, не хочет шевелиться тело, душа лежит вся в червяках…

Валька вспомнил: Чесс погиб ранней весной, и про улыбку было сказано точно. А песня продолжалась.

— И нет тепла, и нет простора — еще не гроб, но как бы морг, я много бы, наверно, мог, когда бы не чужая шпора, — пожаловался Вальке Чесс. — Так рано, Господи, так рано, так не туда и так не так меня погнал ездок-дурак и на прицел взяла охрана…

Больше в песне не было ни слова, только недоуменные какие-то аккорды, пока не кончилась кассета.

Смертельно обидевшись на дуру Алену, Валька вынул кассету и сунул себе в карман. Потом он отыскал взглядом жену. Татьяна царила в кругу подруг. Ей что-то говорили, а она благосклонно слушала. Ей было с кем оставить ребенка, на ней сверкало импортное платье, ее муж не надрался, как некоторые, а с достоинством слушал

музыку… Хотя Татьяна и вовсе ни в чем не была виновата, Валька круто надулся и на нее.

Потом началось шумное прощание, заворачивание спящих детей, а на кухню уже перетаскивали грязную посуду.

После толчеи в прихожей и галдежа на трамвайной остановке Валька наконец ощутил ночную тишину в пустом трамвае. Татьяна сидела с его сумкой на коленях, а он стоял, обняв поручень, и упорно не желал садиться. Очевидно, сказывалось спиртное…

Он был наедине с отражением, и тому Вальке, что за немытым стеклом, было еще тише, еще смутнее на душе, чем этому, реальному. Тот Валька сам был частичкой тишины, которая вот-вот может стать тревожной.

— Как странно видеть тишину, обняв сосну, — пробормотал, а может, и пропел реальный Валька.

Татьяна отвернулась и насупилась. До вокала он еще ни разу не допивался.

Это оказалось Вальке на руку. Дома она не предъявляла к нему никаких претензий — что с пьяного возьмешь. Она просто разделась, умылась и быстро легла спать. А он взял «Приют обреченных» и пошел в ванную читать.

Голубой свитер Татьяна бросила на корзину с грязным бельем — вежливость требовала, чтобы пользованная вещь была возвращена хозяину выстиранной. Валька накинул свитер на плечи, сел на край ванны и так читал стихи.

Но читал он их как-то странно.

То, что нравилось и доходило сразу, перечитывал. То, что казалось путаным и странным, оставлял на потом, даже не пытаясь вникнуть. Да и какое там вникнуть — после шампанского, водки и «токая»!

Той песни с кассеты он в сборнике не нашел. И в первой книжке Чесса ее наверняка не было — оттуда же старательно выпололи все такие мрачные штучки. Стало быть, он, Валька, совершил открытие? На этот вопрос мог ответить только Широков. Он возился с архивом Чесса, он знает точно, что опубликовано, а что нет. Но где искать Широкова? Изабо его тогда выпроводила, своего адреса и телефона он Вальке не давал. К Верочке обращаться вовсе не хочется: мало ли какая чушь придет ей в голову? Валька провел рукой от лба к затылку — волосы после той головомойки до сих пор не очухались!

Собственно, и к Широкову его не очень тянуло. Он помнил, как усыпляла его злополучная пьеса,

задуманная Чессом и воплощенная Широковым. Очевидно, не зря Изабо прозвала Анатолия Пятым. Пятое колесо в телеге… Четверо что-то писали, творили, вот — кассеты до сих пор по городу ходят, а Пятый — так, сбоку припека, в меру слабых силенок…

Да еще папка с пьесой, которую Вальке всучили чуть ли не насильно! Ждет ли Пятый, что Валька ее прочтет и скажет комплимент? Или вся компания просто использует его как несгораемый шкаф? Чтобы Широков, боже упаси, опять не стал возиться с убогой пьесой?

Валька, человек далекий от драматургии, и то понимал: история Александра Пушкина и Марии Волконской мало подходит для сцены. Ну, оказались в Сибири, ну, несколько лет встречались и беседовали, и больше ничего в их жизни не происходило. А то, что сочинил за эти годы Александр Пушкин, волей-неволей должно остаться за кадром, потому что рукописи утеряны, и никто не знает, что было в тех трех сафьяновых портфелях, о которых что-то туманно сказано в мемуарах то ли Пущина, то ли Бестужева. А выдумывать, что там могло быть такое, Широков не пожелал.

Очевидно, и Чесс этого не стал бы выдумывать.

Но почему же он решил писать пьесу об Алек-

сандре Пушкине? Что такое он знал или придумал, чтобы получилось интересно?

И тут Валька чуть не съехал в ванну. Он вспомнил возню Изабо с зайцем, вспомнил какие-то изыскания Широкова о русских суевериях, о зайце, не к добру перебегающем дорогу. Было уже близко, близко, горячо… а не давалось в руки!

Разгадка была там — на берегу озерца, на тропе от автобусной остановки через лес к поселку, под тройной сосной. Там, где для Вальки звучала давняя «Баркарола». Что-то сплавило вместе романс Козлова, историю о Пушкине, размашистый бег по тропе и прибрежному песку, старые лодки, мимо которых шли вдвоем мужчина и женщина, смяло их и скрутило, как ком теста, и теперь из этого кома лепится некая новая сущность — только Валька, ощущая в себе эту лепку, никак не мог понять, что должно получиться в результате.

Но в том, что над ним нависла тайна, которую может разгадать только он и никто другой, Валька в эту ночь не сомневался. Шампанское, водка и «токай»… да, с этого может потянуть среди ночи и на тайны. Но хмель выпустил на свободу те ощущения, которые уже давно не давали Вальке покоя. Сейчас, на краю ванны, ему думалось легко, и он с тоской подумал, что завтра все будет

иначе — ну, воздух сгустится, что ли, и мысль, которая летает сейчас, и память, которая преподносит то, чего в нее не закладывали, опадут, отяжелеют, словно через кисель поплывут.

Это было самое обидное…

В субботу Валька сунул выстиранный свитер в сумку и отправился в мастерскую. Дома он сказал, что собирается к Димке на огород — что-то там у него с насосом. А вообще планировал попросить Изабо передать свитер Верочке.

Изабо собиралась куда-то в гости. Она принарядилась — надела черное платье с серебряными полосками и широким лаковым поясом. Вся ее роскошная стать так и заиграла. Она побывала в парикмахерской: волосы стали короче и улеглись в прическу — густая челка на лбу, два острых угла ложатся на щеки, сзади коротко и ровно. Это была не та женщина, которую Валька обнимал на берегу, под причудливой сосной. Ему даже было непонятно, что она делает в мастерской. Такой ее видеть он не желал.

— Можно, я это оставлю для Верочки? — спросил Валька, доставая свитер.

— Ради бога, — прихорашиваясь перед зеркалом, сказала Изабо. Видимо, в зеркале она и увидела свитер, потому что резко повернулась и

ткнула в него пальцем.

— Это как к тебе попало?

— Верочка дала.

— А чего это она тебя вдруг свитерами снабжает? — очень недружелюбно спросила Изабо.

— Да я на днях сглупил — выскочил из дому без куртки. Вот она и одолжила…

— Она что, теперь на свидания мужские свитера с собой носит?

— Да нет, мы к ней зашли чаю попить.

— Ясно. И договорились, что ты его сюда привезешь? — голос у Изабо был сварливый, впору от такого голоса поскорее ноги уносить.

— Да никак не договаривались! Я просто в нем грелся, да так и ушел.

— А что же не хочешь прямо ей отнести? Она сейчас дома, можно позвонить.

Валька пожал плечами и с изумлением ощутил, что его лицо само собой образовало брюзгливую и очень недовольную гримасу.

— Чего и следовало ожидать, — прокомментировала эту гримасу Изабо. — Что, наслушался исповедей?

— Было дело.

— В основном про Чесса? Или про меня тоже?

— Про него.

— Жаль мне девчонку, — подумав и явно смягчившись, сказала Изабо. — Если бы я могла ей помочь, то, конечно, помогла бы. Но она зациклилась на Чессе, ты это и сам видишь, и помочь ей может только время. Бог с ней, я даже рада, что есть человек, который так его любит, как мне уже не дано.

— Но ведь и ты его любила… — неуверенно возразил Валька. И поймал себя на крошечной, крохотулечной, но все-таки ревности.

Стоявшая перед ним женщина была дьявольски красива, и обведенные черным стальные глаза, и прямые сверкающие волосы прибавляли ей этой дьявольщинки, что уж говорить про облегающее платье. Но эта ревность была свеженькой, прямо со сковородки, в глубине же Валькиной души и памяти все имело совсем другие оттенки и свойства. Там любовь Чесса к Изабо и любовь Изабо к Чессу недавно слились во что-то целое и гармоничное, хотя и неподвластное словам.

— Ты знаешь Чесса по песням и чужим исповедям, — ответила Изабо. — А это был совершенно невыносимый человек. Постоянно делал из мухи слона. Чуть на него косо посмотрели — всё, мировая трагедия! Внутрииздательскую рецензию на него заказали дураку — целый вечер будет при-

читать. Вот и люби такое сокровище! Я спросила его: за что я должна расхлебывать все его каши? Я была с ним совершенно искренна. Хочешь приезжать — приезжай. Хочешь сидеть тут целыми днями — сиди, только без монологов. Хочешь песни петь — пой. Ну, у каждого свои неприятности, но почему я, женщина, не раскисаю, а он, мужчина, мечется в поисках сильного плеча? Ну вот оно, мое сильное плечо! И не стыдно тебе за ним прятаться?

— Ты так ему и сказала? — решительно, это была не Изабо. Эта суровая дама ввек бы не копала могилы для гипсовых уродцев.

— Еще покруче сказала. Я вот теперь иногда, под коньяк, вру Верочке, что если бы можно было начать все сначала — все у нас с ним было бы иначе. Я бы его понимала и берегла. А на самом деле все было бы точно так же. Потому что обстоятельства и характеры были бы те же. Если Верочке от этих врак легче — слава богу! Но тогда бы ее это не обрадовало. Знаешь, как она его выслеживала? Стояла под забором и издали в мое окно заглядывала! Я как-то вышла и подошла к ней. Она поздоровалась и убежала. Вот так мы и познакомились. А свитер давай сюда, я передам. Она точно ничего про него не говорила? Мол,

приезжай в нем в мастерскую, здесь встретимся?

— Да нет же!

— Ну, ладно… Ты только не придавай значения нашим исповедям. Это все слова, а словами соврать — раз плюнуть… Ага! Явился!

На улице загудела машина. Валька выглянул — Карлсон, в шикарном свитере, сидел за рулем.

Изабо и Валька вышли из мастерской.

— Тебе куда? — спросил Карлсон, до того благодушный и сияющий, что Валька чуть ему не позавидовал.

— К Широкову можно?

— Почему нет? Садись, друг пернатый. Охотно подвезем! — и Карлсон как бы украдкой глянул на Изабо, причем физиономия была довольная — дальше некуда, еще бы, для него же принарядилась…

— Ты что, прочел пьесу? — удивилась Изабо, зная о произведенном эффекте, но как бы не желая его замечать.

— Да нет, просто я нашел еще одну песню Чесса, — в подтверждение Валька предъявил украденную кассету. — Я ее раньше нигде не слышал, в книжке ее нет.

— А что же мне не сказал? — упрекнула Изабо. — Послушали бы, я бы тебе сказала, что это

за песня.

Вальке неловко было говорить, что в этом деле он больше доверяет Широкову, и он смутился. Опять же, и в голосе скульпторши была какая-то фальшь.

— Это склероз, — выручил его Карлсон. — Знаете, как бабка в кафе пирожные покупает? «Ах, у меня в голове такой эклер!.. Дайте, пожалуйста, два склероза!»

Валька взглядом поблагодарил его.

Машина тронулась. Изабо уставилась в окошко, всем видом показывая, что размышляет о смысле жизни. Карлсон сосредоточился на руле и соорудил самоуверенную физиономию — великолепный мужчина в расцвете сил везет и демонстрирует всему миру свою красавицу! Валька тоже стал молча изучать пейзажи и ландшафты, думая при этом, что Карлсон вполне мог сделать скульпторше официальное предложение. Супружество получилось бы по уму, что и говорить. А поскольку женщин с именем Изабо имелось две, то, скажем, позавчерашняя подняла бы банного строителя с его предложением на смех, зато сегодняшняя…

В центре города его выпустили в нужном месте и объяснили, за каким поворотом проходного

двора интересующие его подъезд и квартира.

Думая, куда бы могла рвануть эта нарядная парочка, Валька позвонил в дверь. Открыла пожилая женщина.

— Анатолия Широкова можно? — жестяным голосом спросил Валька.

— Толечка, к тебе пришли!

В коридор вышел Широков в тренировочных штанах и тельнике.

— Валентин? Ну, привет, заходи. Чему обязан?

— Ты бы гостю сперва раздеться предложил, — вмешалась женщина, — в комнату пригласил, у меня как раз чайник закипает.

— Сейчас, мам, приглашу. Ну, приглашайся, что ли.

Вид комнаты поразил Вальку. Все стены выше широковского роста, весь потолок были в парусниках и истребителях.

— Вот, сперва баловался моделизмом на досуге, теперь оказалось, на это прожить можно. Представляешь, в комиссионках берут! — объяснил Широков. — Вот и ковыряюсь. Наверно, в детстве чего-то недоиграл. А может, единственная была отдушина. Если у тебя шариковый стержень кончится, не выбрасывай, собирай для меня.

Широков показал крошечные пушечные ство-

лы, которые он делал для своих корветов из наконечников стержней.

— Я тут тебе одну штуку принес, — сказал Валька. — У тебя кассетник есть?

Широков достал древний магнитофон, и Валька, не говоря ни слова, вставил кассету, заранее отмотанную до нужного места.

Услышав начало песни, Широков остолбенел.

— Ты где это взял? — выпучив глаза, навис он над Валькой. — Что это за кассета?

— Спер, — усмехнулся Валька. Они вместе прослушали обе стороны, но больше ничего не обнаружили, только всякую скверно записанную дрянь и загадочную строчку про расстрелы.

— Снесу в радиокомитет, — решил Широков. — У меня там кое-кто есть. Может, продерутся сквозь эту чушь…

И никакого спасибо Вальке.

Валька чуток обиделся и пошел бродить вдоль книжных полок, на которых не было ни одного знакомого имени.

В простенке, незаметные с первого взгляда, он и обнаружил две гитары.

Валька в гитарах плохо разбирался. Одна, что больше на виду, была классическая дровяная, из светлой фанеры, самая дешевая из всех, какие

нашлись в магазине. Но что вторая — дорогая и необычная, он сообразил. И не по чему-нибудь, а по цвету.

Ее больше всего хотелось назвать смуглой. Это был живой цвет, точнее, масть живого существа, и ничего в этом оттенке не чувствовалось полированного и деревянного. Бывают же статные смуглые женщины, почему же не быть смуглой гитаре?

Валька деликатно положил на теплое темное дерево пятерню — какая-то долгая нота протянулась, пролегла от гитары сквозь его тело. Она заставила вздохнуть, причем обреченным вздохом. Гитара требовала, чтобы ее гладили, ласкали, долго улещали, прежде чем коснуться струн. Но пальцы были уже нетерпеливы. Отродясь не воображавший себя бардом или менестрелем, Валька понял, что если Широков его не остановит, начнется ужасное — он будет брать поочередно два известных ему аккорда и бормотать, бормотать, стыдясь убогого своего голосишки.

— Ну так откуда эта запись взялась? — отцепил его от гитары Широков. — У кого ты ее спер? Им эту кассету подарили, что ли? Или они ее откуда-то списали? А? Ну, детектив же ты…

Валька даже расстроился: действительно, следовало расспросить Аленку. Впрочем, ей в тот вечер было не до кассет.

— Ты раньше слышал у него эту песню? — спросил он, заметив краем глаза, что Широков тоже прикоснулся к гитаре, как бы прося у нее прощения, что недоглядел, подпустил постороннего.

Теперь Вальке стало ясно, что это за гитара.

— Этой — не слышал, — признался Широков. — Наверно, одна из самых-самых последних…

— Интересные у него в голове были мысли…

— Нормальные мысли. Тебе бы так досталось — ты бы и не то запел.

Валька если и задумывался о собственной смерти, то примерно так: когда-нибудь, когда жить надоест и все зубы вывалятся. Или катастрофа. О том, чтобы самому ускорить это дело, он и не помышлял. Не было таких причин. И вот он напряженно старался смоделировать мысли человека, которому так круто досталось от жизни, что уж лучше самому уйти, пока еще круче не стало. Получалась словесная чушь. Строки песни не помогали.

Это уж, скорей, была песня человека, который чувствует, что его убьют, а не сам наладится в окошко. Но ведь Карлсон трезво рассудил. И

даже чувствительная Верочка его поддержала. Их доводы и вспоминал Валька, пытаясь найти в песне логику.

Логики не было, была смертная тоска, и он ощущал ее как холод, нестерпимый белый холод, окруживший того, кто заблудился зимой на льду огромного залива и потерял ориентацию в пространстве. Куда ни глянь — ни неба, ни земли, все белое и ледяное. Валька читал про этого человека в газете и даже обозвал его балдой осиновой: а не отрывайся от своей рыболовной компании! Сейчас он вспомнил все и даже больше, чем было в газете. Он чуть-чуть, на сутки какие-то, заглянул в будущее и увидел, как тот, обессилев, лежит на льду, теряя тепло и наполняясь холодом, глядя в высокое небо, и к нему уже неторопливо идут тени чьи-то, склоняются над ним, его время растянулось, и медленны движения тех, кто прикасается пальцами к его лбу и забирает что-то тяжелое из его уж мертвой руки… бр-р-р!

Валька даже встряхнулся — с такой четкостью встала перед глазами эта картина. Только бесплотные тени оказались на ней в длинных черных плащах, и плащи эти чертили полосы на нетронутом снегу, и то, что взяли из руки умирающего, было похоже на огромный старинный

пистолет.

— Давай переписывай кассету, — сказал Валька, стараясь, чтобы получилось уверенно, а вышло беспомощно-грубовато. — Пойду, отнесу Аленке и докопаюсь, где она это взяла.

— Я отшифрую, это быстро, — и Широков, опять включив кассетник, взял бумагу и ручку. — А ты как раз чаю попьешь.

И сразу же открылась дверь, широковская мама внесла поднос с чаем и домашним печевом.

Но Вальке и чай оказался не впрок. Пока Широков отшифровывал слова, ему пришлось прослушать песню раз пять, и не целиком, а крошечными кусочками, по три-четыре слова. Это было все равно что кромсать живое тело — заставлять высокий вибрирующий голос покорно повторять все те же слова. Должно быть, Широков таких вещей не понимал… Да еще в голове предельно побледнел, но никак не гас до конца тот ледяной пейзаж, и если бы песня прозвучала как положено, Валька под нее разглядел бы еще что-нибудь.

Чтобы перебить настроение, Валька пошел копаться в книгах, а из памяти вызвал «Баркаролу». Она уже не раз выручала его, причем спасала именно от Широкова, и Валька не постеснялся

замурлыкать ее вслух.

Широков насторожился.

— Это что за романс? — спросил он, чуть ли не стойку сделав.

— Это «Южная ночь» на слова Козлова, — гордясь эрудицией, ответил Валька. — Ее как раз во время вашего Пушкина пели.

Толстый том сам раскрылся на развороте с фоторепродукциями. Это были черно-белые портреты женщин той, декабристской поры — одинаковых со своими прямыми проборами и локонами на висках, с губками бантиком и обнаженными плечами.

— Правильно, — согласился Широков. — Ее пела Александру Пушкину одна поразительно красивая женщина. Ее звали Анна Петровна Керн, и она была женой генерала Керна. Пушкин, насколько можно судить по одному его письму, влюбился в нее. Это было за полгода до декабрьского бунта.

Кинув взгляд на женские портреты, он протянул было к ним руку, но забирать у Вальки том что-то раздумал.

— Чья улыбка, голос милый, волновали все сердца и пленяли дух унылый исступленного певца… — как умел, пропел Валька. — Думаешь,

это про нее?

— Кто его знает… — тут Широков задумался. — Про Козлова я очень мало читал. Про Пушкина — так это Чеська литературу о декабристах собирал, я кое-какие книги забрал…

— И еще один вопрос. Кто такой Торкват? — спросил, перебивая тему, Валька.

— Какой еще Торкват? — не сразу понял Широков.

— Ну, с октавами. И вдали напев Торквата гармонических октав.

— А-а, так это, наверно, Торквато Тассо. Был такой поэт в средние века в Италии. Писал октавами.

— Поэт — октавами? — искренне удивился Валька. — Я думал, композитор!

— Октава — это куплет такой из восьми строчек, — доходчиво объяснил Широков. — А Торквато Тассо… Вот что он сидел в сумасшедшем доме несколько лет — это я точно помню. Он влюбился в сестру какого-то там итальянского герцога, а его за это объявили сумасшедшим. Если я ничего не путаю…

— И что он написал? — задал Валька очередной вопрос.

— Откуда я знаю! Так далеко я не забирался.

Пей чай, а то уже остыл, наверно. Тебе подлить горячего?

— Подлей, — сказал Валька и вспомнил про увесистый том в руках, про одинаковые свежие мордочки. — А что это была за Анна Петровна Керн? Она здесь есть?

Каким-то тревожным сделалось круглое лицо Широкова. Он неопределенно кивнул и опять протянул руку за книгой.

Но Валька уже увидел Анну — единственную в профиль, без локонов и с тяжелым узлом темных волос. Одна тонкая прядь случайно выбилась из него и протянулась по шее, и потянулась к груди.

Алену Валька нашел на рабочем месте — в универмаге.

Она стояла за прилавком, тоскливо глядя на покупателей, аккуратная, подтянутая, со свежим личиком — и не скажешь, что вчера перебрала шампанского.

— Ну, зачем пожаловал? Танюха, что ли, прислала? — кисло спросила Алена. — Ишь, торопливая… Погоди, не крутись тут, отойди в сторонку, я тебе все вынесу. Талоны давай.

— Какие талоны? — деловито спросил Валька.

— Колготочные! И на детские колготки. Четыре

тюка всего привезли, это на день работы, козлы… Давай скорее, и вот тебе чек. Заплатишь в кассе и жди меня вон там.

— У меня с собой только на носки и полотенца, — покопавшись в кошельке, сообщил Валька. — И вот молочные…

— Тебе что, Танюха дать забыла?

— Ну!

— Корова! Ладно, завтра принесешь, только чтоб точно!

Мешок с четырьмя парами колготок по госцене Алена всучила ему на служебной лестнице — и так народ злой ходит, повод ему давать незачем.

— Скажи ей, пусть носит на здоровье!

— Ален, у меня к тебе дело.

— Какое еще дело на рабочем месте! Катись, все дела — по телефону!

И убежала в свою секцию.

Валька задумался: колготки для жены и дочки обошлись в пятьсот рублей, на что же он теперь отоварит молочные талоны? И по привычке сразу же сочинил, что будет врать дома, если спросят, каким ветром его занесло в универмаг. Гуашь кончилась, а на нее пока еще талонов нет. Пришлось за коробкой поганой гуаши тащиться аж в универмаг. Но нужна для работы.

Понедельник Валька решил посвятить широковской пьесе. Она лежала у него в конурке и ждала своего часа. Широков увлекательно рассказал ему, что им с Чессом удалось раскопать про этого самого Пушкина. Книжки с полок снимал, ксерокопию дуэльного кодекса, изданного в конце прошлого века, из папочки вынимал. И интересно было сравнить, что он наговорил и что написал. Наговорил, естественно, куда интереснее.

Первым его встретил Денис Григорьевич.

— Лозунг надо изготовить на сборочный цех, — сказал он. — Вот текст. Буквы чтоб аршинные. На торец, над самым входом.

— Из пластика буквы? — спросил Валька.

— Как тебе приятнее.

— Из пластика быстрее. И их еще потом можно использовать.

— Тем более. Давай, чтобы послезавтра было сделано.

В конурке Валька развернул бумажку и с изумлением прочел такую двусмысленную угрозу: «Чем выше пост, тем строже спрос!»

Зачем бывшему парторгу потребовалось вешать такое сообщение — это уже была не Валькина забота. Сказано — надо делать. И так весь

завод удивляется, за что ему идет зарплата.

Пластик и кое-какие буквы у Вальки были в запасе. Он мог без суеты и папку широковскую переворошить, и букв недостающих нарезать сколько надо.

Валька развязал эту самую папку, и первая же строка первой страницы ошарашила его наповал.

«АЛЕКСАНДР. Ты хочешь знать, где я пропадал эти четыре дня? Изволь!

МАРИЯ. Я не собираюсь ни в чем ограничивать твою свободу.

АЛЕКСАНДР. Благодарствую! Впрочем, хороша свобода…

МАРИЯ. Я не желаю портить себе и тебе жизнь нелепыми сценами. Нас мало здесь осталось, Саша, нам бы поберечь друг друга.

АЛЕКСАНДР. Да и как еще ограничить мою свободу? Вот разве что надеть мои прежние кандалы с трогательной надписью: “Мне не дорог твой подарок, дорога твоя любовь!” Вся моя свобода — провести тайно четыре дня с женщиной.

МАРИЯ. Неприятностей не будет, Сашенька?

АЛЕКСАНДР. По-моему, на поселении это дозволяется. Государь лелеет надежду — женюсь и буду плодить верноподданных. Впрочем, она

замужем. Пока ее муж провожал обоз, она приютила меня на заимке.

МАРИЯ. В конце концов, это даже занимательно. Она, верно, молода… а мне тридцать первый пошел… Очевидно, ни одна любовь не могла бы выдержать наших испытаний. Саша, ты еще хоть немного любишь меня?

АЛЕКСАНДР. Люблю, Маша, видит бог, люблю. И никуда я не денусь.

МАРИЯ. Саша, ты говоришь это, стоя у окна и глядя в сугроб… Я так боюсь потерять тебя, Сашенька, я же из последних сил счастлива, ведь я больше ничего не могу тебе дать, только это, что же ты смотришь в тот проклятый сугроб?..

АЛЕКСАНДР. Я измучил тебя, прости. И сейчас ты мне ничем уже не можешь помочь.

МАРИЯ. А та… Анна… она — могла бы?..»

Так оборвался этот разговор. Дальше были отдельные фразы на листках, непонятно чьи. Связи между ними не было, и Валька отложил их в сторонку. Дальше лежало несколько сколотых листов без поправок, видимо, окончательный вариант.

«Та же комната, убранная уже несколько роскошнее, фортепьяно у стены, стоячие пяльцы, кресла, стол под кружевной скатертью. По виду

нормальный быт женщины из приличного общества. Мария сидит за пяльцами и подбирает цветную шерсть для вышивки. Александр листает книгу.

МАРИЯ. Ты не прав, Саша. Ведь пишет же Бестужев, и государь позволяет печатать его повести! С той поры, как его перевели на Кавказ, кто его только не печатал: и “Сын Отечества”, и “Московский телеграф”. И сколько повестей, Сашенька! И все написаны после двадцать пятого года. Значит, можно?

АЛЕКСАНДР. Господин Бестужев-Марлинский? Карп из прелестных Марлинских прудов, который приплывает на серебряный колокольчик? И кто же этот господин Марлинский, позвольте спросить? Какое отношение он имеет к жертвам двадцать пятого года? Где в Петровском остроге каземат господина Марлинского? Где его кандалы с трогательной надписью? И куда его сослали на поселение?

МАРИЯ. Тебе не стыдно, Саша?

АЛЕКСАНДР. Ах, только не хвали мне эти марлинские повести! Я мальчишкой такого не писывал. Рыцарские турниры, сбрызнутые розовой водицей, и непременно счастливый брак усатого героя со златокудрой героиней! А на приправу

— мужество русских мореходов, русских драгун и русских латников. Если бы я прислал государю на цензуру этакое творение, его бы по высочайшему указу в три дня напечатали, и государь изволил бы сказать: “Слышали новость? Этот плут Пушкин начинает исправляться! Похвально, да и пора бы — десять лет как собирается…”

МАРИЯ. Но ты сам сетовал, что публика тебя забыла, что твои поэмы читают одни ветераны… Ты бы мог наконец закончить “Онегина”, и его наверное уж позволили бы напечатать!

АЛЕКСАНДР. Не напишу ни строчки. Единый способ не солгать теперь самому себе есть молчание».

И дальше Пушкин пространно объяснял, почему он за годы каторги и ссылки вообще ничего не написал, хотя прочие даже дружно выпускали самодельные журнальчики. Мария предлагала помощь дюжины своих петербуржских родственниц и приятельниц, уже имевших опыт в распространении подобной литературы.

— Если государство вынуждает поэта лгать, хитрить, менять почерк, взывать о помощи к Вареньке Шаховской, чтобы донести до читателя свое правдивое слово, значит, государство одолело поэта, — сказал ей на это Александр. — И

в любой миг может его, голубчика, прищучить: «А что это, батенька, за стихоплетство по рукам ходит, уж не ваше ли? Экое неблагонадежное! Не ваше? Ну-ну… будем искать сочинителя».

Это уж было прямым намеком на самого Чесса, его похождения с комитетом госбезопасности, его стихами, выпущенными самиздатом, и песнями, тиражированными магиздатом.

Широков написал правду про Чесса, но уж никак не про Пушкина. Просто Широков выкрутился, не мог же он заставить Пушкина в пьесе сочинять стихи, раз ничего не уцелело. Но Чесс бы этого делать не стал. Валька ощутил в себе неукротимое сопротивление широковскому замыслу, и это сопротивление было того же корня, что странные выкрутасы памяти в последние недели.

Срочно надо было поговорить о пьесе с Широковым.

Валька повозился с буквами, нарезал их по трафарету на пол-лозунга, но надоело ему это занятие, запер он конуру и понесся искать Пятого.

Широков, видимо, числился в каком-то учреждении: когда они с Валькой столкнулись во дворе, он был в костюме и при галстуке.

— Привет, — первым сказал Широков, и его

круглая физиономия изобразила живейшее внимание. — Нашел что-нибудь?

— Ни фига я не нашел. Разговор есть.

— Ну, пошли ко мне. Мама чаю заварит, поговорим.

Они поднялись наверх, и Широков с удовольствием содрал с себя и пиджак, и галстук, и рубашку.

— Ма-ам! — завопил он. — Чай тащи!

И развалился в кресле. Справа и слева от этого кресла были столики со всякими мелкими инструментами — наверно, Пятому хорошо было сидеть тут вечерами и мастерить свои парусники… а вон там, на подоконнике, мог сидеть Чесс и напевать с середины новую песню… на подоконнике? Да, пожалуй, там удобнее всего.

И должно быть, Чесс немного завидовал тому уюту, который создал для себя Широков, особенно фрегатам и баркентинам. Сам-то он вряд ли заботился об удобствах и интерьере…

— Ну так в чем же дело? — спросил Широков.

— Я пьесу прочел.

— Какая там пьеса, наброски…

— Ну, пусть наброски. Вообще мне понравилось, — не зная, как начать, сдипломатничал Валька.

— Ну, спасибо тебе, добрая барыня! Может, мне ее и закончить надо? И опубликовать?

Это уж была явная провокация.

— А чего ты боишься? — вдруг сообразил Валька. — Теперь не то еще публикуют. У меня теща этими делами интересуется. Знаешь, сколько через нее этих книг проходит?

— Публикуют в основном покойников, мальчик-Вальчик. Вот Чесса не стало — его стихи вышли. Но есть одна пикантная деталь. Тех, кто расправлялся с давними покойниками, вытащили на свет божий. Точнее, их кости. А тех, кто допрашивал Чеську, — фиг вам! Может, полсотни лет спустя их чем-нибудь заклеймят. Я все чаще думаю, если убийца до сих пор расхаживает, значит, государство одним этим намекает: ребята, не лезьте не в свое дело, так?

Валька, собственно, хотел поговорить о более возвышенном — о замысле Чесса. Странный поворот Широкова его удивил. Но, если вдуматься, он был в порядке вещей. Карлсон же предупреждал, что время от времени эта компания приступает к поискам убийцы.

— Ты тоже уверен, что его убили? — спросил Валька. — А какие у тебя доказательства?

— Скажи, — торжественно начал Широков, —

было у тебя в жизни хоть раз такое состояние, когда начато великое дело и нужно довести его до конца? Состояние Жанны д'Арк?

— Это как? — не понял Валька.

— А так — я должна спасти Францию, больше некому.

— Нет, такого не было, — честно подумав, сказал Валька. — Но ты говори, я попробую понять.

— Попробуй. Чесс написал повесть, небольшую. Отстучал в трех экземплярах. Один сразу сел переделывать, два других пустил по рукам. Ну, они и попали к идиотам… Особой ценности они, кстати, не представляли — ну, вроде развернутого плана событий. И к тому времени, когда Чеську стали трясти, он много успел переделать.

— А про что эта повесть?

— Неважно! — вдруг рявкнул Широков. — Это нетленка самая гениальнейшая была, вот что важно! Злая, понимаешь, пронзительная нетленка, вопль отчаяния! И пропала! За ней бы теперь в очередях давились… Только, Вальчик, ее нигде нет.

— Когда она пропала? — по-следовательски спросил Валька.

— Я за два дня до той ночи приходил к Чессу. Он показал мне новый кусок. А после его смерти ком-

нату сразу опечатали. Приехала тетка, комнату вскрыли, я вместе с ней и вошел сразу. Ну, бумаги разобрал, пока она продавала мебелишку. Повести уже не было. И вообще много что пропало. Я знаю, что он уже и для пьесы пару сцен набросал. Куда все подевалось? Последним там побывал Второй. Но доказать, что это он взял рукописи, уже невозможно. Там явно случилось что-то неожиданное. Я не знаю, как Второй добился, чтобы Чесс сиганул в окно, но это его работа.

— Если бы силой, наверно, следы бы остались.

— У него другая сила. Он бутылку коньяка с собой принес. Он той весной всю дорогу к Чеське с коньяком бегал. Изабо его за это гоняла. Боялась, что Чесс сопьется. Она сама тогда один раз здорово напилась в одиночку и поняла, что это проще, чем кажется.

— А она из-за чего?

— Ну, из-за чего пьют художники? С Министерством культуры чего-то не поделила.

— Все это не доказательства, — сказал Валька. — Я не знаю, как прыгают в окно, но вряд ли в такую минуту думают, что вот, рукопись остается неоконченной…

— Черт его знает… Меня бы мысль о неоконченной рукописи, наверно, могла спасти, — гордо

признался Широков.

— А мысль о матери?

— Я у матери не один. Просто другие — удачливые. Сестры хорошо вышли замуж, а она вот к оболтусу жить приехала…

— Знаешь, что для меня было бы доказательством? — заявил Валька. — Если бы я точно знал, что они чего-то не поделили.

— И это имело место… Понимаешь, Чесс не то чтоб вообще мешал Второму… Ну, сформулируем так: он не был нужен Второму в этом веке и в этом городе. Мы ведь сбились в кучку только по географическому признаку! Второй не бездарь, боже упаси, но он отлично знал, что он Второй. Он тоже писал честно… Однажды со злости решил: все, сажусь писать производственный роман, опубликую, а гонорар вместе пропьем и сдохнем! Просмотрел какую-то дрянь в этом жанре, поиздевался и сел за работу.

— Ну?.. — искренне заинтересовался заводской человек Валька.

— Вывел, как тогда полагалось, отсталого директора, гуманиста-парторга, передового главного экономиста и засекреченного алкоголика-бригадира. Тут его и повело! Бригадир спьяну принялся чудеса творить! Как надерется — так и

чудо. Все стали его поить по мере надобности. Зависимость вычислили между маркой спиртного и качеством чуда. Ну, в общем, фантасмагория. А начало он отрубил и выбросил. Физически не смог писать тягомотину. Это тебе портрет нашего бывшего приятеля и соратника в положительном освещении.

— Тоже бы неплохо почитать, — заметил Валька.

— Опубликовано в журнале и двух сборниках, — сообщил Широков. — А теперь переходим к доказательствам. О том, что стихи Чесса опубликованы за границей в русском журнале и альманахе, знали все. Но о том, что он получил оттуда вызов, все не знали.

— Вызов куда?

— Держись крепко — в Израиль! — изумление на Валькиной физиономии довело Широкова чуть ли не до истерического хохота. — Понимаешь, туда свалил один из нас — Лешка. Он женился так удачно. И он организовал гостевой вызов Чеське. Тот сперва обалдел. Лешка его письмом проинструктировал, как себя вести и что предъявить, чтобы не отказали. А пришел этот чертов вызов очень кстати — в разгар всех неприятностей. Чеська то ехать собирался, то

не знал, как от этого вызова откреститься, ведь гэбисты твердо знали, что он такую бумажку имеет. И если бы поехал, то там бы и остался. В общем-то Чесс чувствовал, что никуда он не поедет. А Второй к нему прилип: поезжай! Он и меня просил повлиять на Чеську: его же здесь погубят! Гуманист, видишь ли…

— Но если он искренне?..

— Спекуляция, мальчик-Вальчик, спе-ку-ля-ция! Ему хотелось остаться преданным патриотом на фоне диссидента Михайловского, которого он бы публично осудил. Понимаешь, Второй — одаренный человек, и он устал воевать с кретинами. Чеське там, за границей, было бы уже все равно, кто и как его здесь поливает. И еще пока мы, все пятеро, были вроде бы вместе, нам бы никто ходу не дал. А поодиночке, как знать. Тем более если не будет главной заводиловки — Чеськи…

— Первый, Второй, Третий — Лешка, да? А где теперь ваш Четвертый? — подумав, спросил Валька.

— Да где угодно! — усмехнулся Широков. — Город — любой, а вместо дома и улицы одно слово — «госцирк». Ну, и фамилия. Когда все это случилось, умотал с первым попавшимся коллективом.

Он же и до этого в униформе работал.

— Черт знает что, поэт в униформе! — совсем ошалел Валька.

— Поэты тоже кушать хочут, — объяснил Широков. — Поэтому у нас можно быть только в свободное от основных занятий время. В порядке хобби, на уровне чуть ниже выращивания кактусов и чуть выше собирания оберток от мыла. Ибо на гонорары помрешь с голоду. Вон Чесс пробовал…

— Все равно ты меня не убедил, — напрочь забыв, зачем сюда приехал, буркнул Валька. — Мало ли что Второй советовал Чессу уехать. Он же ему не кулаком в лоб советовал!

— Наивный ты человек, — покачал головой Широков. — Ты что, никогда ссоры между пьяными не видел? Между прочим, я могу тебя сейчас одним пальцем толкнуть в плечо — и кувырнешься ты с подоконника во-он туда, в песочницу. И следов не останется. Понял? А в комнате Чесса было французское окно, которое от самого пола. Ему и кувыркаться не через что было.

— А что сказал Второй следователю?

— Сказал: выпили, побазарили, простились. Чесс вывел его в коридор, вернулся и выкинулся. Все очень просто. Правда, про вызов почему-то

ни слова. И неизвестно, куда он подевался. Вообще задачка с кучей неизвестных. Не ломай над ней голову, мальчик-Вальчик. Напрасно я тебе рассказываю… Да и чай стынет…

Широков как-то угас, поднес к губам чашку, вздохнул, поставил ее обратно.

— Скверно все это, — сказал он. — И пьеса моя дурацкая не спасает… И ничего я не могу поделать…

Он встал и снял со стены дровяную гитару. Взял аккорд, подтянул приму. Валька поймал его взгляд, приласкавший смуглую гитару. Видно, Широков обрек ее на пожизненное молчание.

— Не строит, — пожаловался Широков. — Ну да ладно. И так сойдет.

Он негромко заиграл и запел.

— Свечи в кованых подсвечниках горят, о романтике гитары говорят, серебрятся переборами, точно звончатыми шпорами… Теплым телом лакированным дрожат, струнной дрожью завлекают-ворожат, ах, с такими бы гитарами быть нам добрыми гусарами…

— Чесс? — недоверчиво спросил Валька.

— Я, — ответил Широков. — Читаешь про тот век, и до чего же все просто! Вот тебе жизнь, вот тебе честь, вот тебе стихи… И сколько же они в

себе силы чувствовали, эти ребята, Валька!

— Чесс сам уничтожил эту бумажку, — вдруг уверенно сказал Валька. — Чтобы соблазна не было.

— Какой соблазн?! — уставился на него Широков. — Ты что, сбрендил?

— Обыкновенный соблазн… — Валька понял, что объяснять это Широкову бесполезно. Чесс порвал в клочья вызов за несколько дней до явления Второго. Он уже знал, что добром не кончится, но решил идти навстречу всем неприятностям. А потом не выдержал? Или его чем-то подрезал Второй?

Все это было связано с пропавшей пьесой. Что-то в ней такое решил для себя этот Александр Пушкин из серии «Литературные памятники», что и Чессу было стыдно решить иначе… но что?..

Потом Валька шел по улице, а в голове у него возникали фразы из широковской пьесы, и они совершенно не вязались с тем, что он думал обо всем этом на самом деле, они только мешали думать.

Но других слов и фраз у него пока не было.

Изабо предалась весенним хлопотам.

Она созвала соседок и устроила огородный

консилиум. Вопросы были серьезные: где копать новые грядки под клубничник, и если переносить его на песчаный склон, то куда девать кусты малины, а также будут ли расти огуречная трава с кинзой в тенистом и сыром месте?

Валька понял, что скульпторше не до него.

Он приготовил себе глину, стеки, поставил в качестве модели одну из ранних вещичек Изабо и взялся за работу. Дело заладилось. Хотя Изабо почти не давала ему советов и никогда не критиковала, он чувствовал — понемногу начинает видеть так, как увидела бы она. Хорошо это или плохо, Валька пока не знал. Но под возню с глиной легко думалось о совсем посторонних вещах.

Изабо вошла и присела на подоконник.

— Устала, — призналась она. — Или это просто свежий воздух? Не разберу. Так ты что, был у Пятого?

— Почему ты до сих пор зовешь его Пятым? И почему он до сих пор не дал тебе за это по шее? — спросил Валька, прицеливаясь стеком, чтобы снять корявый слой глины с нужного ему изгиба.

— Вот если бы дал по шее, я бы поняла, что он больше не Пятый, — сказала, фыркнув, Изабо. — Должно же у человека быть самолюбие!

Понимаешь, он весь был как будто сделан из того, что осталось от Чесса. Тень Чесса. Он и тогда ничего из себя, боюсь, не представлял. Не стало Чесса — и его не стало. Решительно все, что он написал за эти пять лет, неинтересно. Когда я поняла, что просто Чеська пригрел симпатичного графомана, мне стало очень невесело. Понимаешь, пять лет назад у них куда ни глянь — сплошные оправдания. Период застоя виноват, журнальная критика виновата, КГБ виноват, плохая погода виновата! А теперь нужны новые оправдания…

— Можно подумать, тебе тогда хорошо работалось, — возразил Валька.

— Пять и более лет назад? А что? Неплохо! Идеи были. Воевала. А вот теперь довоевалась, огородничаю. Застой и прогресс тут ни при чем. Просто я иссякла. Имею я право иссякнуть или не имею?

— Имеешь! — сразу и бодро согласился Валька. — Но, между прочим, Широков не такой уж безнадежный. В его пьесе не хватает направления, что ли? Ну, вот как если бы надел Чесс рюкзак, набитый книжками про декабристов, и зашагал направо, а Широков взял тот же рюкзак и зашагал налево.

Изабо вдруг сползла с подоконника и подошла совсем близко к Вальке.

— Ты сам до этого додумался? — спросила она. — Вообрази, у меня было то же ощущение.

Валька вздрогнул — это был голос той Изабо, что на берегу озера говорила про тайный знак судьбы. И она, похоже, лучше его самого знала, что с ним творится…

— Я стал делать вещи, которых сам от себя не ожидаю, — вдруг признался он. — Знаешь, иногда говорят: «У меня в голове мысль, и я ее думаю!» Ну так я теперь думаю какие-то не свои мысли.

Изабо поправила ему волосы и погладила по щеке. Он посмотрел на нее с надеждой: вдруг растолкует, вдруг успокоит? Найдет объяснение, ведь кому же, как не ей, всю эту чушь понять!

— Не бойся, — сказала она. — Нормальное явление. Скоро начнешь летать во сне.

Слова были совершенно не те, но Валька благодарно улыбнулся ей, улыбнулась и она — возможно, впервые за всю весну.

— Я не боюсь, — ответил он. — Мне просто немного странно. Я не могу понять, что там, у меня в голове, должно получиться…

— Когда я позвала тебя в мастерскую, помнишь, я сперва в тебе разочаровалась. Ты был какой-то плоский… понимаешь? Двухмерный. Не очень интересный.

— Зачем же ты меня терпела? — ласково спросил Валька, и ответ уже был сказан тогда, на берегу, ему просто хотелось услышать его заново, но другими словами.

— Выпустила джинна из бутылки, так терпи… И еще, когда ты в первый раз показал свои рисунки, мне понравилась та женщина — за пианино и у окна.

— Анна? — догадался он. — Знаешь «Баркаролу»? Она поет «Баркаролу». А где-то далеко ее слушает Пушкин. Я хотел рассказать это Широкову, но не получилось.

— Она поет, а он где-то далеко слушает… думаешь, это возможно?

Валька понял, что имеет в виду Изабо.

— Думаю, что возможно. Если только она этого хочет. Она может петь… а может лепить распятие.

Изабо окаменела.

Окаменел и Валька — про распятие он сказал неожиданно для себя.

— Изабелла Альбертовна! — позвали со двора.

Она коротко вздохнула и выбежала из мастерской.

Вальке же совершенно расхотелось лепить. Он чувствовал себя неловко после этой сцены. Он

угадал, угадал, но такие догадки обязывают… Пытаясь усмирить смятение, Валька прикоснулся пальцами к пластилиновому распятию.

Он гладил пыльный пластилин и чувствовал, что поза маленького Спасителя — промежуточный миг движения, а нужен окончательный. Спаситель замер на первом вздохе воскресшего, а он должен дышать. Валька еще немного приподнял его скрытое прядью волос лицо, поправил ноги. Теперь Спаситель отталкивался от невидимого креста перед взлетом. И дышал.

Валька понял, что больше он сегодня уже ничего не сделает — весь ушел в три движения большого и указательного пальца. Он вышел из мастерской и бездумно пошел куда глаза глядят — оказалось, к озеру. Ему захотелось увидеть это озерцо и непременно двух уточек, кротко и неторопливо его пересекающих, и два веера воды, сверкающие вслед за уточками.

Было тихо.

Валька поднялся на холм, увидел озерцо, а поблизости на склоне мелькнула другая, такая же тонкая и легкая фигурка — кто-то в темно-синей рубашке с короткими рукавами скользнул меж сосен и даже на миг прижался к коре щекой. Валька весь подался к тому, исчезнувшему, и ощутил,

что это его удерживает нагретой корой сосна, что это его щеке вдруг стало шершаво и хорошо.

Мир вокруг онемел и стал как стеклянный.

И Вальке показалось, будто он заключен в сосуд с расписанными изнутри стенками, а там, за нарисованным озерцом, и за соснами, и за небом — там-то и есть подлинный мир, откуда идет мощный поток пронизывающей тишины.

Он бесшумно пошел берегом назад, другой дорогой, и звуки стали возвращаться к нему, и в ложбинке продолжилась азартнейшая игра в подкидного дурака со всевозможными пошлейшими комментариями, и красивая девушка загорала на холмике, и дети отважно лезли в воду.

Возле дома Карлсона Валька увидел парня. Тот подкрадывался к мастерской. Местность явно была ему знакома.

Одет был этот разведчик в модные рябые штаны, и вообще все на нем было неприлично новое, даже бесстыже новое и заграничное. Бесстыже, потому что престижное тряпье нисколько не соответствовало тонкому и умному лицу, тонкой и уже сутуловатой фигуре. Как человек с таким лицом мог разжиться этими тряпками, Валька и вообразить не пытался.

Убедившись в чем-то для него важном, парень решил легализоваться.

— Добрый день! Хозяйка дома? — обратился он к соседкам на грядках.

— Изабелла Альбертовна? — переспросила одна из соседок.

— Гражданка Гронская, — сурово подтвердил парень.

В окне показалась Изабо, воззрилась на пришельца, всплеснула руками и воскликнула:

— Сынок!..

Валька так и встал.

О сыне он слышал впервые. Хотя теоретически… возраст подходящий… сходства, правда, ни малейшего, одна масть. Но смоляные волосы и короткая бородка парня курчавились, был он высок — это верно, и мальчишески тощ — она тоже не из толстых. Тут сходство и кончалось.

Изабо прыгнула с подоконника прямо в объятия к парню. Первых ее слов Валька не расслышал.

— Таки-да! — ответил ей парень. — Умудрился! И даже подарок тебе привез!

Он встряхнул импортный объемистый пакет, на дне которого болталось что-то тяжелое.

— Таки действительно подарок! — попробовав это на вес, развеселилась Изабо. — Таки сынок

вспомнил свою мамочку! Таки сынок порадовал свою мамочку!

Пока Валька изумлялся совершенно одесскому акценту Изабо, она с этим парнем звонко расцеловалась.

Глаза у него были темные, южные блестящие глазищи, а у Изабо все-таки стальные, северные. Узкое лицо, и брови, и высокий лоб — все было непохоже. И Валька понял, что это еще одна игра Изабо. Играет же она под настроение в роман с Карлсоном, и играет же она в хозяйку литературного салона, когда наезжают Верочка с Широковым, почему бы ей не сыграть в Одессу?

— Таки ты еще не выбрался из своей печальной весовой категории «разденешь — и заплачешь»? — тряся парня за плечи, шумела Изабо. — За что только тебя держат эти сумасшедшие Ибрагимовы?

— Ты чего? Я качаюсь! — запротестовал парень и показал, как на согнутой руке якобы шевелится бицепс. — Рустам заставляет! Сказал, иначе к мерзавцам не пущу, тебя такого любой барбос заломает, а мерзавцам и вовсе раз плюнуть! Он из меня настоящего джигита делает!

— Ва! Джыгыт! — Изабо щелкнула парня по носу и с дикой припевкой «Хоц-тоц-пери-вери-доц,

бабушка здорова, хоц-тоц-пери-вери-доц, кушает компот!» потащила его за руку в мастерскую.

Примерно через минуту она высунулась из окна и спросила у соседок, не появлялся ли тот молодой балбес, который полчаса назад уходил к озеру.

— Здесь я, — сказал Валька.

— А чего торчишь, как неродной? Иди сюда, с интересным человеком познакомлю.

Когда Валька вошел в мастерскую, парень как раз выпрастывал из пакета продолговатый сверток. Он посмотрел на Вальку с интересом, но интерес бы какой-то странный, тревожный.

— Знакомься, Валентин, это наш Четвертый, — официальным голосом сказала Изабо. — Молодой и перспективный.

Она взглянула на Четвертого так, как если бы спрашивала — Ну, каков? Одобряешь?

— Ясно, — ответил тот. — Значит, Валентин…

И ответил Изабо взглядом, прозвучавшим как м-да-а…

— Он самый, — согласился Валька, которому эта немая беседа что-то не понравилась. — Тоже молодой и перспективный. И так далее!

Тут руки его сами, без всякого приказа, совершили странное движение: локти растопырились,

пальцы растопырились, ладони повернулись вверх — вот так вот! Это уже было с ним однажды — когда накатило поиздеваться над Карлсоном. Но прибавилось резкое, даже судорожное движение шеей — голова набок, подбородок вперед, даже нижняя губа, и та подалась вперед.

Изабо и Четвертый стремительно переглянулись.

— Оба перспективные, — сказала Изабо. — Ну, так кто в этом доме помирал без кофе?

— Если мне в этом доме не дадут кофе, так я повешаюсь! — радостно пообещал Четвертый.

— Ты не сделаешь это своей мамочке! — и Изабо удалилась на кухню, а гость выпутал из бумаги здоровенный старинный пистолет.

— Дуэльный? — первым делом спросил Валька, поднабравшийся аромату девятнадцатого века.

— Армейский, кавалерийский. Дуэльные были изящнее. А вообще можно было стреляться и из таких. Гляди…

Четвертый показал выгравированную на меди под самым затвором надпись: «ТУЛА 1813».

— Видишь, из него еще по французам стреляли…

Изабо выглянула из кухни и увидела пистолет. Как была, с кофемолкой в руке, она подошла

поближе.

— Дуэльный? — с той же непонятной надеждой, что и Валька, спросила она.

— Да нет же, армейский! — удивленно ответил Четвертый. — Ты лучше спроси, как он ко мне попал!

— Спер, не иначе, — разглядывая пистолет, брякнула Изабо.

— Выменял на арапник у клоунов! — произвел впечатление Четвертый. — Ты знаешь, что такое контейнер с клоунским багажом? Там у них только батьки с мамкой нет, а остальное все есть. Башмаки восьмидесятого размера, рожи поролоновые, череп там же завалялся — настоящий, между прочим. Я им арапник сплел, меня джигиты научили, из ремешков. Он им для репризы понадобился, он щелкает эффектно, если умеешь, не хуже выстрела. Сперва они деньгами хотели заплатить. Я говорю: пустите в хламе покопаться. Вот нашел. Они его тоже у кого-то выменяли, думали, для клоунады пригодится, а оказалось, не понадобился. Потом мне его ребята починили. Были бы пули и порох, хоть сейчас к барьеру!

— И чего вдруг решил подарить? — осведомилась Изабо.

— Ты же любишь старинное оружие. Вот, па-

мять обо мне останется. Ну, не французские духи же тебе дарить!..

— Тоже иногда не вредно… — проворчала Изабо.

Пока Четвертый рассказывал про пистолет, Валька приглядывался к нему. Стало быть, вот он — поэт и циркач, талант из униформы, сгинувший пять лет назад.

Видимо, из всех друзей Чесса этот ей нравился больше прочих — больше Пятого, во всяком случае. Валька прямо-таки слышал резкий смех Изабо, отвечающей лукавому мальчишке на неуклюжий комплимент: «Да я тебе в мамочки гожусь!» Он прямо-таки ощущал, как рождалась эта игра в мамочку и мальчика, как обрастала всякой чушью и одесскими штучками в том числе.

Они пошли искать место для пистолета — непременно на стене и желательно на ковре, хотя такой роскоши в мастерской не водилось. И Валька съежился, когда, валяя дурака возле этажерки, Четвертый чуть не сбил на пол пластилиновое распятие.

— Ишь ты! — поразился Четвертый. — А в этом что-то есть…

Не может быть, чтобы он ничего не понял, подумал Валька, у него же глаза умнейшие! Но

он выстроил надежные оборонительные укрепления. И носу из них не высунет — даже ради Чесса…

— Кстати, я недавно где-то прочитал интересную штуку, — и Четвертый уважительно прикоснулся кончиками пальцев к распятию. — Оказывается, Иисус Христос был поэтом! Нет, это не художественный образ, просто все четыре Евангелия написаны, чтоб не соврать, по-гречески, да?

— Не помню, — призналась Изабо, а Валька — тот и не знал.

— Ну, так один ученый догадался перевести притчи Христа на арамейский, он же проповедовал как будто на арамейском? И получились очень четкие стихи, коротенькие и четкие, вроде эпиграмм! Представляете?

— Иуда, стало быть, донес из зависти и от творческий неполноценности? — поинтересовалась Изабо. Выманивала, выманивала этого зверька из норки! Но он пришел с приятельским визитом, не более того. Он не хотел ничего, что омрачило бы настроение.

— Про Иуду там не было. Неплохая статья, вот забыл, в сборнике была или в журнале.

— Грамотный! — одобрила Изабо. — Книжки

читаешь.

— Рустам дает возможность. Говорит, кому же и учиться, если не тебе, представляешь? — Четвертый кисло усмехнулся. — Они хотят еще одну единицу штатную выбить, чтобы был служащий по уходу, а меня — в ассистенты. Буду в манеж выходить, костюм сошьют. Мерзавцы меня любят. Когда я перед выходом держу их за кулисами, это целая комедия. Они же узнают музыку и начинают выделываться кто во что горазд. Кто вприсядку, кто лапами аплодирует, кто на одной лапе скачет — ну сумасшедший дом вывели на прогулку! Печенье, гады, клянчат. Вот, говорят, лошади — страшные попрошайки. Лошадь — что! Медведь — всем попрошайкам попрошайка!

Валька вопросительно глянул на Изабо: что же, эта сопля с живыми медведями возится?

Четвертый перехватил Валькин взгляд.

— Рустам и Раиса Ибр-р-рагимовы! «Медвежья оперетта»! — передразнил он циркового шпрехшталмейстера. — Слыхали? Аттракцион экстра-класса. За пять лет побывал в Венгрии, Чехословакии, Бразилии, Перу, Аргентине, Мексике, Гонконге и Японии!

— Расхвастался, — покачала головой Изабо.

— А разве нечем?

— Ну, а что кроме? — в лоб спросила Изабо.

— А что должно быть?

— Значит, только мерзавцы? — в этот вопрос Изабо вложила столько и голосом, и взглядом, что Валька весь напрягся. Она уже не намекала — требовала!

Беззаботность Четвертого его не обманула. Он почувствовал крутой поворот в разговоре.

— В общем, да, — подумав, сказал Четвертый. — Мне это дело нравится. Годика через два в ГИТИС буду поступать на цирковую режиссуру. Буду режиссером-постановщиком номеров с крупными хищниками. Решено.

— Тоже дело, — сказала Изабо и пошла на кухню сварить наконец кофе.

Четвертый медленно обошел мастерскую, перетрогал все на полках. Валька взял полистать для приличия книгу, но на самом деле следил за Четвертым. И оба молчали, избегая встречи взглядов, пока Изабо не принесла поднос с тремя чашками и тарелкой печенья.

— Я так понимаю, — сказала она, когда застольная беседа совсем уж не заладилась, — ты приехал сообщить, что мировой литературе на тебя рассчитывать не надо?

— Есть кому и без меня ее двигать, — спокойно

ответил Четвертый. — Вон Широков. Наверняка давно сдал книжку в издательство. А Второй, говорят, вообще свое дело открыл. Сам себя публикует, не иначе. Так что не пропадет мировая литература. Перестал я понимать, зачем все это нужно.

Пока он говорил, Изабо встала и взяла с полки томик Чесса.

— Держи! — шлепнула она книжку на стол. — Для тебя берегла, не знала только, куда послать.

— Удалось-таки! — восхитился Четвертый. — Что значит пять лет в городе не был… Спасибо.

Но к книжке даже не прикоснулся.

— Ты видел Пятого? — спросила Изабо.

— Нет, и наверняка не успею, — решительно ответил Четвертый, и Валька понял, что он не хочет ничего из своей прежней, домедвежьей жизни. Кроме Изабо… зачем бы?

— Спешишь к матери? — погрустнела Изабо.

— Я же всего на два дня. Хоть с ней толком наговориться…

Они явственно затосковали оба, и вместе с ними затосковал Валька и заходил по мастерской, мучаясь и не зная, куда себя девать.

Изабо с Четвертым встали и прощально обнялись.

— Ты здорово изменился, — сказала она.

— Да, отрастил бороду.

Она потрогала эту курчавую бороду кончиками пальцев. Он потерся щекой об ее руку. Старая игра в мальчика и мамочку еще длилась, хотя мелкими шажками отступала все дальше и дальше в небытие.

— Вот скажи мне, куда исчезает все то тепло, которое исходит от нас? — спросила Изабо. — В какое мировое пространство? Может так быть, что оно хоть кого-нибудь когда-нибудь отогреет?

— Оно рассеется в мировом пространстве, — ответил Четвертый. — Пространство большое, а тепло маленькое.

— А пять лет назад все было иначе — пространство маленькое, а тепло большое, — и Изабо, как обычно, фыркнула.

— Пять лет назад мне было восемнадцать. Ну, пойду я, что ли?

— Погоди, я тоже сделаю тебе подарок.

Изабо взяла со стола свой исторический охотничий нож, вытерла его о штаны и протянула Четвертому.

— Острое дарить не к добру, — предупредил он.

— А что теперь у нас к добру? Бери, бери,

пригодится. Будешь им колбасу резать и меня вспоминать.

Изабо шагнула к Четвертому, и они крепко обнялись. Валька понял — в последний раз.

— А теперь прощайся с Валентином, — потребовала Изабо. — Ну, давай, давай, прощайся.

— Прощай, Валентин, — помолчав, очень четко сказал Четвертый.

— И ты тоже прощай, — не менее четко ответил Валька.

— Так, — подтвердила Изабо.

Четвертый улыбнулся ей, подхватил свой пакет и вышел.

Наступило молчание.

— Черт, черт, как нелепо все вышло, — вдруг забормотала Изабо. — Не надо было мне его ни о чем спрашивать! Он же всей душой ко мне, а я…

— Зачем он приезжал? — недовольно спросил Валька.

— Меня увидеть. Ну, ему было интересно, как мы без него эти пять лет справлялись. И хотелось показать, что вот он тоже чего-то в жизни достиг… Ну, сложно все это.

— Чего доброго, на днях ваш Третий пожалует, — мрачно предрек Валька. — Как ты полагаешь?

— Полагаю, что вряд ли. Он там тоже бьется, как рыбка об лед. Ему не до путешествий. Русская литература и в России-то не кормилица, а за границей — вообще обуза. Но я слыхала, что писанину не забросил, и на том спасибо. Смотри! Четвертый книжку не взял!

— Догнать? — не рассчитывая на положительный ответ, ехидно поинтересовался Валька.

— Нет, — Изабо накрыла книгу рукой. — Зачем же сразу два прощальных подарка?

Тут Изабо и Валька одновременно вспомнили про пистолет. Он лежал на белом одноногом столике среди чашек. Они сели за столик и оба уставились на оружие.

— Подарочки!.. — проворчала Изабо. — Ничего себе прощальные подарочки!.. Могу теперь кого-нибудь вызвать на дуэль. Знаешь, Валька, раньше говорили не «вызвать на дуэль», а «позвать на поле», в прошлом веке и в позапрошлом. Поле, снег, желательно два барабана и вытоптанная дорожка, чтобы сходиться, остальное — роскошь. Ну и секунданты.

— Да-а… — протянул Валька. — Возьмешь меня в секунданты?

Изабо хмуро глянула на него, встала и, вертя пистолет, ковыряя пальцем то затвор, то в дуле,

принялась ходить по мастерской из угла в угол.

— Ты сейчас про Чесса подумал? — вдруг спросила она.

— Про Чесса, — признался Валька. — Ну, не может быть, чтобы мы так никогда не узнали правду…

— Что вы все требуете от меня этой правды? — вдруг ни с того ни с сего возмутилась Изабо. — Что я вам, Господь Бог? То Верочка устраивает всякие комедии и маскарады, то Широков по три часа катит бочку на Второго, то Карлсон — на Широкова! Сколько можно?! Дайте мне наконец спокойно работать! Что я вам — Шерлок Холмс? Доктор Ватсон? Собака Баскервилей?!

Отвечать Валька не стал. Он чувствовал, что вот сейчас поймет эту тайнопись судьбы — взаимосвязь между последними событиями, между недописанной пьесой, лесным озерцом, яростью Изабо и тульским кавалерийским пистолетом. Книга стихов Чесса как-то сама оказалась в руке.

Валька усмехнулся: у него — книга, у нее — пистолет. А что было у того опального поэта в остроге без окон? Что ему оставили, кроме двух женщин: одной в далеком балтийском городе, недоступной, как луна в небе, и по этой причине все еще любимой, и другой — любовь к ней мед-

ленно, но верно губил острог? И что мог сказать человек, мир которого втиснут в обтянутую старыми портьерами коробку и замкнут меж двух женских лиц, двух голосов, поющих в придачу один и тот же романс?

Книга сама раскрылась наугад.

— Меж двух дорог мир так убог, так нестерпим, так нестерпимо строг, меж двух веков лежит порог, куда ни встань, везде готов тебе упрек, — тихо подсказал Чесс. — Куда ни кинь, цветет полынь, и желтой одурью забита неба синь. И не уйти из двух пустынь. Хочешь — кричи, хочешь — умри, сгори, остынь…

— Ничего себе прощальный подарочек!.. — опять пожаловалась Изабо.

— А ни фига, — беззвучно сказал Валька Чессу. — Если чего-то не можешь сделать в жизни, очень хочется сделать это на бумаге, ведь так? С этого мы и начнем…

Изабо подошла к нему и заглянула в книжку.

— Подержи, — попросил Валька, а сам взял у нее пистолет, подкинул, поймал и почувствовал, как оружие само влечет руку вытянуться, прикрывая корпус локтем, само устремляется туда, где на другом конце протоптанной в снегу дорожки зеркальным отражением стоит некто с

вытянутой рукой, другую заложив за спину.

А вокруг — ледяной пейзаж, пейзаж не времени года, а полного безвременья, бескрайность и безнадежность, которые уже примерещились однажды. Но на сей раз хоть ясно, кто склонится над тобой и какую вещь осторожно возьмет из твоей руки.

— Я, кажется, понял… — вдруг охрипнув, сказал Валька. — Пушкин должен погибнуть на дуэли. Вот чего хотел Чесс!

— В Сибири? — удивилась Изабо.

— Да нет же! Помнишь зайца? Заяц перебежал ему дорогу, когда он ехал из Михайловского в Петербург. А он же верил в приметы и повернул назад! А потом все, что с ним было… Ну, как если бы было! Как он остался один. Как ему позволили жить в Петербурге. Как за ним следили. Как его вечно подозревали. Как ему на жизнь заработать не давали… Ну, все очень просто! И как он не выдержал и позвал на поле первую подвернувшуюся скотину! Ты все еще не понимаешь? А последних уцелевших друзей позвал в секунданты…

Стоило Вальке войти в свою оформительскую конурку, как захрипела радиоточка. Валька пожал плечами — передач не было уже несколько месяцев. Алик с колокольни держался на заводе,

как и он сам, непонятно за какие заслуги.

Под обеденный концерт «По заявкам слушателей», естественно, Вальке веселее работалось. Денис Григорьевич велел нарезать букв и дал образцы. Примерно к середине концерта появился и он сам.

— Готово? — спросил он.

— Заканчиваю. Вот это можно забрать, — и Валька дал ему стопку пластиковых букв для неизвестно каких лозунгов и девизов.

— Ты сейчас никуда не уходи, — предупредил парторг. — Ты мне будешь нужен. Карикатуры тебе рисовать приходилось?

— В школе, — ответил Валька. — На учителей. А что?

— Я имею в виду большие и чтобы похоже?

— Постараюсь.

Вместо того чтобы уйти, парторг сел на табуретку и молча стал листать старый журнал «Огонек». Он нервничал. Что-то он сегодня затеял. Отложив журнал, он встал и выглянул из конурки. Если дойти до двери склада и подняться на шесть ступенек железной лестницы, то просматривался весь инструментальный цех. Парторг не поленился, убедился в этом и вернулся.

Стоило ему присесть, как очередная песня кон-

чилась и зазвучал громкий прокуренный голос Алика.

— Сегодня у нас в студии один из самых уважаемых на заводе людей, — без всяких предисловий, работая под профессионального диктора, объявил Алик. — Денис Григорьевич Буденко расскажет нам о последних событиях в заводоуправлении!

Парторг опять вскочил и вылетел за дверь. Валька остался слушать.

— Я обращаюсь к вам потому, что всему должен быть предел, — весомо и в меру взволнованно гремел голос парторга. — Все знают, что у наших соседей, на заводе «Коммунар», недавно провели большое сокращение штатов. Все знают, что у нас цеха работают четыре дня в неделю. Но мы пошли на это, чтобы никто из наших товарищей не остался без куска хлеба. Вчера же стало известно, что большие сокращения ожидаются и у нас. Руководство завода убеждено, что, прогнав людей, оно спасет завод. Вам с цифрами в руках докажут, на сколько снизилось производство. Вам будут жаловаться на поставщиков сырья и на торговые организации! Но посмотрим дальше собственного носа! Те, кого волевым решением руководства прогонят с рабочих мест, сядут на жалкое пособие. Продукция нашего завода бу-

дет им уже не по карману. Нашим товарищам с «Коммунара» она уже давно не по карману. Народ нищает, наши товары лежат на прилавках без спроса! И чем больше нищих выбросят заводы, тем меньше шансов у заводов получить деньги за свою продукцию! А это новая волна увольнений!

А финал речи парторга был неожиданный: он призвал всех и немедленно на митинг.

Заваривалась какая-то страшноватая каша. Валька выглянул в цех и увидел парторга на лестнице. Парторг слушал галдеж в инструменталке. И когда первые энтузиасты потянулись к дверям цеха, он соскочил с лестницы и чуть не сшиб Вальку.

— Ватман, гуашь, все с собой! — приказал он. — Прямо на месте будешь писать и рисовать!

Валька схватил рулон бумаги, коробку с красками и понесся следом за Денисом Григорьевичем.

Митинги всегда проводились на спортплощадке. И обычно народ на них то сгоняли, то заманивали хитростью, а сейчас, поди ты, люди шли и шли. Лица были возбужденные и злые.

— Ага! — сказал парторг Вальке. — Посидели на талонах? Не нравится? Погоди, сейчас женщины заговорят! Они сразу вспомнят, как заводской детсад закрывали!

Дальше началась предсказанная парторгом суматоха. Слово действительно было предоставлено женщинам. Валька взял самую большую кисть, чуть ли не наугад тыкал в банки с гуашью, и еще не просохшие плакаты люди выхватывали у него из рук. Прямо в уши кричали ему слова для плакатов, и это в основном было: «Прочь!» и «Долой!». Со спортплощадки разгоряченные заводчане рванули к корпусу заводоуправления. Валька задержался, собирая свои художнические причиндалы, и толпа потекла мимо, совершенно не обращая на него внимания. Лица у людей были одинаковые — всем плеснули поровну ослепляющей ярости, у всех разлетелось в клочки терпение. Совершенно оглушенный шумом и эмоциями, Валька на какое-то время окаменел. Он не узнавал знакомых лиц. В ушах стоял гул шагов, он складывался в ритм, и ритм этот был до боли знаком, но откуда, Валька понять не мог.

— Молодец, Валентин! — это парторг, продравшись сквозь толпу, хлопнул его по плечу. — Иди отдыхай! Сейчас без тебя обойдемся!

Рука парторга втянулась обратно в плотное людское месиво, а Валька побрел в опустевшую инструменталку, соображая, что это за дурдом начинается на заводе. Он чувствовал страшную

усталость, как будто энергия, которой зарядили этих внезапно одичавших людей, была высосана из него. Что он такое писал на листах ватмана с кляксами, не соблюдая грамматики? Кого долой?.. Откуда прочь?..

Какая-то песня забилась в нем беззвучно и бессловесно. Как будто вымели из головы и слова, и мелодию, осталось только их точное ощущение. И этот ритм слаженной быстрой поступи полка, дивизии, дикой орды со штыками наперевес. Мучаясь от невозможности вспомнить, Валька сидел на табуретке и вертел в пальцах шариковую ручку, вертел, пока не сломал. Тогда он понял, что лучше идти домой.

Перед заводоуправлением все еще галдело продолжение митинга. Валька вдруг почувствовал такое отвращение к шуму, что, выйдя из инструменталки, пошагал совсем в другую сторону — не к проходной, которая была в трех шагах от заводоуправления, а наоборот, к одной из трех известных ему дырок в заборе.

Совершенно разбитый, угнетенный тем, что произошло на заводе, добрался Валька домой, а там теща встретила его похожей новостью.

— Бастуем! — объявила она. — Дожили — бастуем!

— Сумасшедший дом, — в пространство сказал тесть. — Ну что же, побаловались, и будет… Демократы, тудыть их в качель! Валь, тебе женщина звонила, эта, скульпторша. Просила срочно перезвонить в мастерскую. Кто-то там приехал, она тебя познакомить хочет, говорит, это для тебя очень важно.

— Микитин, что ли? — растерялся Валька. Это было некстати. Он надеялся, что к приезду мэтра приготовит и рисунки, и мелкую пластику, а вместо того занимался непонятно чем. — Да, это действительно очень важно. Тут судьба моих дизайнерских курсов решается.

— Какие, к лешему, дизайнерские курсы… — проворчал тесть. — Ты что, вовсе не понимаешь, что творится? Жрать скоро нечего будет, а ему — курсы!

— Талон на зимние сапоги вот дали, действителен три месяца, а на какие шиши выкупать? — спросила теща. — Лето на носу, а они мне зимние сапоги всучили! Илонке сандаликов хоть две пары нужно, я ей в сентябре покупала, думала, как раз к лету, а у нее ножка гляди как выросла! А на толкучке сандалики — полторы тысячи! Детские-то сандалики!

— Демократы хреновы! — ответил на это тесть.

Валька понимал, что все семейство вздрючено, а тут еще он, дармоед, встревает с глупостями. Поэтому он не стал спорить с тестем, а позволил дочке дать ему в руки фломастер.

— Вот зайка у нас сейчас получится, — забормотал Валька, одной рукой обнимая сидящую на колене девочку, а другой рисуя овал и примыкающий к нему кружок. — Вот зайкина головка, вот зайкины лапки, вот зайкин хвостик… А это что? А это зайкины ушки, а это зайкины глазки…

Илонка пыталась тоже ухватиться за фломастер. Потом Валька уговорил ее показать зайку маме, бабе и деду. А сам остался у края обеденного стола с дочкиным альбомом и машинально стал чертить странную геометрическую композицию, что посетила его недавно, похожую на классическое пространственное изображение ядра атома.

Он и вообще любил компоновать причудливые натюрморты из шаров, кубов, призм и конусов, прорастающих друг в друга, особо старательно растушевывая светотени и высветляя блики, а тут несколько шаров вписались в какой-то интересный каркас, и в этом был смысл.

Возясь с шарами, Валька вдруг отчетливо увидел в одном из них, поближе к центру, ту самую заячью морду, которую нарисовал дочке, и еще

она была похожа на зайца из папье-маше, довольно неудачно оклеенного кроличьей шкуркой.

Странные узлы плело сегодня воображение. И вдруг никак не получилось вспомнить, чью рожу он нашлепывал гуашью подряд на десяти плакатах, вдохновляемый галдящими девчонками со сборки. Рожа была родная, заводская, даже популярная, но вот фамилия вылетела из головы, хоть тресни, и повторить эту карикатуру сейчас на бумаге он бы тоже не смог.

Заяц обернулся шаром, потом шар опять обернулся зайцем. Валька ругнулся про себя: что же эта разгаданная им тайна преследует его и не дает покоя? Широков признал его правоту — действительно, экспериментатор Чесс мог додуматься до возвращения Александра Пушкина в Михайловское, что сулило полный разгул фантазии. И что поэт в пьесе непременно погибал на дуэли, Широкову тоже понравилось. Ему-то понравилось, а вот Вальке расхлебывай теперь чужую творческую галлюцинацию… Да еще принадлежащий ныне Изабо кавалерийский пистолет образца 1813 года, который намертво привязался, с одной стороны, к зайцу, а с другой — к снежной равнине, в которой из конца в конец протоптана тропинка. Длиннющая такая тропинка, куда

длиннее тех, что положены сходящимся бойцам по дуэльному кодексу…

Убедившись, что на него уже не обращают внимания, Валька тихонько позвонил в мастерскую. Изабо назначила ему срочную встречу в фойе Дома работников искусств. Голос у нее был очень озабоченный.

Изабо толковала, что мэтр на месяц взял там номер, что удобнее его посетить в такой вольготной обстановке, чем в городской квартире, а Валька вдруг услышал снова тот сегодняшний ритм, но только образованный уже не шагом, а словом.

— Парам-пам-пам, парам-пам-пам, бей, барабан, парам-пам-пам, гуди, дурман!

Тьфу ты, да это же «Императорская гвардия», вспомнил Валька, она самая! «Печатай шаг, блести, звени, металл кирас, войска идут на истребление зараз! А кто зараза — император скажет нам! Бей, барабан, гуди, дурман, парам-пам-пам».

Песня зазвучала где-то внутри во всю свою мощь, но не высоким голосом Чесса, а страшноватым мужским металлическим хором… сегодняшним гулом? Сегодняшней уверенной в своей силе яростью?

И вдруг Валька понял одну вещь. Он навсе-

гда разлюбил эту песню. Потому что перестал понимать себя прошлогоднего, влюбленного в походный ритм таких мужественных гитарных песен. Песня ополчилась на дурман, но она и сама до последнего времени была дурманом. Вальке стало стыдно, что он не понял этого с самого начала…

Машинально он повторил адрес Дома работников искусств, день и час встречи. Сказал, что приедет на взморье пораньше, заглянет в писчебумажный магазин насчет кисточек. Еще что-то сказал. И положил трубку.

До нужной станции Валька доехал электричкой, оттуда было еще минут десять ходу самой оживленной улицей поселка, а потом налево и тропинкой через дюны к десятиэтажному зданию.

Возле местного кинотеатра Валька задержался: афиша, видите ли, показалась любопытной. Тут его и тронула за локоть Верочка. Она была с Широковым.

Оба имели довольный и благодушный вид — вид отдыхающих из добротного санатория, которые раз в день выгуливают себя по единственной приличной улице в поисках любых развлечений.

— А мы в кино собрались, — сказал Широков. — Специально приехали посмотреть «Большую прогулку».

— Ой, я так хотела, это ведь просто замечательная комедия, и ее так давно нигде не показывали, я весь день боялась, что билетов не будет, — добавила Верочка.

Знакомое ощущение неприятной лягушкиной лапкой коснулось Вальки. Точно так же было, когда нарядная Изабо собиралась куда-то в гости вместе с Карлсоном, а он смотрел на нее, слушал ее и не узнавал. Эти двое тоже были, несомненно, Верочкой и Широковым. Точно так же, как Изабо в ярости и тоске хоронила своих уродцев, Широков отчаянно и безнадежно писал пьесу Чесса, Верочка продолжала его любить. И точно так же, как тогда Изабо, они перевоплотились в беззаботных, нарядных и банальных обитателей планеты. Этого Валька понять не мог.

— А ты тоже, что ли, в кино? — спросил Широков.

— Давай с нами! — предложила Верочка. — А перед сеансом зайдем, кофе попьем. Тут за углом очень уютный барчик открыли.

Валька смотрел, как она держится за локоть основательного Широкова и не понимал. Может, не

она торопливо шептала и горестно качала головой, рассказывая ему про свою любовь к Чессу? И тогда, когда зазвала к себе, тоже была — не она?

Люди вокруг Вальки становились какие-то другие… двухмерные, как сказала о нем самом Изабо, что ли? Он поймал себя на мысли, что не может им этого простить. Эта их незамысловатость, сменившая прежние бурные страсти, раздражала и причиняла боль. Раньше Валька такого за собой не замечал. Да, мир изменился. Очевидно, эта тройка безумцев могла вот так, будто по заказу, отдыхать от своего напряжения и возвращаться к нему. Да, действительно, нельзя же все на пределе… Пусть отдыхают. Их счастье, что могут…

— У меня дела, — ответил Валька. — Мне Изабо велела прийти в этот, как его… Дом работников искусства. Хочет меня наконец с Микитиным познакомить.

— Давно пора, — одобрил Широков, и больше говорить вроде было нечего.

К месту встречи Валька явился вовремя.

Изабо возникла перед ним из-за угла, стремительно и потому жутковато. Лишь секунду спустя Валька понял, в чем дело. На ней было узкое платье под цвет глаз — серо-голубое, сверкающее, как сталь. И взгляд от этого был светлым, сверка-

ющим, безрассудным.

Она быстро провела его через холл, где маялись перед ужином два старичка в дорогих спортивных костюмах.

Вместо того чтобы ждать лифта, Изабо рванула вверх по лестнице, Валька — за ней. Единым духом они поднялись на седьмой этаж, Изабо открыла номер своим ключом, вошла и повалилась в кресло.

— Мы что, опоздали? — спросил Валька.

— С чего ты взял?

— Спешили, бежали, а здесь пусто.

— Нет, все в порядке. Это не самого Микитина номер, а его подруги. Они сюда одновременно приехали, понимаешь… Ну, проблемы семейных людей… У Микитина сейчас гости из Москвы, и он где-то с ними шатается. Так что мы с тобой будем сидеть здесь до победного конца. Видишь, я уже расположилась, — и Изабо показала на свою большую сумку возле тахты.

— А чего здесь сидеть? Давай лучше пойдем куда-нибудь, кофе выпьем, — предложил Валька, догадываясь, что в таком заведении нельзя без бара.

— Не хочется, — ответила Изабо. — Давай лучше я тебя проинструктирую. Ты сейчас при нем

не лазь в сумку за рисунками. Вот когда он с тобой о какой-нибудь ерунде разговорится, я подскажу ему пригласить тебя в гости, в мастерскую.

— Тебе виднее, — согласился Валька.

Она включила магнитофон и распахнула балконную дверь.

С балкона было видно сразу и морской залив, и речной берег — Дом работников искусств стоял в самом узком месте перешейка. Валька заинтересовался пейзажем и вышел на свежий воздух, Изабо — за ним. Они молча смотрели на вершины сосен, и Валька удивился тому, что сверху они, оказывается, круглые.

— Ты не поверишь, но на меня иногда нападает боязнь высоты, — сказала Изабо и отступила назад в номер.

— Это соблазн, — сделав два шага вперед и взявшись за перила, объяснил Валька. — Вот уж не думал, что высота — такой соблазн…

Он вспомнил про третий шаг Чесса. В самом деле, что удерживает человека на грешной земле? В частности, его, Вальку, — что? Уж не та ли одинокая лодка посреди реки?

А ведь лодка действительно держала! Он не мог отвести от нее взгляда. Кто-то плыл сейчас на этой лодке… плыли двое, в обнимку, и им было

не до весел… опущенные вдоль борта горячие пальцы женщины полоскала прохладная вода… и ничего, кроме той любви, о которой мечтали целую долгую зиму…

Он чувствовал затылком взгляд Изабо. Долго выдержать этот тяжелый взгляд он не смог и, отбросив мысль о сигарете, вернулся к ней и закрыл балконную дверь. Она посмотрела ему в глаза и едва заметно кивнула.

— Ты всегда так справляешься с соблазнами? — спросила она, когда он не отвлекся музыкой, кучей журналов на столе, а молча выдержал ее взгляд.

— По-всякому бывает.

Валька напрочь забыл, для чего он здесь оказался. Что-то изменилось вдруг в мире, он стал сильным мужчиной, она — слабой женщиной. Что такое произошло за то время, что он смотрел с балкона на реку и залив, Валька понять не сумел. Но что он при последних словах не узнал собственного голоса, это точно — голос получился скорее уж как у Карлсона, у взрослого и уставшего от глупостей жизни мужика. Изабо подошла к зеркалу и стала поправлять свою безукоризненную прическу. Валька впервые видел ее перед зеркалом, это тоже было странно, ощущение

своей силы и ее слабости повторилось. Что-то с ними обоими произошло… возможно, это началось ожидание первого поцелуя, для которого оба давно созрели?

И тут Валька понял, что ни одного поцелуя между ними не будет. А будет объятие звериной силы, которое припаяет их друг к другу намертво, перемесит два тела, как два кома сырой глины, и собьет в плотную массу, которое заставит их мгновенно прорасти друг в друга на молекулярном уровне.

— Как нелепо, именно здесь… — негромко сказала Изабо, и Валька понял, что она имела в виду.

— Где захочешь, — ответил он. — И когда захочешь.

— Именно здесь и именно сейчас, — прошептала она, но это не было приказом, Изабо словно тосковала о том, что здесь и сейчас ничего между ними невозможно. Кроме объятия, которое сейчас померещилось Вальке.

Она быстро шагнула вперед и обняла его.

Сбылось нечто неотвратимое. Валька вспомнил мечту об этом объятии, которая еще полторы минуты назад никогда не была его мечтой. И все же она сбылась… почти… Изабо как-то странно

мотнула головой. Что-то с этим объятием у нее получилось не так.

Тут из коридора послышались голоса. И дверь распахнулась.

Это явился Микитин с подругой и московскими гостями.

И начался весь соответствующий случаю галдеж с кучей малопонятных для Вальки новостей и намеков, с разливанием по чайным стаканам сухого вина, с попыткой засунуть кипятильник в графин и с прочими компанейскими глупостями.

Гости оказались супружеской четой из околохудожественных столичных кругов. Они всех знали, всех звали по имени, посетили все престижные премьеры, не вылезали из кулуаров кинофестивалей и так далее. По интонациям задающей вопросы Изабо Валька догадывался, что ей эта бурная светская жизнь смешна, но и она, и ироничный мэтр Микитин пользовались этой забавной парой, как самиздатовской газетой с расширенным разделом светской хроники, и охотно поддерживали разговор.

Вальке спрашивать было не о ком и не о чем, он уж решил, что его забыли, но под прикрытием стола рука Изабо коснулась его руки. Валька в

ответ чуть сжал ее пальцы, страдая оттого, что не мог ей высказать внезапную смешную мысль: неделю спустя эта пара у себя в Москве будет трещать о том, что вот сидели за бутылочкой «сухаря» с Арнольдом, он поддал и в клочья разнес Колькин альбом вместе с Сашкиной выставкой. Какой Арнольд? Ну, Микитин же, таких людей знать надо!

Изабо уселась покрасивее, нога на ногу, и повела в разговоре свою тему, причем артистически подошла к проблеме промышленного дизайна. И преподнесла Вальку не хуже настоящей хозяйки светского салона.

Конечно, москвичи поняли ее игру, но это было лакомым кусочком — Гронская и молодой талант! Они исправно помогли Изабо раскачать Микитина, и Вальке пришлось отвечать на его ехидно-профессиональные вопросы.

Потом невысокая толстушка в брюках занесла одолженные вчера газеты, да так и осталась за столом. Явились двое мужчин, случайное приобретение микитинской подруги, и принесли еще бутылку. Словом, забурлила обычная вечерне-ночная жизнь Дома работников искусств.

— Который час? — тихо спросила Изабо у Вальки.

— Половина одиннадцатого.

— Выйдем-ка в коридор.

Там она с полминуты постояла, соображая.

— Значит, так. Ты посиди пока тут, потрепись, а я сейчас приду. Минут через десять, наверно. Хочу кое к кому в гости заглянуть.

Она огладила на себе платье, запустила пальцы в прическу и вывела к щекам два острых уголка.

— Ты сегодня красивая, — сказал Валька.

— Так надо.

— Тебе не холодно в этом платье? — спросил он, подумав, что возвращаться отсюда придется поздно, да еще ей ехать через весь город.

— Я взяла с собой свитер, — ответила она. — Думаю, что холодно нам с тобой сегодня не будет…

Сказав эти или слишком простые, или слишком невразумительные слова, она повернулась и пошла мимо лифтов к лестнице. Стальное платье блестело и, кажется, даже отсвечивало. Стук каблуков гасила длинная ковровая дорожка.

Валька вернулся в номер, забрался в угол и сидел там довольно долго, дольше десяти минут. Потом москвичи засобирались. Они остановились у кого-то в городе и были повязаны расписанием электрички.

Двое, которые принесли бутылку, тоже вспом-

нили про какие-то обстоятельства и смылись. Толстушку вызвонили по местному телефону.

— А вы, Валентин, останьтесь, пожалуйста, пока я провожу на электричку Олега с Наташей, — попросил Микитин. — Иначе придется запереть дверь и Иза будет вынуждена ждать в коридоре.

Микитин с москвичами ушли. Валька вздохнул с облегчением. И сразу же в номер стремительно вошла Изабо, посмотрела в упор на Вальку и опустила глаза.

— Послушай, — сказала она. — Я тут того… влипла! На старости лет мужика завлекла. Правда, он пьяный, но все-таки! Выручай старую шалаву!

И она резко расхохоталась.

— Щас! — бодро ответил Валька, немного удивленный, что Изабо не может сама дать отпор пьяному. — А как это?

— Очень просто: выйди к нему, скажи, что я дико извиняюсь, и пусть катится. Я, понимаешь ли, велела ему ждать меня в холле, здесь на каждом этаже есть маленький холл с телевизором. Но он, кажется, пошел следом и заметил, в какую дверь я вошла. Он нам тут совершенно не нужен. Если вместо меня придешь ты, он все поймет и

отвяжется.

— Все равно через двадцать минут явится Микитин, — заметил Валька.

— Микитин уведет подругу к себе в номер. Так что ступай на пятый этаж. Как с лестницы спустишься, налево и сразу же направо. Там коридоры параллельные, а холл между ними, выходит и туда, и сюда. Ну, я жду. Так и скажи, что, мол, прислала и велела поискать ветра в поле… Погоди! Там накурили жутко, сквозняк устроили… вот, накинь.

Она достала из сумки Верочкин голубой свитер.

— Заодно в нем и домой поедешь, чтобы не замерзнуть ночью.

— Разве ты не отдала его Верочке? — удивился Валька.

— А она не приезжала, — объяснила Изабо. — Я просила Карлсона ей домой завезти, а он сунул на заднее сиденье и напрочь забыл… коли не врет.

Валька влез в свитер.

— Внушительно выглядишь. То, что надо, — заметила Изабо и попыталась улыбнуться, но получился оскал. Поскольку Валька уже знал, что эта странная женщина не умеет улыбаться, то и не придал гримасе значения.

В коридорах было пусто. Из некоторых номеров доносился пьяноватый шумок. Валька вышел на площадку перед лифтами, свернул на лестницу и спустился на два этажа. Он слышал, как там, наверху, открылась дверь лифта и кто-то, перепутавший этажи, заспешил вниз по лестнице, следом за Валькой.

В холле пьяного не оказалось.

Валька выглянул в соседний коридор.

Возле огромного от пола до потолка окна стоял человек. Окном этим коридор как бы замыкался, и силуэт человека четко рисовался на вечернем небе. Между Валькой и силуэтом протянулась прямая, как стрела, ковровая дорожка, ее полосы по законам перспективы сошлись в одной точке у окна — очевидно, и тот человек увидел бы, как к Вальке сходятся полосы, если бы повернулся.

Это был высокий мужчина. Валька заметил красивый профиль, густую бороду, мощные плечи и даже хмыкнул — разборчива же эта Изабо…

А больше он ничего и подумать не успел. Вынырнувшая сзади рука зажала ему рот и кто-то, во много раз сильнее его самого, заволок его за угол.

— Молчи, — тихо сказал напавший. — А то пасть порву. Будешь молчать?

Ошарашенный Валька утвердительно замычал. Тогда его отпустили. Он резко повернулся и увидел Карлсона.

— Где Изабо? — жестко спросил Карлсон. — Немедленно к ней!

Он пропустил Вальку вперед и подтолкнул в спину.

Изабо они встретили сразу же за поворотом на лестницу. Оказалось, что она спустилась на пятый этаж вслед за Валькой: зачем, спрашивается? Подслушивать, что ли?

— Ага, — сказал Карлсон. — Чего и следовало ожидать.

— Я ничего тебе не обещала, — мгновенно взяв себя в руки, жестяным голосом ответила Изабо. — Пропусти меня, я иду в бар.

— Ну-ка, оба ступайте в тот номер, откуда пришли, — негромко приказал Карлсон. — Живо, живо… Не валяйте дурака. Я знаю кое-что такое, что вы сейчас не обрадуетесь.

— Валентин, нас ждут в баре, — приказом же ответила Изабо.

— Не подставляй парня, — ласково даже попросил Карлсон. — Не надо… Пошли.

Изабо посмотрела по очереди на обоих — на подобравшегося, как перед дракой, Карлсона и на

совершенно растерянного Вальку.

— Он ничего не знает, — сказала наконец она.

— Ты думаешь, я тебе теперь верю? Идем, — настаивал Карлсон. — Нечего тут торчать. Я ведь могу отвести тебя в номер и силком.

— Да, это ты можешь, — согласилась Изабо и выглянула из-за угла. Валька же выглянул из-за ее плеча — хотел убедиться, что плечистый красавец еще не ушел.

Тот стоял в дальнем конце коридора, и полоски ковровой дорожки по законам перспективы все еще стекались вместе у его ног. Что-то было в этой потертой дорожке этакое… Хотелось опять стать на другой ее конец, и желание это, чтобы двое мужчин стояли по двум концам то ли дорожки, а то ли протоптанной в снегу тропинки, было каким-то не Валькиным, пришедшим снаружи, но, может, и изнутри, как все последние сюрпризы памяти. Это была идея Чесса, и нашла же она место и время, чтобы вылезти на свет божий!..

— Тебя ждет? — спросил Карлсон у Изабо, показав подбородком туда, где за углом стоял бородатый. — Ты его у этого дурацкого окошка поставила? Ох, дура баба… Не сметь!

Изабо, схватившая было Вальку за руку, чтобы вместе с ним выскочить в коридор, шарахнулась

от Карлсона и вжалась в стенку.

В руке у Карлсона был пистолет.

— Черт знает что, — морщась, говорила Изабо. — Это черт знает что!..

Валька, войдя в номер, первым делом отошел подальше от Карлсона и его пистолета. Ситуация была — несуразнее некуда. Если у Карлсона с Изабо какие-то крутые разборки, то при чем тут он?

— Сядь и успокойся, — велел Карлсон. Как ни странно, Изабо послушалась и села. — Твое счастье, что я встретил этих двух сумасшедших, Широкова и Верочку, — сказал, помолчав, Карлсон. — Представляю, чего бы вы тут вдвоем натворили… Я как услышал, что ты заманила этого младенца в Дом работников искусства, похолодел.

— В бане отогреешься, — буркнула Изабо.

— Бывают же совпадения, — продолжал Карлсон. — Только два дня назад Широков жаловался тебе, что его не пригласили на это мероприятие вселенского значения. Вы ж понимаете, конференция книгоиздателей, вся литературная молодежь звана, а Широкова напрочь забыли! Что ты ему тогда сказала? Что на его месте выдержала бы характер и на конференцию ни ногой?

— Я привезла Валентина к Микитину, — глядя

в окно, сказала Изабо. — При чем тут, к чертям собачьим, какая-то дурацкая конференция?

— Ты знала о ней? — настойчиво спросил Карлсон, но ответа не получил.

Валька смотрел на пистолет в его опущенной руке — этот пистолет был сейчас в комнате четвертым собеседником, и куда более значительным, чем сам Валька. Карлсон не целился, не угрожал, он просто не убирал пистолета, и Вальке безумно захотелось тоже ощутить в руке тяжесть этой опасной штуковины, чтобы встать напротив Карлсона — на равных. Нет, не стрелять, разумеется, и не грозить — просто чтобы в опущенной руке было оружие, которое можно в любой миг медленно поднять.

— Ну, ладно, — решил наконец Карлсон. — Твое счастье, что я мимо киношки проезжал. Собирайся, домой отвезу.

Изабо недоверчиво покосилась на него и помотала головой.

— Как знаешь. Прости, Валентин, что я тебя так сурово. И ступай-ка ты поскорее отсюда. Вот тебе тысчонка на такси. Электричку-то ты уже проворонил.

В правой руке у Карлсона был пистолет, левой он вытянул из заднего кармана штанов ском-

канную бумажку. Жест был резкий, движение вскинутого подбородка — повелительным. Валька шагнул вперед и взял.

Что-то было с ним сейчас не так… Эти деньги брать не следовало, а он взял. И выплыла наконец в памяти та рожа, которую он сегодня размножал гуашью, самой толстой кисточкой. Это был заводской депутат, который прямо от станка влетел в парламент и принялся проповедовать немедленные рыночные отношения.

— Войска идут на истребление зараз, — подумалось песенным слогом. — А кто зараза, император скажет нам…

— Вот так-то. Еще раз извини. Не надо было тебе тогда — помнишь? — туда возвращаться. Ну да ладно. Ступай. Авось еще встретимся. Ступай, ступай!

Карлсон ободрительно улыбнулся ему. Изабо опустила голову, и напрасно было сейчас ловить ее взгляд. Возможно, она и хотела, чтобы он остался, но не этого хотел их четвертый собеседник — пистолет.

Валька вздохнул и сделал два шага к дверям. Оставался третий. Он замер. Вывалиться из-под пистолетного прицела в пустой коридор, несомненно, лучше, чем вывалиться из-под незримого

прицела в трехсекундный полет. Мудрее и благоразумнее. За спиной у Чесса, очевидно, просто не было пустого коридора.

Он промедлил с полминуты. Карлсон больше не гнал его — и так было ясно, что почти ушел… А следовало бы Карлсону, хоть шутя, прицелиться навскидку. Это с непостижимым в ситуации озорством пришло в голову Вальке, когда в дверь вдруг постучали и сразу же открыли ее.

На пороге стояли запыхавшиеся Верочка и Широков.

Карлсон отвел руку с пистолетом за спину. Изабо вскочила.

— Ничего себе дорогие гости! — даже с каким-то шалым весельем воскликнула она. — Вы что, последнюю электричку проворонили?

Широков и Верочка, ухватившись за руки, словно дети малые, одновременно переводили глаза с Изабо на Вальку, с Вальки на Карлсона, с Карлсона опять на Изабо.

— Добрый вечер, — сам ощущая всю нелепость своей вежливости, сказал наконец Широков. — Мы в кино были, тут рядом…

— «Большую прогулку» смотрели, — добавила Верочка.

Что-то они ожидали здесь увидеть, зачем-то

принеслись, и вдруг обоим стало неловко, ведь ничего вроде и не происходило в комнате. Видно, от неловкости Верочка и прижалась к Широкову.

Карлсон взглянул на Вальку и, явно наслаждаясь комизмом ситуации, достал из кармана свободной рукой еще одну тысячную бумажку.

— Берите, гуляки, и поезжайте домой, — сказал он. — Полагаю, что вам с Валентином сегодня не по пути. Он отправится другим мотором.

Валька удивился тому, как Карлсон, не в пример ему, сходу просек ситуацию и мгновенно вошел в прежний свой образ благодушного банестроителя. Странно ему, правда, было, что Верочка, вся такая несчастная влюбленная, опустилась-таки на грешную землю. Но в двадцать пять лет Верочке лучше уже быть замужем, философски решил Валька. И не караулить бог весть кого у заводских проходных… вот только, позвольте, кого же?

Он опять изумился тому, что не может вспомнить себя в той суете, воплях народных и возне с гуашью. От шума ошалел и исправно выполнял приказы родимой своей заводской толпы совсем другой человек.

— Русский бунт… бессмысленный и беспощадный… — произнес кто-то в комнате. Валька

встрепенулся, это был не Карлсон и не Широков, те разбирались с бумажкой. Голос был мужской, но чей?

— У меня есть деньги, я трехмачтовый барк продал, — отстраняя руку Карлсона с бумажкой, ответил Широков и хотел было что-то добавить, но наконец увидел пистолет.

Верочка проследила его взгляд и ахнула.

— Это зажигалка, — сказал ей Карлсон. — А ты думала, настоящий? Господь с тобой, Верочка… откуда?

— Бога бы всуе не поминал, — проворчала Изабо. — Бери-ка, Пятый, Верочку и вали отсюда. И без вас тошно. Вали, вали, без вас разберемся.

— У нас тут сцена ревности, — добавил Карлсон. — Действительно, ехали бы вы домой.

— Никуда я не повалю, — Широков, к огромному удивлению Вальки, невозмутимо протопал мимо пистолета и так ловко уселся в кресло, что подставил под дуло висок. — И Верочка тут останется.

— Останусь, — она так же спокойно подошла к широковскому креслу, села на подлокотник с другой стороны и обняла Широкова за плечи.

По тому, как оба мгновенно успокоились, Валька понял, что-то в этом духе они и думали здесь

увидеть.

— Мало мне было одной сумасшедшей… — заметил в пространство Карлсон.

— Ребята, я заварила эту кашу, мне ее и расхлебывать, — обратилась Изабо к Широкову и Верочке. — Не надо меня спасать, не надо ложиться на амбразуру. Одна я выкарабкаюсь, слышишь, Пятый? Мне, лично мне ничего не угрожает.

Карлсон улыбнулся.

— Вот когда в тебе женщина проснулась, — заметил он. — Да, радость, пока я с тобой, тебе действительно ничего не угрожает. Но не дай мне бог отвернуться…

— Мы все эту кашу заварили, Изабо, миленькая, — подала голос Верочка. — Все трое, понимаешь? Все и будем расхлебывать.

— К вашей крошечной кашке в ближайшие два дня прибавится такая большая и крутая каша, что мало не покажется, — предупредил Карлсон. — Вы нашли-таки самое удачное время для разборок со Вторым! Послушайтесь доброго совета от компетентного товарища — разъезжайтесь по домам, пока не очень поздно. Валентин — на одном такси, вы двое — на другом, а эту даму я отвезу сам.

— Прямиком в баню, — подытожила Изабо. —

Ладно, хватит дурака валять. Не получилось… а жаль…

Тут она так посмотрела на Вальку, что он обмер. Валька не предполагал, что в женском взгляде может быть такая невыносимая, окаянная тоска. Даже когда Изабо хоронила своих уродцев, не было у нее таких затравленных глаз.

Он мог сделать одно лишь — шагнуть ей навстречу.

Они одновременно сделали этот шаг, и другой, и обнялись, не поспевая разумом за взлетом своих рук.

Изабо прижалась к Вальке, и он почувствовал ее дрожь.

— Ну, что ты, что ты, — гладя ее кончиками пальцев по щеке, сказал Валька. — Ну, успокойся, я же с тобой…

— Родной мой, — ответила Изабо.

А больше она ничего не успела сказать, потому что Карлсон рванул Вальку за плечо, невесомое объятие распалось, и оказался Валька в углу, между диваном и портьерой.

— Добром тебя прошу — убирайся домой! — приказал Карлсон. — И прекратите вы все травить ей душу! Вы же ее так подставляете, как злейший враг не подставит! Вы же провокаторы

траханные! Вы все в сторонке окажетесь, а она глупостей понаделает и под суд пойдет! Вы же из нее все соки выпили! Сволочи вы вместе с вашим покойником Чессом! Дайте же ей наконец жить нормально! Она же пять лет из-за вас дурака валяла! Пять лет из жизни выброшено. Можете вы это осознать, идиоты, или все-таки не можете?

Изабо хотела было ответить, но осеклась и лишь грохнула кулаком по столу.

Валька отклеился от стенки и вышел из угла.

— Никакой я не провокатор, — мрачно сказал он. — Я вообще не понимаю, что здесь происходит. Изабо, разве я тебя подставляю? Я что, тебе работать мешал? Объясните мне наконец хоть что-нибудь!

— Вот их попроси, — Карлсон, немного успокоившись, мотнул головой в сторону притихших Верочки и Широкова. — Будь они порядочными людьми, сразу бы тебе все рассказали. Но это же провокаторы, каких свет не видел! Можешь мне поверить на слово. Вот эта парочка…

— Я сама давно совершеннолетняя, — оборвала его Изабо.

— Знаю, что совершеннолетняя. Но ты нормальный человек, без дурацких комплексов. А они внедрили в тебя какой-то нелепый комплекс

вины и искупления, вот эти двое кротких ангелов! Так давай однажды назовем вещи своими именами! — Карлсон начал горячиться. — Давай скажем друг другу правду, чтобы больше не устраивать идиотских дуэлей! Валентин! Ты помнишь, как мы с Широковым просили тебя не приезжать больше в мастерскую?

— Интересные новости! — воскликнула Изабо.

— Ну, помню, — ответил Валька.

— А что мы тебе сказали, помнишь?

— Да что-то про атомную бомбу толковали… — с трудом припомнил Валька, и тут в памяти явственно всплыли слова Карлсона о том, что из-за него, Вальки, в мастерской большая каша заварится.

— Это я тебе про критическую массу объяснял, — некстати встрял Широков.

— Решил сделать ставку на правду? — неприятным голосом осведомилась Изабо.

— А теперь слушай меня, Валентин, — негромко сказал Карлсон, делая вид, будто не слышал этих слов. — Когда я просил тебя не приезжать в мастерскую, я прекрасно знал, что может получиться из твоих невинных визитов! Знаешь, что эта милая компания затеяла? Воскрешение покойников и реанимацию трупов! Ты слушай,

слушай. Знаешь, зачем ты им всем понадобился? В качестве ходячего манекена с физиономией покойного Чесса!

— С физиономией Чесса? — ошалело повторил Валька.

— Изабо случайно совершила это открытие и не удержалась от искушения увидеть Чесса еще раз. И еще несколько раз. Пойми, ты ни ей, ни Верочке, ни Пятому сам по себе сто лет не нужен! — Карлсон опять начал заводиться и опять взял себя в руки. — Это у них совесть нечиста: допустили, чтобы пьяный поэт вывалился из окошка. Вот они нацепили на тебя его голубенький свитерочек, сунули в карман твоих штанов сборник его стихов и стали с нежностью тебя созерцать! Называется, нашли себе игрушку!

— Так я что, действительно на него похож? — обратился Валька к Широкову. Тот вздохнул, кивнул и повесил голову. Валька перевел взгляд на Верочку. Верочка тоже вздохнула, покраснела и вдруг, сорвавшись с подлокотника широковского кресла, кинулась к Вальке, обняла его и зарылась лицом в тот самый свитер. Валька стал гладить ее по плечам, а на Изабо посмотреть так и не решился.

Похоже, Карлсон был доволен эффектом. Он

отвел левой рукой полу куртки и сунул пистолет в плечевую кобуру. Валька посмотрел на его усталое, резкой лепки лицо — Карлсон на совесть отыграл эту разоблачительную сцену, навел порядок в рядах городских сумасшедших и позволил себе немного расслабиться.

Нетрудно было предсказать, что произойдет дальше. Если Валька, оскорбленный ролью манекена, скинет чужой свитер и уйдет, вслед за ним уйдут Широков с Верочкой. Возможно, объединенные печалью вторичной утраты Чесса, они поедут прямиком к Широкову, и его деликатная мама даже не высунется, когда они на цыпочках прокрадутся к нему в комнату. Потом Карлсон даст Изабо выпить грамм сто коньяка и увезет ее в свой особняк, где уже готово все, кроме бани. Если ей и придется перебежать через дорогу в мастерскую, то разве что за зубной щеткой. Потому что не Валька, а именно Карлсон любит Изабо и пытается, как может, уберечь ее от недоразумений и от ненормальных друзей.

Но Валька вдруг очень даже неплохо почувствовал себя в голубом свитере. Ему показалось диким выскакивать сейчас на шоссе, ловить заблудшее такси, обещать шоферу тысячу, молчать полчаса до города и пятнадцать минут в квартире, пока

не разденется и не ляжет под бочок к… к кому, черт бы ее побрал? Как ее звали, эту крашеную блондинку с короткой стрижкой и роскошной грудью? Надо же, из головы совсем вылетело — ее звали Татьяна.

Потрясенный этим провалом в памяти, Валька отключился от обличительной речи Карлсона. Она была уже на излете.

Той же рукой, которая только что держала пистолет, Карлсон широким жестом указывал на примолкшего Вальку, как бы призывая его в свидетели мерзкого поведения реаниматоров. И присутствие пистолета ощущалось явственно, хотя он уж минут десять как пребывал у Карлсона под мышкой. Действительно, получалось так, что из живого человека, простого как валенок, незаслуженно сделали куклу, игрушку, манекен и валяли вокруг него дурака. А живой человек не виноват, что родился с такой рожей, что попался на глаза Изабо, затравленной двумя провокаторами, что натолкнул всех троих на идиотский план разоблачения Второго!

— Ты прекрасно знала, что на второй день этой идиотской конференции все будут проспиртованы! И Второй в том числе! И ты ведь нарочно поставила его у окна, — услышал вдруг Валь-

ка. — Интересно бы послушать, как ты его туда заманивала! Ты ведь знала, что он ошалеет от паники и сделает шаг назад, в стекло! А Валентину отвечать, показания давать, по следователям мотаться. А откуда ему знать, что он может и должен говорить следователю, а чего не может? Некрасиво получилось. Негуманно!

И еще Карлсон толковал, что в этакой ситуации ни один нормальный человек, а Второй именно и есть нормальный человек, не займется покаянием или самобичеванием. Чиста у него совесть или нечиста, он первым делом перепугается, тем более что вечер у человека выдался веселый, со спиртным и женщинами. Выпивший человек легче возбуждается — это Изабо правильно рассчитала, когда выбирала вечер для непринужденной встречи Вальки и Второго. Но выпивший человек в хорошем настроении тем более не станет падать на колени и каяться. Он ошалело скажет: «Во, блин, до глюков допился!» Или просто попятится, напрочь забыв, что за спиной окно.

После ошеломительной новости насчет сходства с Чессом Валька уже как-то плохо воспринимал сенсации. Ну, его выставили против Второго… разве в этом сейчас дело? Ну, выставили…

Естественно, и Верочка, и Широков вмешивались, лепетали что-то, Вальке даже послышались слова «Божий суд». Изабо со всей язвительностью пыталась оборвать Карлсона, отсылала его в баню, но Карлсон, видно, решил сегодня покончить с этой историей раз и навсегда.

Поскольку в Вальку Карлсон тыкал воображаемым пистолетным дулом, как в наглядное пособие, а свидетельских показаний от него не требовал, Валька и завис где-то между реальным гвалтом в комнате и той странной внутренней перетасовкой лиц и понятий, которая происходила внутри. Он видел Верочку с растрепавшейся косой, видел покрасневшую от ярости Изабо, и не поспевающего за стремительным спором Широкова он тоже видел, но как бы на заднем плане. Две женщины, стоя перед пистолетом, требовали Божьего суда…

И тут у Вальки в голове стала складываться картина, и даже не картина в художественном смысле этого слова, а вроде красивой схемы. Она была похожа на популярное много лет назад изображение внутренности атома, и Валька мысленной кистью выписал шарики с бликами на боках, чьи орбиты, пересекаясь, окружили центральный шарик. Возникшая на фоне далекой

реки, схема эта обладала, как он понял, логикой сна — шарики одновременно были людьми.

Тот, что ближе к середине, носил имя Марии. Это была невысокая женщина в черном бархатном платье с белым большим воротником, с черной косой на затылке и локонами вдоль висков. Шарик, обозначившийся вторым, носил имя Анны. Русоволосая Анна с тяжелым узлом на затылке стояла у далекого окна, а на подоконнике лежали скомканные перчатки и свернутая трубочкой записка. Валька узнал их — он сам мгновение назад бросил сюда перчатки, а записку передал накануне. Но тот, в середке, был одновременно и Валькой, и совсем другим человеком, хотя грань отсутствовала.

Другие шары тоже были людьми, хотя и незнакомыми. Чье-то молодое и задорное лицо с лихими усиками еще не имело имени, но было необходимо. Это лицо Валька видел недавно — почему-то у себя на коленях… Мужчина в небольших круглых очках тоже должен был сказать что-то важное. Один из шариков оказался черной коробкой с дуэльными пистолетами. И переплетение их орбит имело множество всяких смыслов, и на пересечениях возникали слова, обрывки каких-то разговоров, сравнения

диковинные, непереводимые интонации французских фраз.

Но эта система была пронизана лучами, соединяющими шары совсем другой системы. И самыми близкими оказались шар с потешной заячьей мордой и лицо беловолосой кудрявой девочки. «Стало быть, вот так смешиваются реальный мир с нереальным, — подумал Валька, — смешиваются на мо-ле-ку-ляр-ном уровне…»

Валька понял, что с этого когда-то началось.

Он ощутил себя другим человеком, которого знал только по имени, — на минуточку, поймав в чужой фразе свое дыхание.

Он сказал, балуясь, несколько слов за того человека — и тот принял их, не возражал.

Тогда он понял, как неприятно подбородку от высокого воротничка фрака — и это сразу же вылилось в забавную фразу и пригодилось.

И он лепил в себе другого человека, веселясь, наслаждаясь собственной щедростью, отдав ему лучшие мысли, лучшие куски своей жизни.

Была женщина, которая любила его, — ее звали Мария. Была женщина, которую любил он сам, — Анна. И сам он между этими женщинами — доступной и недоступной, преданной ему навеки и не нуждающейся в его преданности… Вот, вот

с чего началось — с этого банального треугольника, только женщин, которые стали Марией и Анной, изначально звали как-то иначе!

А треугольник, разумеется, стал обрастать всякими странными вещами, заячьей мордой, скомканными перчатками, обгрызенным гусиным пером, дюжиной женских профилей на полях исчерканного стихотворения. Шары и шарики, шарики-слова и шары-вещи — все это сцепилось между собой, сплавилось, и возникла совершенно неожиданная реальность. Он создал ее сам вроде и по своей воле, но удивился безмерно тому, что получилось.

— Нельзя же быть такими безнадежными фантазерами, — тем временем горестно упрекал всю компанию Карлсон. — Нашли время для дурацких фантазий! Широков, я к тебе обращаюсь, ты ведь нарочно парню голову забивал этим траханным Пушкиным или как там его и кассетами Чесса! Про торжество справедливости вещал. Ведь так? Взрослый человек, а дурака валяешь. Додумались — свитер Чесса на человека нацепили и вообразили, что Чесс вернулся. Вы ему еще гитару Чесса отдайте… Вот уж точно — роковое сходство!

Валька молча усмехнулся: кто же на кого по-

хож? Он на того ошалевшего парня с гуашью и аршинными ножницами для пластиковых букв? Бывает… А гитара? Хм, гитара…

— Хорошо, парень толковый оказался, не очень-то поддался на ваши провокации, — сочувственно и одобрительно обратился к Вальке Карлсон. — А то бы натворили вы все тут дел. Ведь это что же пришло в твою дурную голову? А?

— Не твоя печаль, — ответила Изабо.

— До дуэли додумалась. Решила правду выяснить в экстремальной ситуации! Ну, хочешь, я скажу тебе правду? Сегодня, пожалуй, уже можно. Да, наверно, и нужно. А то я уеду по делам, а вы тут опять Божий суд устроите.

— Почему вдруг сегодня? — спросил Широков.

— Потому что с завтрашнего дня в этой богом обиженной стране, возможно, будет объявлено чрезвычайное положение. И правдой этой вы воспользоваться попросту не успеете.

— Откуда такая информация? — мрачно поинтересовался Широков.

— Перестань, Пятый, у него всегда точная информация, — вмешалась Изабо. — Во всяком случае, по таким вопросам. Ну так чем ты нас решил обрадовать, банный сотрудник? А главное — почему?

— Потому, что у меня нет времени вас всю ночь караулить и воспитывать, всех четверых, — подумав, отвечал Карлсон, и было ясно, что это чистая правда. — Время поджимает. Дел у меня этой ночью выше крыши. Хорошо хоть, успел за руку удержать от опасной глупости. Ведь если я сейчас уеду, вы опять ухватитесь за свой маскарад, потащите Валентина ко Второму на манер выходца с того света и очень удивитесь, если Второй не рухнет в обморок. А этого делать не надо. Второй все равно не скажет вам, где рукописи и кассеты Чесса. Хоть об стенку лбом его бейте, не скажет. И поступит вполне разумно. Потому что смотрит дальше собственного носа… не то что некоторые…

— Он знает? — беззвучно спросил Широков.

— Он сам их и отдал. Никто, кстати, не заставлял. Просто спросили: Михайловский вам ничего на хранение не отдавал? Клянусь, деликатно и вежливо спросили! На положительный ответ не очень-то и рассчитывали. Так что могу вас обрадовать — пьесы вообще в природе не существовало, а была тетрадка с цитатами и набросками.

— Откуда такая информация? — надвигаясь на Карлсона, снова грозно спросил Широков. Карлсон, даже не подумав доставать пистолет,

отстранился от этой нависшей глыбы.

— А ты еще не понял? — яростно набросилась на Широкова Изабо. — Ты еще не понял? Да он же сам держал в руках эту тетрадку! Держал? Да?

— Было дело, — согласился Карлсон. — И тетрадку эту жеваную, и показания Второго. Вот кого мне жалко в этой дурацкой истории, так это Второго. Очень даже неглупый парень. Тетрадка, повторяю, толщиной в полтора миллиметра, а записей в ней, хоть и мелким почерком, с гулькин нос. В основном цитаты из всяких историков с сожалениями насчет утраченных сибирских стихов. Второму тоже нелегко пришлось. И если бы речь шла только о черновиках Михайловского, он бы их не выдал. Но тут было другое — подпольный журнал. Это уже покруче.

— Какой еще журнал? — не очень искренне удивилась Изабо.

— Ваш Чесс ввязался в издание подпольного журнала. Редакция у них была в Питере, назывался «Мария». Можно подумать, ты не знала… Вот Широков точно не знал! — усмехнулся Карлсон. — И Верочке Чесс тоже ни слова не сказал. Потому что от них журналу все равно никакого проку бы не было, это и поэту ясно.

— Я перепечатывала стихи для этого журна-

ла, — сердито возразила Верочка. — А если вы не могли понять, на какой машинке, так это я объясню. Я к одной бабушке в гости ходила, а у нее такая симпатичная машинка, прямо как из музея.

— Еще того не легче… — проворчал Карлсон. — Ладно, я ничего не слышал… Так вот, на квартире Второго думали проводить обыск. Ну нашли бы кое-какую чушь — карикатуры, эпиграммы на вождей, и получилось бы неприятное, но банальное дело… Перенес бы его ваш Второй даже без валерьянки. Подставил его именно Михайловский. А не наоборот!

Карлсон насладился потрясенным молчанием тройки безумцев и постороннего человека, манекена Вальки.

— Второй очень удивился, получив три толстенные папки, — продолжал Карлсон. — Он прекрасно знал, что написал и что пишет Михайловский. А тот отдал ему на хранение и журнальные бумажки, и свои рукописи. Он-то думал, что обыск сперва будут делать у него! А Второй даже не знал, что такое в этих трех папках… Когда у него спросили, что он знает о «Марии», без особой надежды спросили…

— Три сафьяновых портфеля… — ни к селу ни

к городу сказал Валька. Он имел в виду те три пропавших без вести портфеля, о которых давным-давно за чаем толковал ему Широков. Но даже Широков его сейчас не понял, потому что смотрел в рот Карлсону.

— Очевидно, там была и пропавшая повесть, — заметила Изабо. — И тексты песен.

— Много там было всякого добра, — согласился Карлсон. — Когда Второй понял, что за «Марию» возможны крупные неприятности, он, естественно, всю эту мазню отдал и спасибо сказал, что забрали. А потом пошел к Чессу разбираться. Потому что у них такого уговора не было, чтобы подпольный журнал прятать. И еще он знал, что Чесс за границу намылился, а сам-то он никуда удирать не собирался. В общем, разборка вышла неприятная…

Карлсон умолк. И прочие тоже молчали. Каждый, видно, выстраивал для себя ход этой неприятной разборки, завершившейся полетом из окошка.

— Так, значит, не в вызове дело? — осознал Широков.

— Да не уехал бы он ни за что! — воскликнула Верочка. — Ну как он отсюда уедет?..

— Какие-то вселенские враки… — буркнула

Изабо.

— Так что оставьте вы в покое Второго, — сказал наконец Карлсон. — Дайте человеку спокойно жить и работать. У него не было другого выхода. А теперь… Ну, через пару месяцев… Ну, в общем, пусть спокойно пишет свои повести! Он ведь хорошо пишет, я сам читал: и рукописи, и опубликованное…

— Это ты с ним беседовал? — спросила Изабо.

— Я с ним уже потом побеседовал, перед тем, как комиссовался… — лицо Карлсона стало жестким, внезапно он усмехнулся и фыркнул. — Так что трогать его искренне вам не советую.

— Какое все-таки свинство… — прошептала Верочка.

— Чего и следовало ожидать, — тупо глядя в пол, ответил ей Широков. Услышанное настолько его ошарашило, что он как-то незаметно осел в кресло и наполовину съежился. — Значит, рукописи погибли…

Валька посмотрел на него и тут увидел между диваном и портьерой едва обозначенный туманной линией силуэт. Сперва он подумал было, что это возникает женщина.

Но когда отбросил тень на стенку длинный гриф, Валька понял, что видит гитару…

Гостиничные обои были казенные — в мелкий цветочек, желтый и голубой. Оттого и призрак гитары был в такой же цветочек, будто инструмент обтянули ситцем. Валька даже развеселился: вот получилась бы у Чесса песня о ситцевой гитаре! Ничего кроме случайного образа еще не было, но Валька знал, что отсюда и стартует песня. О том, что это невозможно, он не думал — просто обрадовался идее.

Очерченное контуром пространство сперва как бы полиняло, потом сделалось темнее — и на нем обозначилась тонировка древесины, нарисовались тени от струн.

Валька знал эту гитару наизусть, как помнят пальцами тело любимой, знал, где стерся лак и стенка стала шероховатой, знал капризы каждого колка! Он увидел свою смуглую, свою ненаглядную явственно, она заняла весь угол, почти не опираясь грифом о стену, как будто подвешенная на невидимой струне. Он увидел перед глазами гитару и обрадовался ее присутствию.

— Ну, значит, разбегаемся, что ли? — подвел итог Карлсон. — Будем считать этот милый вечер недействительным. Деньги на такси есть у всех. Идем, Изабо. Не расстраивайся. Не женское это дело — дуэли. Впрочем, что ни делается, все к луч-

шему. Представь, что это зрел гнойный нарыв. Зрел, зрел, и вот его прорвало. Больно, конечно, зато дело пойдет на поправку. Теперь ты понемногу работать начнешь… Не получилось из вас секундантов — и слава богу!

— Ты знала, кто этот человек? — тыча пальцем в Карлсона, вдруг с глухой яростью спросил Широков.

Скосив на него глаза и фыркнув, Изабо встала и подошла к Вальке.

— Прости, если сумеешь, — сказала она. — Я была в эти дни так счастлива… Ты и представить не можешь…

— Могу, — ответил Валька.

Тогда она подняла виноватые глаза — и вдруг ее лицо изменилось. Возник тот диковатый оскал, который иногда заменял ей улыбку.

Если бы этот оскал продлился менее секунды! Но он получился долгим, лицо отделилось от тела, от стен, повисло в темном пространстве… Шар, еще один шар, готовый занять место в треугольнике, подумал Валька. Две женщины, любящая и любимая… И кудрявая девочка, играющая с нарисованным зайцем! И пластилиновое распятие с воскресшим Христом!

Он быстро выстраивал еще одну сложную си-

стему, еще одну композицию, на манер своих любимых, стереометрических. Вернее, успевал следить за тем, как она складывается, и позволял проникать в нее лучам и шарам той композиции, что досталась от Чесса — черному кавалерийскому пистолету, толстой книге с портретом Анны. И бликом на еще одном шаре засиял клочок озера с двумя уточками и двумя веерами воды…

А Изабо все смотрела на него и, очевидно, увидела в его глазах некое отражение… Потому что лицо ее вдруг прояснилось.

Она не могла сказать вслух того, что подумала, но Валька все-таки это услышал.

«И все-таки Божий суд!» — подумала она.

«Да», — беззвучно ответил он, еще не представляя себе, как это возможно. Но он уже стоял на бескрайнем льду под белым небом! Единственное, что чернело, — это силуэт человека на том конце дорожки да тульский пистолет в руке.

Затем Валька посмотрел на Широкова. Непостижимой силой, проснувшейся в душе и пронизавшей его всего до кончиков ресниц, он заставил того отвести затравленный взгляд от довольного исходом дела Карлсона.

«Не получилось из нас секундантов…» — сказали, чуть потеплев, глаза Широкова.

«Еще как получилось!» — задиристо возразил Валька, тоже одними глазами. Тяжелый пистолет уже оттягивал руку…

Третьей была Верочка. Она сама ловила Валькин взгляд.

«Хочешь, я прикрою тебя собой?» — спросила она.

«Если понадобится…» — не стал возражать Валька. Из дуэльного кодекса он знал, что прикрываются в поле именно пистолетом… кстати, лежащим на этажерке в мастерской, как раз под крылатым распятием…

Карлсон терпеливо ждал, пока завершится этот многозначительный обмен взглядами. Он был настолько любезен, что позволил безумцам красиво распрощаться друг с дружкой, а ведь ему еще предстояло быстренько отвезти к себе домой Изабо и оставить наедине с бутылкой коньяка — так оно при любом раскладе было надежнее.

А Валька сосредоточился на том набирающем объем силуэте, который только он и видел в углу, между диваном и портьерой.

Этого силуэта недоставало в его выверенной композиции. Валька ощущал, что именно сегодня свершилось: ему дана власть составлять и раздвигать шары, заменять их по своему усмот-

рению! Но ему мало было тех, что достались по наследству от Чесса. Свою власть и силу он не мог направить лишь на них…

Гитара была необходима, как кислород. Потому что не один Валька ждал и требовал сейчас Божьего суда.

За его спиной стоял человек, с которым его намертво сковало случайное сходство. А у того за спиной — еще один, с таким же роковым сходством, только не в лице.

Они отдали ему все, что имели.

Началось с прелестной песни, началось с поющей женщины, прекрасной и безумно в тот миг любимой. И не должно было завершиться полным крахом, утратой всего на свете! Тот человек, который провалился в неизведанные глубины прошлого века почти бесследно, тоже ждал и требовал в этот миг Божьего суда! Не дать ему погибнуть в безвестности, вывести на поле, протоптать тропу к противнику — это было сейчас в Валькиной власти.

Недоставало смуглой гитары! И недоставало еще одной ниточки, еще одной тропки между двумя мирами, чтобы по ней переместить шары, изменить судьбы. Недоставало приказа!

— Вначале было Слово… — сказал иронично-

торжественный мужской голос.

И Валька увидел, как женщина в черном платье с белым кружевным воротником, с черной косой, уложенной на затылке, и с лицом Верочки распахивает тяжелую дверь избы и, опустившись на корточки, ставит на заснеженный порог ручного зайца.

Домашний зверек, оробев, пытается попятиться, но она не пускает.

Холодный ветер относит ей за спину концы бесполезной ажурной шали.

— Беги, заинька, беги, миленький! — шепчет эта женщина. — Пусть все будет не так! Пусть он воротится домой! Пусть хоть он уцелеет! А я… я уж как-нибудь… с Божьей помощью… да беги же!..

— Вот! — сказал Валька. — Вот как это начнется!..

И сразу же понял, что угадал, что началось!

Это было почище всякого полета, это было прекраснее первой любви и яростнее последней любви. Глаза Верочки распахнулись ему навстречу — она поняла!

Лихая тройка на полном разлете сбилась, смялась, натянулись вожжи, разлетелся снег. По белой равнине пронеслась строчка следов — заяц был уже неуловим взором…

— Ишь ты! — вдруг изумился Карлсон. — А я и не заметил… Ну, все декорации припасли, в том числе и гитару!

Вдруг его брови сошлись и он оглядел компанию безумцев с огромным подозрением.

— Но ее же не было… Я точно помню, что гитары не было! — воскликнул он. — Откуда взялась гитара? Кто ее сюда притащил? Ее же здесь не было!

Все посмотрели туда, куда он показывал воображаемым пистолетным дулом.

Действительно, гитара, во всей своей древесной плоти, стояла, прислоненная к стене, отбрасывала тень и была совершенно материальна.

Но вот с людьми, которые ошалело глядели на нее, сделалось что-то странное. Вроде волосы у Изабо стали длиннее, почти до плеч, вроде на плечах у Верочки оказалась сиреневая мохнатая кофта, а Широков почему-то был в здоровенных очках…

— Какая гитара? Ты о чем? — спросила Изабо, соблюдая полнейшее спокойствие. — Где ты видишь гитару?

— Вон, в углу, — показал Карлсон.

Изабо пожала плечами, сделав обеспокоенное лицо: мол, что это с тобой, банный сотрудник?

Тогда Карлсон повернулся к Широкову.

— Вы с Верочкой притащили? — строго спросил он. Но строгость получилась какая-то странная.

Широков опустил красивые ресницы — он знал, что взглядом не сможет соврать.

— Ничего мы не притащили, — обиженно ответила за него Верочка. — Изабо, что это с ним?

Валька понял: и они видят смуглую гитару! И они узнали ее! Значит, удалось. Ну, Карлсон!..

Карлсон резко повернулся к Вальке. Валька не шагнул вперед, не раскинул резким движением рук с растопыренными пальцами, не скорчил гримасы — незачем, незачем… Он просто негромко рассмеялся. Удалось!.. Остальное не имело значения.

И этот смех совершенно вывел Карлсона из себя.

Смех был и в опущенных ручищах Широкова, и в полуоткрытых губах Верочки, и в строгом лице Изабо. Гитара явственно стояла в углу — потрогай!

— А вот сейчас!..

Остальное было мгновенно, сумбурно, бестолково, яростно и на едином вздохе.

Карлсон выхватил и вскинул пистолет, собираясь пробить гитару пулей и так уничтожить

галлюцинацию. Валька рванулся спасать гитару. Верочка повисла на руке Карлсона, и тут же на него всем телом рухнул медведь Широков. Пистолет полетел на пол и скользнул под диван.

Валька увернулся от полетевших кубарем на пол людей, и тут его схватила за руку Изабо.

— Я люблю тебя! — быстро сказала она.

Коротко поцеловав в губы, она толкнула Вальку к двери.

Он выбежал в коридор и бросился вниз по лестнице…

Виталий Шишикин
Зайчик

Утро выдалось морозным. Было еще темно, когда в одной крестьянской избе проснулись.

Невысокий худощавый молодой человек резким движением отворил дверь избы, в которой провел ночь.

Он глубоко вдохнул обжигающий воздух и произнес:

— Хорошо! — Нюхнув пучок соломы, которой была покрыта крыша, выдохнул: — Хорошо… отдохнули.

Мотнув головой, молодой человек обернулся к чернеющему проему двери:

— Эй, проснитесь!

Ответом ему был храп нескольких крестьянских глоток.

Мóлодец усмехнулся и смело шагнул в белую бездну русской зимы.

Проваливаясь в сугробы, он направился в сторону дома, который выделялся статью на фоне других. Добравшись, юноша вбежал по лесенке и ворвался в прихожую. По дороге случайно опро-

кинул какую-то утварь и, цепляясь длинным кушаком, висящим словно хвост, ринулся в комнаты. На грохот сбежалось несколько слуг.

— Запрягай! — надрывался молодой человек, бегая по комнатам. — Степан! Ехать нужно!

— Батюшка! — пыталась утихомирить его старушка. — Батюшка, дорогой…

Молодой человек продолжал носиться по дому и кричать:

— Карету мне, карету!

Через час «карета» была подана. В санях сидел Степан, которого буквально сдернули с теплой печки.

— Давай, Степан, едем! — приказал ему молодой человек, устраиваясь в санях и закутываясь в две шубы, меж которыми расположилось несколько бутылок с горячительным напитком и свертки еды.

Юноша раскупорил одну из бутылок и ловко опрокинул в себя ее содержимое. Голова немного отошла, в ней очень приятно зашумело.

— На, выпей, Степка, и трогай!

В последний момент, когда мужик уже поворачивался, юноша отдернул руку:

— А, забыл, ты же такое не пьешь.

Сани тронулись.

Дорога была неважная, копыта лошади застревали в зыбучих белых барханах. Молодому человеку было все нипочем. Он что-то выкрикивал, декламировал какие-то стихи.

Внезапно под самые копыта лошадей что-то юркнуло.

— Тпру-у-у-у! — только и успел выкрикнуть извозчик, натягивая поводья.

Молодой человек подался вперед и заметил, как что-то белое и пушистое выскользнуло из-под самых саней и начало быстро удаляться в чащу. Не желая просто так смотреть на это безобразие, юноша запустил в нечто пустой бутылкой и, конечно же, промахнулся. Комочек изменил направление движения и стал приближаться к саням.

— Ага! Сейчас я тебя! — пассажир приподнялся и, раскрыв полы шубы, буквально упал на зверька. — Попался! — послышался победный выкрик. — От меня еще никто не уходил! Кадриль он без меня захотел пройти!

Уцепившись за борт, пассажир подтянулся и плюхнулся на свое место.

— Смотри, кого я поймал, — он показал крохотного зайчика.

— Чур меня. Барин, нельзя ехать, — ответил Сте-

пан, — нехорошая примета. Перебежал дорогу.

— Едем! — закричал молодой человек.

— Надо назад повертывать, — отозвался Степан. — Примета.

— Это же всего лишь зайчишка.

— Я носом чую, будет худо. Не поедем, барин, а? Может, домой в тепло, на печь?

— Мне нужно в Питер! Доедем, дам пятак на водку! — решительно сказал молодой человек.

Степан еще немного покочевряжился, а затем, подумав об обещанном пятаке, тронул сани с места.

Молодой человек успокоился. Он не знал, где возьмет обещанные деньги, да это его и не слишком беспокоило: «Степан добрый, довезет, а потом забудет про деньги».

«Только бы все обошлось, — думал Степан, — а про деньги не забуду».

С этими думами они и ехали дальше.

Внезапно молодой человек выкрикнул:

— Подлец!.. Степан!

Мужик, не понимая, за что его ругают, остановил лошадь:

— Я?!

— Да нет, конечно, не ты, дурак, — отозвался пассажир. — Заяц. Он, кажется, хотел укусить

меня. Вот зверь! Куда бы мне его деть?

Юноша осматривался по сторонам, ища место для добычи.

— Давай сюда свой валенок!

— А как же я? — пытался противиться мужик.

— Ничего, они у тебя широкие — две ноги в один засунешь.

Делать было нечего — пришлось отдать один пим. Молодой человек тут же засунул туда зайчишку и заткнул отверстие какой-то тряпицей.

— Трогай, — зычно прикрикнул пассажир, и сани сорвались с места, устремившись навстречу неизвестности.

Через несколько дней пути их ждала первая застава перед столицей. Обветшалая полосатая будка, еще более покусанная временем изба и шлагбаум. Когда сани уже были возле кордона, из домика выбежал военный и крикнул заученную фразу:

— Стой! Кто едет?!

— Мой барин в город собрался! — крикнул Степан.

— Не велено пущать!

— Кого это ты не велено?! — вскричал молодой человек. — Меня и не пустить?!

Он привстал, валенок с зайцем упал на полог

саней. Дернул плечами, и шубы упали рядом.

— Черт! — вымолвил солдат, отступая. — Это черт!

Темные волосы молодого человека не были прибраны и в полутьме походили на торчащие рога, а волочащийся кушак на хвост. Все это придавало некоторое сходство с нечистой силой.

Солдат отступал и быстро осенял себя святым крестом.

Зайчик, до этого тихо сидевший в валенке, закопошился и вместе со своим новым домом полетел из саней.

— Нечистая! — заорал солдат и бросился бежать. — Нога сама движется!

Степану с трудом удалось объехать упавшее заграждение. Они тронулись дальше. На других заставах им пришлось остановиться, но ненамного дольше.

Вот и заснеженные улицы столицы.

— Давай-ка к казармам москвичей, — приказал молодой человек Степану. — Там должны быть наши.

— Не пустят.

— Меня пустят, — решительно заявил пассажир. — Я главных знаю.

Темные военные здания возвышались на фоне

мелких двухэтажек.

— Сейчас, подожди, — крикнул юноша Степану, спрыгивая с саней, и направился в казармы.

Коридоры были пусты.

— Вот черт! — выкрикнул юноша. — Куда это все подевались?

Он побрел обратно к саням. Что делать дальше, не знал. Из оцепенения юношу вывел упавший валенок с зайчиком, который каким-то образом вылез из своей тюрьмы и бросился бежать.

— Держи его! — крикнул молодой человек, словно протрезвевший.

Пока Степан бегал за своим валенком, пока надевал его, зайчик успел убежать на приличное расстояние. Впрочем, оно быстро сократилось, когда преследователи бросились в погоню. Они вот-вот должны были нагнать зайчонка, как внезапно на их пути, словно ниоткуда, появились два человека.

— Тпру-у-у-у! — Степан успел натянуть поводья.

— Дурак, куда несешься?! — выкрикнул один из шедших.

— Жанно, ты? — юноша узнал голос прохожего.

— Француз! — закричал в ответ один из муж-

чин.

Они бросились обниматься.

— Я к вам приехал!

— Как узнал?

— Я уж и не помню, — юноша почесал затылок.

— А ты сейчас куда?

— Да за зайцем.

— За каким таким зайцем?..

— Вон он! — выкрикнул внезапно Степан и указал на движущийся комочек, который направлялся в проем между домами.

— Догнать! — молодой человек плюхнулся в сани. — Поехали! Вань, ты со мной?!

— Я на Сенатскую!

— Тогда я с вами!

— Давай быстрее!

Все трое вскочили в сани. Степан оглянулся на пассажиров, по-разбойничьи присвистнул и дернул с места.

Выехав на площадь, они едва не раздавили нескольких зевак, которые уже начали собираться.

— Эге-гей! — закричал один из пассажиров саней, когда они подъезжали. — Сейчас прибудет Трубецкой!

Построенные войска встретили эту новость выстрелами в воздух.

Из строя выбежал офицер и крикнул:

— Пущин, Рылеев, давайте к нам!

Друзья соскочили с саней и устремились к своим. Француз не последовал за ними. Он наблюдал за толпой солдат, громко голосящих и выкрикивающих непонятно что.

— Француз, иди к нам! — кричал Пущин.

— Сейчас! — ответил молодой человек.

— Глядите! Вон заяц! — раздался крик в толпе.

— Где?! — юноша привстал и огляделся.

Он увидел, как зайчишка понесся в одну из подворотен.

— За ним, Степан! — уже сам не понимая, зачем продолжать погоню, приказал молодой человек.

Сани рванули вон с площади и вновь едва не сбили людей. Это была делегация во главе с осанистым, крепко сложенным мужчиной. Следовавшие за ним два дьякона в митрах шли с высоко поднятыми крестами.

Зайчик пробежал перед процессией, преследователи пронеслись в каком-нибудь шаге от служителей культа. Те переглянулись. Один из них молвил:

— Не к добру это. Лесной зверь. За ним упряжь

— колесница Сатаны! Нет… это не Божий промысел.

Возникло короткое замешательство. Процессия повернула в сторону от площади и скрылась в переулках.

Сани неслись по улице, прилегающей к площади. Молодой человек, изловчившись, все-таки смог отловить зайчика и теперь нежно прижимал его к себе.

На одном из поворотов сани занесло, и под них чуть не попал человек, который стоял на углу и вглядывался в движение, происходившее на площади.

— Эй, вы куда несетесь, — зычно рыкнул он. — Я вам сейчас…

— Это мы тебе сейчас! — начал распаляться молодой человек.

— Ты говоришь это мне? Мне — Трубецкому?!

Юноша вспомнил эту фамилию, произнесенную другом.

— Так вы и есть тот самый Трубецкой? — его лицо расцвело. — Ваши друзья уже ждут на площади. Давайте подвезу.

— Э-э-э… благодарю, не стоит, — Трубецкой сомневался. — Тем более что… я…

— Да мне не в тягость, — молодой человек ухва-

тил собеседника за рукав и притянул к себе. — На площадь!

Они устремились в сторону памятника Петру.

— Вот, привез! — выкрикнул молодой человек, когда сани остановились возле каре.

— Трубецкой, дружище! — слышались голоса офицеров.

Диктатор был смущен:

— Я уже шел, а тут вот он…

— Француз! — крикнул Пущин, пробираясь сквозь строй солдат. — Брата видел? — спросил он у подъехавшего.

— Лева здесь?! — удивился юноша.

— Конечно! — ответил Пущин. — Пойдемте, поговорите.

Молодой человек вылез из саней, продолжая прижимать к груди зайчика.

— Привет, Лева! — сказал он, улыбаясь, и обнял брата.

— Привет, привет, Сашка! — Лев Сергеевич прижал его к себе. — Ты чего, с нами решил?

— Конечно!

— А у меня, посмотри, трофей, — Лев показал брату клинок. — У одного ротозея саблю отобрали. Теперь она моя. С ней пойду в бой. А кто не с нами — голова с плеч!

Молодому человеку вновь стало дурно, ноги подкосились.

Его подхватили и уложили в сани.

— Нас окружают! — раздался внезапный крик.

Восставших медленно обходили войска, верные правительству. Солдаты шли молча. Их лица были напряжены, в них читалась тоска и непонимание ситуации.

— Живыми не выпустят, — пронеслось по строю солдат.

Офицеры-заговорщики ходили бледные, но ничего не говорили. Они видели, что их сил не хватит, чтобы переубедить царя.

— Главное, чтобы пушки не пригнали, — послышались новые голоса. — Тогда расстреляют, даже пикнуть не успеем.

— Заткнись! В своих стрелять не будут.

— А может, и будут. Я слышал, Николай — знатный пушкарь. А по кому стрелять, по врагу или своим, — все равно. Он же немец!

— Нет, стрелять не будут, — сказал кто-то, успокаиваясь. — Конницей раздавят!

— Всем молчать! Смирно! — начали отдавать команды пришедшие в себя офицеры.

Они уже понимали, что отступать некуда.

— Ну, как ты? — Лев Сергеевич похлопал брата

по щекам.

— Так себе, — молодой человек поморщился. — Зря я этого… выпил…

— Ничего, пей, в следующий раз, может, не скоро придется, — Лев горько улыбнулся. — И мне дай глотнуть.

— Держи, — юноша передал брату последнюю, еще не откупоренную бутылку. — Мне не нравится твой тон, Лева. Слишком ты спокоен. Я тебя не узнаю.

— Ты скоро тоже будешь спокоен. Смерть всех объединит, — проговорил Лев Сергеевич.

Он еще хотел произнести что-то философское, но брат его не дослушал:

— А где заяц?! — громко шепнул он. — Ты не видел зайца?!

Лев Сергеевич посмотрел на родственника, покачал головой, словно хотел сказать: «В последние мгновения жизни каждый сходит с ума по-своему».

Молодой человек начал метаться меж солдатских шеренг, пытаясь найти зайца. Он бегал, не понимая зачем и уже не чувствуя усталости и подкатывающей дурноты. Чтобы рассмотреть площадь получше, подбежал к памятнику. Ему помогли забраться на камень. Встав под самое ко-

пыто царского жеребца, он услышал крик брата:

— Да вон же он — возле солдат!

Молодой человек бросил взгляд в сторону — зайчик бежал, не разбирая дороги, вдоль шеренг правительственных войск.

«Что делать?» — мелькнула в голове молодого человека мысль. Через секунду он спрыгнул с камня и кубарем полетел дальше. Поскользнувшись, растянулся на площади. Не чувствуя ушибов, вскочил и неловко побежал дальше, натыкаясь на солдат и расталкивая их.

— Гляди, как скачет! — послышались голоса и смешки. — Словно молодой козлик.

— А ему-то что. Он барин — что хочет, то и делает.

Юноша устремился к карете.

— Трогай! — хлопнул по плечу Степана. — Целковый, если догоним!

Мужик словно проснулся, приосанился. «Пятак и целковый — это будет много. Не знаю сколько, но мне на свадьбу хватит!» — подумал Степан и стеганул лошадь.

Сани пролетели мимо шеренги солдат, которые не хотели уступать дорогу. Внезапно мужик присвистнул, лошадь встала на дыбы, и строй расступился. Сани кружились на месте, словно

выбирая момент, чтобы проскочить. В это мгновенье в образовавшуюся брешь хлынул народ. Ряды правительственных войск поколебались и стали расползаться в стороны. Степан стеганул коня еще раз, и сани буквально прорезали строй солдат.

— Давай, родная! — крикнул он.

От резкого толчка молодого человека выбросило из саней прямо на площадь. Краем глаза юноша заметил, куда побежал зайчик.

Сани неслись прочь. Степан не заметил, что потерял пассажира. Пехотные и кавалерийские части расступались у них на пути.

— Вы видели?! — крикнул Пущин Трубецкому.

— Вот ведь как бывает! — отозвался «диктатор».

— Так чего же мы ждем?

Офицеры колебались.

— Вперед! — закричал кто-то сзади. — Ура-а-а-а!

— Ура-а-а-а! — подхватили другие, и каре устремилось вслед за санями, расширяя и без того глубокую брешь в боевом порядке противника.

— Заяц! Стой, подлец! — кричал молодой человек, стараясь в суматохе не упустить дичь.

Скоро строй солдат подхватил его и понес ко

дворцу.

— Заяц! — продолжал кричать юноша, вертя головой. — Заяц! Ура-а-а-а!

Все смешалось: и восставшие силы, и войска правительства, и тысячные толпы горожан — закружилось в декабрьском вихре восстания.

— Балаган какой-то! — царь, держась за эфес сабли, смотрел на площадь, где началась всеобщая свалка.

Он был бледен. Артиллерийские части застряли где-то на подступах; верных войск уже не было.

— Закладывайте лошадей! — произнес он ровным голосом. — В Польшу! К брату! Потом поглядим!

Он быстро оделся и отъехал прочь.

Скоро восставшим стало известно, что августейшая особа покинула столицу.

— Наша взяла! — кричали восставшие, обнимая друг друга.

— За это надо выпить! — выкрикнул молодой человек, прижимая зайчика.

Каким-то чудом он нашел его у маленького мальчика и тут же выменял на подобранную с земли саблю с именной гравировкой.

— Выпить!

— А у меня цыгане дома ждут, — отозвался

Трубецкой. — С медведями!

— Но сначала заедем ко мне! — выкрикнул Рылеев. — Возьмем моего особого!

— Ура! Особого!

— За победу! — выкрикнул голос.

— За нашу победу! — поддержали его другие голоса.

— За зайца! — подал голос юноша.

Толпа заговорщиков веселою гурьбой вывалила из дворца и, поймав несколько повозок, скрылась в темноте бурана.

Дело было сделано.

— …Декабристы разбудили… — полноватый человек с лысиной корявым почерком писал доклад, но его прервали.

В дверь постучал секретарь.

— Владимир Ильич…

Лысый мужчина кивнул, давая понять, что готов.

Он встал из-за стола, тяжело вздохнул, потер виски. Закрыл глаза на несколько секунд. Все, теперь он настроился.

Взяв доклад, он еще раз перечитал: «…декабристы разбудили…» Зачеркнул этот бред.

— Пора! — сказал он самому себе. — Заседание Государственного Совета не ждет.

Сегодня у него был доклад, сразу после Витте.

Александр Просвирнов
Станция Залазы

M-me[1] Мария Тулупова не могла понять, отчего ей так беспокойно. Будто мало повидала она проезжающих на станции! Но тот первый, в очках, что снял комнату всего-то на три часа, какой-то странный и чужой. Объявился пешком со стороны леса, а одет весьма прилично. И немного смущало *m-me* Тулупову, что сюртук и плащ господину непривычны — будто первый раз в жизни их надел. И говор хоть и русский, но немного чудной. Госпожу Тулупову аж оторопь взяла, когда тот обсказал, кто приедет на станцию Залазы сегодня.

Из какой же губернии объявился сей необыкновенный князь? Или же разбойник, нарядившийся в одежды убиенного князя? Госпожа Тулупова до сих пор размышляла, правильно ли поступила, не послав к жандармам Антипку. Но приятная тяжесть в кармане подсказывала, что молчание сейчас и вправду золото…

Среди прочих выделялся и приезжий из Борови-

---

[1] Примечания: 1
Сокращение от французского madame — мадам.

чей. Маленького роста, беспокойный, чернявый, с бакенбардами. Два светских молодых человека в цилиндрах смотрели на него с явным любопытством, перешептывались, но представиться не решались. А тот, заметив на столике шиллерова «Духовидца», перестал мерить комнату ожидания шагами, сел на лавку и углубился в чтение. Странный князь вышел из своей комнаты и пристально смотрел на чернявого. Мадам Тулупова снова ощутила беспокойство, когда пришелец из леса приподнял рукав на левой руке и посмотрел на часы, укрепленные на ремешке на запястье. Все у него не как у людей!

Старые напольные часы пробили один раз — половину четвертого пополудни. А вскоре неподалеку послышался звон колокольчиков. Чернявый глянул в окно, отбросил томик Шиллера и первым вышел на улицу. За ним потянулись оба любопытных молодых человека, а следом и подозрительный в очках. И почти сразу у станции Залазы остановились четыре тройки. Из первой выбрался фельдъегерь с сердитым лицом, из остальных — три арестанта, каждый в сопровождении жандарма. Всё, как предсказал князь в очках! Наверно, их где-то по пути видел, а уж рассуждал, будто пророк. Или он чернокнижник

какой-то? От такой мысли госпоже Тулуповой едва не стало дурно, и она не сразу расслышала вопрос чернявого:

— Вероятно, поляки?

— Да, — рассеянно ответила хозяйка станции. — Их нынче отвозят назад.

Один из арестантов, утомленный дорогой, обессилено прислонился спиной к колонне и прикрыл глаза. К нему подошел высокий, бледный и худой чернобородый молодой человек в фризовой шинели.

— А сей с виду настоящий жид, — рассеянно заметила госпожа Тулупова.

— Наверное, еще и шпион, — хмыкнул в ответ чернявый. — Не иначе как истребован в Петербург для доносов и объяснений.

Он повернулся спиной к арестантам, но тут к нему обратился пассажир в очках:

— Ошибаетесь, Александр Сергеевич! — и продекламировал вполголоса: — «За ужином объелся я, да Яков запер дверь оплошно, так было мне, мои друзья, и кюхельбекерно и тошно…»

Александр Сергеевич глянул на незнакомца с необычайным изумлением. Тот приподнял цилиндр и отрекомендовался:

— Князь Виктор Иванович Чичагин. Вы меня

не помните?

— Простите, сударь, нет.

Александр Сергеевич вновь повернулся к арестантам, и чернобородый посмотрел на него с чрезвычайной живостью. Возвращаясь в здание станции с фельдъегерем, m-me Тулупова услышала, как чернявый воскликнул: «Господи! Вильгельмушка! Кюхля!» и бросился в объятия высокого арестанта.

Оформляя фельдъегерю подорожную, хозяйка станции специально приоткрыла окно, несмотря на октябрьскую прохладу. До нее долетали лишь обрывки разговора: «Сам не знаю, куда меня препровождают…» — «Вильгельм, прочти свои стихи, чтоб мне заснуть скорее…» — «Все-таки стреляться из-за стихов нелепо…»

К обоим подбежали жандармы и бесцеремонно растащили в разные стороны. Фельдъегерь, не успев оформить подорожную, выскочил на улицу, и госпожа Тулупова услышала, как тот осыпает чернявого угрозами и бранью. В ответ Александр Сергеевич кричал, что пожалуется его превосходительству шефу жандармов Бенкендорфу или даже его величеству государю императору. На фельдъегеря угрозы пассажира не возымели ни малейшего действия, и он велел жандармам

отвезти арестантов на полверсты от Залазов.

— Батюшки, да кто ж сей господин? — изумленно спросила госпожа Тулупова.

— Пушкин, который сочиняет! — с благоговением пояснил ей один из любопытных молодых людей и повернулся к товарищу: — Декабрист-арестант, надо полагать, его лицейский товарищ. Но каков наш поэт! Наслышан я, из-за «Андрея Шенье» и декабристов весь год его допрашивают. Недавно был в крепость посажен. Только что отпущен, а уже жандармам грозит!

К Пушкину тем временем устремился князь Чичагин.

— Александр Сергеевич! — доверительно заговорил он с поэтом. — Дозвольте помочь в ваших хлопотах. Сделаю сие чрезвычайно охотно. Знакомства в высших сферах — замечательно. Но для них ваш друг — государственный преступник. А у меня имеются весьма влиятельные друзья в Третьем отделении, которые незаметны, но чрезвычайно полезны. Могу сообщить вам, что господина Кюхельбекера препровождают из Шлиссельбурга в Динабург, а фельдъегерь господин Подгорный — ревностный служака. Ваших денег для друга он все равно не примет. Но пройдемте в мою комнату. Ежели дозволите,

буду иметь честь сделать интересное, полагаю, предложение. Не угодно ли выслушать оное более обстоятельно?

Александр Сергеевич призадумался. Затем окликнул человека, и тот собрал сумки поэта. Большой плоский лакированный деревянный ящик с изображением пистолета на крышке Пушкин бережно нес сам. Когда за поэтом и князем закрылась дверь, госпожа Тулупова вместо облегчения вдруг почувствовала, как что-то словно кольнуло в сердце…

* * *

Пуля громко звякнула об стеклянную чашечку новенького портативного УЭКА–2027, и Вадим с изумлением посмотрел на маленький свинцовый шарик. Порылся в самых дальних закоулках памяти, но их словно залило солеными брызгами Красного моря.

— Забавная пулька, — хмыкнул капитан Рыков и по-хозяйски развалился в офисном кресле рядом с молодым следователем. — Такие сейчас по большей части в музеях… Но некоторые самоделкины тоже порой льют. Жаль, других следов и улик нет…

Не спрашивая разрешения, он достал пачку

«Герцеговины Флор» и закурил, просматривая на дисплее снимки с места происшествия. Убитый лежал на пустыре лицом вверх, а на груди бурело пятно крови. В верхней части кадра возник портрет моложавого мужчины и надпись: «Яков Ионович Езовитов, 01.01.1987–11.08.2027».

Старший лейтенант юстиции Шаров недовольно поморщился и на полметра откатился от старого полицейского. О чем только думает начальство: вот ведь дали напарничка! До шестидесяти дожил, а только до капитана дослужился. И ведь на пенсию не выгонишь, хотя давным-давно мог бы уже на даче капусту выращивать, как тот римский император — Диоклетиан, что ли…

Рыков не обратил ни малейшего внимания на красноречивое движение следователя и, пыхтя как паровоз, по-приятельски хлопнул того по плечу.

— Вадик, заводи свой агрегат! Хочу глянуть, что про нашу пульку нашепчет. Точно тебе говорю: кто-то выпендрился, из музея пистолетик стырил. На «антуквариат» потянуло!

— Как вы сказали? — изумился следователь.

— Классику детективного кино, Вадик, нашему брату знать полагается! — назидательно заметил Рыков, затягиваясь сигаретой. — «Следствие

ведут знатоки», дело десятое, «Ответный удар». Пятьдесят с лишним лет назад серия вышла. Там опер на помойке бичугана из себя корчил и про самовар так говорил.

— Даже мои родители тогда еще детьми были, — вздохнул Вадим. — А вы, Сан Саныч, неужели помните?

— А то! Улицы пустели, когда «Знатоков» показывали! — и Рыков фальшиво запел: — Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна… А я вот вижу, у покойничка нашего на портрете взгляд наглый. Вадик, действуй!

— Инструкцию не успел прочитать…

— Во, блин, чем ты целый день только занимался? Учись, студент!

Седовласый капитан ловко, будто всю жизнь возился с новейшими универсальными экспертно-криминалистическими агрегатами, положил пулю в приемный отсек и настроил меню. Заморгали светодиоды, по дисплею забегали замысловатые формулы, и через четверть часа агрегат выдал ответ.

— Ни фига себе номер! — воскликнул Рыков, глядя на изумленного следователя. — Всего-то год пульке! И по всем параметрам вроде как

заводская, а не самоделка. Вадик, срочно ищем уникального кустаря-одиночку. Он балуется старинным оружием, готовит порох по допотопным технологиям и льет пули по-заводскому. На такого чудика все вокруг пальцами укажут. Или нет…

— Давайте я сначала по форумам пошарю, — вздохнул Шаров. — Если не нападу на след, тогда вам карты в руки — разработка по старинке. А пока займитесь потерпевшим.

— Угу… Вадик, глянь на примечание. Офигеть не встать! Науке известны изотопы свинца с атомной массой от ста семидесяти восьми до двухсот пятнадцати. Большинство — короткоживущие. А в составе пульки изотопы плюмбум–216 с периодом полураспада целых пятнадцать лет! Глядишь, тот чудик с суперсвинцом вместо приговора Нобелевскую по физике отхватит!

— Может быть, он сотрудник секретного НИИ? — предположил следователь. — Неплохая версия, Сан Саныч!

* * *

В редакции «Всякой всячины» оказалось на удивление тихо и спокойно, хотя капитан Рыков ожидал увидеть в столь всеядном издании при-

вычную суматоху.

— У нас четко отлажен производственный процесс, Александр Александрович, — пояснил оперативнику главный редактор. — Лорд Честерфилд еще в восемнадцатом веке сказал: «Умный человек иногда торопится, но ничего не делает второпях». А наши сотрудники — профессионалы высокого класса.

— И покойный Яков Езовитов тоже?

— Разумеется!

— Но я успел переговорить кое с кем… — хмыкнул Рыков.

— Понимаю, — перебил его редактор. — Помните наставления Бендера: побольше цинизма, людям это нравится. Конечно, в статьях Яков никого из литераторов приторным сиропом не поливал. Но зато язвил чертовски талантливо! Итог — дополнительные подписчики и покупатели. Он был левшой, и все называли его Левшой от критики. Теперь голову ломаю — заменить Яшу некем…

— Нас интересует другой аспект, — серьезно сказал полицейский. — Я вашего Езовитова раньше знать не знал. Но недавно увидел по телевизору — в жюри телепроекта «Песне ты не скажешь до свидания». Сколько лет на свете

живу, а столько гонора и высокомерия еще не встречал. Я те песни с пеленок помню, аж на слезу прошибало, когда слушал, а он каждую обгадил. Дескать, текст — примитив и дешевка, музыка так себе, вся ценность — отражение эпохи… Читал потом, что сын Дарьи Миловановой жуткий скандал устроил на съемках, даже убить Езовитова грозился. Скандал имел продолжение?

— Вы все равно узнаете… — вздохнул редактор. — Петр Милованов и к нам приходил буянить вскоре после эфира. До драки дошло у них с Яшей. Еле разняли. Но полицию не вызывали.

Рыков оживился и быстро опросил немногочисленных свидетелей стычки. Лучше всех запомнил драку двухнедельной давности Виктор Сапожников, который вел в газете рубрику необычных явлений. При этом сам походил на заурядного офисного клерка — тихий спокойный мужичок возрастом под сорок. Внимательно читал текст на дисплее ноутбука, невозмутимо протирая носовым платком очки. Оперативник сморщился, увидев сразу три открытых окна: по астрологии, НЛО и параллельным мирам. Однако о драке Сапожников рассказывал по-деловому, без эмоций и в деталях: кто что выкрикнул, сколько ударов достигли цели. Итог оказался не в пользу более

молодого Милованова. Сорокалетний Езовитов разбил тому нос и поставил «фонари» под оба глаза, а сам отделался оторванными пуговицами и одним фингалом. Зато дикий вопль «убью!!!» от сына прославленной певицы слышала вся редакция.

Рыков уже собрался уходить, когда к Сапожникову пожаловал благообразный старичок лет восьмидесяти, живо напомнивший оперативнику Фунта из старой швейцеровской экранизации «Золотого теленка». На лице журналиста промелькнуло кислое выражение. «Как на работу сюда ходит, почти каждый день», — шепнул Сапожников Рыкову. Но однако надел очки и принял серьезный вид.

Опытный капитан тут же выяснил, что и Фунт был свидетелем драки. Однако тот величественно отказался беседовать с полицейским до своего важного разговора с Сапожниковым. Рыкову пришлось терпеливо ждать, пока старичок наболтается, а рука так и тянулась к пачке «Герцеговины Флор». Увы, редакция «Всякой всячины» была объявлена территорией, свободной от курения.

Под тусклую неторопливую речь Максима Ильича, методично по пунктам опровергавшего

статью в последнем номере «Всячины» о снежном человеке, Рыков вдруг почувствовал, как мышцы начинают деревенеть. Собеседники растаяли в непонятной дымке, а из-за дисплея поднялся огромный гоминоид, покрытый шерстью. Йети поднял дубинку, а капитан не мог даже шевельнуться, с ужасом слушая негромкое рычание. Гоминоид исчез так же внезапно, как появился, а Рыков увидел перед собой два удивленных лица и понял, что под монотонное бормотание старичка аж захрапел.

— Работа такая, всю ночь в засаде просидел… — многозначительно пояснил он собеседникам.

Те понимающе переглянулись и продолжили прерванный разговор. Минут через пять Максим Ильич наконец-то снизошел к полицейскому:

— Я к вашим услугам, молодой человек, — и, повернувшись к Сапожникову, с укоризной заметил: — Чем всякий ненаучный бред тоннами публиковать, лучше бы предложили читателям статью академика Тайманова. На даче его постоянно встречаю. Старик возмущается, что у вас за проволочки — полгода уже любопытнейший материал маринуете…

— Готовится, — пробормотал Сапожников, и по лицу журналиста Рыков понял, что тому просто

не терпится спихнуть словоохотливого старичка полицейскому.

При выходе из кабинета что-то заставило Рыкова оглянуться — из-под очков заурядного «клерка» сверкнул взгляд умного проницательного человека, чем-то встревоженного. А через мгновение Сапожников вновь уткнулся в свой дисплей с астрологией и уфологией.

* * *

Фунт выразил желание побеседовать с оперативником в парке на скамеечке и по пути истязал несчастного капитана пересказом несостоявшейся пока статьи академика.

— Чертовски интересная гипотеза, молодой человек! — бубнил Максим Ильич. — Вам, конечно, известны теории о множественности параллельных миров. Но все они умозрительны, доказательств нет. Тем не менее Миша Тайманов полагает, что обнаружил их — некие точки пространства, где наблюдается усиление напряженности магнитного поля на определенные величины. Даже карту составил для европейской части России. По расчетам нашего академика, эти точки — своего рода «пересадочные станции» между параллельными мирами, различающими-

ся на целое число столетий.

— Почему на целое? — с ухмылкой поинтересовался Рыков, мысленно чертыхаясь.

— Для других миров расчеты намного сложнее… У Миши не получились. Так вот, если создать некий переходник через данную точку, мы сейчас можем оказаться в мире, где, к примеру, 2127 год, или 1927-й, или 1827-й… Конечно, ни один научный журнал такую статью не опубликует, поэтому Миша и опустился до «Всячины». Тираж большой, читает весь наш, так сказать, бомонд. Глядишь, клюнет какой-нибудь олигарх, спонсирует изготовление переходника для «пересадочной станции». Миша в статье даже принцип действия устройства изложил. Наверное, для Вити Сапожникова это слишком сложно, вот и не хочет публиковать. Хотя он совсем не такой простачок, каким прикидывается. Думаете, молодой человек, я не понимаю, что он во всю эту астрологическую и уфологическую ерунду ни грамма не верит? Просто кормится на ней и паразитирует на людском невежестве. В науку, увы, получается, Витя не верит тоже… Так что вы хотели узнать про потасовку двух задиристых молодых петушков?

К этому моменту Рыков с Фунтом наконец-то

добрались до скамейки в тенистой части парка, и измученный малопонятным монологом капитан наконец-то с наслаждением закурил. Теперь он слушал собеседника по-настоящему, как привык за долгие годы оперативной работы, не пропуская из рассказа Максима Ильича ни единого слова:

— Я Петю предупреждал, что это авантюра. Разве можно что-то доказать желтой прессе! Они же скандалами питаются. Но он такой был настойчивый! Вот я и согласился проводить его в редакцию. Думал, придержу, если что. Куда там! Петя начал сразу на Якова кричать. Тот же постарше немного, разумнее должен быть — ничего подобного. Как начал язвить, что даже мне, честно говоря, тоже захотелось стукнуть эту акулу пера по башке. А люди молодые вспыхивают как порох. Вот Петя и не сдержался, а Яков ответил…

Выяснилось, что Фунт — профессор-физик, но давно на пенсии. С покойной певицей Миловановой был соседом по даче, а ее сына хорошо знает буквально с пеленок. Теперь тот живет на даче один, но постоянно собирает для кутежа веселые компании. Жив еще и брат Миловановой Роберт. У него дача в том же поселке, но на отшибе — больше похожая на крепость. Певица с ним почти не общалась и Максиму Ильичу ничего

про брата не рассказывала. Племянник, похоже, тоже с ним особо не роднится. Про драку Петра и Якова Рыков от Фунта ничего нового не узнал, только удивился, почему никто из свидетелей не упомянул старика.

— Одни, наверно, не заметили, другие подумали, я к Вите пришел, — пояснил Максим Ильич. — Тем более от Пети я отстал немного. А он меня потом и дожидаться не стал, убежал сразу. Хорошо еще, что сдержался, пистолет не достал…

— Какой пистолет? — Рыков даже привстал со скамейки и швырнул окурок в урну: так вот ради какой крупицы он столько времени убил на разговоры с болтливым стариком!

— Наверное, декоративный, — пояснил Фунт. — В виде старинного, очень хорошей работы. Петя, чего доброго, мог бы в горячке стукнуть Якова рукояткой по голове… Как удержался, не пойму.

— Старинный пистолет… — задумчиво произнес оперативник и, вспомнив про исследование пули, поинтересовался: — Максим Ильич, а вы можете допустить существование относительно стабильного изотопа плюмбум–216?

Фунт внимательно посмотрел на полицейского и с уважением сказал:

— Вот сейчас вы меня чрезвычайно удивили, молодой человек. Но, боюсь, ваша гипотеза из области фантастики.

— Даже в сочетании с теорией академика Тайманова?

Фунт встал, пожал оперативнику руку и с чувством произнес:

— Спасибо за любопытную версию! Будет над чем поразмыслить!

* * *

После ухода Рыкова Шаров еще с полчаса молча смотрел на дисплей УЭКА–2027, но мысли молодого следователя ускакали далеко. На кой черт придумали этот эксперимент в виде постоянных оперативно-следственных групп из двух человек! И как старикан-капитан, который презирает интернет, так ловко обставил его с агрегатом… Будто не понимает, что Вадиму после медового месяца и выхода из отпуска просто лень было читать злосчастную инструкцию. Никуда она не убежит! Но постепенно внутренние потоки желчи иссякли, а вместо них забили свежие ключи с упреками совести.

С тяжелым вздохом следователь вошел в интернет и приступил к поиску коллекционеров

старинного оружия. Пыхтя от злости, изучал переписку немногочисленных чудаков в форумах, но понемногу вник, увлекся и не заметил, как пролетели два часа. Внутренняя команда «стоп» прозвучала при виде знакомой фамилии — Роберт Милованов: Сан Саныч звонил часа полтора назад, что активно разрабатывает подозреваемого Петра Милованова.

Неужели и вправду напали на след? Вадим почувствовал, как закипает азарт охотника. Кто же этот таинственный Роберт? Один из форумчан упоминал передававшуюся из уст в уста байку, что кто-то когда-то рассказывал про укрепленный не хуже дзота подвал на даче Милованова: там коллекция, которой позавидует и Оружейная палата. Вот только свое увлечение Роберт ни с кем не обсуждал и к сокровищнице никого не допускал. А «кто-то когда-то» сам там не был, лишь передавал рассказ первого мужа Дарьи Миловановой, однажды допущенного к закромам шурина. Интересный узел получался! А не пересекались ли где прежде Езовитов и Миловановы? Может, не случайно модный критик так яростно набросился на хиты певицы прошлого?

Задавая поиск в разных комбинациях, Вадим разочарованно вздохнул: увы, Всемирная сеть не

сохранила никаких следов былых словесных баталий певицы и ее родни с Езовитовым. Значит, проверить версию можно только оперативным путем. Для порядка к заключительной поисковой комбинации Вадим добавил слово «пистолет» и замер: правда, Милововых поисковик отсек, но пистолет и Яков Езовитов обнаружились неподалеку в одной ветке форума на литературном сайте «Классики и современники».

В комментариях к стихотворению Пушкина «Я вас любил» Езовитов написал, что это жалкая версификация, непонятно как пленившая публику. И вообще, Пушкин — дутая величина. Настоящий русский поэт только Семен Надсон. Вот строки, над которыми и вправду хочется плакать:

Любовь – обман, и жизнь – мгновенье,
Жизнь – стон, раздавшийся, чтоб смолкнуть навсегда!
К чему же я живу, к чему мои мученья
И боль отчаянья, и жгучий яд стыда?

Несколько человек в форуме возмущенно пристыдили Езовитова. Какой-то чудак под ником Арап сотворил изящную стилизацию с использованием твердого знака, ятя и старой і: рассыпаясь в любезностях, обратился к Якову как к мило-

стивому государю, а в конце назвал собеседника недоученным ослом. Критик не замедлил с ядовитым ответом, и под стихотворением выросла длиннющая «борода» из комментариев. Публика весело подбадривала явно симпатичного ей оппонента Езовитова. А тот однажды продолжил спор весьма сурово:

Яков, сукин сын и хряков,
Аль забыл в злоречьи меру?
Стоп! Довольно жабой квакать!
Не угодно ли к барьеру?
Глянешь в дуло пистолета —
И прощайся с белым светом!

На следующий день посетовал, что написал столь корявые строки, будучи несколько подшофе, затем и уснул сразу. Зато Езовитов не дремал и высокомерно отвечал, что таких арапов может пачками отстреливать, как тот северянин из анекдота про ноусеров. Пусть Арап вместо стихов читает протоколы межвузовских соревнований по стрелковому спорту — Езовитов там не раз побеждал. Перебранка продолжалась долго. А развеселая публика подбадривала оппонентов восклицаниями: «Шайбу! Шайбу!», «Пульку!

Пульку!», «Хоп-хоп, пулю в лоб!».

Новая версия мгновенно созрела в голове следователя. Нелюдимый чудак Роберт Милованов — коллекционер старинного оружия и поклонник старых поэтов. Такой и вправду мог сам изготовить пистолет, чтобы лишний раз не касаться своих раритетов. Выходит, он и есть Арап? Нужно срочно проверить! Вадим позвонил Рыкову:

— Сан Саныч, возвращайтесь в управление, возьмем УЭКА и поедем в поселок Ельниково. Нужно проверить дачу Роберта Милованова.

— А я уже на месте, Вадик! — весело откликнулся капитан. — С племянником Роберта Милованова. Мы тебя ждем. С агрегатом. И аптечку не забудь, а то Петя лыка не вяжет.

* * *

Через час Рыков, дымя сигаретой, бодро рассказывал Шарову, как вышел на Петра Милованова, теперь безмятежно храпевшего в полицейской машине:

— Приезжаю с Максимом Ильичом на дачку — спит, голубчик, дрова дровами. Спрашиваю, где пистолет — мычит. Кое-как парня раскрутил: дядя, говорит, дал — ему и вернул. Сразу сюда, а

у дяди все заперто. Телефон племянник не знает, а у меня к базе доступа нет.

— Я уже созвонился с Робертом Титовичем, — сообщил Вадим. — Он вот-вот подъедет.

В этот момент у дачи остановилась «Победа» бог весть какого года выпуска, но выглядевшая так, словно только что сошла с конвейера ГАЗа. Из нее выбрался бодрый сухопарый старик лет семидесяти, очень похожий на покойную певицу.

— Так и знал, что добром Петькина авантюра не кончится, — вздохнул Милованов-старший, ознакомившись с удостоверениями Шарова и Рыкова. — Пройдемте в дом, я все объясню.

Петра оперативнику и следователю пришлось нести на руках и укладывать на диванчик в гостиной, исполненной в стиле девятнадцатого века. Неодобрительно глядя на племянника, Роберт Титович рассказал, что тот недавно приходил к нему и просил старинный пистолет — попугать критика Езовитова.

— Такой был настырный, что я согласился, — смущенно сообщил Милованов. — В конце концов, за честь сестры вступался — так уж и быть, думаю. Антиквариат, конечно, я ему не дал. Предложил модель — сам изготовил. Дал несколько пистонов, чтобы только хлопнуть.

Через несколько дней Петька пришел пьяный и побитый, пистолет и пистоны вернул. Сказал, сдержался, не воспользовался. Ну, и ладно, думаю. Выходит, соврал, стервец?

Спустились в подвал, и старик показал свою таинственную коллекцию старинного огнестрельного оружия. Шаров и Рыков с восторгом смотрели на застекленные витрины с тысячами пистолетов, винтовок, ружей и дуэльных наборов в ящиках, содержавшихся в идеальном порядке. Модель, которую брал Петр, проверили с УЭКА (принесли агрегат в подвал). Отсканировали ствол изнутри и убедились, что пуля, убившая критика, была выпущена из другого пистолета. Проверили все остальные модели (их насчитывалось с десяток) — тот же результат.

— Странно… — смущенно произнес Вадим.

— А что вы хотели найти? — усмехнулся старик. — Проверяйте, пожалуйста, все подряд!

Однако Рыков поступил проще: провел экспресс-анализ замочных скважин витрин и по возрасту микроцарапин установил, что лишь две единицы хранения вскрывались относительно недавно. В одной хранились ружья, в другой пистолеты. Ни один из них не соответствовал по калибру обнаруженной в теле пуле.

К изумлению полицейского и следователя, в доме не оказалось компьютера. Милованов пояснил, что так и не научился толком с ним обращаться, а про какого-то Арапа в интернете не имел ни малейшего понятия. Даже молодому недоверчивому следователю стало ясно, что хозяин говорит искренне. Оставалось только извиниться и уйти, но тут Рыков поинтересовался:

— Извините, Роберт Титович, а почему с сестрой всю жизнь не ладили? Как-никак знаменитость…

— А на что мне примазываться не к своей славе? — спокойно ответил Милованов. — Даша была славной девочкой, но ее очень испортили эстрада и особенно Гога, первый муж. Заразил сестру своим вещизмом… Даша с Гогой давным-давно развелась, а его идею не оставила: коллекция стоит баснословных денег, поэтому ее нужно продать. Но я не мог просто так пустить по ветру фамильное достояние! Оружие начал собирать в девятнадцатом веке наш предок — князь Виктор Чичагин. Какой смысл проедать историческое наследие? Весной, кстати, еще один претендент на коллекцию объявился. Назвался потомком князя по линии второй жены. Хотя у нас в семье считалось, что их дети умерли в

младенчестве. Никого из этой ветви мы не нашли — архивы на Псковщине сгорели во время Великой Отечественной. Молодой человек не смог предоставить доказательств родства, но оказался редким наглецом. Попросил меня спонсировать изготовление какой-то машины для путешествия в прошлое параллельного мира, якобы оттуда он доставит доказательства. Я хотел его тут же прогнать, но он сослался на академика Тайманова. Мишу я уважаю — позвонил. Оказалось, и вправду его теория. И, знаете, я не то чтобы поверил, но подумал: почему бы не попробовать? Юридически претензии потомка несолидны — я проконсультировался. Но на документы для семейного архива можно было раскошелиться.

— И что? — Рыков еле сдержался, чтобы не расхохотаться. — Добыл их парень?

— Нет, но он регулярно звонит. Обещает вот-вот смастерить свой переходник.

— Переходник? — насторожился капитан. — А как зовут молодого человека?

«Он совсем не такой простачок, каким прикидывается», — вспомнил Рыков слова Фунта, так что спокойный ответ Милованова не стал сюрпризом:

— Виктор Сапожников.

— Это который из «Всячины»? — послышался пьяный голос с диванчика. — Выходит, он мне братец многоюродный… Я как-то у дома Езовитова околачивался, разговор хотел с тем Зоилом закончить… Сапожников в Яшкин подъезд заходил с двойником Пушкина…

— Может, тот двойник и есть Арап? — сразу воспламенился энтузиазмом Шаров. — Срочно едем к Сапожникову!

Обратно в Москву автомобиль вел Рыков и весьма удивил молодого следователя, поскольку всю дорогу молчал и не балагурил. Сосредоточенно смотрел на шоссе и гнал изо всех сил.

Однако они все равно опоздали. Из редакции Сапожников уже ушел, телефон не брал, а в квартире никто не откликался на звонки. Молодой следователь отвернулся и «не заметил», как Рыков ловко открывает дверь отмычкой.

— Ой, а Сапожников забыл хату запереть! — насмешливо сказал Рыков, глядя на следователя. — Пошли, Вадик!

Из квартиры журналиста явно только что в спешке бежали: всюду валялись разбросанные вещи, в том числе вдребезги разбитый ноутбук, на кухне на столе еще не успел засохнуть кусок хлеба… Вот только рукопись академика Тайманo-

ва нигде не обнаружилась.

— Вряд ли Сапожников перед уничтожением затирал комп тщательно, если вообще чистил, — предположил Рыков. — Вадик, тебе и карты в руки, ты по этой части мастак.

Они бегом выскочили из подъезда. В автомобиле Шаров подключил к УЭКА останки ноутбука журналиста и принялся колдовать. Из-за механических повреждений деталей работа шла медленно. Молодой следователь не раз изрыгал самые грязные ругательства под смешки напарника, тот успел выкурить не одну «Герцеговину Флор».

— Да, Вадик, не на одну трубку дело получается, не то что у Холмса, — глубокомысленно заметил Рыков. — Уже полтора часа дымим…

— Не зудите под руку, Сан Саныч! — огрызнулся Шаров, а еще через полчаса, вытирая пот со лба, торжественно провозгласил: — Готово!

В ноутбуке обнаружились и файлы с рукописью академика, и чертежи пресловутого переходника. Он представлял собой плоскую коробку — такая легко помещалась в сумку или небольшой чемодан. Оказался в архиве и еще один чрезвычайно любопытный файл: карта-схема России с отмеченными на ней красными точками и пометками

— «Пересадочными станциями». Одна из станций была обведена кружком — деревня Залазы в Псковской области.

— Думаю, Сапожников с двойником рванул туда, — задумчиво произнес Рыков. — Или не с двойником? Башка кругом идет…

— Вы поверили в эту чушь, Сан Саныч? — изумился Вадим.

— Не знаю… — рассеянно произнес Рыков. — Сначала, конечно, думал — белиберда. Но очень уж хорошо этот бред все объясняет, в том числе изотоп плюмбум–216. Заметь, ноутбук Сапожников с собой не взял, потому что «там» такая матчасть не нужна… Если наша версия верна, то у Арапа нет документов. Значит, они едут на машине.

Шаров недоверчиво хмыкнул и полез в смартфон проверить полицейскую базу. Оказалось, что «Волга» Сапожникова действительно движется в сторону Пскова.

— Сейчас сообщу, его остановят! — обрадовался следователь.

— Мы сами должны снять сливки с этого дела, — предложил Рыков. — Поэтому брать ребяток нужно именно в Залазах, в точке перехода! Рванем туда самолетом и встретим Сапожникова с

Арапом на месте.

* * *

Ранним августовским утром к скромной ветхой часовенке у Залазов подъехала «Волга». Из нее выбрались Виктор Сапожников и Арап в цилиндрах и костюмах старинного покроя, достали из багажника сумки и ящик с дуэльными пистолетами. Постояли у камня с портретом великого русского поэта и надписью: «Здесь на этом месте 14.10.1827 г. состоялась встреча поэта А. С. Пушкина с другом декабристом В. К. Кюхельбекером». Всматриваясь в изображение, Арап поинтересовался:

— Князь, вы говорили, отличие ровно на сто или двести лет. А почему у нас осень, а у вас лето?

— Академик объяснял очень заумно: погрешность связана с различием в продолжительности тропического и звездного года… Так вы точно решили, Александр Сергеевич?

— Трудно сказать… Знать, что некий французский хлыщ будет нагло ухлестывать за неведомой мне пока Натали и не вызвать его? Князь, вы сами слышали, как Вильгельм на этом месте рассуждал: нелепо стреляться из-за стихов. А я и здесь не сдержался… Или за десять лет все же

наберусь мудрости и спокойствия?..

— Значит, вы признаёте, Александр Сергеевич, что застрелили Якова Езовитова на дуэли? — спокойно поинтересовался капитан Рыков, выходя со следователем из часовни. — Ваши слова записаны!

В руках оперативник держал смартфон, а журналист затравленно озирался в поисках миниатюрных микрофонов. Шаров показал свое удостоверение и строго сказал:

— Потрудитесь дать официальные показания. Вы задержаны, господа, оба — для уточнения обстоятельств дела!

— Виктор, только без глупостей! — вновь заговорил капитан Рыков. — Где переходник?

— Все-таки вы нас нашли… — прошептал ошеломленный Сапожников. — Я сразу почувствовал неладное, едва вы появились в редакции. Взгляд у вас очень проницательный.

— Александр Сергеевич, вы готовы к явке с повинной? — обратился молодой следователь к Пушкину. — Признаетесь в убийстве?

— Сие была честная дуэль, милостивый государь! — многозначительно заметил поэт. — Готов поклясться перед судом людским и Божиим!

— Но как Яков-то на нее согласился? Он что,

идиот? — изумленно спросил Шаров у журналиста.

— Решил, что меня завербовала программа «Розыгрыш», — неохотно пояснил Сапожников.

— И вы допустили кровопролитие? — возмутился Рыков. — Хорош гусь, нечего сказать!

— Я думал, он зарядил пистолеты клюквой, как на дуэли с Кюхлей, — пролепетал журналист. — Специально взял мороженую из холодильника.

— Я передумал насчет клюквы! — подал голос поэт. — Не судите строго князя, господа жандармы. Я намеренно ввел моего друга в заблуждение. Подлец ваш Яков и сам виноват, что наша перестрелка столь прискорбно завершилась. Упокой, Господи, его душу грешную…

— И вы хотите сказать, что это действительно тот самый Пушкин? — воскликнул Вадим. — Но он же писал гусиным пером! А тут интернет!

— Да-с, милостивый государь, поначалу мне казалось, что попал в лучший мир… — поэт вздохнул. — Диву давался, что Господь смилостивился над грешником и допустил оного в рай… Неделю не мог поверить князю. Но собрался с силами, обрел душевное спокойствие. Потом оказалось, что вашими чудесами пользоваться весьма несложно, ежели есть голова на плечах.

Князь Чичагин-Сапожников привел меня в ваш мир, дабы показать всенародную любовь к моему двойнику. Посему призывал к благоразумию, предупреждал, чтобы я берег себя… Но я, как на грех, столкнулся с тем пародийным Зоилом. Господин жандарм, мне весьма неуютно в вашем мире — он остался для меня чужим. Тем паче я не хочу в Сибирь! Сделайте милость, дозвольте вернуться обратно!

— Ни в коем случае! — отрезал молодой следователь. — Прошу добровольно отдать переходник и следовать за мной! В противном случае мы будем вынуждены применить силу.

— Князь, сделайте как они велят, — нервно сказал поэт Сапожникову. — Увы, жандармы нас переиграли…

Журналист недоуменно глянул на поэта, а потом долго возился с замком сумки. Руки Сапожникова дрожали. И вдруг поэт распахнул ящик и выхватил сразу два пистолета. Следователь с оперативником замерли под направленным на них старинным оружием.

— Не искушайте судьбу, господа жандармы, — резко сказал Александр Сергеевич. — Я не намерен лишать никого из вас жизни, только ранить, ежели что… Но вдруг случится несчастье?

Я и тому Зоилу хотел только руку прострелить, чтоб гадости не писал хотя бы временно. Слышал, что он левша. Князь, поторопитесь!

Сапожников метнулся к поэту и выхватил из ящика с пистолетами переходник — точь-в-точь такой, как на изображении. Через мгновение в воздух взметнулось облако пыли — в нем с треском заискрили электрические разряды. Но буквально через секунду все стихло, а порывом ветра унесло пыль. А два человека с вещами исчезли бесследно…

— Жаль, академик Тайманов не увидел доказательства правильности своей теории, — со вздохом произнес капитан Рыков, доставая сигареты.

— Вы же могли помешать им… — пролепетал Шаров.

— Мог, — согласился Рыков. — Но передумал. Сначала-то хотел сенсационное дело раскрутить. Но в последний момент пожалел обоих — пусть катятся в свой параллельный мир. Вадик, не парься из-за пустяков. Подумаешь, еще один висяк! Я тебя научу, как грамотно отписаться, чтоб на психиатрическое обследование не послали… Зато Роберта Милованова порадуем с удачным вложением средств: без всякого криминала изба-

вился от претендента на свою коллекцию!

— Даже если Сапожников вернется, его документам в суде грош цена, — заметил повеселевший Вадим. — Они же будут свежие, как та пуля!

* * *

Услышав шум в запертой комнате *т-те* Мария Тулупова обмерла, прижалась к стене и зашептала молитву. Никого же больше не селила в проклятую комнату! Батюшку туда приглашала, чтобы освятил после бесследного таинственного исчезновения двух постояльцев. Но все равно боялась, что чернокнижник в очках вернется… Неужели так и случилось? Или почудилось?

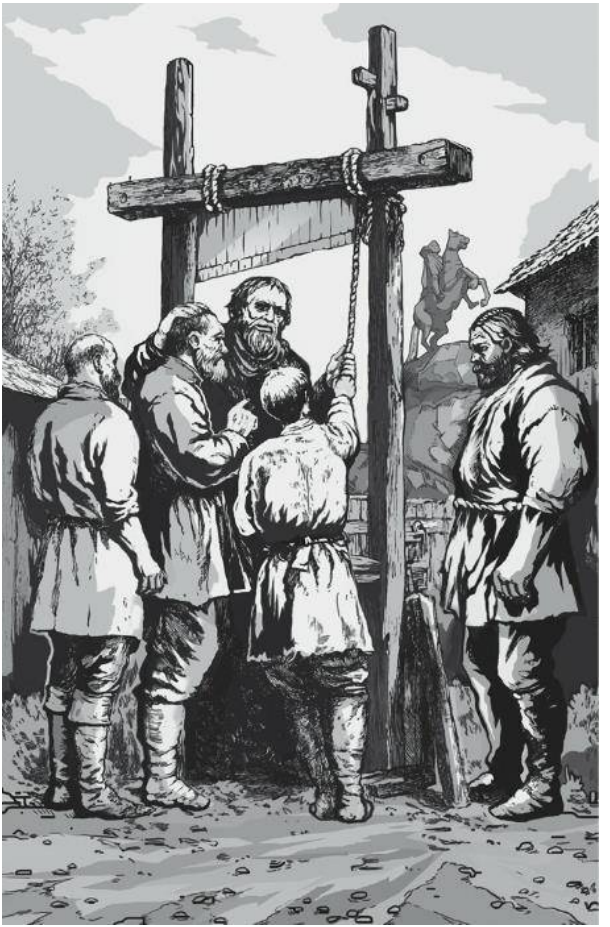
Сомнения тут же развеяли возмущенные голоса и стук за запертой дверью. Ноги *т-те* Тулуповой словно приросли к полу, а язык будто отнялся. Ничего не смогла сказать подошедшему на шум Антипке. Мужик отпер замок, снял его с петли, и дверь распахнулась. Точно, они! На пороге стояли оба демона — князь Чичагин в очках и чернявый Александр Сергеевич.

— Спасибо, любезный, — поблагодарил тот Антипку. — Вот тебе на водку…

— В чем дело, хозяйка? — словно издалека успела расслышать голос князя Чичагина *т-те*

Тулупова, прежде чем окончательно лишилась чувств…

Хроника несбывшегося



Ника Батхен
Поединок

Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе.

Джон Харрингтон

— Проснитесь! Князь-батюшка, Сергей Григорьевич, да проснитесь же наконец — вас в Думе ждут нынче поутру, и курьера уже прислали с депешей!

С трудом вырвавшись из тяжелого сна, князь Волконский открыл глаза. Ему виделся тот же кошмар: снег, метель, запряженные сани и тяжелые кандалы на запястьях. Старая рана никак не могла зажить окончательно. Доктора говорили, надо ехать на воды в Баден… да откуда же время взять?

Старый Прохор, с обожанием глядя на господина, набросил ему на плечи любимый турецкий халат. На прикроватном столике, как всегда, красовался подносик с чашкой кофе и набитою трубкой. Шторы не раздвигали — князь любил просыпаться спокойно.

— Как Мари?

— В ожидании, батюшка. В пятом часу начались схватки, но страдает не сильно. Доктор Арендт уже приехали, говорят, все идет благополучно.

— Как Николенька?

Прохор расплылся:

— Выздоровели, Николай Сергеич! За полночь жар был сильный, две рубашки сменили князеньке, а к утру все прошло. Сами проснулись, молока с булочкой скушать изволили и в солдатики играть побежали. Мамзель Флоранс хотела князеньку в постели оставить, так они ее бабой назвали: ничего, мол, вы, бабы, в войне не понимаете, а я генералом буду, как папа!

Камердинер захихикал и перекрестил рот. Князь Волконский тоже улыбнулся — ему нравилась пылкость сына.

— Что еще?

Прохор замялся:

— Тут Ивашка Меленьтев с сыновьями прошение подали. Мол, прощения просим, князь-батюшка, совсем с ума сошли от этой свободы — забирайте нас назад как есть, до скончания живота служить будем. Пьяница он, Ивашка, но кучер хороший и в лошадях толк знает.

…Такие случаи были не редкость. В первый год после оглашения «Манифеста о вольных

земледельцах» множество крепостных, особенно из балованной домашней прислуги, покидало своих хозяев. Но уже весной двадцать восьмого люди начали возвращаться. Помнится, генерал Лунин долго вещал в Думе, что давать свободу и не давать земли — все равно что давать тарелку и не класть на нее хлеб. Но большинством решили отправить земельную реформу на тщательную всестороннюю проработку. До сих пор прорабатываем… ч-ч-чиновнички.

— Пустить. Взять расписку, что по доброй воле вернулись в крепостное сословие и свободны из него в любой момент выйти, и пустить, — Сергей Григорьевич с удовольствием потянулся и встал, — подавай умываться. Завтракать не успею. Лошадей к подъезду через двадцать минут. И смотри, как Мари разрешится, или, если, упаси бог, дурно дело пойдет, тотчас пришли человека.

…Непогожее утро в Санкт-Петербурге способно заразить сплином почище лондонского тумана. Декабрьская погода — то ли снег, то ли дождь, то ли осень, то ли зима. Свинцовые, тяжкие облака, свинцовая, густая вода под мостами. Бледные лица прохожих — словно утро прошлось по ним кистью свинцовых белил. Унылые голоса чухонцев-разносчиков, предлагающих фрукты, рыбу

и горячие пироги. Почему бы Петру было не основать столицу в Крыму, у самого Черного моря — там абрикосы, вино и сплошные восточные пери? А в Петербурге из русских женщин словно уходит жизнь. Князь Волконский вспомнил стайку миловидных модисток из салона мадемуазель Гебль — никакого сравнения с нашими серыми утицами… Ах, кого я хочу обмануть?! В каретном поставце князь держал и коньяк, и бокал, и лимон, и свежую мяту, чтобы не болтали: мол, с самого утра пьет Сановник Империи.

Четырнадцатого декабря 1825 года, таким же промозглым и стылым утром, Северное общество вывело полки́ на Сенатскую, ныне площадь Победы. Четырнадцатого декабря в полдень князь Оболенский арестовал великого князя Николая Павловича и его брата Михаила. Четырнадцатого декабря в три часа пополудни был подписан указ об отречении в пользу малолетнего Александра, регентами назначались князья Трубецкой, Оболенский, Волконский, Щепин-Ростовский и генерал Милорадович. В пять часов пополудни огласили манифест о свободе и равенстве. В семь часов пополудни в подвале Зимнего дворца прозвучали выстрелы… Предусмотрительный Константин подтвердил отречение еще раз и,

от греха подальше, подался из Польши в Цюрих. Вдовствующих императриц выслали в Пруссию — план Пестеля истребить всю семью революционеры признали чересчур кровожадным. Семилетний император Александр II и великие княжны Мария, Ольга и Александра остались в Петропавловском равелине.

Первого января 1826 года, в праздник Нового года, князь Волконский въехал в столицу, чтобы стать одним из двенадцати Сановников Новой Империи и наставником-охранителем царского дома. Он долго не мог понять, за какие заслуги избран. Но со временем уразумел: это было достаточно тонкой интригой, чтобы удалить князя-регента от настоящей власти. Так же, как Щепин-Ростовский получил под начало образование с просвещением, даром что по доброй воле из книг брал в руки одну Библию. Так же, как бешеный Пестель был отправлен усмирять Польшу и погиб от шальной (а случайной ли?) пули в 1828 году. Так же, как генерал Лунин после бурных дебатов в Думе уплыл в Америку — комендантом форта Росс и губернатором заокеанских владений. Уже на борту фрегата «Надежда», перед отплытием, старый вольнодумец демонстративно вымыл якобы испачканные в корабельной

смоле руки, и никто не посмел возразить…

Неожиданно карета остановилась.

— Предъявите пропуск! — раздался молодой властный голос. У князя вдруг противно ёкнуло сердце.

— Ослеп, детинушка? Это ж Сановник Волконский на заседание едут! — огрызнулся с козел княжий кучер.

— В России все равны. Предъявляй!!!

— Успокойся, Степан, солдат прав. В России все равны нынче, — князь достал из портмонета паспорт нового образца, с циркулями и молоточками. — Получите, любезный.

Солдат искоса проглядел пухлые страницы. Князь улыбнулся в усы — служивый держал документ вверх ногами. Надо, надо будет провести в Думе закон об обязательном обучении грамоте лиц, состоящих на государственной службе. А то, право, перед Европой стыдно.

— Проезжайте.

Солдат козырнул, шлагбаум поднялся, карета въехала на Дворцовую. Князь пригладил усы и достал из поясного кармана золотые часы-луковицу. Парижская штучка: когда открываешь крышку, часы играют «Марсельезу». До заседания Думы оставалось восемь минут. Когда князь,

запыхавшись, ворвался в зал, депутаты уже пели «Отчизны верные сыны». Одиннадцать Сановников Империи заняли свою трибуну, ждали только его, Волконского. Кланяясь и улыбаясь во все стороны, князь лихорадочно думал: что произошло? Острое, нервное лицо Трубецкого осунулось, красавец Муравьев-Апостол пощипывал усы, Одоевский барабанил по пачке бумаг пухлыми, белыми пальцами, Щепин-Ростовский опустил взгляд. Только Сановник Защиты Отечества, Его Высокопревосходительство Каховский Петр Григорьевич лоснился, точно кот, облопавшийся сметаны. И старые генералы, ныне фельдмаршалы Милорадович и Раевский были спокойны. Князь вспомнил, как Милорадович на редуте в Бородино завтракал под пулями, как в одиночку вышел к полкам на Сенатскую и, напомнив солдатам славные дни, рявкнул: «Россия за вас, братцы!» Именно этот невозмутимый, хитрый, словно змей, старик решил судьбу восстания.

Заседание оказалось мирным на удивление. Обсудили аграрный вопрос в Могилевской губернии: депутат от «Вольных хлебопашцев» поднял вопрос о несправедливой оценке «откупных земель». Постановили: запретить могилевским помещикам продавать землю крестьянам боль-

ше, чем втрое дороже рыночных цен. Похоронили кодекс о возвращении польскому языку статуса второго национального — слишком свежа была память о мятеже в Варшаве. Господин Демидов-младший в третий раз поднял вопрос о налоге на импорт предметов роскоши: дамских туалетов, тканей, вин, мебели и драгоценностей. «Кавалергарды» дважды заворачивали сей нелепый закон, как утесняющий свободы дворянства. Теперь, похоже, заводчик умудрился создать коалицию с промышленниками и аграриями… С перевесом в три голоса новый налог прошел. Князь Волконский осторожно взглянул на соседей: не за этим ли его срочно вызвали в Думу? Нет, похоже, депутатские дрязги не волновали Сановников. Благообразный купец с роскошной бородой до пупа поднял вопрос о правах инородцев в Российской империи. Ему тут же начали возражать с мест, честя поочередно русофилом и христопродавцем. Как бы не выщипали бороду уважаемому оратору — случалось всякое. Третий час пополудни… Перерыв в заседании. Карету!

В крепость его пустили без проволочек — солдаты и офицеры Петропавловки знали его в лицо, впрочем, как и все служащие, до последнего поваренка. Князь Волконский поставил строжай-

шим условием, что самолично подберет людей, имеющих доступ к отпрыскам рода Романовых. Он как никто понимал важность этих детей для Империи, для будущего России. Законный наследник престола делал переворот легитимным. Надлежащее воспитание императора гарантировало стране просвещенное и справедливое царствование, монархию разумно ограниченную конституцией. Лучшие учителя наставляли его в римском праве и греческой драме, математике и словесности, военном деле и плотницком ремесле, следили за умеренным образом жизни, скромной пищей и строгой закалкой мальчика. Спустя пять или восемь лет (регенты до сих пор спорили, в 18 или 21 год Александр Николаевич примет скипетр и державу) своевольный кудрявый отрок с грустными голубыми глазами станет первым поистине всенародным царем свободной России. О воспитании и обучении великих княжон тоже заботились с надлежащим усердием, средняя из них — Ольга — обещала стать столь же умной, сколь и прелестной. Но сердце князя Волконского принадлежало юному императору, он любил Александра как сына, и отрок отвечал ему искренней дружбой.

Отстранив караул, князь вошел в император-

ские покои. Он улыбнулся, увидев, как вскочил из-за парты Александр, готовый рвануться навстречу, издать мальчишеский вопль: «Ура! Дядя Сережа приехал!!!», и как подошел к двери, чеканя шаг, оттягивая носок, как кивнул головой «bonjour, prince». Царская кровь, царственное величие… молодец мальчик! Волконский обнял императора, взъерошил мягкие кудри:

— Рад служить Вашему Величеству. Какие новости, Саша?

– Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

Вот дерзец! Ошеломленный князь глядел на воспитанника, словно впервые видел, а тот явно наслаждался произведенным эффектом.

— Цитируем мятежника Пушкина? Эмигранта и бунтовщика Пушкина? Ай-яй-яй, Александр Николаевич, учили бы лучше Одоевского или Жуковского. Откуда только взяли сие предерзостное творение?

Император вскинул голову:

— А кто может мне запретить? Я самодержец

всея Руси, кого хочу, того и читаю.

Волконский посмотрел Александру в глаза, смотрел долго, пока отрок не опустил взгляд.

— Не сердитесь, Сергей Григорьевич, я учусь. Математику успеваю, фортификацию успеваю, латынь занудную тоже зубрю, как раб. Давеча прочитал наконец Шекспира, «Ричарда III».

— Похвально. И что же вы вынесли из этого чтения?

Император слегка побледнел:

— Помните двух маленьких английских принцев, заточенных в Тауэре? Я невольно задумался об их судьбе…

— Что за мерихлюндии, Саша?! — почти искренне возмутился Волконский. — Это декабрь вгоняет тебя в тоску. Скоро Рождество, будет праздник и елка с подарками. А весной переедем в Павловск, будем на яхте кататься, рыбу удить, на охоту мы с вами выберемся, Ваше Величество, маневры устроим…

— Обещаете?

— Честное княжеское! А сейчас давай глянем, что у тебя с учебой.

Быстро проглядев тетрадки и устроив короткий экзамен отроку, князь Волконский откланялся. Он не раз задумывался, что ждет юного импера-

тора, когда тот войдет в возраст и станет опасен. Ходил слух, будто спешно овдовевший князь Оболенский намерен в будущем взять в жены старшую из великих княжон, Марию, а затем и принять помазание, но Волконский не хотел этому верить. Одно дело — прервать жизнь диктатора и тирана, еще при жизни старшего брата прославившегося кровавыми подвигами, и совсем другое — казнить или держать в заточении ни в чем не повинного, благородного юношу. Если быть честным, императорские покои сильно смахивали на тюрьму. Хорошо, что коньяк в поставце еще был, — и бог с ней, с мятой. После обеда любой дворянин имеет право немного выпить.

…Карету резко тряхнуло. Кучер соскочил с козел и с бранью бросился вперед. На брусчатке, чудом избежав копыт лошадей, лежала женщина. Князь Волконский выглянул в окошко: неужели бомбистка? Год назад злоумышленник покушался на самого Рылеева, но погиб при взрыве и сообщников не нашли. Нет… Кучер оттаскивал женщину, та плакала и протягивала какой-то конверт — скорее всего, прошение. Волконский вышел из кареты принять бумагу, заплаканное с тонкими чертами лицо просительницы показалось ему

знакомым. Графиня Воронцова — боже мой, что с ней стало. В карете он быстро вскрыл письмо: да, Елизавета Ксаверьевна в очередной раз просила о милости разделить судьбу мужа и отправиться в Сибирь вслед за ним. После скандальной выходки мадемуазель Шаховской невесты и жены упрямых монархистов словно сошли с ума — Дума удовлетворила более двадцати прошений и отклонила почти сто под предлогом слабого здоровья женщин и малолетства детей.

Подле въезда на площадь, у шлагбаума, топтался под зонтом сияющий, как медный грош, Прохор.

— Князь Сергей Григорьевич, радость! Сынок у вас, и Мария Николаевна живы. Доктор сказал, благополучные роды.

Князь перекрестился: год назад Мари потеряла ребенка, и семейный врач не рекомендовал ей больше рожать. Слава богу, в этот раз обошлось.

— Вели заказать молебен. Всей челяди в доме выдай по рублю и мужчинам по чарке водки. Да смотри не скупись, знаю я тебя, экономa…

Словно камень с души спал. Посветлев лицом, князь Волконский вошел в здание Думы, и тотчас его перехватил лакей.

— Велено проводить в Бархатный кабинет!

Бархатный — потому что стены обиты зеленым тисненым бархатом и у двенадцати венских стульев бархатные мягкие спинки. Все-таки чутье не подвело — беда стряслась и, скорее всего, немалая.

Все Сановники были в сборе. Беспокойный Рылеев, вечно всем недовольный фон Визин, основательный Муравьев, седой Тургенев… Волконский удивился, как они постарели за эти пять лет. Пылкие юноши, безусые поручики и корнеты выглядели тридцатилетними умудренными жизнью мужчинами. Подполковники и генералы, ветераны Отечественной войны в одночасье превратились почти в стариков — беспощадно время прорезало лица морщинами, ожесточило глаза.

— Проходите, князь! Обойдемся без церемоний.

Председательствовал по очереди (случайно ли?) сам Каховский. И к делу приступил безо всяких обиняков:

— Братья, печальная весть. Раскрыт заговор против свободы и равенства, против самой России. Бунтовщики хотели свергнуть законно избранное правительство, освободить якобы заключенного императора и восстановить в России самодержавную монархию. Был заключен союз

с французскими эмигрантами и изменниками, негодяи хотели прикрыться именем высланных немок Романовых, тексты их прокламаций сочинял всем известный хулитель Пушкин.

Милорадович вздохнул с места:

— Говорил я вам, братья, не надо этого щелкопера выпускать из России, а вы: свобода, свобода! Вот и освободили на свою голову.

Каховский коротко кивнул, соглашаясь, и продолжил:

— Благодаря чести и совести братьев, оставшихся верными Союзу Мира и Благоденствия, мы узнали имена бунтовщиков и сумели выжечь язву в самом начале, до того, как она отравила столицу. Изменники схвачены, заперты в равелине и надеются на публичное слушание, дабы огласить свои взгляды с трибуны. Я предлагаю повесить.

— Кого повесить? — ехидно поинтересовался Рылеев.

— Подполковника Анненкова — руководителя и вдохновителя заговора, Иосифа Поджио, лейтенанта Завалишина, лейтенанта Арбузова и капитана Свистунова. Штабс-капитан Торсон дал показания и помог раскрыть обстоятельства дела, потому заслужил помилование. Есть воз-

ражения?

Испытующий взгляд Каховского был холоден как лед. Но Муравьев-Апостол стойко выдержал поединок:

— Я возражаю. Да, они оступились. Но оступились, как мы когда-то, взыскуя славы и добра. Анненков всегда был романтичен и пылок, защищал угнетенных и рвался отстаивать справедливость. Он молод.

— Представьте, братья, что было бы с нами, не поспей Милорадович на Сенатскую? Или поддайся я приступу лихорадки… по нам тогда петля плакала, — выступил Трубецкой. — Я предлагаю Сибирь. Пожизненно, с лишением прав и титулов.

— Двадцать лет, — неожиданно возразил Оболенский, — это все-таки наши братья. Есть возражения?

Один за другим Сановники качали головами и складывали пальцы особым знаком тайного общества. Двадцать лет за попытку декабрьского восстания. Князь Волконский остался последним. Каховский ждал. И Рылеев ждал. Как давным-давно на собрании Общества они ждали решения о восстании и цареубийстве.

— Я против! Я отказываюсь судить наших бра-

тьев за то, что однажды совершили мы сами. Я дворянин, офицер против…

Дверь захлопнулась. Волконский отпустил карету и отправился домой пешком, под пронзительным невским ветром. Ипполит Муравьев застрелился. Бестужев застрелился. И Кюхельбекер тоже. А ему остается жить — ради страны, ради детей, ради долга, однажды взваленного на плечи. «В России все равны», — Волконский улыбнулся, вспомнив давешнего солдата. Ради этого стоило выйти на площадь в обозначенный час. От Синода к Сенату. Да, князь?

Тимофей Алешкин, Олег Матросов
Три разговора с императором
(из бумаг Лунина)

Допросные листы г-на Михаила Лунина от 14 октября 1826 года

Допрос снимает королевский следователь г-н Антуан Де Одилон при секретаре Луи Тремье.

Вопрос: Ваше имя?

Ответ: Михаил Сергеевич Лунин.

Вопрос: Ваш возраст?

Ответ: Тридцать девять лет.

Вопрос: Ваша национальность?

Ответ: Подданный Его Величества Императора Российского и короля Польского, по происхождению русский.

Вопрос: Ваше сословное положение?

Ответ: Дворянин.

Вопрос: Ваше семейное положение?

Ответ: Я не женат.

Вопрос: Ваш род занятий?

Ответ: Служу в Лейб-гвардии Гродненском гусарском полку королевства Польского командиром первого эскадрона, в чине подполковника.

Вопрос: Ваше место жительства?

Ответ: До 7 августа 1825 года по русскому стилю — Варшава.

Вопрос: Вы знаете, в чем вас обвиняют?

Ответ: Да, вчера я имел удовольствие выслушать мое обвинение.

Вопрос: Признаете ли вы себя виновным в сказанных преступлениях?

Ответ: Виновным себя признаю, как вчера Вам уже объявил.

Вопрос: Расскажите сами обо всем, что касается до совершенных вами преступлений. За сим вам будут заданы вопросы о предметах, особо интересующих следствие.

Ответ: Я действительно задумал вывезти Его Величество императора Франции Наполеона Первого Бонапарта из России во Францию и поднять военный мятеж для восстановления во Франции правления Его Императорского Величества, что и исполнил.

Вопрос: Для чего Вы именуете бывшего императора титулом, ему более не принадлежащим?

Ответ: Позвольте мне именовать Его Императорское Величество согласно моим нравственным и политическим представлениям. Если сим самым я совершаю новое преступление против

французского закона, то сейчас же признаю себя виновным в оном и готов понести наказание вместе с наказаниями за прочие мои преступления.

Далее о моих делах. Замысел совершить сие предприятие явился у меня внезапно, в день 14 августа 1825 года по русскому стилю. Обстоятельства явления таковы.

27 июля в Варшаву пришло известие о том, что Император Российский и Король Польский Александр скончался. При получении сего известия главнокомандующий армией королевства Польского, Его Императорское Высочество Цесаревич Константин Павлович, коий является наследником Российского и Польского престолов, немедленно вступил в переписку с правительствующим Сенатом через доверенных курьеров. Впоследствии я узнал, что сии сношения вызваны были отказом Е. И. В.[2] Цесаревича принять немедленно наследство его брата, покойного императора, и взойти на Российский и Польский престолы. Государственный Совет и Сенат, однако, не зная о сих обстоятельствах, по получении известия о смерти Александра привели подданных во всей империи к присяге Констан-

[2] Примечания: 2

Сокращение «Его Императорское Высочество», принятое в старых русских текстах.

тину, в королевстве Польском же, по приказу Цесаревича, к присяге никто не был призван. Члены царствующего семейства принуждены были сноситься только через посредство самых верных курьеров, чтобы как только можно скорее разрешить сие затруднительное положение, в котором оказались обе части государства, не разглашая при том, однако, о нем открыто, дабы не дать подданным повода к неподчинению властям, а противникам императорской власти — к возмущению.

Будучи в большой доверенности у Е. И. В. Константина Павловича, я был отправлен им 6 августа в Санкт-Петербург с секретными письмами к Е. И. В. Николаю Павловичу, к Е. И. В. Марии Федоровне, Государственному Совету и Сенату. 12 августа я прибыл в Санкт-Петербург. Доставив письма адресатам, я, согласно приказанию Е. И. В. Константина Павловича, остался ждать ответов, чтобы доставить их обратно в Варшаву. Я поселился в доме сенатора Михаила Никитича Муравьева, который приходится мне дядей по материнской линии.

14 августа я был свидетелем начала несчастных событий, исхода которых и сейчас не знаю, наверное. Утром того дня Е. И. В. Николай объявил

манифестом о вступлении на престол и полки́, стоявшие в городе, начали приводить к новой присяге. Тайные общества использовали сии действия правительства, чтобы начать восстание против самодержавия. К вечеру мятежные полки соединились со взбунтовавшимися народными толпами.

Я решился освободить Его Императорское Величество Наполеона вечером этого дня, когда весь город оказался охвачен беспорядками.

Родственники мои решили на семейном совете, что каждый из нас волен присоединиться к мятежникам или к правительству. Стало известно, что утром 15 августа мятежники готовят решительное наступление и призывают к себе добровольцев. Я не желал вовсе участвовать в гражданской войне и отговорился, что объявлю свое решение назавтра. Ночью я бежал вместе с известным Вам г-ном Ипполитом Михайловичем Муравьевым-Апостолом, которому я открыл свой замысел.

Россия и Польша находятся в несчастном состоянии, они разрываемы борьбой партий, из которых ни одна не действует средствами, могущими принести действительное благо отечеству. Видя это и не находя себе места ни на одной из

сторон, я решился искать счастья во Франции. Из моего пребывания в стране в 1817 году я вынес убеждение, которое впоследствии не изменил, что французы недовольны нынешним образом правления и что при одном явлении Е. И. В. Наполеона они тотчас восстанут против короля, как в 1789 году.

Смерть императора Александра освободила Его Императорское Величество Наполеона от клятвы оставаться в России, которая была принесена лично императору Александру. Восстание в Петербурге отвлекло внимание русского правительства от Его Величества и доставило возможность даже нескольким решительным людям вывезти Его Императорское Величество во Францию.

Вот в нескольких словах мои соображения, по изложении которых г-н Муравьев-Апостол согласился присоединиться ко мне.

Г-н Муравьев-Апостол хотел привлечь к нашему заговору Михаила Николаевича Муравьева, нашего дальнего родственника. Михаил Николаевич выразил письмом самое горячее одобрение и свое желание присоединиться к нам, но не явился в условленное время на встречу по причинам, которые остаются неизвестны мне, и мы

покинули Петербург, не дожидаясь его.

Я собирался бежать на корабле, мой товарищ поддержал меня. Преимущества морского пути перед сухопутным были в нашем положении очевидны, я не стану терять времени, чтобы их описать. Е. И. В. мы хотели скрыть под видом слуги. План наш, однако, не удался до конца.

Г-н Муравьев-Апостол отправился в гавань, чтобы найти подходящий корабль, отплывающий следующим же утром во Францию. Я взялся доставить императора из Академии в гавань.

Самое трудное было пробраться невредимым по улицам Санкт-Петербурга. Вся столица оказалась той ночью во власти взбунтовавшейся черни, которая весьма мало подчинялась или вовсе не подчинялась инсургентам. Многие дома горели, вокруг зданий с винными погребами собрались толпы народа. Опасность грозила каждому, кто был богато одет или просто имел несчастье возбудить подозрение смутьянов. Говорили, что многие полки переходят на сторону мятежников. Им удалось возмутить и экипажи нескольких кораблей и овладеть вдобавок множеством лодок, так что реки и каналы, которые в других обстоятельствах стали бы естественными преградами восстанию, сделались теперь

дорогами, по которым бунт распространился во все пределы города. Правительство, ввиду сих несчастных обстоятельств не имея сил удержать в руках весь город, соединило оставшиеся ему верными войска в нескольких кварталах вокруг Зимнего дворца.

Е. И. В. оказался, как я и рассчитывал, лишен охраны. Военная Академия осталась в ту ночь довольно далеко от средоточия верных Николаю сил, и почти вся находящаяся там военная команда была отправлена на защиту нового царя. В новом здании остались почти только одни нестроевые. Я легко миновал редкие караулы, скрываясь за строительными лесами, и проник внутрь Академии через черный ход. За сим я прошел в комнату Е. И. В. и просил его собрать самые необходимые вещи и следовать за мной, он согласился. Мне не составило труда тайно вывести Е. И. В. из квартиры в правом крыле Военной Академии, где он жил, и препроводить на санях в гавань. По дороге я коротко поговорил с императором о нашем плане, на который он выразил мне полное одобрение.

В порту г-н Муравьев ждал нас, чтобы проводить на гамбургское торговое судно «Лебедь», капитан которого согласился взять в плавание

двух пассажиров. Сей корабль был зафрахтован французской коммерческой компанией, чтобы доставить в Булонь груз из Петербурга. Капитан г-н Альтенхорст, испуганный возмущением в городе, положил отплывать наутро, хотя и не успел погрузить на борт всей купленной пеньки. Мы представились двумя офицерами в отставке, бегущими от участия в гражданской войне, капитан принял наши объяснения без дальнейших расспросов.

Первые десять дней плавания прошли спокойно. Никто не подозревал, кто скрывается под видом нашего слуги. Однако после захода корабля на датский остров Борнхольм капитан и члены экипажа начали проявлять к нам подозрительность.

Мы не смогли узнать на острове, что произошло в наше отсутствие в России, туда попали только весьма искаженные известия о начале мятежа. Мы вовсе не спрашивали, открылось ли исчезновение Е. И. В. из Петербурга, дабы не вызвать подозрений. По-видимому, губернатор острова все же передал какие-то слухи о бегстве Наполеона нашему капитану, так как на другой день после того, как мы миновали датские проливы, г-н Альтенхорст пришел в нашу каюту в сопро-

вождении четырех матросов нас арестовать.

Я в течение всего плавания оставался в готовности к подобным неожиданностям и носил при себе заряженные пистолеты, так же делал и г-н Муравьев. Мы отказались подчиниться капитану и вышли победителями из последующей схватки, убив одного из матросов и ранив капитана. Остальные члены экипажа не оказали нам сопротивления. Мы заперли их в кубрике, оставив на палубе только рулевого и двух человек, чтобы управлять парусами. К нашему счастью, на всем оставшемся пути до Булони, занявшем два дня, погода и ветер благоприятствовали нашему плаванию.

Высадившись во Франции, мы намеревались тотчас следовать до ближайшего военного гарнизона и поднять мятеж именем Е. И. В. Наполеона. В последний день пути Е. И. В. сочинил и продиктовал нам две прокламации — к народу и к армии, в которых извещал французов о своем возвращении и призывал их восстать, чтобы вернуть ему престол, стране — национальную независимость, а армии — славу.

При высадке в Булони удача благоприятствовала нашему предприятию. Нам удалось обмануть бдительность таможенных чиновников и не по-

казать вида, что на «Лебеде» что-то не в порядке. Перед тем мы напустили столько страха на капитана и матросов, что одно наше присутствие не позволило им обратиться к французским чиновникам за помощью. Я и император высадились на берег и поспешили к казармам. Г-н Муравьев остался на корабле, чтобы не дать экипажу снестись с французской полицией и поднять тревогу раньше времени. Мы условились через два часа встретиться с ним у ворот крепости.

В Булони мы первым делом отправились в магазин антиквариата. Там, как мы и рассчитывали, нашелся подходящий орел, способный сойти за имперское знамя. Древком для него послужила ручка лопаты, взятой на конюшне гостиницы, мимо которой был наш путь. Недалеко от крепости Е. И. В. надел серый сюртук, который он захватил по моему настоянию из Петербурга, и принял почти тот вид, в котором его знал некогда весь мир. Мы укрылись в тени дома напротив ворот и стали ждать нашего товарища.

Мой брегет показывал, что минуло более двух часов, г-на Муравьева все не было. Император решительно направился к воротам, я последовал за ним с орлом в руках.

— Кто идет? — спросил часовой.

— Твой император, — отвечал Е. И. В. Оба солдата, стоявшие на часах, были так поражены этим ответом и видом Наполеона, что застыли в растерянности, и мы прошли мимо них на крепостной двор. Там мы нашли несколько десятков офицеров и солдат, занятых различными делами. Появление императора заставило всех их остановиться и умолкнуть.

Император приветствовал их словами:

— Солдаты Двадцать шестого линейного, вы узнаете меня? — часовые, нерешительно последовавшие за нами, при сих словах остановились и стали слушать. — Я здесь, чтобы возвратить вам славу, а Франции — величие. Вы со мной, солдаты? — вопросил Е. И. В. Он продолжал свою речь далее, но я не могу передать сказанных им слов, поскольку в эту минуту должен был отвлечься.

Я увидал, как один из офицеров, словно стряхнув оцепенение, пробирается мимо своих товарищей ближе к Е. И. В. Я узнал в нем своего старого знакомого, Ипполита Оже, и хотел было окликнуть, как увидел, что тот держит в руке пистолет. Я стоял шагах в пяти за спиной императора и не мог успеть к г-ну Оже быстрее, чем тот выстрелит. Тогда я отбросил орла, сам вынул из-за пояса пистолет и поднял его, чтобы пулей остановить

моего бывшего друга. Я опоздал — г-н Оже выстрелил первым. Мне показалось, что выстрел его не достиг цели, так как император продолжал говорить. Вдруг я услышал за спиной крик:

— Мишель, что вы делаете?! — я обернулся и увидел г-н Муравьева, нацелившего на меня пистолет. В один миг я понял, что мой товарищ принял меня за убийцу императора, что объяснения бесполезны, и мне остается только одно средство спасти жизнь. Я поднял свое оружие и выстрелил. Г-н Муравьев пал мертвым — мой выстрел угодил ему прямо в лоб.

Я не успел обернуться назад, как меня схватили солдаты. Когда меня выводили из крепости, я успел заметить, что император ранен, он лежал на земле в крови и обращался с какими-то словами к склонившемуся перед ним офицеру.

Вот история моих преступлений.

* * *

Допросные листы г-на Михаила Лунина от 19 октября 1826 года

Допрос снимает королевский следователь г-н Антуан Де Одилон при секретаре Луи Тремье.

Вопрос: О чем вы разговаривали с покойным императором во время поездки?

Ответ: (несколько слов вымарано) За все время, пока мы были вместе, между нами было только два разговора, 15 и 27 августа 1825 года, о которых я готов рассказать следствию.

Вопрос: Отчего вы так мало разговаривали?

Ответ: В Петербурге мы говорили недолго, пока ехали в карете в гавань. На корабле я и г-н Муравьев-Апостол представились капитану Альтенхорсту своими именами, а Его Величество я представил как своего слугу. Капитан Альтернхорст поселил нас в каюту, к первому и второму помощникам, Его Величество же отправил, несмотря на мои возражения, к матросам. Будучи так разделены, мы не могли ни уединиться в каюте, ни говорить на палубе без того, чтобы вызвать подозрения команды или офицеров. Меры эти оказались напрасными, но из-за них у нас ни разу не было случая для разговора до 27 августа, когда нас попытались схватить.

Овладев судном изложенным мной на прошлых допросах способом, мы получили свободу разговаривать. В этот день я долго говорил с императором, пока г-н Муравьев оставался на палубе, чтобы держать экипаж в повиновении. По прибытии через день в порт Булонь мы должны были торопиться, чтобы исполнить замысел

мятежа, также изъясненный мною на прошлом допросе, до того, как полиция начнет нас искать. Более до моего ареста я не говорил с Его Величеством ни о чем, кроме как о приготовлении к мятежу — более всего о том, как достать орла.

Вопрос: О чем был названный вами первый разговор 15 августа?

Ответ: Разговор был коротким, и я могу пересказать его весь.

— Куда Вы везете меня? — был первый вопрос императора.

— Во Францию, Ваше Величество, — прямо сказал я.

— Зачем Вы это делаете? — спросил он.

— Чтобы вернуть Вам престол, принадлежащий Вам по праву, Ваше Величество, — отвечал я.

— «Ваше Величество»… Зачем это все Вам? Вы не француз, — проворчал он.

— Нет еще, — был мой ответ.

Император ничего более не спросил и хранил молчание до самого порта. Когда карета остановилась, я изложил ему свой план, как нам тайно достичь Франции. Его величество отвечал мне: «Хорошо, но кроме того, что я буду плохим слугой, знайте, что я почти не говорю по-русски». — «Мои друзья это предвидели, и мы сядем на немецкий

корабль. Я прошу Вас только больше молчать при посторонних, Ваше Величество». Он проворчал что-то под нос, я принял это за согласие. Мы вылезли из кареты и отправились на корабль, где нас ждал г-н Муравьев-Апостол.

Вопрос: О чем был названный вами второй разговор с бывшим императором 27 августа?

Ответ: Мы много говорили о разных предметах.

Его Императорское Величество обратился ко мне первым. Он опять спросил, для какой цели мы с г-ном Муравьевым-Апостолом везем его во Францию. Мой ответ был тот же, что и раньше. «Теперь я более верю Вам, — сказал он мне, — я имел возможность Вас проверить». Я спросил, каким образом. Император отвечал, что он умышленно оставался наедине со мной на палубе при сильном волнении так, что я имел полную возможность выбросить его за борт незаметно для всех. Гибель Е. И. В. в таких обстоятельствах была бы приписана его старости и неосторожности. То же он проделал и с г-ном Муравьевым-Апостолом. Из сих опытов Е. И. В. заключил, что мы не посланы русским правительством, чтобы тайно убить его. Равно как и английским, и французским, и неаполитанским, — добавил император,

рассмеявшись. Я обрадовался, увидев в первый раз Е. И. В. в хорошем расположении духа, но слова его, не скрою, сильно меня задели.

Я отвечал, что Е. И. В., будучи в России, имел достаточно возможностей убедиться, что русским вовсе не присуще то византийское коварство, которым их модно попрекать в Европе.

О да, проворчал Е. И. В., и император Александр, первый из русских, — лучшее тому свидетельство, ведь это он погубил Е. И. В. бесконечными изменами и хитростью. Да и сам я, по словам императора, принадлежал к тому же тайному обществу, что и г-н Муравьев, и вез его во Францию, преследуя цели общества.

Я поспешил развеять подозрения императора. Я признался, что действительно присоединился в 1817 году к Тайному политическому обществу, образованному некоторыми российскими дворянами, которое имело целью низвержение самодержавия и введение в России Конституции, гражданских свобод и либеральных учреждений. Однако в 1822 году я прекратил сношения мои с Тайным обществом и потерял из виду всё до оного касающееся. Что до г-на Муравьева, то одно то обстоятельство, что он покинул своих товарищей по обществу в решительный момент восстания,

совершенно несомненно свидетельствует, что он решительно порвал с ними навсегда.

Мы еще несколько времени говорили в таком же духе об этом предмете, и мне показалось, что император поверил моим словам.

Е. И. В. говорил, что всей душой ненавидит интриги и тайные общества, что он много в своей жизни потерпел от них. Император признался мне, что самыми страшными в его жизни были не сражения, а дни борьбы с заговором Кадудаля и Моро в 1804 году. Тогда он едва избежал смерти от рук предателей в самом средоточии его власти, в Париже, и вся мощь империи оказалась бессильна перед кучкой заговорщиков, сумевших избежать возмездия. Он видит, сказал Е. И. В., что я и г-н Муравьев оказались слишком порядочными для такого рода дел и бежали, столкнувшись вблизи с сими гнусными изгоями человеческого рода, масонами, якобинцами и им подобными, и он поздравляет нас с возвращением в ряды честных людей.

Затем Е. И. В. спросил, каким образом мы собираемся произвести переворот. Я отвечал, что мы намерены следовать образцам, показанным кортесами в Испании и Бурбонами в Неаполе. Мы явимся перед солдатами, и Е. И. В. призовет

их следовать за ним. Если нам удастся поднять против короля первый военный отряд, который мы встретим, далее мятеж распространится как огонь по сухой траве, вся Франция поднимется при известии, что ее император наконец вернулся. Е. И. В. сказал мне, смеясь, что наш план кампании довольно мало похож на те, которые ему доводилось составлять или видеть. Более всего он похож на отсутствие плана. Но сим самым он и понравился императору. Он говорил, воспламенясь, что наше предприятие с виду кажется дерзкой затеей, в действительности это самый разумный образ действий. Заговор был бы в нашем положении бесполезен и опасен. Бесполезен, потому что мы хотим обратиться прямо к французскому народу, а не действовать через бесчестных королевских чиновников, попав притом в зависимость от их умения хранить тайну. Опасен, потому что известия о нем рано или поздно достигли бы правительства, а при нахождении императора вдали от Франции это означало бы бесповоротный конец всего дела. Император добавил, что он сей же час составит прокламации к народу и к солдатам, которые до́лжно будет распространять с самого начала мятежа. Тут мы перешли к рассуждениям о менее

значительных подробностях нашего плана и разбирали их довольно долго.

Кроме означенного, мы говорили с Е. И. В. еще о многом. Некоторые подробности нашего разговора я не могу пересказать за тем, что это не согласно с моими правилами, другие уже изгладились из моей памяти за их малой важностию.

В разговоре я в шутку признался императору, что действительно вызывался некогда убить его. Это было летом 1812 года. Я просил главнокомандующего графа Кутузова, чтобы меня послали парламентером к его величеству с тем, чтобы в благоприятный момент поразить его кинжалом и тем окончить несчастную для России войну.

Император рассмеялся и отвечал, что я гораздо лучше послужил бы своему отечеству, если бы не так усердно защищал императора Александра в ночь после Фридланда (Е. И. В. был в нашей каюте накануне, когда я рассказывал эту историю г-ну Муравьеву-Апостолу). Цесаревич Константин всегда был разумнее своего брата, ослепленного бесчисленными суевериями и не желавшего понять, что главным врагом России всегда была Англия, а не Франция. С императором Константином императору Наполеону было бы возможно разрешить все споры мирно, дабы не допустить

вовсе последней войны между империями, имевшей самые печальные последствия для всех ее участников.

При сих словах императора я взглянул на часы и увидел, что настало время моей вахты. Разговор наш прервался, чтобы не возобновиться более.

* * *

Письмо г-на Михаила Лунина королевскому следователю г-ну Антуану Де Одилону от 3 декабря 1826 года

Господин Де Одилон!

Я должен Вам признаться, что не мог по совести отвечать удовлетворительно на все ваши вопросы, ибо, говоря откровенно о некоторых обстоятельствах, я изменил бы данному мной слову и мог повредить участи некоторых лиц. Но из любезно переданных Вами последних газет я узнал удостоверительно и несумненно, что все лица, кому могла бы повредить моя откровенность, мертвы или будут мертвы в самое ближайшее время, и потому хочу теперь дополнить свои показания.

По воле королевского суда я ожидаю скорой встречи со Всевышним, и на этом свете осталось единственное, что меня заботит, — память обо

мне в глазах потомков. Я нисколько не желаю очистить свое имя от всех обвинений, я виновен и буду судим Высшим судом за мои грехи. Последнее мое желание — чтобы моя несчастная судьба стала уроком для будущих поколений, а для этого я должен оставить полный отчет в моих делах. Узнав Вас как человека чести, прошу Вас в согласии с правилами, которыми Вы руководствуетесь, распорядиться сим письмом для исполнения моей просьбы.

Я умолчал о третьем разговоре между мной и Его Императорским Величеством Наполеоном Бонапартом. Разговор этот был между нами в последние полчаса перед тем, как судно наше пристало к французскому берегу.

Я вышел на палубу и увидел, что Е. И. В. в сильном волнении расхаживает вдоль борта. При моем виде он обратился ко мне со словами:

— Г-н Лунин, Вы сдержали ваше обещание, я вижу Францию! Теперь я умру спокойно, — добавил император к моему изумлению.

— Ваше величество, — воскликнул я, — молю Вас, оставьте подобный образ мыслей! Мы плывем, чтобы победить! Никто во Франции не может противиться вашему имени, никто не посмеет поднять руку на своего Императора!

— Ах, Мишель, — вздохнул Император и неожиданно быстрым движением потрепал меня за ухо, — Вы нравитесь мне, и я не хочу, чтобы между нами в эти последние часы осталась ложь.

— Я слишком хорошо знаю характер французов, — сказал Е. И. В., — чтобы ослеплять себя подобными иллюзиями. Во Франции все умеют рассуждать, и, хотя нас считают легкомысленными и ветреными, мы ничего не забываем. Однако мы слишком склонны судить по собственному опыту. Теперь, спустя тринадцать лет, выросло поколение, не знавшее меня. Мое имя для молодых не более чем старая сказка, между тем во Франции вы никогда не сделаете переворота, не завоевав сердец молодежи. Мои ворчуны остались в снегах России, а нынешним солдатам короля было десять лет, когда я оставил Францию в последний раз. Поверьте мне, появление Наполеона Бонапарта не более воодушевит их, чем появление ваше или нашего маленького Ипполита. Я пытался возразить, но он властным движением руки остановил меня и продолжал:

— Я вполне уверен в этом и не питаю ни малейшей надежды на успех нашего предприятия. Но Вы спросите меня, зачем я согласился плыть с вами и зачем я вас в сем предмете обманывал.

Мишель, я желал и желаю только одного — умереть свободным на французской земле. Вы не можете представить себе, каково это — быть тринадцать лет в плену этого негодяя Александра, его цепным зверем, его игрушкой.

Я слушал молча, понимая, что Е. И. В. не станет терпеть моих возражений.

— Я каждый миг ожидал самой жалкой смерти, я был подвергнут, тайно и явно, всем унижениям, какие только способен выдумать самый низкий ум, я был ничтожной пешкой в его дьявольских интригах! Меня лишили всего, что дорого сердцу человека, меня разлучили с Отечеством, с сыном, с женой, с товарищами по оружию! Вместо этого Александр сначала подсылал ко мне шпионов, являвшихся в самых разных обличиях, — даже Мария Валевская была его орудием, даже Полина, моя дорогая сестра, запуталась в его сети! Потом он своими бесконечными унижениями толкнул горстку верных мне людей, сопровождавших меня в плену, на отчаянный шаг — на попытку меня спасти из России! — и безжалостно разделался с ними. Мой славный мамелюк Рустам пал, защищая своего императора, а после я принужден был стать свидетелем жестокой казни бедного Дюрока! Вслед за тем, угрожая предать смерти

последних моих друзей, которых он будто бы пощадил, это чудовище принудило меня поступить на службу в Академию, чтобы готовить Франции врагов. Наконец, он принялся искушать меня призраком свободы, предлагая взамен разделить его мистические игры и разыгрывая роль моего духовного наставника!

Я должен Вам сознаться, Мишель: я не выдержал, я изнемог в этой неравной борьбе. Я слишком привык быть хозяином своей судьбы, чтобы вынести без вреда для себя тринадцать лет самой унизительной зависимости, почти рабства. Чтобы выжить, я должен был отказаться сначала от достоинства, потом от дружбы, потом от верности Отечеству и, наконец, от уважения к самому себе.

Перед Вами уже не тот человек, который сделался из лейтенанта императором, который покорил Европу и едва не сделался властелином мира — тот пламень угас. Я не смогу теперь даже возвысить голоса, так я стар и устал.

Последние годы меня удерживало на этом свете только одно, последнее чувство — мечта о мести, самое сильное и низменное из человеческих страстей. Увы, и здесь Александр оказался хитрее меня — он предпочел умереть, не дожидаясь

старости, вдали от Петербурга. Хотя я, будучи наставником лучших офицеров русской армии, сколько мог содействовал зарождению и действиям тайных обществ офицеров, имеющих целью уничтожить царскую власть, но все же я не могу быть уверен, за отдаленностью места и неясностью правительственных сообщений, что хоть немного способствовал его кончине.

Единственное, что мне удалось, — это лишь после смерти Александра поколебать его власть. Знаете ли Вы, Мишель, чего не хватило правительственным войскам, чтобы подавить мятеж 14 августа в день его возникновения? Я скажу Вам: нескольких зарядов картечи. В Петербурге не нашлось ни одного картечного заряда, и четыре пушки Николая принуждены были стрелять ядрами. Ядра сделали каре восставших полков слишком мало вреда, чтобы оказать достаточное моральное воздействие и обратить их немедленно в бегство. Когда же инсургенты проявили достаточно твердости, толпа, осмелев, присоединилась к ним, и у восстания появилась надежда на победу.

Никто в столице, да что там, во всей России не мог предвидеть подобного, кроме вашего покорного слуги. Я разогнал парижскую толпу

картечью в 95-м — толпу, которая смела власть короля, жирондистов, даже самого Робеспьера, и считала себя непобедимой, а все правительства трепетали перед ней. Я нашел против нее надежное средство.

Я давно знал от моих бывших учеников, что в Петербурге готовится восстание. Легко было понять, что дело мятежников будет проиграно, если только у правительства достанет возможности сделать хотя бы один картечный залп. В Петербурге, однако, картечь есть только в артиллерийской лаборатории Военной Академии. С самого дня, когда пришло известие о смерти царя, я начал действовать. Мне удалось, — не спрашивайте как, скажу только, что я за двенадцать лет кое-чему выучился у Александра, — добиться, чтобы начальник лаборатории послал половину своих зарядных ящиков в Выборг.

14-го Николай несколько раз присылал к нам за зарядами, но нашел только ядра. Вечером, после того, как раскаты пушечных выстрелов раздавались довольно долго, я увидел, что несколько домов в разных частях города загорелись. Тогда я понял, что план мой удался.

Когда я праздновал эту маленькую победу, явились Вы.

Я был уверен, что Вы подкуплены англичанами и намерены передать меня в условленном месте на английский корабль или привести наше судно в английский порт. Альбион не может спать спокойно, пока я жив. Мне известно, что английский министр в Петербурге не раз предлагал Александру передать меня в руки своему правительству. Было даже избрано место моей новой ссылки — залив Ботани в Австралии или остров Св. Елены. Конечно, Александр не согласился — он не мог выпустить из рук такое сильное средство, способное держать в страхе Англию.

Я согласился ехать с вами оттого, что надеялся еще немного навредить Александру, нарушив его волю и лишив его наследников орудия шантажа в моем лице. Теперь, когда мы менее чем в двух милях от французского порта, я вижу, что ошибался в ваших намерениях. Дайте вашу руку, Мишель, как честный человек честному человеку!

Признание императора взволновало меня. Я не мог более скрывать от Е. И. В., столь благородно раскрывшего мне свою душу, настоящих причин наших с г-ном Муравьевым действий.

— Ваше величество, — начал я, — позвольте и мне быть откровенным с Вами. Знайте, вы угадали верно: я доставил Вас во Францию, дей-

ствительно подчиняясь воле Тайного общества.

По моем приезде в Петербург вечером 12 августа в дом Михаила Никитича Муравьева, куда я отправился из Зимнего дворца, явились члены Тайного общества, в котором я состоял до 1822 года. Оставшись наедине со мной, они спросили, верен ли я давней клятве, принесенной мною при вступлении в Союз. Я отвечал, что, как человек чести, не могу изменить своему слову, данному однажды.

За сим члены общества известили меня о приготовляемом ими в Петербурге возмущении гвардии против предстоящей присяги великому князю Николаю. Они передали мне письмо управы Союза, в котором мне предписывалось тотчас возвращаться в Варшаву и там исполнить главный приказ управы — немедленно по получении известия о восстании в Петербурге проникнуть к великому князю Константину, используя его доверенность ко мне, и убить Цесаревича, в то время как в Петербурге заговорщики убьют в свою очередь великих князей Николая и Михаила. Устранив сим действием последнего претендента на престол, я открою возможность для совершенного освобождения государства от самовластья царствующей династии и для про-

возглашения в России республики.

Я отвечал, что не могу исполнить подобного приказа управы, ибо это против моей совести и правил. На это мне пригрозили смертью за измену Обществу. Я сказал, что остаюсь верен Обществу и готов положить мою жизнь за свободу России, но не стану делать ничего противного моей чести. Гости мои не сочли такой ответ удовлетворительным, мы стали спорить.

Вдруг ко мне явилась мысль, как разрешить сие разногласие к обоюдному удовлетворению сторон и без ущерба для чести. Я спросил, согласится ли управа, если я возьмусь исполнить предприятие еще более опасное, нежели предлагавшееся мне, но и сулящее еще больше выгод делу Общества и блага Отечеству.

Посоветовавшись между собой, члены Общества отвечали мне утвердительно. Тогда я сказал, что воспользуюсь будущим восстанием и исполню давний замысел управы Союза, в обсуждении коего я участвовал еще в 1817 году. Мы рассуждали тогда, что вслед за революцией в России неизбежно последует интервенция иностранных монархов, чтобы восстановить власть их русского собрата. В новейшей истории война и реставрация следовала с неизбежностью за

революцией во Франции в 1793 году, в Испании в 1819-м и во всех прочих случаях. Мы нашли, однако, средство удалить войну от границ России и тем дать новому конституционному режиму укрепиться в Отечестве. Для этого мы положили вывезти императора Наполеона во Францию и восстановить его власть там. Европейские государи не смогут примириться с возвращением Е. И. В. во Францию и должны будут ослабить вдвое свои силы, разделив их между двумя врагами на западе и на востоке Европы, или вовсе отказаться от интервенции сразу в две великие державы, будучи устрашены превратностями долгой войны и возможностью распространения революции в их собственные пределы. Е. И. В. же в сих обстоятельствах сделается естественным нашим союзником.

Члены общества изъявили полное согласие на сие предложение. Тотчас бывшие между ними г-н Муравьев-Апостол и г-н Муравьев вызвались мне в товарищи. Едва восстание началось, мы приступили к исполнению нашего замысла.

— Теперь Вы видите, Ваше Величество, — закончил я, — что мы были честны с Вами, говоря о наших намерениях, но скрыли резоны нашего предприятия.

— Что ж, — отвечал император по некотором размышлении, — я принимаю ваши объяснения и ваше предложение союза. Вы сделали для меня более, чем кто бы то ни было за последние тринадцать лет, и я не отвергну протянутой мне руки только за тем, что Вы помогаете мне, ища блага для Вашего Отечества. По крайней мере, я умру, имея за спиной нелицемерных союзников, а не ложных друзей, — заключил Е. И. В.

На сем наш третий разговор окончился.

Я должен прибавить, однако, что не сказал и тогда императору всей правды о моих намерениях.

Я действительно намеревался всеми силами способствовать возвращению императора на французский престол, однако только при условии победы восстания Союза в России. Кровопролитие в Петербурге ночью 14 августа, все ужасы восстания и гражданской войны, свидетелями которых я был, произвели на меня весьма сильное впечатление. Тогда я дал себе слово, что не стану причиной подобных несчастий без полной уверенности в том, что жертвы не будут напрасными. Если же восстание в России потерпит поражение, все наши усилия во Франции приведут только к войне, исход которой заранее предрешен — одной Франции не выстоять пе-

ред Европой, как и тринадцать лет тому назад. Итак, я решил, что если только узнаю, что Союз побежден Николаем, то тотчас остановлю наше предприятие, хотя бы это пришлось сделать ценой жизни Е. И. В. Наполеона

Во время всего пути я не мог узнать удостоверительно, чем окончилась инсуррекция в Петербурге. Только высадившись на берег в Булони, я прочитал в газете, что после десяти дней жестокой борьбы восстание, по слухам, подавлено царем. Однако тон газетной статьи показался мне весьма неуверенным, да и возможно ли верить сообщениям королевской газеты о республиканском восстании? Сомнения продолжали терзать меня.

Тем временем мы достигли крепости, а решение мое еще не было принято. Я не мог допустить, чтобы г-н Муравьев-Апостол присоединился к нам, поскольку он, конечно, помешал бы мне убить императора. Незаметно для Е. И. В. я перевел стрелки на сорок минут вперед и показал брегет императору со словами, что наш товарищ опоздал к назначенному времени и ждать более нельзя.

Император тотчас направился к воротам. Я шел за ним, понимая, что уходят последние минуты, в

которые я смогу еще что-то изменить. Если полк встанет на нашу сторону, мятеж будет уже не остановить.

При первых словах императора, обращенных к солдатам, стоя за его спиной, я почти уже уверил себя в необходимости остановить дело и решился убить Е. И. В. Я должен признать, что г-н Муравьев-Апостол был прав, когда думал, что я угрожаю пистолетом императору. Впрочем, скоро судьба в лице господ Оже и Муравьева-Апостола разрешила мои сомнения и избавила меня от необходимости делать ужасный выбор.

Вот мое полное и искреннее признание. Я надеюсь, что мое желание о сохранении его для потомства будет Вами выполнено.

Михаил Лунин

Крепость Ам, 1826 года января 4-го дня

P. S. Прошу Вас переправить сочинение Ипполита Михайловича Муравьева-Апостола, которое он написал во время плавания на «Лебеде» и которое Вы найдете в его вещах, его отцу, сенатору Российской империи Михаилу Никитичу Муравьеву через российского министра при французском дворе. Это литературный рассказ молодого человека, весьма замечательный по части выказанной живости воображения, но не

имеющий к действительным нашим планам никакого отношения и не содержащий ничего полезного для следствия. Отцу его он может послужить утешением в потере сына и памятным знаком. Уповаю в сем деле на ваши честность и милосердие. М. Л.

Борис Богданов
Дети революции

За вистом засиделись до сумерек. Сам хозяин, Петр Иванович Туманов, супруга его Ольга Денисовна и сосед их Иван Семенович Пантелеев.

— Хорошо у вас, дорогой Петр Иванович, — сказал Иван Семенович, — да пора мне. Дражайшая половина, наверное, уж беспокоится.

— Опасно нынче, федералисты в округе пошаливают. Почтальона в том месяце ограбили. Хорошо, жив остался, не попустил Господь, — озабоченно произнес Туманов. — Может, останетесь? У меня дом крепкий, не смогли в войну взять. А супруге вашей мы весточку пошлем. У моего кузнеца сын младший быстроногий мальчонка.

— Ничего, — отмахнулся Пантелеев. — Мой Демид тоже не промах. Все тропки в округе, каналья ушлый, знает, домчит быстро.

— Ну, как знаете, — ответил Туманов.

Он постоял, провожая приятеля, дождался, покуда возок не растворится в темноте, и вернулся в дом. Дворовые девки суетились, готовили постели, кухарка убирала со стола.

— Лукерья! — позвал Туманов.

Кухарка, обтирая руки тряпицей, возникла рядом.

— Да, барин?

— Ну, какой я тебе барин? — сморщился Туманов. — Уж сколько лет как свобода, а ты все барин да барин!

Кухарка не ответила, да Петр Иванович и не ждал ответа. Это были так, ритуальные слова, чтобы почувствовать себя современным, прогрессивным человеком. Крепость отменена, и он честно платил и кухарке, и девкам, и конюху, да и вообще всей челяди честные деньги. Иногда Туманову казалось, что дворовые и не заметили разницы своего положения и украдкой посмеиваются над добрым, но глупым барином, сорящим деньгами зазря.

Однако, милостивые государи, принцип. Да-с…

— Ладно, пустое, Лукерья, — продолжил Туманов. — Завтра чай заведи часам к семи, да пирогов каких.

— Сделаю, барин, — сказала Лукерья, дождалась кивка и удалилась заниматься своими кухаркиными делами.

Наутро Петр Иванович ждал управляющего с отчетом. Землю община у него выкупила, для

чего в Земельном банке была взята специальная ссуда на двадцать пять лет, а вот лес и река остались за Тумановым. Они приносили доход и, следовательно, требовали пригляда. Хозяином Петр Иванович слыл справным, а это обязывало если уж не заниматься делами самому, то, по крайней мере, вникать.

И следить, чтобы управляющий не воровал.

За окошками совсем стемнело, и Тумановы улеглись спать. Ольга Денисовна скоро засопела и принялась потихоньку похрапывать. Петру Ивановичу не спалось. Одолевали мысли. Зачем он отпустил Пантелеева, зачем не настоял на своем? Представлялось, как плетется соседская лошадка по лесной дороге, Иван Семенович устало дремлет и не замечает, что движутся слева и справа от дороги тени. Подъезжает он к броду через речку Медянку, за которой уже и до дома рукой подать, и тут раздается разбойничий посвист!

«Гони!» — кричит заполошно Пантелеев, но поздно. Разбойники уже хватают лошадь за удила. Демид пытается отбиваться, машет арапником, но его бьют по голове, скидывают с козел и подступают к Пантелееву. «Барин… барин…», — стонет по-бабьи снизу Демид. Скрипят колеса, дробно ржет лошадь.

«Убьют, как есть убьют!» — ужаснулся Туманов и… пробудился.

Раннее утро. За окном чуть брезжит будущий рассвет.

— Барин… Просыпайтесь, барин, — шептала из приоткрытой двери Лукерья, загораживая от сквозняка пламя свечи.

— А? Который час? — вскинулся Туманов.

— Да уж четыре пробило, — ответила Лукерья.

— Что же, ты, дура, будишь меня в такую рань? — рассердился Петр Иванович.

— Там управитель, — зашептала, пятясь от хозяйского гнева, Лукерья. — Да не один. Очень, говорит, важно.

— Хорошо, — оглядываясь на жену, тихо проговорил Туманов. — Жди, сейчас буду.

Драть бы их за такое — и кухарку, и управляющего. Что может быть важного в четыре утра? Разве война? Ругая собственный либерализм, Петр Иванович поднялся, накинул халат, ополоснул лицо из кувшина и, зевая, последовал за Лукерьей к парадному входу, где обычно поджидал его управляющий.

Он и сейчас находился тут, только против обыкновения не прижимал к груди гроссбух, без которого никогда не являлся к отчету. Рядом

стояли несколько мужиков, в том числе местный кузнец Митрофан Сапожников, а между ними еще один любопытный персонаж…

Нестарый, но уже поживший человек лет, наверное, тридцати. Высокий, худой и оттого сутулый. Лихорадочным блеском глаз он напоминал разочаровавшихся в жизни героев немецких писателей-романтиков. Одет он был как мелкий уездный чиновник, вконец обнищавший или проигравшийся. Не сказать, что платье его представляло собой лохмотья, но вид имело весьма непрезентабельный. Обычный сюртук и панталоны, только потертые и явно давно не стиранные, поскольку от них пахло костром и чем-то кислым. Из-под обшлагов и воротника выглядывала солома.

В стогу он, что ли, ночевал?

Под левым глазом у незнакомца лиловел свежий синяк.

— И что это значит, Савелий? — обратился Туманов к управляющему. — Что за представление?

— Федриста поймали, — пожал плечами управляющий. — Мужики поймали, ко мне привели. Вот Митрофан и привел.

— Федералиста?.. Очень интересно. — Туманов

вскинул брови. — Скажи-ка мне, Митрофан, почему ты решил, что это федералист?

Сапожников откашлялся, потом, словно не зная куда девать руки, обхватил ими себя за плечи и произнес, гордый знанием ученого слова:

— Аги… тировал он, барин.

— За что агитировал? — заинтересовался Туманов.

Кузнец смутился. Крутил картуз в руках, краснел. Петр Иванович терпеливо ждал. Наконец Сапожников просиял и заявил:

— Он это… про державы говорил! На державы поделить надо Расею-матушку и еще на что-то!

— Во-от как… — протянул Туманов и спросил уже незнакомца: — Имеете что возразить, милсдарь?

Тот промолчал.

— Можа, сразу его ко мне, барин? — спросил кузнец.

— Спешишь ты слишком, Митрофан, — поморщился Туманов. — Не ты решаешь, не я. Суд решает.

* * *

Удивительно, но местный помещик оказался цивилизованным человеком, почти европей-

цем. Прежде чем запереть на нежилой половине господского дома, его свели в баню, никуда не торопили и ни в чем не ограничивали. Василий вдоволь погрелся и извел довольно воды. Париться не стал. Не любил он такое развлечение, да и в Европе подобное не принято.

Одежду у него отобрали, взамен оставили халат, нательную рубаху, кальсоны и сапоги, такие большие и растоптанные, что и думать не стоило о побеге.

Узилище тоже походило скорее на нумер в гостинице или трактире, чем на тюремную камеру. Приличная кровать, веселенькие обои на стенах, стол, два мягких креслица. О том, что он несвободен, говорили только наглухо забитое снаружи досками окно да узкая смотровая щель в дверях. Еще наличествовали каморка-нужник и рукомойник.

Что называется, живи не хочу.

Василий хмыкнул и завалился на кровать. Экая оказия! Неизвестно, что будет дальше, но отдохнуть в любом случае стоит. Кто знает, когда придется спать в следующий раз и при каких обстоятельствах. Некоторое время он размышлял о событиях минувшего дня и ночи и о том, почему народ, корневой, истинный русский народ

обошелся с ним столь неласково. Эх, не понимали они своего счастья, прогресса, верных установлений не понимали!

Занятый такими мыслями, Василий сам не заметил, как уснул.

Разбудил его звук проворачиваемого в замке ключа. Что же, сейчас что-то решится. Василий запахнул халат и сел на кровати.

Дверь отворилась.

В узилище протиснулась толстая баба с подносом в руках. Зыркнув на Василия испуганно, баба поставила поднос на стол и торопливо выскочила за дверь. Вместо нее вошел давешний барин, а с ним звероватый мужик, заросший черной с проседью бородищей. Мужик расположился у входа, привалившись к косяку, а барин сел к столу. Глянув на Василия, улыбнулся и сказал:

— Вы не голодны? Присаживайтесь. Я гостей, даже таких, как вы, не травлю и не морю голодом.

Василий не стал чиниться и занял второе кресло. В последний раз он ел почти сутки назад, и предложение помещика пришлось кстати. Надо признать, хозяин не поскупился. В супнице исходила паром густая уха. Приподняв с другого блюда баранчик, Василий увидел большой кусок

мяса с кашей.

— Премного благодарен, — произнес Василий. — Не ожидал.

— Пустое, — отмахнулся хозяин. — Давайте, что ли, познакомимся? Меня зовут Петр Иванович Туманов, я здешний помещик и поместный судья. Так что вы, — он усмехнулся, — удачно зашли. А вас как величать?

— Василий, — не отрываясь от еды, ответил арестант, — Василий Дмитриевич Муравьев.

— Вот как… — покивал Туманов. — Не из тех ли, — он приподнял брови, — Муравьевых?

— Родственник, — подтвердил Василий. — Дальний. Седьмая вода на киселе, если по чести.

— Понятно, — сказал Петр Иванович. — Но вы все равно помалкивайте об этом родстве. Я-то ладно, а деревенские могут не понять.

— А… этот? — спросил Василий, показывая на мужика.

— Глухонемой, — сказал Туманов. — Зато быстрый и очень сильный. Так что не надейтесь, если у вас были такие мысли, на меня напасть.

— Вы же благородный человек, — сморщился Василий, — зачем вы так про меня? Зачем ваши крестьяне так ко мне? За что?

— Воевали в этих местах, — ответил Туманов. —

Уж извините, но пошалили здесь рылеевцы. Несколько деревенек пожгли, нам тоже досталось. Пять лет я ваших гонял, за то меня Пестель лично Владимиром с бантом отметил!

Видно было, что воспоминания живы еще в памяти помещика. Глаза сверкали, а усы топорщились, как у молодого гусара.

— Я тогда ребенок был, — заметил Василий.

— Вот и не лезли бы в политику, — отрезал Туманов. — Так что я вашу породу знаю, рылеевскую. Людей побили, все кругом разорили! К примеру, у кузнеца нашего, у Сапожникова, вся семья сгинула. Злы на вас людишки.

— Это бандиты, пена! — возразил Василий. — Такие везде бывают. Не можем мы за всеми уследить.

— Ну да, ну да, — улыбнулся саркастически Туманов, успокаиваясь. — Вот только они тоже с разговоров начинали. Как и вы, сударь.

— Но мы же правы! — воскликнул Муравьев. — Мы…

— Не надо, — жестом остановил его Петр Иванович. — Идеи ваши красивые, но вредные. Держава, сударь, может быть только единая и неделимая. А назовите державой, например, Финляндию или Сибирь, и они тоже самостоя-

тельности захотят. Признания потребуют, шашни с англичанкой заведут. Пройдет несколько лет, и не станет России.

— Зачем тогда это? — Муравьев обвел рукой стол. — Зачем вы пришли? Для чего, Петр Иванович?

— Поговорить с образованным человеком, — ответил Туманов. — Мало-мальски кого ученого только в уезде и найти, а вы сами явились. Не вовремя, правда, и не с тем.

— Не с тем… — горько повторил Василий. — Ладно. Что со мной будет?

— Как суд решит, Василий Дмитриевич, — развел руками Туманов.

— Суд это вы? — прямо спросил арестант.

— Я, — не стал спорить Туманов. — И заседатели из поселян. Такое право и полномочия как ветерану войны даны мне Уложением. Так что хорошенько думайте, как завтра отвечать.

* * *

Суд в революционное время скор. Никому не нужны долгие разбирательства — ни судьям, ни даже подсудимым. Время не ждет, время звонит в колокола: быстрее, быстрее, еще быстрее! Получи свои удары плетью, если провинность твоя

невелика, и отправляйся работать.

Отечеству нужен твой труд.

Трепещи, коли ты враг. Народ не потерпит предательства, кара его сурова и неотвратима.

Василия разбудили на рассвете. Вчерашний кузнец равнодушно сунул ему в руки краюху свежего хлеба и сказал:

— Ешь скорее, сударь федралист. Некогда нам с тобой заниматься, работа стоит.

Когда Василий торопливо проглотил скудный завтрак, его босого вывели наружу. По ранней поре было зябко, хотя солнце уже позолотило верхушки дальнего леса. Перед господским домом стоял стол, застеленный алой скатертью. За столом, положив руки на толстый том Уложения о наказаниях, сидел Петр Иванович Туманов, судья и помещик. За его спиной стоял глухонемой телохранитель. Чуть поодаль столпилось десятка два мужиков. Из баб была только толстая повариха, да и та ушла в дом, едва Туманов заговорил:

— Итак, разбираем, гм, дело… Вы дворянин, Василий Дмитриевич?

— Дворянин, — подтвердил Муравьев.

— Дело дворянина Василия Дмитриевича Муравьева, — продолжил Туманов. — В заседатели предлагаю старосту Дементия Смирнова и управ-

ляющего Савелия Лохмова. Возражения есть?

Крестьяне молча покивали головами, согласились.

— У вас, сударь? — Туманов посмотрел на Василия.

— Нет, — ответил тот. Смысла протестовать он не видел. Он здесь все равно никого не знает, а решать в любом случае будет Туманов.

Тотчас же появилось еще два стула, и означенные персоны заняли места за столом. По тому, как ловко и невозмутимо они это сделали, Василий понял, что заседательское дело для них привычно и затруднений не вызывает.

Выступали свидетели. Повторил свою историю кузнец, слово в слово за ним говорили еще какие-то крестьяне. Василий не слушал. Весь этот суд был чистым фарсом. В конце концов, он дворянин, и судить его может только дворянское собрание, а вовсе не крестьяне, которые и половины слов из Уложения не знают.

Не прошло и четверти часа, как Туманов за неимением молотка хлопнул по столу ладонью.

— Так все и было, сударь? — спросил он Василия.

Муравьев пожал плечами. Крестьяне не соврали. Он пришел и говорил. Зачем скрывать, тем

более говорил он за правое дело.

— Итак, — продолжил Туманов, поднимаясь, — дело рассмотрено. Вина означенного дворянина Муравьева доказана. Приступаю к оглашению приговора.

— Кузнецу его отдать! — крикнул кто-то из толпы. — Неча церемониться!

Крикуна поддержали еще несколько человек:

— Митрофану, точно!

— Тише, уважаемые, — укорил их Петр Иванович. — Мы же не такие, как эти, мы по закону судим. Итак, означенный дворянин приговаривается…

— Что?! — воскликнул Василий. — А как же последнее слово? Мне что, не позволят даже и слова сказать в свою защиту?!

Туманов удивленно приподнял брови.

— К вашему сведению, сударь, Уложение о наказаниях от июля 1832 года при рассмотрении преступлений против государства и народа последнего слова подсудимого не предусматривает. Итак, я продолжаю.

Он помолчал, перевернул в Уложении несколько страниц, прокашлялся и заговорил снова.

— Статья 137. Антигосударственная агитация, совершенная одним лицом, совершенная впер-

вые, наказывается двадцатью ударами плетьми с последующей высылкой за пределы уезда.

Крестьяне одобрительно загомонили.

— Начинайте.

Василию показалось, что он ослышался. Его, дворянина, отпрыска славного рода, собираются пороть, словно какого-нибудь презренного конокрада?!

Тем временем двое дворовых шагнули к Василию, схватили его за руки. Третий уже приготовил плеть.

— Как?! Я дворянин! — Василий рванулся к Туманову. — Это нельзя! Вы не посмеете!

— Начинайте же! — приказал Туманов.

Кровь ударила Василию в голову. Он неистово задергался, вырываясь, и, о чудо, напор его принес свои плоды. Дворовые, не ожидавшие такого сопротивления, не смогли его удержать. Василий ужом вывернулся из их рук, вырвал плеть у опешившего палача.

— Прочь! Прочь с дороги! — закричал он, раскручивая ее вокруг себя. — Руки прочь от меня!

Туманов попытался заступить ему путь.

— Стой, дурак! — закричал он. — Погубишь себя!

— С дороги! — взвыл Василий и наотмашь уда-

рил помещика. По лицу Туманова протянулась кровавая полоса. Он закричал, вскинул к лицу руки.

Василий уже не смотрел в его сторону. Он бежал, увертываясь от рук, перепрыгивая ноги, расталкивая зазевавшихся. Бежал босиком, и плевать на камни и репьи, главное — уйти, ведь позади уже слышался топот преследователей.

Лес, добраться бы до леса, а там уж он сумеет скрыться!

Ему повезло, между лесом и особняком расстилался луг, заросший мягкой травой. Ни к чему ноги жалеть. Василий припустил еще быстрее. Топот за спиной отдалялся, бежать по траве в лаптях или сапогах труднее, чем босиком.

А вот и опушка! Василий пересек редкую шеренгу елочек и проскочил в сосновый бор. С полминуты он бежал, подныривая под ветви, уворачиваясь от сучьев. Потом нога поехала на сухой хвое, он поскользнулся, замахал руками, пытаясь удержать равновесие, но не смог. Упал, покатился и налетел головой на поваленный ствол.

Удар, темнота…

Возвращение в явь вышло тягостным. Болело все тело, особенно ноги. Разлепив глаза, Василий обнаружил, что ступни его разбиты в кровь. Бег

не пошел им на пользу, а он в горячке и не заметил. Руки его были завернуты за спину и задраны вверх, так что Василий их почти не чувствовал.

— Зря вы так, Василий Дмитриевич, — раздался слабый, но знакомый голос. Муравьев поднял голову. Его возвратили на место судилища. Вокруг все так же толпился народ, только теперь людей было больше, заседатели сидели на своих местах, равно как и Петр Иванович Туманов — теперь его голову охватывала повязка, кое-где заляпанная кровью. Оба глаза, как-то отрешенно заметил Василий, были целы. Но попадет телохранителю, ох, попадет! Эта мысль показалась приятна и немного улучшила настроение.

Туманов открыл Уложение, вздохнул и произнес:

— Статья 153 Уложения о наказаниях от июля 1832 года. Нападение на должностное лицо при исполнении им службы. Карается… — он махнул рукой, помолчал и добавил: — Видит бог, я этого не хотел. Забирай его, Митрофан.

Руки вздернули еще выше. Острая боль ударила в плечи и спину. Василий охнул и побежал вперед, понукаемый невидимыми тюремщиками. Он видел только тропу перед собой, слышал гул голосов, потом он почувствовал запах угля и

горелого железа.

Кузница, его привели в кузницу. Зачем? Неужели набивать кандалы?! Он снова дернулся.

— Но-но, не балуй! — раздался позади злой голос. — Подожди уж.

Зачем они пришли, чего ждать? Василий, сколько мог, задрал голову… и увидел.

Впереди любовно начищенное и смазанное маслом стояло устройство, знакомое ему по книгам и гравюрам. Механизм, изрядно проредивший детей революции, которую сами французы назвали Великой.

Гильотина.

Константин и Конституция



Григорий Панченко
Звезда пленительного

Оступись только Медведчук, ничего бы не было. Но перед тем споткнулся еще один гвардеец — со спины поди угадай кто, да и не важно, качнулся влево, и Медведчук, чтоб не врезаться в него, неловко ступил вправо. В бурно, могуче бегущей толпе лейб-гренадеров возникла прореха, и поручик рассмотрел больше, чем за миг до того.

Прежде ему получилось высоко над солдатскими головами увидеть только каски и плюмажи конных кавалергардов, вроде бы преграждающих путь. Преграждать путь полку сейчас было нельзя, так что поручик намеревался выкрикнуть: «В штыки!» и прорваться к месту сбора, оттеснив кавалеристов, благо тех, похоже, немного. Но сейчас…

Он резко поднял руку. Те, кто были рядом и позади, увидев это, замедлились, а передние, не получив команды на прорыв, замедлились перед кирасирами, хотя тех и вправду оказалось где-то с дюжину. Ну, тем лучше.

Просто вот так взять и оттеснить их никак не

следовало. Во всяком случае, одного из них.

Поручик, как воду, разгреб руками в стороны затоптавшихся на месте лейб-гренадеров, которые, едва остановившись, без приказа начали ровнять ряды. Так что вышел он не перед толпой, а перед строем. Это было скорее плохо: теперь следовало торопиться.

Тот, кто возглавлял кавалергардов, давно уже шарил взглядом по наспех выстраивающемуся полку, ища хоть кого-нибудь из офицеров. Поручика увидел только сейчас: да, тот был маленький, доселе полностью тонул в гренадерском море. А всадник — саженного роста (всем было известно, как он гордится тем, что не ниже прапрадеда!), да еще на коне-великане. Очень ему важно выситься даже над высоченными — это тоже всем известно.

— Куда? — осведомился сквозь зубы, глядя на поручика, как на совершенно пустое место.

— К своим, *ваше высочество*! — бодро отрапортовал тот. — На Петровскую!

Пауза.

— Тогда вам туда, — не дрогнув, произнес Николай (но уголок рта все же чуть заметно пополз вниз). И указал рукой налево.

Поручик молчал, на собеседника глядел без

страха, полк разворачивать не спешил. Видя это, кирасиры начали было придвигаться ближе, но тут разом придвинулись и солдаты, смешав так и не успевшее окостенеть построение. Некоторые держали ружья на руку.

— Уводите своих людей, господин офицер… — процедил цесаревич все так же надменно, — если вы действительно офицер, а не ряженый. Смирна! — вдруг рявкнул он великолепным командирским голосом. Однако на лейб-гвардейцев, к счастью, уже вновь обратившихся из фрунта в пусть сплоченную и грозную, но толпу, это не подействовало.

Поручик положил руку на эфес и увидел, как взгляд Николая метнулся, оценивая его оружие. Вот именно — не форменная сабля с повязанным по уставу темляком, а сильно изогнутая турецкая, старой ковки, в потертых кожаных ножнах. Гвозди рубит, как масло.

Еще с утра он, готовясь к присяге и даже успев поцеловать крест тому, кого сейчас именовал высочеством, нацепил на пояс эту саблю, батюшкино наследство — чуть ли не единственное. Потому что твердо знал: сегодня — будет. Присяга эта, пусть даже полковник поторопился ее организовать, не настоящая: Московский полк

и Гвардейский экипаж не присягнут, другие к ним присоединятся, и начнется. Командир и друг Александр Сутгоф уведет к месту сбора свою роту, а его собственное задание известно уже со вчера: «Сможешь — увлеки весь остальной полк, не сможешь — приходи один». Он смог.

А полковник… Что полковник: в морду надо пореже норовить, Николай Карлович, да по-русски чисто говорить учиться, чай, не немчее Саши Сутгофа. Тогда в смутный день междуцарствия и послушают гвардейцы вас, а не любимого поручика.

— Я, Лейб-гвардии гренадерского полка поручик Панов-второй, вас, ваше императорское высочество, задержи…

— С государем говоришь, мальчишка! — бешено выкрикнул седоусый кирасир, понукнул коня и тут же осадил: перед конской мордой, грудью, на уровне бедер и живота всадника морозными искрами засверкала стайка штыков.

(«Константин наш государь!» — звонко выкрикнул совсем юный голос, и Панов украдкой улыбнулся: Егорушкин, младший из лейб-гренадеров, даже моложе его самого. «Константин!» — вразнобой подхватило еще несколько голосов.)

— …задерживаю, — невозмутимо договорил

поручик. — За мятеж против императорской власти. Извольте спешиться и следовать за мной.

— Я тебе сейчас спешусь… — бешено прошептал цесаревич, но носок ботфорта действительно начал выдвигать из стремени. Впрочем, движение это не завершил.

Все уже было понятно и даже сказано, оставалось приступать к делу, а вот с этим у обеих сторон вдруг случилась заминка. Кавалергарды горячили лошадей, понуждая их танцевать на месте, но впрямую не бросая на пеших гренадеров и не выхватывая палаши; поручик тоже не обнажил свою смертобойную саблю, запоздало осознав, что толку от нее сейчас все-таки будет чуть. Солдаты, остерегаясь соваться под копыта, без приказа теснили и окружали всадников, стремились отрезать их от цесаревича, а те, наоборот, прилагали все усилия, чтобы втиснуться между ним и штыками. Сам же цесаревич…

— Константин!

Штыки плясали, подковы звонко били о мостовую, но кровь пока не пролилась.

— Ура императору Константину!

— За Константина!

— За Константина и конституцию! — вдруг долетел разухабисто-нетрезвый возглас со сторо-

ны, где уже начали собираться партикулярные зеваки, как же без них.

— Жену его… — угрюмо хохотнул фельдфебель Нефедов, старший из лейб-гренадеров, ветеран трех походов и георгиевский кавалер. Тут же захохотали все: на мгновение смех объединил конных и пеших, военных и штатских, тех, кто за Константина и кто за Николая.

Одна из лошадей заскользила по обледеневшей брусчатке, вздыбилась и с диким, рвущим душу визгом рухнула, придавив всадника. Невольно все взгляды обратились туда, поручик тоже не стал исключением. Но он же первый обернулся на дробный цокот копыт: цесаревич Николай, так и не спешившийся, не взятый под стражу, уходил, несся во весь опор прочь, дав коню шпоры и смяв на галопе двух лейб-гвардейцев!

— Ружье! — рявкнул Панов, протягивая руку. Не глядя принял его у ближайшего из солдат, взвел курок. Приложился.

(Теперь все зависело от случайности. Едва дошла весть о возмутившихся московцах, полковник Штюрлер приказал заряжать ружья боевыми патронами, и солдаты зашептались: мол, в кого же стрелять? Неужто — в своих? Шептались и поглядывали на поручика. А он, еще не будучи

уверен, что сумеет увлечь их за собой, отвечал так, что многие, кто еще не успел заложить в ствол пулю, не сделали этого, только порохом зарядили. Тогда это казалось правильным: если что, меньше свинца полетит в ту роту, которую уже успел вывести Саша, лучший из друзей…)

Нажимая на спуск, поручик мысленно вознес молитву: только бы заряд не оказался холостым! Но так и не узнал, была ли она услышана, потому что одновременно с его выстрелом грохнуло пять-шесть разом: несколько солдат, раз уж такое дело, тоже вскинули ружья. Все ли они изрыгнули свинец, часть ли, но огромный всадник рухнул вместе со своим конем-исполином. Оба остались недвижны, тем не менее солдаты уже набегали с яростной целеустремленностью, держа штыки на укол.

Все. Решать надо наверняка: время совместного смеха прошло, первый выстрел сделан, кровь пролилась, ходу назад нет. Его и раньше не было, а вот теперь нет совсем. À la guerre comme à la guerre.

Сам Панов так и не подбежал к тому, что только что было Николаем Павловичем — мятежным цесаревичем, а может быть, законным императором. Остановился на полпути, склонился над

первым из тех, кого Николай стоптал в тщетной попытке бегства.

Юный Егорушкин лежал навзничь, глаза его, синее неба, были неподвижны и широко распахнуты, лицо чисто, но на виске — кровавый пролом.

Чтобы не задрожали руки, поручик сцепил их вместе, но они все-таки задрожали, обе. Ни на какой la guerre он прежде не был — когда Бонопартия били, детские платьица носил. Эта смерть, чтоб вот так, вблизи, оказалась для него первой.

Позади него, как сплошная стена, стоял грохот выстрелов в упор, стоны и матерная брань: лейб-гвардейцы теперь уже без церемоний перемалывали кавалергардов. Впереди несколько человек, плотно сгрудившись вокруг поверженного, раз за разом поднимали и резкими движениями опускали штыки, словно пешнями лед долбили. И день был подобен ночи.

Панов все стоял, удерживая свои руки от дрожи, как дезертиров. Потом его кто-то деликатно тронул за плечо.

— Пора, вашблагородь, — пробасил фельдфебель Нефедов. — Веди нас. Куда теперь — к Сенатской, да?

— А… — поручик, наконец, совладал со своими

руками. Зачем-то взглянул на небо — оно, петербуржское, было совсем не синим.

«Отчего-то не прижилось у солдат и у черни нынешнее название площади, продолжают называть ее, как прежде. А Медного Всадника и вовсе чёртушкой кличут»… Вот уж вовсе лишняя мысль.

Он встряхнулся и вновь стал самим собой.

— Так. Да, на площадь, там свои и место сбора. Там все за императора, за Константина. Этого, — Панов, не оборачиваясь, ткнул пальцем, — с собой, на скрещенных ружьях. Там положим в изножье Петра, чтоб все видели: мятежного узурпатора больше нет. Наших тоже берем, обоих — не бросать же!

— Само собой, — буркнул Нефедов, покосившись на офицера как-то странно.

— И все, некогда нам тут прохлаждаться. Полк…

— По-олк… — раскатисто подхватил фельдфебель. — Строй-ся!

Теперь можно было не бояться идти строем, наоборот, именно строй — спасение. И, кстати, нужно ли идти именно к месту сбора, оно ведь теперь, пожалуй, потеряло смысл? Нет, все же туда, Нефедову он объяснил правильно: каждый

должен увидеть!

Ничего еще не кончилось. Михаил Павлович не в счет, он шут гороховый, его даже лакеи Мишкой кличут: Россия лопнет от смеха, если такой вздумает на трон полезть. Особы женского пола — тоже не считаются, будь они хоть трижды из императорской фамилии. Маленький Александр Николаевич… вот он будет очень кстати, если…

Но обо всех этих «если» пусть старшие соратники по Обществу думают, кто они ни есть. А сейчас всякий, кто готов биться за конституцию с оружием в руках, чтобы положить границы власти монарха, либо просто желает свободно говорить и мыслить, читать умные книги, да просто радеть за общее благо… Всем им предстоит узнать: сперва виват Константину Павловичу, а потом уже что-то остальное!

* * *

…Кто-то из гвардейцев оступился на бегу, и следующий за ним Медведчук едва не споткнулся тоже. Поручик Николай Панов ругнулся про себя: сбиться с бега им было бы крайне некстати, и так впереди замаячили какие-то кавалеристы.

Свой малый рост он ощущал как проклятие, особенно сейчас, буквально утопая в потоке

толпы могучих лейб-гренадеров. А что он мог поделать? Строем их вести, походной колонной — так полковник, чего доброго, перехватит инициативу! При выводе из казарм Николай Карлович, от волнения растеряв последние остатки известных ему русских фраз, оплошал, не сумел остановить полк, но вдруг да настигнет снова? Во фрунте гвардеец механизму подобен…

Ничего, от этого мы солдатиков и избавим. Первым делом, сразу после победы.

— За мной, ребята! — выкрикнул Панов, сам засмеявшись раньше гренадеров. — И передо мной тоже! Штыки на руку, пробивайся к Петровской, ура Константину!

— Ура-а-а! — бодро, весело, неудержимо подхватили лейб-гвардейцы. И, выставив штыки, поперли вперед так, что конных, кто бы они ни были, просто в сторону унесло.

Путь к площади, которую в простонародье упорно называли прежним именем — Сенатской, был свободен…

Тадеуш Стоцкий
Châteaux en Pologne[3]

Ночь в Варшаве. Декабрь, пусто, мокро. Через несколько дней — Рождество. Тогда улицы расцветут факелами, колокола будут вызванивать благую весть, а пока — просто зима, нищая и темная. Бродяги да неупокоенные души слоняются по улицам, а княжеской карете делать на них вовсе нечего…

Карета остановилась возле Бельведерского замка. Подобрать края плаща, спрыгивая со ступеньки — хотя здешней грязи далеко до петербуржской. Окна в замке тревожно сияют, там не спят.

Взбежать по лестнице. Впрочем, взбежать — это громко сказано… Забываешь о годах, но на ступеньках они с удовольствием о себе напоминают. Кавалергарды застыли, точно римские статуи, только взгляды у статуй живые, тревожные. Многовато их — кавалергардов. Константин

---

[3] Примечания: 3

С французского буквально «Замки в Польше» — вариант старой идиомы châteaux en Espagne («воздушные замки»), обозначающей несбыточные мечты; используется как ироничная отсылка к чему-то далекому и маловероятному.

всегда боялся «апоплексического удара в висок», но неужто… неужто в самом деле покушение? Кто мог осмелиться, кому в голову могла прийти подобная глупость? Если кто-то из сумасшедших студентов Лелевеля решил изменить историю… Да нет, чепуха. Идея восстания пока не реальнее тех воздушных замков, *châteaux en Espagne,* что они с Александром выстраивали когда-то, уединившись, чтоб «папенька не услышал». Вот теперь — *châteaux en Pologne*…

Александр умер. О короне, которую его братья перекидывали друг другу, как при игре в горелки, о спроваженном от ворот города курьере уже ходили анекдоты. Или Константин передумал, сжег отречение и решил править? Но никто и не пустит его на трон после женитьбы…

Впрочем, нужно быть готовым ко всему.

Выдохнуть, оправить плащ, кивнуть застывшему у двери красавцу: докладывай, мол…

В кабинете было так светло, будто не вовремя занялся день. Внезапно все это — ночная тревога, испуганные кавалергарды, яркий свет — напомнило ему о другой ночи, той, которой он не был свидетелем — защитила Божья Матерь! — но о которой слышал достаточно, чтобы почти увидеть.

— Ваше Высочество?

Тот, кто стоял у окна, рассмеялся — глухо, надтреснуто:

— Высочество… да. Уберег Господь — не стал величеством…

Обернулся:

— Спасибо вам, что приехали так быстро, князь Адам.

Адам Чарторыйский, бывший министр иностранных дел Российской империи, никогда особо не любил великого князя Константина. Но и врагами стать они не успели.

— Не скрою, что ваше приглашение стало для меня сюрпризом…

— А вы думали, о вас уже забыли?

Именно так он и думал, когда ощутил вдруг, как же ему надоело бороться, когда понял, что все до одного его планы потерпели крах, что дружба, которую он лелеял все эти годы, изошла себя, что он не нужен больше ни своим, ни тем более чужим. И все, что ему остается, — это вытаскивать из петли молодых безумцев, решивших, что для освобождения Польши хватит одной самодельной бомбы…

И ему чертовски хотелось бы знать, отчего главнокомандующий польской армией решил стряхнуть с него нафталин и срочным приказом

вызвать из Пулав.

— Что случилось, Ваше Высочество?

— Плохие новости из России, — ответил великий князь. — Бунт… революция… Боже мой, я не знаю. Никс… Никс убит.

— Как убит?

Никс. Николай, серьезный мальчик… Адам опасался его восшествия на престол. Хрупкое, построенное на доброй воле Александра Царство Польское от шагов Николая могло бы развалиться, как карточный домик.

Константин тяжело вздохнул, подошел к камину, забарабанил пальцами по каминной полке. Он изо всех сил пытался держаться, пока это ему даже удавалось.

— Саша… он говорил мне о них… когда-то. Называл имена. Разумеется, я не думал, что это серьезно… он клялся, что держит их всех в руках, что арестует, как только… А теперь они убили Никса. Изменники! Предатели! Отец знал, он все знал…

— Ваше Высочество, успокойтесь, присядьте, прошу вас… — Адам говорил терпеливо, не позволяя брезгливости проникнуть в голос.

Великий князь глубоко вздохнул, справляясь с эмоциями:

— Таким образом, Адам Адамович, получил я со срочным курьером новости, что брат мой застрелен, а Зимний дворец оккупирован повстанцами. В Петербурге организовано временное правительство.

— Mais… — у него не получилось скрыть беспокойства. — Mais la Famille?[4]

Константин бросил на него быстрый и острый взгляд.

— Слава богу, генерал Воинов сумел вывезти их из столицы — матушку, Lise и мальчика…

Лиз… Когда они виделись в последний раз, она показалась ему такой бледной, хрупкой. Рассказывали, что после смерти Александра она совсем зачахла, и теперь такое испытание… Выдержит ли?

— Не будет ли более разумным вовсе удалить их из страны?

— Не знаю, не знаю, — великий князь нервно завертел головой. Он явно боялся — тем сильнее, что в первые в жизни не было у него за спиной человека, который подсказал бы, приказал, что делать.

— Мы-то грешили на Семеновский полк, а

---

[4] Примечания: 4
Но… но как же семья? *(фр.)*

взбунтовались Московский и лейб-гренадерский… стыд какой… И началось вроде бы с ерунды. Они выехали на площадь требовать республику… Конституцию…

Республику и конституцию. Которые, по планам молодого императора, Россия должна была получить еще в самом начале века.

Что ты сделал со своей страной, Александр?

— Никс не успел принять присягу. Один из этих якобинцев выстрелил. Ваш соотечественник, к слову. Каховский. Вы не знали его?

— Нет, — медленно проговорил Адам, — не имел сей сомнительной чести.

Значит, они все же решились, они действуют… Он-то почитал российское Тайное общество таким же сборищем демагогов, как собственных Патриотов, а они взяли да перевернули страну. Вы отстали от жизни, князь Адам. Будущее не за продуманными политическими решениями — под Аустерлицем спят ваши решения. Будущее — за вооруженными фанатиками, такими, как Каховский.

— Я позвал вас сюда, Адам Адамович, — Константин вздохнул, — потому, что мне нужен совет… Мне кажется, что в сложившихся обстоятельствах я должен немедленно выехать в

Россию, — великий князь говорил с такой усталостью, будто уже проделал все путешествие.

— И оставить Польшу?

— Да.

Оставить Польшу и увести из Варшавы часть войск, ибо вид одного великого князя на белом коне вряд ли заставит русских прекратить бунт…

Адам покачал головой, в которой едва укладывалось — Николаю уже не править, у России больше нет императора, Константин собирается уходить…

— Простите меня, Ваше Высочество, но Польша для вас сейчас куда безопаснее России. Учитывая, что от престола вы отреклись… Там, в конце концов, остается ваш брат, Михаил Павлович…

— Нет уж, я достаточно трусил! — голос Константина сейчас так знакомо отливал металлом. — Мишель еще совсем мальчик, а я… ведь это в меня должны были стрелять. Отца придушили, да… полно, и меня б придушили, что за потеря! Вы сами понимаете — для меня это решение трудно… Все вокруг предатели, все! Пожалуй, только на вас я могу положиться…

— Я несказанно рад вашему доверию, Ваше Высочество. Однако я в последнее время совсем не

участвовал в жизни Варшавы, путешествовал… Генерал Зайончек — достойный человек, отчего же вы не хотите положиться на него?

— Генерал, — Константин сцеплял и расцеплял пальцы, — был отправлен в отставку. Сегодня утром.

Та-ак… Видимо, генерал пытался уговорить Константина остаться в Польше. А великий князь, как и покойный брат его, не любит, когда голоса вокруг перестают звучать в унисон и ведут собственную мелодию. Адам ощутил сочувствие к вечному врагу.

— Генерал Гауке, моя правая рука, останется командовать войсками. А вы… я хотел бы, чтоб вы заняли место Зайончека. Я помню, мой брат называл вас королем Адамом Первым…

Адам тоже помнил. Он помнил также, как не нравилось это Константину. Тот получил в конце концов в наместники Зайончека, который хорош был единственно тем, что слова поперек не сказал великому князю.

До сегодняшнего дня.

— Все вы поляки, — на это князю Чарторыйскому возразить было нечего. — Все вы, поляки, — повторил Константин, — к какому бы ни принадлежали сословию, искренне считаете,

будто вас подавляют, только и мечтаете избавиться от ига, — он поднял руку, предупреждая возражения. — Но вы, князь… я знаю, вы любили моего брата. Александр вам верил. Вы мирный человек и никогда не желали крови — ни польской, ни русской.

Что ж, ничего странного: Константин — сын своего отца. Разве тот в роковую ночь не убрал караул, который мог бы его спасти? Разве не верил слепо Палену, наименее в его окружении достойному доверия?

Константин, нелюбимый сын Павла, унаследовал от него куда больше, чем его братья.

Князь Адам понял вдруг, что все это время они разговаривали вдвоем, хотя, учитывая обстоятельства, комнаты должны кишеть людьми. Он понимал, что это значит: Константин уже принял решение и не желает, чтоб его разубеждали.

— Хватит ли вам — пока — моей подписи? Я думаю, мне придется стать при Сашеньке регентом… Господи, как же я… не хочу.

— Многие называют вас императором, — осторожно ответил Адам.

— Струсил, думал — уйду… — забормотал Константин. — А разве ж уйдешь? От судьбы-то? Проклятый трон, кровавый, сядешь — не сядешь,

все одно проклят… — Константин стал вдруг темным и страшным, как уличный сумасшедший. — А Николая… нет теперь. Помните, как у того англичашки: «Судьба играет мной…»

Варшава, 30 декабря 1825 г.

На Рождество был мелкий снег и тишина, и Божья матерь родила своего Первенца в настороженном молчании. На улицах Варшавы царило неестественное, почти карикатурное спокойствие.

Они собрались на его варшавской квартире тайно: эклектичная компания, составленная, как мозаика, из остатков разных обществ — то распущенных, но чаще запрещенных указом Александра, который к концу правления все больше напоминал своего батюшку. Вот теперь — князья, студенты, генералы, пролетарии — не разберешь. Патриоты. Все оживлены и растеряны, ибо никто не знает, как следует, что надлежит делать.

Воистину, если Бог хочет наказать, он исполняет желания. Давно ли они вот так же собирались на тайных сходках, от греха подальше, и бушевали: мол, доколе, хватит терпеть, нужно восстание, к оружию, граждане!

Они полагали всегда, хоть никогда не говорили

об этом, что ждут лишь подвернувшегося случая, какой-то искры, и что от этой искры тут же полыхнет вся Польша. И вот он, случай — почти мифический, почти рок, — а они, кажется, встали, как лошади на краю пропасти. Ведь как раз когда готовы были смириться, вздохнуть, довольствоваться тем, что получили…

— Именно сейчас, — сказал Адам, — мы должны действовать с чрезвычайной осторожностью… Если, разумеется, мы хотим свободы Польши, а не ее крови.

— Стыдно, панове, мы запаздываем! Русские уже сами начали убивать своих царей! — юмор у Малаховского был… как у бригадира.

Его поддержали:

— Если даже они, рабский народ, подняли головы и начали действовать, отчего же мы…

— Или вы, князь Адам, так дорожите своей новой позицией…

— Князю Адаму не привыкать получать позиции с барского плеча…

Он привычно пропускал мимо ушей эти реплики, сказанные вроде бы тихо, но так, чтоб все услышали. И не надоест им?

Адаму следовало бы высказаться против восстания. И еще вчера он сказал бы, что переворот

приведет лишь к бессмысленным жертвам и, скорее всего, потере тех свобод, которых им удалось добиться и за которые он торговался, подобно последнему жиду… Но тогда был час торга, а сейчас, пожалуй, настал час меча.

— Теперь же мы в совершенно другом положении… — резонно вещал Хлапицкий. — Генералы, на чье сочувствие мы не могли рассчитывать, оттого что они приносили присягу Императору Всероссийскому, на сей час не связаны никакой присягой. Константин сам оставил Польшу. Поэтому все scrupules morales[5], — взгляд в сторону Адама, — более не уместны… Заговор был среди военных, теперь войска схватятся между собою, и у России не будет уже достаточных сил, чтоб бросить их на нас.

Внезапно все заговорили — разом:

— Нужно немедленно поднимать Варшаву, в Люблине и Вильно нас поддержат…

— Немедленно? Вы с ума сошли, мы не готовы…

— Так что же нам, ждать еще пять лет, пока приготовимся?

— Панове, не забывайте о народном ополче-

---

[5] Примечания: 5

Моральные предрассудки, угрызения совести. *(фр.)*

нии!

— Мы можем поднять народ прямо сейчас! — звонко крикнул Лелевель. — Поднять студентов и рабочих, Варшава будет свободна уже завтра!

— Поднять-то поднимем. Удержим ли?

Все это напоминало старый добрый сейм.

— Нам нужно не ополчение, — сказал Адам, — нам нужна армия.

Они нуждались в войсках и во всех, кто способен был эти войска повести. Жаль, что Гауке, скорее всего, придется отправить в отставку — да подальше от вскипающего города. И жаль, как жаль, что не дожил Домбровский…

— Надо немедленно связаться с революционным правительством! — не унимались «демократы».

— Да, да, верно, сейчас же!

У Адама были сомнения относительно революционности правительства Трубецкого, однако он был абсолютно согласен: нужно вести переговоры. Инсургенты могли дать им главное — время. А время сейчас было за Польшу.

Коткишево, Костромская губерния, 30 марта 1826 г.

В письме на безупречном французском — в русском письменном князь Чарторыйский до сих

пор делал не меньше ошибок, чем ненавистная ему Екатерина, — было изложено следующее:

«Ваше императорское Высочество,

С печалью сообщаю Вам, что оказался не пригоден для той высокой ноши, кою Вы на меня изволили возложить. Немедля после вашего отъезда в Польше начались народные волнения; пример российского бунта оказался губительным для моих соотечественников. В столице вспыхнуло восстание, которое подавить мы оказались бессильны. Повстанцы атаковали казармы, где были размещены Ваши войска; малочисленность последних, а также неожиданность нападения привели к тому, что скоро казармы были взяты. Пламя, охватившее Варшаву, перекинулось на Волынь и Люблинское воеводство. Притом следует сказать, что генералы, вызванные для подавления восстания, были весьма растеряны и деморализованы не оттого лишь, что вынуждены были стрелять по собственному народу, но и по той причине, что не знали, во чье имя это делают, ибо Царство Польское, как и Россия, осталось без императора. В этих условиях, опасаясь гражданской войны и зная, что в нынешних печальных обстоятельствах излишним было бы рассчитывать на помощь России, нам не оставалось

ничего другого, как созвать в Польше Временное Правительство, призванное унять огонь революции и обеспечить соблюдение Конституции, данной нам Вашим великим братом. Временное правительство вынуждено было также взять под свою защиту восемь воеводств, где положение сделалось так же опасно…»

— Брут! Мерзавец! — бушевал Константин. Он большими шагами перемещался по комнате, потом обратился к своей невестке, которая сидела тут же у окна: — Вот, полюбуйтесь, сестрица, вот, кто вам записочки-то писал! Что он сейчас пишет, каналья!

Елизавета рассеянно подняла глаза, необычайно пустые и светлые — такими стали они после смерти Александра. Она устала — только что вернулась из сада, куда выводила Сашеньку на первую его прогулку после болезни. Теперь уже ясно было, что скоро он совсем поправится, а ведь все страшились, что легочная лихорадка его унесет… Елизавета не сразу поняла, на что намекает Константин. Вся история с Адамом казалась теперь неуловимо далекой, отгороженной в памяти плотной завесой тумана. Впрочем, это ожидаемо: с кем бы ни сводили ее в жизни дворцовые коридоры, только поляка будут ей

поминать до самой смерти…

— Разве я оставила на него Польшу, дорогой брат?

В его гневных речах ей чудилось облегчение. Иногда она спрашивала себя, уж не нарочно ли Константин это сделал.

Коткишево, Костромская губерния, 3 сентября 1826 г.

Все это сплошная авантюра, думал князь, пока карета тряслась по нелюбезной русской дороге. Везде грязь, жидкая, унылая, а кое-где уже снег.

Когда-то он по такой же дороге ехал в Петербург — как давно это было! — и от пейзажа душу крутило, как крутит живот. Тогда ему чудилось, будто попал он в заколдованный лес из страшных нянькиных сказок, в котором ездишь и ездишь кругами и не можешь вырваться. Эти их темно-серые ели и сиротские березы, все такое неприютное… версты и версты…

Пейзаж за четверть века не изменился. Адам вздохнул, завидуя собственной молодости. Тогда он заранее казался себе мертвым и в то же время был вечно живым. Он отворачивался, не желая смотреть русским в лицо. Мог еще позволить себе честность, это потом — как называлась та глупая игра, которой забавлялись фрейлины Елизаве-

ты? — «да и нет не говорите, черное с белым не берите…»

Тогда он ехал в Россию пленником, побежденным, теперь же… Велик соблазн сказать — победителем, но ничего, ничего еще не сделано…

Переворот обошелся малой кровью, но что там — хоть малая, а все одно кровь. В какой-то момент, помнится, Адам испугался, что волнения не прекратятся, что всё взбесится, разбушуется, крутым кипятком перельется через край, как у соседей. Слава богу, этого не случилось. Русские ушли из Замостья, ушли из Модлина, а потом — и с восьми воеводств. Страна теперь замерла в ожидании, в непрочном покое. Формировались все новые и новые полки. Бывшие генералы, бригадиры, разметанные по Европе, возвращались домой. Езерский отправлен был в Австрию договариваться о возможной унии, а проще — тянуть время. Воевать с двумя державами Польша не скоро сможет себе позволить. Скакали курьеры от Лелевеля и его демократов до «демократии» российской. Адам криво улыбнулся: когда-то и он верил в свободу для всех. Но слишком много кругом тех, кто с удовольствием заново перекроит его страну. Потому — как жаль, что не все это по-

нимают! — чтобы Польша осталась республикой, нужно, чтоб Россия оставалась империей.

Другие державы от Империи пока держались подальше, как от греха. Англичане, как водится, выжидали. Франции вообще было не до России, ей бы собственные пожары загасить. Пруссаков стоило бояться, но победой над Наполеоном Россия снискала себе плохую славу — пруссаки теперь боялись сами. Боялись русской зимы, русских мужиков, русского сумасшествия. Идти на медведя страшно, а соваться в лес к шатуну — и вовсе глупость, и вся Европа это понимала.

Зато всяческая дрянь, вроде недобитых санкюлотов, собиралась в республиканские дружины — les Internationalistes, voulez-vous[6]. И отправлялась на помощь Трубецкому.

Польша по сравнению с Россией сейчас — тихая гавань, и только слепой этого не увидит.

Авантюра с начала и до конца, достойная описания во французских бульварных романчиках. Безумством было и ехать сейчас в Россию, и то, что он собирался предложить. Оправдать его, пожалуй, могло только одно — то, как невероятно складывались события. Те, кто полагал, что

---

[6] Примечания: 6
Интернационалисты, не желаете ли. *(фр.)*

начавшееся случайным выстрелом восстание будет подавлено за несколько дней, ошибался, как и все, кто пытается умом понять Россию. Инсургенты взяли Петербург и укрепились там, и в то же время силами Черниговского полка взбунтовался Киев. Начавшись в двух столицах, бунт распространился на другие города. Из Петербурга Россию объявили республикой, диктатором значился Трубецкой. Обе вдовствующие императрицы вместе с юным Александром Николаевичем скрывались в селении где-то под Костромой, отказываясь, однако же, «оставлять Россию без императора». «Декабрьское» правительство, как называли его теперь, признало независимость Польши почти сразу. В Варшаве ликовали. Исполнилась республиканская мечта — вот она, свобода, ваша и наша. Видно, радость их временно ослепила, они не понимали, как мало это значит — признание диктатором, который сам держится на ногах из потрескавшейся глины…

Начинала новая российская республика бодро. Повстанческая армия под предводительством генерала Муравьева дошла до Москвы и взяла ее. Вернувшийся в страну Константин начал, как водится, за здравие, бросив полки на столицу. Он,

однако, не ждал такого яростного отпора. После поражения так и не признавший за собой титула Константин удалился в Кострому, соединившись там с остальными членами Семьи. Полки, пришедшие за ним из Варшавы, таким поворотом дел оказались чрезвычайно недовольны.

Но жертв оказалось слишком много даже для России, где обычно не утруждаются подсчетом жизней. Временное правительство после этого раскололось, и менее милосердная его партия расправилась с более милосердной. Запахло Конвентом. После расстрела Муравьева солдаты его отказались подчиняться диктатору. Те, кто смог, ушли в Киев, где присоединились к Черниговскому полку.

Князь Чарторыйский ожидал чего-то в этом роде, но к тому, что последовало, даже он не был готов. Кто-то пустил слух, что малолетний некоронованный император умер в Костроме. Неизвестно, кому это было на руку. Россия, вздорная барышня, разочаровалась в одном императоре и бросилась на шею другому. «Южные» генералы провозгласили императором Михаила. Вовсе не глупый шаг. Четвертый сын в семье, затененный совсем старшими и никогда не мечтавший править, Михаил не удержался от искушения.

Кострома была отрезана от обеих столиц, и даже обнаружься после, что цесаревич жив, можно было бы утверждать, что наследника подменили — Россия еще помнила Лжедмитрия… По Варшаве ходила шутка: «В России созывают сейм — будут выбирать императора. Только ничего у них не выйдет, Трубецкой воспользуется liberum veto[7]…»

Однако к неожиданному титулу прилагалась война. После столкновения с силами Трубецкого под Москвой войска «императора» были разбиты, а сам Михаил исчез. Помощи от брата он, разумеется, не дождался — у Константина не было другого выхода, нежели объявить Михаила изменником. Но и диктатор потерял много людей, а главное — многих сторонников. В рецепте новой республики, на их вкус, было слишком много крови. Многие солдаты, обозлившись на все власти разом, просто и банально уходили в леса. В конце концов Трубецкой оказался в собственной ловушке, забравшись в столицу, как в раковину. И Константин, вроде бы поджавший хвост, собирался опять идти на Петербург…

Это время князь Чарторыйский и выбрал, чтоб

---

[7] Примечания: 7

Свободное вето *(лат.)* — право депутата сейма Речи Посполитой единолично отклонить решение собрания.

отправиться в Россию.

Адам далек был от того, чтоб беспокоиться за Россию — увольте, ему достаточно Польши. Но он не мог не переживать за царскую семью: те так и отказывались покидать Россию, хотя, насколько знал Адам, англичане были готовы выслать за ними миссию.

И у него в голове не укладывалось: неужели покойный император, его умный, светлый Александр, действительно знал, что такое готовится? И не сделал ничего?

Константин согласился принять его — это было добрым знаком. Вдобавок великий князь встречал его один на один. Глухая и бесконечная деревня, сельский особняк, почти изба, которой выпала честь изображать дворец, беспощадно яркий огонь в камине, и в этой яркости — темное, осунувшееся лицо человека, который был единственной надеждой России.

— Я весь внимание, господин… как там вас теперь именовать? Пожизненный первый консул? Чем же я обязан такой чести?

— Всего лишь председатель Временного правительства, — Адам сделал вид, что не заметил шпильки. — Ваше Высочество… Константин Павлович… я проделал весь этот путь, сопряженный

с немалыми опасностями, чтоб от лица моей отчизны предложить вам поддержку, в которой вы теперь нуждаетесь. Единство, издавна существующее между нашими странами, обязывает помогать друг другу. Разве ваша царственная Grand-mère[8] не отозвалась на зов Польши, когда той требовалась помощь?

Великий князь шутки не оценил вовсе:

— Мне казалось, что поляки уже нашли в этом вопросе свою сторону…

Адам кивнул:

— Как ни прискорбно, некоторые мои соотечественники встали на сторону бунтовщиков. Они не сознают, насколько гибельно может быть такое сотрудничество. Трубецкой, как ранее и Буонапарте, хочет использовать нас в своих целях. Он прекрасно сознает, что, реши силы Священного союза помочь Вашему Высочеству, им вначале придется пересечь Польшу. Но я смею надеяться, что смогу убедить моих соратников в неправильности такого шага…

Улыбка прошла по лицу Константина, будто трещина:

— Вы меня удивляете, Чарторыйский. Сперва

---

[8] Примечания: 8
Бабушка. *(фр.)*

вы изменили России, теперь, похоже, изменяете собственным друзьям-полякам… Есть ли на этой земле кто-то, кого вы еще не предали?

Адам вздохнул. Приблизился к окну, отодвинул занавеску, обозрел сиротливый сад. Пуст…

— Константин Павлович, вы знаете, что я не враг вам и России. Поймите… Болезнь, охватившая вашу страну, — не чума, а всего лишь лихорадка, она может быть излечена, если у лекаря хватит сил… Вспомните Францию: если б Первая коалиция не струсила, возможно, мир не узнал бы якобинской заразы…

— И кого же вы предлагаете на роль Первой коалиции, князь?

— Войско Польское, — сказал Адам.

— Какое войско? — поднял бровь Константин.

Адам учтиво подал великому князю привезенные с собой бумаги. Странное, дикое чувство, будто он опять в Петербурге, в кабинете Александра, подает доклад… Константин изучал бумаги какое-то время, затем поднял глаза:

— И это верные цифры?

— Генералы Потоцкий и Хлоповский, также как бригадир Дембинский с кавалерией, и генерал Раморино готовы выдвинуться в любой момент.

— Кого же вы набрали под свои знамена? Юн-

цов, инвалидов?

— Это войско, — просто сказал Адам. — У него опытные полководцы.

— И они будут сражаться за русского царя?

— Они будут сражаться за Польшу, — тихо сказал Адам. — И за мир в Европе.

— Я понял вас, князь, — мрачно сказал Константин. — Чего же вы… требуете в ответ?

— Упаси меня боже, разве я осмелился бы чего-то у вас требовать? Но мне хотелось бы… обсудить… путь, по которому пойдет теперь моя отчизна.

Адам опять зашуршал бумагами.

— Мне кажется, что в нынешних обстоятельствах весьма двусмысленно Польше было бы подчиняться российской короне…

Константин уже понимал, что за бумагу положил перед ним бывший министр. Отречение от престола… Польского, разумеется.

— Я предлагаю, Ваше Высочество, союз на равных для наших стран. Une entente[9], если можно так выразиться…

Глаза Константина из мутных сделались вдруг ясными, гневными.

---

[9] Примечания: 9

Соглашение, договоренность, также взаимопонимание, лад. *(фр.)*

— Это бунт.

Чарторыйский промолчал.

— Хорошо, — кивнул наконец Константин. — Я прошу вас оставить меня. Мне нужно переговорить с моими людьми.

«Не смеяться, не улыбаться, губки бантиком держать», как в той глупой игре. А ему хотелось позволить себе торжествующую улыбку… Его Польша, израненная, изрезанная страна, позволяет себе диктовать России. Да, авантюра, и из самых дерзких.

Она все же вышла в садик, на коварный пробирающий ветер.

Князь Чарторыйский желал увидеть ее и не желал, и приблизился к ней с тайным страхом, как идут на зов собственной судьбы. И не стало князя пятидесяти с лишним лет, старого циника, который только что, кажется, выцарапал свободу для своей страны. Остался несчастный влюбленный Адам, для которого не было Польши и не было России, а была вот только… она. Елизавета выглядела очень худой и бледной, такой же миниатюрной, как раньше. Стала суше, но вряд ли старше. На голове смешная шляпка с райской птицей: сколько же ей лет, этой шляпке?

— Ваше Величество, — он сделал шаг к ней и

замер, и они смотрели друг на друга, comme des chiens en faïence[10]. Ничего не прошло. Он сам удивлялся, как злопамятна может быть душа, храня малейшее воспоминание, малейшую надежду. Даже уехав за столько верст, женившись, даже за границей, даже в Пулавах, где ему казалось порой, что жизнь кончена, он неосознанно ждал весточки от нее.

Он хотел спросить, как она себя чувствует — но что спрашивать? Никогда он не видел такой пустоты у нее в глазах.

— Ваше Величество, я пришел просить вас…

Она глядела на него молча. Лицо ее пугало Адама. Он не был медиком, но ему вполне было ясно — Елизавета больна. Он шагнул к ней — так, чтоб хоть отчасти заслонить ее от ветра.

— Я понимаю, что в нынешних обстоятельствах Польша не кажется вам надлежащим убежищем, но другие державы примут вас с радостью… Позвольте мне помочь вам выехать.

— Я так устала, — сказала она вдруг. Пошатнулась. Он ринулся поддержать. Что же они творят, Матерь Божья…

---

[10] Примечания: 10
Как фарфоровые собачки на камине. *(фр.)*

— Je vous en supplie[11], Lise, вам губительно здесь оставаться, и дело не только в смуте, дело в климате, вам нужно в тепло, к морю, в Испанию, на Сардинию, наконец, здесь вы погибнете…

На лице ее вдруг появилась нерешительная улыбка, ясная, как у мученицы. Адам понял, о чем — и о ком — она думает.

— Оставьте, князь, — сказала она таким же ясным тоном, безразличным к земному. — Вы не за этим приехали.

— Ваше Величество, подумайте не о себе, подумайте… хотя бы о мальчике. Ведь кто-то может пожелать, чтоб слухи о его кончине подтвердились.

— Вам-то что до русского трона? Константин отдаст вам Польшу, вот и забирайте… Я никуда отсюда не поеду, здесь моя страна, здесь, — она смешалась. — Вот я хотела умереть… а с вашей смутой так и не умрешь теперь.

И опять эта мученическая улыбка.

— А вы уезжали бы отсюда, князь. Саша вас любил, а только он умер, вы… нет, право же, как стервятник.

Он хотел возразить, как возражал обычно соб-

---

[11] Примечания: 11
Я вас умоляю. *(фр.)*

ственной совести, мол, Александр же обещал… Но горло схватило, и навалились тяжелая вина и тоска. И пустота, когда она развернулась и пошла прочь по тонкой тропинке.

«Судьба играет мной», — вспомнил он Константина.

Не только вами, Ваше Высочество, не только вами.

Трясясь в карете по русской дороге, князь Чарторыйский сжимал в руках бумаги, за которые, не задумываясь, отдал бы свою кровь по капле, но мысли его не были такими уж радужными. Он думал о том, как нелегко будет убеждать генералов сражаться за русскую корону — пусть наконец и под своим знаменем. Думал, что дома получит скандал. Но все это — только чтоб отвлечься от горечи, которую он испытал, глядя в спину Елизавете.

Князь Чарторыйский еще не мог знать, что план его сработает, что польское ополчение сыграет важную роль в победе над войсками Временного правительства, что через несколько месяцев на российский трон посадят маленького Александра и перебунтовавшая Россия встретит его с тем же ликованием, с которым встречала когда-то его тезку. Он догадывался, что, укрепившись на

троне, русские захотят отвоевать Польшу обратно, но не знал, что сначала их остановит Турция, а после — война на Балканах. А потом поляков начнут воспринимать как военных союзников, и именно благодаря союзу они смогут защититься от Пруссии. Правда, впоследствии русские предпримут еще одну попытку, но помешает им новорожденная держава Венгрия. Он не знал, что все же станет избранным королем — Адамом Первым, как дразнил его когда-то Александр. И не мог предугадать, что правление его продлится лишь пять лет и оборвется пулей фанатика, считающего, что князь Чарторыйский предал идеалы республики. И со смертью его закончится старая, аристократическая, шляхетская эра в Польше и начнется новая — демократическая. А планы князя по объединению западных и южных славян и созданию венгеро-славянской конфедерации придется проводить в жизнь уже его сыновьям и последователям. Князь Чарторыйский, которого через сто с лишним лет будут печатать на банкнотах единой восточноевропейской валюты, в тот момент не думал о будущем. Он думал о Елизавете. Думал о том, что Константин, пожалуй, прав, называя его изменником. И все-таки есть та, кому он не изменял ни разу, — его страна.

Даниэль Клугер
Двойное отражение, или Эпизоды иной жизни Александра Грибоедова

1

Странная стояла погода — словно в сказке: «Принеси мне то, не знаю что, и приходи ко мне в день, чтобы был он не летним, не зимним, не весенним, не осенним».

Такой вот выпал день, не относящийся ни к одному времени года. Впрочем, любой день в году мог бы оказаться таким же.

В рощице гремели пистолетные выстрелы, хотя время было мирное, да и дуэлянтами это место посещалось нечасто. Дуэлянтами — возможно. Тем не менее действительный статский советник Александр Сергеевич Грибоедов не нашел ничего более подходящего.

«Для глупостей, — как полагал его же собственный лакей. — От безделия это-с. Или же от скуки-с. И с чего баре так скучают? Сколько радостей вокруг-с».

Лакейские соображения вовсе не интересовали Грибоедова, потому, видимо, лакей сидел на

козлах брички вместо кучера и с неизъяснимым высокомерием посматривал на своего барина, а заодно и на раскрасневшуюся Элен Булгарину. Только при звуке очередного выстрела и гулком взрыве разлетающейся бутылки из-под «Клико» инстинктивно жмурился, после чего презрительно усмехался. А выстрелы гремели с завидным постоянством, через почти равные промежутки времени, так что со стороны могло показаться, будто на опушке рощицы идет облавная охота, вот только не слышно собачьего бреха.

— Если бы я знала, что так трудно этому научиться, ни за что бы не начинала, — мадам Булгарина капризно поджала губы. — Честное слово.

— Ну что вы, Леночка, — сказал Грибоедов. — У вас прекрасно получается. Просто нельзя же научиться всему сразу.

— Это ужасно! — она нахмурилась. — Опять не попала! Саша, ну, покажите же еще раз, что нужно делать, и не смейтесь, пожалуйста, не то я рассержусь.

— Я вовсе не смеюсь, Элен, с чего вы взяли?

— Но улыбаетесь, что еще хуже, — заявила Леночка.

— Хорошо, буду серьезен, как гробовщик.

— Фу, Саша, что за сравнение.

— Не лучше и не хуже других… Позвольте, — сказал Грибоедов, отбирая у нее пистолет. Сказал уже без улыбки. Прикосновение к оружию всегда возвращало ему серьезность. Он зарядил пистолет, взвел курок.

Очередной выстрел гулко отозвался в рощице. И, само собой, из-за ближайших деревьев, будто еще одно эхо, раздался оглушительный птичий крик. Переполошенная стая шумно снялась в небо.

Странный каприз для юной красавицы — во что бы то ни стало научиться стрелять. Впрочем, не столь уж юной и не столь уж… Да и муж мог бы научить не хуже — как-никак, бывший капитан, воевал в двенадцатом. Впрочем, Булгарин не любил вспоминать о своей службе в армии Наполеона, о нашествии двунадесяти языков, равно как и о польском своем происхождении. А почему, собственно? В наше-то время… Если и попрекнет кто, разве что из вечно недовольных и уязвленных беллетристов. Не пользующихся благосклонным вниманием читающей публики. Публика, конечно, дура, но и литераторы, судя по всему, ненамного умнее.

Да, странная погода, странный каприз, и

странно, что сам Грибоедов получал большое удовольствие от этих уроков. Впрочем, этого он не показывал. Ибо стыдился необъяснимых чувств и необъяснимых поступков. Хотя все ли на свете подлежит объяснению?

Леночка захлопала в ладоши:

— Браво, браво, Саша, ей-богу, жаль, что вы не военный. Вы были бы необыкновенно хороши в мундире.

— Вряд ли, — сухо сказал он. — Была у меня тяга к военной карьере — в юности. К счастью, чаша сия меня миновала.

— Теперь позвольте попробовать еще раз, — сказала Леночка.

— Прошу, мадам.

— Как вы, однако, серьезны, Александр Сергеевич.

Грибоедов рассмеялся и развел руками.

— На вас, право, не угодишь. То я смеюсь не вовремя, то излишне серьезен.

— Напрасно вы спорите, — упрямо сказала Булгарина. — Вы и такой, и эдакий, но словно все время мне назло. Сколько вас знаю и никак не решу, какой вы. Какой вы на самом деле?

Грибоедов снова развел руками и ничего не сказал.

— Мне все время кажется: вы здесь — и нет вас, — тихо сказала она. — Я боюсь отвернуться: вдруг вы исчезнете. Право, что с вами?

— Ничего, — сказал Грибоедов. — Ничего, в самом деле. Вы просто устали. Хотите, прервемся на сегодня? Я отвезу вас домой.

— Лучше покажите мне все еще раз, не то мы с вами сегодня поссоримся. — Леночка вздохнула. — Несносный у вас характер, Саша. До сих пор не понимаю, как я вас терплю?

Он перезарядил пистолет и улыбнулся.

— Продолжим, если угодно?

Леночка кивнула.

— Видите ли, — он вновь улыбнулся, — вы слишком резко нажимаете на собачку, а следует это делать мягко, плавно. Вот, — он протянул ей пистолет. — Прошу. Отличный пистолет. Работы Лепажа. Давно ли он у Фаддея? Я и не знал. Для учебы следовало бы взять что попроще.

Леночка, словно с неохотой, приняла его.

— Нет, — сказала она. — Просто этот ваш пистолет — уж не знаю, Лепажа или еще кого, — но он слишком для меня тяжел. Видите, у меня не хватает сил держать его. Господи, как вы невнимательны нынче, Александр! Помогите же мне.

Он осторожно взял ее за руку. Тонкие белые

пальцы разжались, пистолет выпал.

— Правда ли, что вы покидаете нас? — тихо спросила она. — Тадеуш сказывал, вас отсылают на Кавказ, к генералу Ермолову. Надолго ли?

Он молча смотрел в ее светлые влажные глаза. Тщательно уложенные волосы отливали зеленью.

— Надолго ли?..

Бездонное небо опрокинулось на них. У него захватило дух.

Он не ответил.

…Впоследствии, много дней спустя, мягко покачиваясь в кибитке, уносившей его на юг, на Кавказ, к генералу Ермолову, к чеченцам, Грибоедов неожиданно вспомнил эту их встречу, потому, видимо, что она оказалась последней. И — странно — помнилось все: слова, жесты, даже птичий крик и гром выстрела. Не мог он вызвать в памяти лишь одного — ее лица. Закрывал глаза — и виделся ему лишь туманный силуэт, без четко обрисованных черт, без красок. Туманный силуэт на фоне бездонного серо-голубого неба. Словно кто-то небрежно мазнул кистью по незавершенному пейзажу. И казалось тогда, что сам он не участник, а лишь зритель, праздный щеголь, явившийся на модный вернисаж,

и в действии — чья-то неясная фигурка на листе бумаги, запечатлевшем опушку рощицы (штрихи пера — стволы деревьев), две фигурки (два мазка размытой туши). И все это — в изящной тонкой рамке.

Когда кибитка в очередной раз остановилась перед станцией и Грибоедов пошел показывать смотрителю подорожную и требовать новых лошадей, охватило его вновь подобное чувство — некоей странности, а вернее говоря, нереальности происходящего.

Дорога, по которой он следовал, сразу за станцией уходила в густой, молочный туман, и все, что видно было за полосатыми столбами, казалось смутным рисунком, выполненным пером на листе бумаги, не хватало лишь рамки. И позади все представлялось рисунком, столь же смутным.

Когда кибитка вновь тронулась в путь, подумалось ему на мгновение, будто выехал он из одного рисунка и попал в другой, и отныне превратился всего лишь в персонажа, коего прихотливая рука неведомого художника по воле своей перенесла с одного листа на другой.

2

Дорогой брат, вот я и решился вновь написать тебе. Все как-то не мог собраться. Трудна беседа на расстоянии. Может, и вообще не имеет смысла. Суди сам: задаешь вопрос, после ждешь ответ, а он то ли приходит, то ли не приходит, во всяком случае не приходит вовремя. Впрочем, как знать, может быть, в этом и состоит великая, нам недоступная мудрость. Велит кто-то, имеющий право, дескать, ищи сам ответы на свои вопросы, братец, не уповая на подсказку. И ищем впотьмах, спотыкаемся, разбиваем себе носы, а то и головы. Не всегда, далеко не всегда находим ответы на вопросы. Но опыта прибавляется, то, что называют «житейскою мудростью». И что на деле ни житейской, никакой другой мудростью и не является.

Все это так, к слову. Лукавым образом пытаюсь оправдать собственную леность. Не обращай внимания, брат. Так уж повелось, что письма начинаю я с философических рассуждений, большею частью — от мизантропии. Не писал, потому что времени не было. Наконец-то выбрал…

Странно, ей-же-ей, странно подчас выглядят на бумаге привычные слова и обороты. Вот, гляди:

«Выбрал время». Весьма спорное выражение, верно ведь?

Кстати, что такое время? После событий, которые нам довелось пережить, я часто думаю об этом. Существует ли, есть ли оно? Может быть, время — река, текущая из минувшего, сквозь настоящее, к грядущему? Где же ее исток? Ты скажешь: в прошлом. Где именно? Где то прошлое, то начало времен? А устье? В какое море, в какой океан впадает река времени? И что в нем, не пустота ли?

Однако же Господь, создавая Вселенную, создал и время, отсюда и ведомо нам, что сотворено все в шесть дней. А коли так, существует время, как и всякое творение Божье. Видимо, нам пока что не дано познать суть его, но что из того? Всякое ли творение подвластно нашему разуму?

Сказал Господь: да будет время… Неестественно звучит, право, нет в этой фразе красоты, может, потому великий поэт, творивший Библию, опустил ее.

Шесть дней творения…Что же меж ними? Ночи? Любопытно, право. Не живем ли мы сейчас в длящейся между шестым и седьмым днями ночи? Не приходило ли тебе в голову это, брат? Но тогда о каком же выборе вести речь?

Говорят, время — кольцо, где устье, там и исток. Кольцо, окружность… Вокруг чего? Опять-таки, пустоты? И нас всех несут воды времени вокруг пустоты? Можем ли мы шагнуть в нее, и перешагнуть ее, и оказаться в ином времени? Увы, боюсь, это невозможно, как невозможно родиться дважды.

Иные, правда, толкуют о змее, кусающей собственный хвост. Но тут уж я вовсе ничего не понимаю.

Прости, брат, что письмо свое начал именно так. Недели две у меня хандра, и в таком расположении духа сел писать. Все оттого, что месяц этот для меня — да и для тебя, я полагаю, тоже — особый.

Да, брат, все еще декабрь, скоро он закончится, а снега здесь нет. Думаю, что и к Рождеству не будет. Я уж не чаю увидеть его наяву и, быть может, потому часто вижу его во сне. Все мои сны, все мои ночи сейчас заполнены снегом, неведомо откуда и неведомо куда летящим. Белый снег на глубоком черном фоне — и ничего более. Чувствую, как он ложится на лицо, как морозные иглы покалывают щеки, как ледяная влага касается ресниц. Но…

Но, брат мой, но… Просыпаюсь, а снега нет. Сон

— и только.

У вас он уже давно выпал. И лежит белым покровом на всем: на полях, на площадях… О, я знаю! Я видел площадь Северной Пальмиры…

Помнишь ли?

И четкие ряды каре…

Помнишь? Дальше, само собой, рифмуется: «в декабре». Кстати, у поэта нашего сказано: «он», а не «я». «Он видел площадь», и так далее.

Или «видит»?

Он видит площадь Северной Пальмиры и четкие ряды каре…

В декабре.

Кажется, так. Не помню точно, а шарить меж книг не хочется. Бросать письмо, вставать, идти к полкам… Обленился, да и нога болит, мочи нет.

Ах, Северная Пальмира, звезда моя полуночная, белый снег!

А вот у меня за окнами дождь. И сегодня, и вчера, и третьего дня. Разверзлись хляби небесные. Дом мой покачивается, подобно ковчегу патриарха Ноя, того и гляди поплывет. Куда? Сквозь дождь, сквозь ветер — в пустоту?

Впрочем, дом крепок и никуда не уплывет, да и дождь, скорее, обычный. Серый, унылый. С тупым постоянством бьет в окно.

Будто картечь.

Вот, видишь ли, написал «картечь» — почему? откуда? — не знаю сам. Удивительно. Ведь непохоже, совсем непохоже на картечь, скорее на дробь полкового барабана, да и то — ежели бьет в него неумелый барабанщик.

Прихотлива память человеческая. Есть ли что прихотливее ее? Разве что любовь. Ну, конечно же, любовь столь же прихотлива. Ergo, любовь — это память, память — любовь…Что же такое исповедь? Не просто, вернее, не только христианская, а вообще исповедь? Вдруг, вдруг, брат мой далекий и молчаливый, это и есть знаменитая и загадочная Любовь? Помнишь, у сурового флорентийца: «Высшей Силой, Полнотой Всезнанья и Первою Любовью сотворен…»? Кто знает…

Кстати об исповеди.

Представь себе туманный и сырой Амстердам. Некто в кабаке подсаживается к незнакомцу, а затем в течение нескольких вечеров, гуляя с ним меж амстердамских каналов, рассказывает о себе. И как рассказывает! Поистине величайшей храбростью нужно обладать, чтобы говорить так, как говорит о себе этот герой, выкладывать всю подноготную, притом и постыднейшую. И до каких низов, до каких глубин доходит! Как будто

вполне искренне, ничего не скрывая, кажется, и скрывать-то более нечего. Исповедь? А-а…

Ничуть, дорогой мой, не бывало. В какой-то момент, в какой-то точке своего повествования он незаметно, но очень точно меняет слово «я» на слово «мы» и ведет далее свой рассказ уже и о себе, и о встреченном незнакомце, и тот, зачарованный, кивает согласно, мол, да, конечно, а там, глядишь, «мы» — на «вы», и вот тебе уже и не исповедь, а яростное обвинение, брошенное в лицо… кому? Себе, нам, всем.

Каково?

Такую историю прочитал я третьего дня в романе французского беллетриста. Вот ведь как пишет — куда мне-то. Я, кроме писем к тебе, давно уж не пишу ничего.

Впрочем, известны в истории личности, именно эпистолами своими снискавшие славу у потомков. Плиний Младший, к примеру. Буду тщеславиться сравнением с таковыми.

Вчера среди ночи отчего-то проснулся. Лежал без сна, слушал барабанную дробь. Затянувшаяся осень, брат, надоевшая, опостылевшая! Бог перепутал все, в том числе и времена года… Так и не уснул. Лежал сперва в темноте, после засветил лампу, раскурил трубку. Размышлял, вспоминал.

О многом вспоминал, о многом размышлял. И то сказать — есть о чем… Да-а, и так меня что-то повело, что закашлялся я, поперхнулся дымом, и в глазах моих поплыли весьма странные картины, уж и не знаю, право, откуда. То голову Иоанна Крестителя на блюде увидал, то Саломеи танец, то в углу Вечного Жида, то бишь Агасфера увидал. И что поразило меня, лицо его точь-в-точь моим оказалось. Будто в зеркале. Чего только с нашим братом, бывшим литератором, не случается. А если вдуматься, все мы Агасферы, все мы Вечные Жиды — странники волею Божией. Гневом Божиим. Скитальцы. Только мысли иной раз и возвращают к Отчизне, а стало быть, к минувшему. Так-то, брат.

А впрочем, хандра все это, сплин, как пишет лорд Байрон. И утром уж не было никаких особенных чувств, кроме легкой радости от того, что тучи слегка полегчали и солнце на короткое время заглянуло в окно. И печалит меня лишь отсутствие новых книг. Так что, брат, пришли-ка мне книг. Неужто у вас там никто более и не пишет? Ну хоть роман слезливый, что ли. Впрочем, нет, от романов меня еще больше скука разбирает. Лучше вот что. Дошел до меня слух, будто Никита Муравьев издал — то ли в Москве,

то ли в Петербурге — свою книгу «Последний самодержец и российское народовластие». Одолжи, сделай милость. Хотя и живу анахоретом за тридевять земель в тридесятом царстве, однако же кое-что почитываю, когда-никогда почта доходит, да и в газеты европейские, да и в наши, российские, заглядываю.

Узнал из газет, что Фаддей сейчас в силе. Никак этому не удивляюсь, ибо есть люди безусловно лишние во всякое время и есть люди во всякое время безусловно полезные. К таковым отнесу Булгарина. Я справедлив к нему. Разумеется, он наивен, как, впрочем, наивен любой государственный человек. Эх, брюзгою я все-таки стал. Пора заканчивать сие писание, а то, ей-ей, разворчусь под конец так, что и не остановишь.

Да, под конец скажу тебе вот еще что. Ты знаешь, брат, что моя педантичность вошла в поговорку. Глас народа — глас Божий, тем более что мнение вполне справедливо. И потому хочу я вновь написать тебе о хорошо известном событии. Когда я писал о нем в прошлый раз, увы, допустил неточность в трех местах, а в одном — прямую ошибку. Понадеялся на память, не сверился со списком — и конфуз, брат. Потому на сей раз переписываю полностью, буква в букву.

Знаю твою всегдашнюю снисходительность, на нее и уповаю.

«Белый, белый, белый снег летел серым дымящимся пространством, сам подобный ледяному дыму, летел, взбудораженный резкими порывами восточного ветра, впивался мириадами тончайших игл в лица, и затруднял дыхание, и вынуждал щурить глаза, и заставлял съеживаться под зеленым сукном гренадерских мундиров, и все-таки горячил кровь.

Белый, белый, белый снег устилал площадь, хрустел и скрипел под ногами, громко, весело — мороз градусов десять, хорошо! — если бы, если бы не ветер, злой, пронизывающий норд-ост, полуночный злодей. Морозные иглы окрашивали румянцем лица солдат, морозный воздух делал четким их беглый неровный шаг, усиливал, очерчивал голоса. Впрочем, связных слов не было, был слитый воедино говор стеклянного оттенка (или только казалось?), вот ведь, взглянуть на лица — губы сжаты, а воздух полон невнятного говора.

Панов оглянулся. Он шел впереди неровного, готового вот-вот смешаться строя, и давно забытая лихорадка — ожидание неожиданного — путала его мысли. Вот и Кожин молчит, брови насуплены, лицо решительно у подпоручика, в

руке сабля наголо, иней на эполетах, а все-таки…

Замерзшие губы растянула улыбка. Панов отрешенно улыбнулся: чему? Вот этому утру (Одоевский вчера: “Ах, как славно мы умрем!”), бесшабашно-радостным лицам солдат, Зимнему, даже колючему морозу и сердитому ветру — короче, всему.

Рота Лейб-гвардии Гренадерского полка во главе с поручиком Пановым и подпоручиком Кожиным при комплекте боеприпасов с примкнутыми штыками проследовала во внутренний двор Зимнего дворца, и тут только отрешенность оставила Панова: во дворе спешно строились гвардейские саперы, а комендант Башуцкий, стоявший тут же в расстегнутом мундире, завидя лейб-гренадерские мундиры подходивших, поспешил к ним, хваля срывающимся голосом “за усердие в защите престола”.

Тут уж и Кожин заметил, что к чему, крикнул звонко:

— Ошибка! Это не наши! — и, поворотясь к остановившимся гренадерам, скомандовал: — Налево кругом!

Башуцкий замер с распахнутым ртом, полковник Геруа, строивший саперов, скомкал слова команды, меж тем как лейб-гренадеры спешно

исправляли свою оплошность.

С площади донесся сухой треск ружейных выстрелов, разом вспоровший морозную упругость воздуха, — то каре Московского полка огнем встретило атакующих конногвардейцев. Впоследствии говорили, что конногвардейцы атаковали вяло и неохотно.

Эти новые звуки словно подстегнули и солдат Панова, и самого поручика; второй офицер, Кожин, большими шагами опередил его.

Однако, торопливо дойдя до дворцового крыльца, гренадеры замерли как вкопанные, Панов не сразу понял, что произошло, но, взглянув на крыльцо, почувствовал минутный приступ дурноты.

Господи помилуй… Как славно мы… Мы?

Рука его, с саблею, дернулась вверх, будто для крестного знамения.

На крыльце в окружении малочисленной, растерянной свиты, вернее, чуть впереди, одною ступенькою ниже, вне, стоял…

Он?

Николай?..

Император?..

Самодержец… Всея…

О господи!

А сабля, сабля тяжелая в руке поручика становится еще тяжелее, вниз тянет руку, вниз.

Почему я?.. Почему мне?.. Я… Мы… Он… Делать-то, делать что, только не оглядываться, ни в коем случае не оглядываться, на лицах, там, за спиною, далеко-далеко позади, у серого горизонта, на солдатских лицах — ведь страшно! — всеобщая растерянность, это страшно, и, черт возьми, черт, черт, черт возьми меня и… всех, всех, надо же что-то делать, матушка моя, надо же что-то сделать, господи, и что же это, ведь жарко-то как, пот заливает глаза, пот склеил губы, душно, давит воротник, и, черт, черт, черт, ничего сказать не могу, ничего, никого не вижу, никого нет, только… он…

Николай был весьма бледен; казалось, белый, белый, белый снежный покров наложил свой отсвет на его покатый лоб; выбритые, словно бы втянутые щеки отливали синевой, особой синевой, холодной, морозной. Гвардейский мундир, руки по швам, голова не покрыта, ветер треплет волосы, холодно… ему?

Ему холодно…

Когда гренадеры остановились, близко, всего-то шагах в двадцати, он хотел спуститься к ним, даже мускулы на ногах напряглись, и горло сжа-

лось, хотел скомандовать, хотел поблагодарить, хотел…

Но застыл, застыл на месте, будто от мороза, а в лицо ударили: нерешительность, растерянность, непонятность, невнятица. Страх вспрыгнул на плечи: упасть, упасть, упасть! В снег зарыться, раствориться навсегда, навсегда, навсегда исчезнуть.

Но нельзя, замереть и раствориться нельзя, и, ловя прыгающими белыми губами воздух, крикнул:

— Куда, братцы?!

И срывающийся, скачущий крик его уткнулся в “Куда… братцы…”.

От этого сдавленного голоса, от этого скачущего крика солдатам неожиданно делается весело, смешно, отчаянно смешно. И они выкрикивают в ответ нестройно, вразнобой:

— К…

— К… Московцам!..

А молоденький белесый впереди, делая свирепое лицо:

— Ура, Константин!

И остальные подхватывают:

— Ур-ра-ра-а, Константин!!!

А поручик — с саблею, высокий, молодой —

молчит, и лицо его делается таким же застывшим и бледным, как у Николая, и взгляды их сталкиваются.

Медленно-медленно — живущая отдельно — поднимается рука, тот же сдавленный голос:

— Тогда… вам… туда…

И рука повернула влево, и палец уткнулся в чернеющие ряды Московского полка.

Долго тянется мгновенье.

Повернут ли?

Уйдут?

Останутся?

Некоторые — в задних рядах — повернули, готовые бежать, но поручик, поручик, молчащий, остался, не повернул, и другие с ним, шаг, другой — к ступеням, по ступеням, сабля в руке выше, выше, легче, легче, легчает сабля, взлетает, летит вверх, холодные губы, голос ледяной:

— Ваше Вели…

Запнулся, губы задрожали:

— Высо…

Запнулся.

Не величество, не высочество, не царь, не царевич — кто?

“На золотом крыльце сидели… царь, царевич… король, королевич… кто… ты… такой…”

Снова сабля потяжелела, снова слова разорваны:

— Следуйте…

Следовать?

Ему?

Куда?

— …За нами!..

Свита, свита где, где солдаты, где Сухозанет с артиллерией, где Милорадович с гвардией, где? Он один, один на крыльце, за спиной — что? — за спиной дворец, пустой дворец, пустой, пустой, пустой…

Пустое.

Всё пустое.

Всё — пустое…

Гренадеры сомкнулись вокруг него, солнце, на миг выглянувшее из-за туч, ослепительно сверкнуло на штыках, и он пошел медленно через всю площадь, через белую площадь — к черному каре…»

Перечитывал сей опус, и пришло в голову: ежели бы поручик наш бедный растерялся? Ежели б увидел самодержца лицом к лицу да вместо дела — во фрунт и «Налево кругом!»? А самодержец, обратно, не растерялся бы, там, глядишь, артиллерия подоспела бы, да картечью-матушкой по

московцам, по невскому льду… Что потом? Ах, да что уж тут думать-то: крепость, эшафот, Сибирь, Кавказ. Выбор невелик. Так-то вот.

Фантазия, разумеется, но…

Могло быть?

Могло?

Да, конечно же, могло, то-то ведь и оно, что могло бы. И была бы Российская империя прежнею, сменилась бы лишь фигура с короною и скипетром — ну так-то, как обычно. А только Сибирский генерал-губернатор, господин Пестель, не своевольничал бы, не располагал бы огромною провинцией так, будто он самодержец Сибирский, того и гляди войною пойдет на Санкт-Петербургское княжество. Да и генерал Ермолов, царь наш Кавказский, не дерзнул бы, не спросясь, мир или войну по своему желанию укладывать. Что скажешь, брат? Скучнее бы все это для нас оборачивалось, а? Может, и скучнее, да спокойнее как-то. Привычнее.

Что же до беллетристики нашей, то, как говорили римляне, о покойниках или ничего, или хорошо. Думаю, теперь ты понимаешь, для чего я столь обширно цитировал сей роман. Ну, что тут скажешь? Воля твоя, конечно, но, по мне, Николай не похож. Не то чтобы вовсе не похож, но…

Знаешь ли, как залитый тушью силуэт бывает похож на натуру. Да и в сумятицу мыслей Панова я, признаться, не верю. К тому ж не стоило разумным таким вот штилем пытаться передать ее — уж больно сие от ума, а не от сердца… Впрочем, это я так. Полюбилось брюзгою слыть.

Что же до хода событий, то, сколько я помню, подпоручик Кожин явился на площадь не с пановскою ротою, а с тремя ротами того же лейб-гренадерского полку, кои привел поручик Сутгоф несколько позже Панова. Впрочем, возможно, запамятовал.

И еще: слыхал я, будто поручик Панов в скором времени после изложенного погиб нелепою и страшною смертью и что иные усмотрели в этом руку Божью. Да и прочие многие участники событий декабря плохо кончили. Нимало не дивясь этому, хочу лишь сказать, что не следует рассматривать Бога в роли Великого Полицмейстера, и глупости наши, а равно и расплату за них приписывать его вмешательству или попустительству.

Остальное как будто изложено верно. А словесные штудии… Что ж, роман — не реляция.

Устал я, брат мой и тезка, и нет более желания разбирать роман. Снег я люблю, по снегу тоскую. Может, потому и цепляюсь памятью за это сочи-

нение. Обнимаю тебя.

3

Унылый дождь однообразно барабанил по оконному стеклу. Он был бы похож на осенний, если бы вперемежку с ним не сыпал с низкого неба крупный мокрый снег, похожий на серую размокшую соль. Экая неразбериха, прости господи, только на нервы действует. Похоже на давешнее путешествие в Крым. Все бы ничего, но с тою поездкою связаны были не весьма приятные воспоминания. Впрочем, воспоминания, скорее всего, ни при чем — уж больно мерзкая погода. И без прочих неприятностей хватило бы, чтобы испортить настроение. А тут не только погода, хотя и погода тоже.

Грибоедов болезненно поморщился, судорожно дернулась щека: нет, кавказская зима не для него, суставы ноют, голова раскалывается, и на душе мерзко, хуже не бывает.

Сравнится ли что с московскою зимою? Ах, как хотелось бы сейчас туда, в настоящую зиму, в настоящий снег, а после — к камину, к книгам, к…

Ему, видимо, не скоро удастся насладиться этим, приходится мириться с тем, что есть, любоваться не тем, что в памяти, а тем, что перед

глазами, как ни противоречит картина эта самому понятию наслаждения.

Впрочем, в горах сейчас хорошо: мороз как мороз, снег как снег, а небо и впрямь редкое — яркое, глубокое. И очень близкое, руку подними — коснутся пальцы синевы. Но то в горах. Нет настроения, нет желания сейчас отправляться в горы. К тому же пейзаж за окном — прекрасный фон для всего прочего: войны с чеченцами, пьянства и грубости офицеров, изворотливого и замаскированного деспотизма Ермолова, всего, что с некоторых пор определялось для него одним словом — Кавказ.

Он лениво потянулся, прошелся по просторной комнате — от стены к стене. Потолок низкий, сырой. Из углов тоже тянет сыростью.

Скорее всего, дело не в зиме. Просто все надоело: снег с дождем, чеченцы, Ермолов, опять-таки Кавказ. Скука смертная — вот и причина дурного настроения.

Грибоедов зевнул, еще раз прошелся по комнате. Недовольно покосился на груду пакетов с сургучными печатями. Пакеты были небрежно свалены на углу пустого стола, и это ему самому казалось странным и непривычным в высшей степени, то есть неприличным. К слову сказать,

всякий раз, распечатывая письма, он испытывал какое-то неприятное чувство, легкий страх: что там, какую еще неожиданность принесут сухие казенные строки? Удивительно, но ни разу не возникло в нем ожидание чего-либо приятного и легкого. И то сказать — были к тому основания.

Почта из Петербурга прибыла третьего дня, вместе с дождем. Будто фельдъегерь прихватил по дороге и письма, и тучи. Фельдъегерь был незнакомым, на вопросы Грибоедова отвечал уклончиво и невнятно и поторопился удалиться.

Почта и дождь в равной степени вызывали стойкую неприязнь. Не хотелось притрагиваться к бумагам, ломать печати, вникать в суть изложенного. Не было желания.

Непонятное состояние последних недель вызывало в нем смутное беспокойство. Он всегда гордился своей аккуратностью, педантичностью, а тут… Впору было взять хорошей, крепкой водки и напиться до полного беспамятства. Только вряд ли от этого станет легче.

Раздражаясь все больше, Грибоедов подошел к столу, нехотя разобрал пакеты. Одно письмо было от Булгарина, прочие — от Министерства. Подумав немного, он сдвинул министерские в сторону, взял булгаринское письмо, сломал пе-

чать и поднес к глазам.

Принялся читать, все еще думая о здешних делах, так что до него не сразу дошел смысл прочитанного.

— Что за черт… — Он еще раз пробежал глазами письмо. — Что за…

В глаза ему сразу бросились строки:

«…возмущение, верные полки оказались в растерянности, чему немало способствовала двойная присяга…»

Грибоедов уронил письмо на стол. Снова схватил его, подбежал к окну.

Булгарин писал:

«…генерала Милорадовича, некто Каховской (или Каховский?), потому гвардия, как и армейские полки, бездействовала. Милорадович пытался воззвать к патриотизму солдат, за что и получил ответ свинцом. Можно ли было такое представить себе?! Герой двенадцатого года — и от кого? От русских же солдат, тех же самых, коих водил он в сражения! Ко всему прочему (ах, зол наш народ, Саша, зол, правду ты писал — “злые языки страшнее пистолета”), некоторое время погодя пошли слухи, что и сам генерал-губернатор столицы замешан был в конспирацию. Не верю! В грязи желают извалять славное имя. Впрочем,

все может быть в такое безумное время. Гвардейский экипаж поддержал бунтовщиков… Его Величество (Высочество? уж не знаю, как ныне следует именовать), словом, Николай Павлович, по оплошности ли, по недосмотру, оказался чуть не один на один с ротой лейб-гренадеров, примкнувших к возмущению, и был ими тотчас взят под караул и доставлен…»

— Черт!

«…кроме того, поговаривают, будто среди гвардейских офицеров тоже немалое число заговорщиков, российские Зандов и Брутов, иных ты, верно, и сам знаешь — фон Визин, Штенгель, Щепин-Ростовский и давешний противник твой, герой Кавказа, Якубович. О прочих не ведаю, однако громких имен среди них множество, что и вносит сумятицу в умы обывателей…»

— Ч-черт!

«…Ах, Саша! Что будет с Россиею? Бог весть. А с нами? Боже мой, Саша, что будет с нами? Гильотина? Робеспьер?.. Ведь страшно, Саша, страшно!.. Хотя, с другой стороны (тон Булгаринова письма стал вдруг трезво-резонерским), не впервые переживает Россия перевороты. Вспомни Михайловский замок и несчастного нашего государя, рыцаря Павла Петровича, вспомни злодея Ми-

ровича, да и мало ли еще темных историй. Одно лишь неясно пока: чего же, все-таки, желают конспираторы? Изменить ли фигуру на троне или же образ правления?..»

Второе «страшно» было трижды подчеркнуто, что не очень соответствовало последующим холодным строкам. Впрочем, далее Фаддей вновь впал в слезливую напыщенность:

«…от знающих людей, что будто направили в Париж тайное послание к тамошним франкмасонам и будто привезут вскорости в Санкт-Петербург гильотину, а с нею и знаменитого палача — ужасного Сансона, и будто бы…»

Грибоедов фыркнул, скривился.

«…будто бы Москва, а Санкт-Петербург сотрут с лица земли, и…»

Он осторожно сложил письмо и аккуратно положил его на стол.

Известие о тайном прибытии парижского Сансона, несомненно, сочинил сам Фаддей, он часто сочинял новости, а эта уж больно в его духе. Интересно, сколько должно быть лет палачу Сансону? Тоже нашли бессмертного.

Впоследствии он пытался определить, каким был ход его мыслей в тот момент, по прочтении письма Фаддея. Ему казалось, что ни страха,

ни иронии не испытывал он тогда, но лишь холод коснулся его лба, его сердца. И странным представилось ему то, что не кинулся он тотчас распечатывать письма из Министерства — уж в них-то наверняка содержалось немало важного. Но так ему казалось впоследствии, а тогда, похоже, он ничего не успел сообразить, потому что неожиданно послышались быстрые шаги, распахнулась дверь, и в комнату стремительно вошел Ермолов. Генерал был один, без шляпы, сапоги и полы плаща заляпаны желтой грязью. Визит настолько поразил Грибоедова, что он оторопело смотрел, как Ермолов оглядывается, садится в кресло.

— Неужто не ждали? — отрывисто спросил генерал.

Грибоедов пожал плечами. Разумеется, не ждал и не мог ждать. Слишком неопределенным было его положение при штабе Кавказского корпуса.

Ермолов хмыкнул, бросил беглый взгляд на распечатанное письмо, лежавшее на столе, и спросил:

— Что прикажете делать, батюшка?

— Вы о чем, генерал? — в свою очередь спросил Грибоедов. Лицо его приобрело невозмутимое, даже несколько надменное выражение.

— О чем? — Ермолов, словно в удивлении, вскинул голову. — Да как же — о чем? Да о том, ваше превосходительство, о том же. О столичных делах наших, о карбонариях… — Он кивнул на письмо Булгарина. — Вы, как я вижу, известие получили. Ну, и я получил… — генерал запнулся, раздраженно махнул рукой. — А-а, чего там. Что нам-то с вами хитрить, батюшка?.. Вот, почитайте сами… — он протянул Грибоедову письмо, которое держал в руке и которое Грибоедов только сейчас заметил. Грибоедов нехотя взял письмо, не читая, взглянул на подпись. Письмо было подписано великим князем Константином Павловичем. Он молча посмотрел на Ермолова. Тот нахмурился, уселся поглубже. Кресло заскрипело.

— Читайте, читайте! А после, — генерал развел руками, — после уж посоветуйте, как тут быть. Вы ведь, батюшка, дипломат, человек государственный. А я солдат — кроме исполнения приказов ничего не разумею… Ф-фу-у… — Ермолов замолчал, уставился широко раскрытыми глазами в пол.

Грибоедов усмехнулся. Лукавил Алексей Петрович! Все он уже сам решил, все продумал. А на нем, на статском чиновнике, проверяет решение. В чем в чем, а в дипломатических подсказках

покоритель Кавказа никогда не нуждался и не нуждается. Игра все это, театр, лицедейство. Тот же самый лукавый деспотизм. Как же похож герой наш на римских патрициев…

Он подошел к столу, отодвинул в сторону нераспечатанные письма. Снял очки, тщательно протер стекла. Стекла не требовали этого, но требовали правила игры. Вновь водрузив очки на нос и придав лицу выражение спокойной сосредоточенности, Грибоедов углубился в чтение послания великого князя. Удивительно. Нельзя было и сравнивать Фаддея с Константином Павловичем. Ни в положении, ни в рождении, ни в воспитании. Да и в разуме, пожалуй, тоже, а вот письма казались похожими, будто близнецы. Чем-то неуловимым, но, безусловно, чрезвычайно важным.

Дочитав, Грибоедов опустил письмо и, чуть усмехнувшись, сказал:

— Не понимаю.

— А-а, то-то! — с непонятной радостью подхватил Ермолов. — То-то же, и я не понимаю, в том-то и штука!

— Мне другое непонятно, — спокойно сказал Грибоедов. — Мне непонятно, какого ответа ждете вы от меня? Ведь послание великого кня-

зя — ясный военный приказ, — он улыбнулся уголками рта, вспомнив: «кроме исполнения приказов ничего не разумею…» — Исполняйте же приказ с богом, ваше превосходительство. Тем самым вы исполните свой долг.

— Иными словами, какого рожна тебе, старый черт, от меня нужно? — Ермолов коротко рассмеялся, но тут же оборвал смех, вскочил и быстро зашагал взад-вперед.

Словно не замечая этого, Грибоедов продолжил:

— Великий князь предписывает вам направить войска на север, дабы усмирить мятежников и умиротворить столицу. Первейшею же задачею ставится принятие мер к освобождению законного императора Николая Павловича, ныне содержащегося под стражею на гауптвахте Лейб-гренадерского полка. Что же здесь неясного, генерал? Что вас смущает? И что я, человек невоенный, могу посоветовать вам?

Ермолов остановился. Грибоедов, опустив письмо, смотрел на него с выражением доброжелательного любопытства. Наклонив седую львиную голову, Алексей Петрович, казалось, внимательно изучал квадратные носки своих заляпанных желтою глиной сапог и молчал.

— Разве что… — Грибоедов запнулся. Ермолов тут же поднял голову, остро глянул на него.

— Что «разве что»?

— Вести из столицы чрезвычайно неопределенные, — сказал Грибоедов. — Действительно ли все столь серьезно? Судьба Николая Павловича… Нет, не могу ничего сказать.

— Известно ли вам, что мятежники присягали Константину? — отрывисто спросил генерал.

— Так пишут, — ответил Грибоедов. — Правда ли это, кто знает…

— Н-да… — вздохнул Ермолов. — Правда ли… Исполнить приказ… Что ж, исполнить приказ не штука. Только приказ уж больно неточен… Да и судьба Николая Павловича неясна… — Ермолов снова замолчал. Грибоедов тоже молчал, и это было ему неприятно, казалось, будто они с генералом — два заговорщика: что-то замыслили, говорят намеками, понимая невысказанное.

— Н-ну ладно, — сказал Ермолов. — А вы-то, батюшка, что бы вы-то на моем месте сделали?

— Мне очень трудно представить себя на вашем месте, генерал.

— А вы постарайтесь, ваше превосходительство, — генерал прищурился. — Уж фантазии-то вам, я чаю, не занимать.

Грибоедов улыбнулся.

— Что ж, извольте. Пофантазировать я готов, — сказал он. — Ваше превосходительство, я бы выделил возможное количество войск — разумеется, без ущерба для ведения боевых действий здесь, на Кавказе. Скажем, одну пехотную дивизию, — он в раздумьи прошелся к печке. — И конный полк. Тоже много, но иного выхода нет. Далее, я поставил бы эти войска под начало дельного генерала. Например, Сипягина. Или Мадатова. Впрочем, это не столь важно.

Ермолов хмыкнул. Без видимого умысла, Грибоедов назвал тех ермоловских генералов, которые явно звезд с неба не хватали.

— Без подготовленных магазинов, зимою? — генерал усмехнулся. — Улита едет…

Грибоедов молчал. Ермолов, прищурившись, смотрел ему в глаза, потом спросил:

— Ну, а дальше-то что? Что смогут сделать одна дивизия и один полк? В Петербурге гвардии десять тысяч штыков, да армейцы, да экипаж, да еще… — он махнул рукой.

— Дальше? — Грибоедов еще раз перечел письмо Константина Павловича и, чуть пожав плечами, ответил: — Дальше… я приказал бы дожидаться, пока великий князь не прибудет к

войскам и не примет командования. И потому приказал бы двигаться на Север не весьма ускоренно… Ну, а затем эти войска, а может быть, и другие, присоединившиеся, будут выполнять все повеления великого князя. Полагаю, все это произойдет ранее, нежели означенные силы достигнут столицы. Это явствует из послания Цесаревича… Разумеется, ежели Его Высочеству не помешает неожиданность.

— Следственно…

— Следственно, в Северную столицу войдет уже не дивизия и полк подчиненного вам, ваше превосходительство, Кавказского корпуса, но армия великого князя Константина Павловича. Ну, а там… — Грибоедов не договорил, развел руками.

Ермолов задумался.

— Разумеется, это всего лишь фантазии, — сказал Грибоедов.

— Да-с, фантазии… Через час я назначил военный совет, — хмуро сказал генерал. И снова замолчал. Грибоедов тоже молчал, ждал продолжения. Генерал подошел к столу, снял пальцами нагар со свечи. — Из Москвы вестей не получали?

Грибоедов отрицательно качнул головой. Генерал снова тяжело замолчал, искоса глянул

на него.

— Значит, правда, что мятежники присягали Константину, — прежним хмурым голосом произнес он. — И ежели в столицу войдет Константин… — Ермолов отвернулся, вздохнул. — Вот что, голубчик. Так тому и быть. Так и положим. Дивизия и полк? Полка не дам, конница мне здесь нужна, хватит и дивизии… Генерала Сипягина? Можно и Сипягина. Только уж и вы, батюшка, отправляйтесь-ка на Север. Уж помогите Сипягину. Да и мне тоже.

— Я?

— Ну, а кто же еще? — Ермолов развел руками. — Вы, батюшка, куда яснее нас, стариков, все видите. Стало быть, вам и идти в Петербург. Вместе с великим князем.

— Ваше превосходительство, я человек невоенный…

— Э-э, бросьте, господин Грибоедов, бросьте, — поморщился Ермолов. — Видывал я вас, помнится, в деле, знаю. Опять же, Сипягин. Так что, через два дня, прошу покорно, извольте выступать, — и быстро пошел к двери.

Грибоедов рассмеялся. Он прекрасно понял, что Ермолов именно такой план действий и придумал, все прочее — театр, шутовство. Собственно,

и он излагал не свой план, а Ермоловский. Кто же здесь кого обманывал — сейчас, только что?

— Алексей Петрович! — насмешливо окликнул он Ермолова. — А ежели военный совет положит иное? Как тогда?

Генерал остановился. Медленно повернулся. На его красивом мужественном лице появилась неприятная, неестественная улыбка. Грибоедов не любил, когда Ермолов улыбался. Глаза Алексея Петровича при всяком случае оставались холодными и несмеющимися.

— Военный совет? — переспросил он с нескрываемым удивлением. — Да что вы, голубчик, господь с вами, какой военный совет? Нешто война в России?

Грибоедов снова коротко рассмеялся. Будто не слыша этого смеха, генерал сказал:

— Так скоро вошел я, ваше превосходительство, что и не поздоровался. Простите старого невежду, здравствуйте, батюшка. И до свидания, — кивнув коротко, генерал мельком улыбнулся и вышел.

Неожиданный приступ веселости прошел, растаял бесследно, да и не веселостью это было, откуда веселью взяться? Нервическим приступом было все это, и смех не от веселости — от того же, от раздражения.

Ему вновь стало холодно. Он налил в крошечную рюмку водки, но пить не стал, оглядевшись, выплеснул водку на пол, вернулся к столу, сложил разбросанные пакеты в аккуратную стопку. Взял стопку обеими руками, поднес к печке и принялся бросать пакеты один за другим в огонь. Когда дотла сгорал один пакет, он бросал следующий. После этого холодно и безразлично перечел письмо Фаддея. Подумав немного, отправил в печь и его.

4

Дорогой брат, на прошлой неделе я наконец-то получил почту с Севера и, как видишь, сейчас же пишу тебе. Помилуй бог, когда же уже начнет наша почта приходить вовремя? Странно, однако же, получать послания столь явно помеченные печатью седой древности. Нимало не удивлюсь, если одним прекрасным утром распечатаю послание Авраама сыну его Исааку…

Ну, ладно, вновь я начинаю брюзжать. Неужто все к старости таковыми становятся? Скажешь, нестары еще? А это, брат, как посмотреть. Иной раз, и юнец восемнадцатилетний — на деле глубокий старец. Все от того, что душа-то, душа старится куда быстрее бренного тела. Вот ведь в

чем парадокс: бренная наша оболочка, из праха земного созданная и в прах возвращающаяся, не стареет столь быстро, сколь стареет наша бессмертная часть, от Бога пришедшая и к Богу же стремящаяся. Может быть, это и есть каинова печать, которою отмечено бессмертие наше. Кощунственные мысли посещают меня, и кощунственные речи веду я наедине с собою… или с тобою, брат. Вишь, какою тирадою разразился, а повод ничтожный — всего-навсего запаздывание почтовой кареты. Вот он, верный признак старости.

Пришла почта — и ладно. И замечательно. Да и то сказать, есть ли среди мыслей человеческих такие, чтобы требовали немедленного обнародования? Не знаю я таких мыслей.

Вот, кстати, и книга Муравьева, присланная тобою. С огромным интересом схватился за чтение. И что же? Разочарован. И весьма. Руку положа на сердце, куда более логики и разума ожидал я, памятуя имя автора. И, видимо, вовсе не следовало мне столько настаивать и утруждать тебя поисками и отправкой мне сего опуса. Впрочем, разочарование мое никоим образом не умаляет благодарности.

Но что же Муравьев? Подумай, что пишет!

Знаю, что ты читал, и все же позволю процитировать (да ведь знаешь мои привычки):

«…После событий 14 декабря в Северной столице Великой Империи воцарилось недоумение, в большой степени окрашенное страхом. Странная эта смесь грозила не столько новыми потрясениями Городу и Миру, сколько тем, что могла навсегда заменить собою привычную атмосферу. Но что опаснее и гибельнее для любого организма, особенно же государственного, — так это постоянство непостоянного, дрожь в членах и безответные вопросы в душе. Удивительнее же всего было, пожалуй, то, что подобным настроениям поддались не только столичные обыватели и части войск, не принимавшие участия непосредственно ни с той ни с другой стороны. Это, как и робость придворных кругов и прогрессирующий паралич Сената (но об этом ниже), можно было объяснить: для них все случилось неожиданно, и неясным было, чего хотят мятежники и чью руку следует держать. (Да и была ли та рука или руки?)

Непонятным для тех немногих, кто сохранил способность рассуждать, было поведение самих инсургентов.

Казалось бы, когда все кончилось, когда само-

держец российский Николай Павлович, пробыв на престоле чуть более суток, оказался вдруг арестованным гренадерами поручиков Панова и Сутгофа, ими овладела растерянность. Кто-то из них, кажется, Кюхельбекер, разочарованно сказал своему другу: “Разве так свергают тиранов?” Можно было, конечно, усмехнуться на это и сказать: “Лучше уж свергать так, а не с потоками крови”. Да и, право же, неизвестно, был ли тираном сверженный.

Растерянность, окрашенная разочарованием, овладела даже самыми решительными и энергическими, как Рылеев, Пущин; Щепин-Ростовский и Якубович царили в салонах — байронически мрачные и неразговорчивые, изрекали туманные угрозы, коих и сами не смогли бы прояснить.

Что до черни, то она побила на Невском лавки, принадлежащие немцам и жидам, а заодно и винные погреба по всему городу. Правда, на то, чтобы справиться с нею, у инсургентов достало сил и ума.

Но и только.

Все они готовы были умереть. О да, и они умерли бы достойно, в этом искусстве им не нужны были учителя! Путь на Дворцовую был для них Крестным путем, путем на Голгофу.

Они шли на смерть, а случилось так, что от них ныне зависела судьба России…»

Вот, брат, таким, примерно, образом рассуждает г-н Муравьев. Каково? Слов нет, имеется в рассуждении некоторое изящество, но если вдуматься в смысл, картина выходит странная. И появляется множество вопросов. Например, что ж за цена в таком случае заговорщикам российским, ежели они, составляя конспирацию, сами не знают, что делать? Ну и оставили бы все как есть, сидели бы себе по домам, по деревням. Заговор во искупление! Ах, до чего скучно это… И почему, собственно, откуда в дворянстве нашем (во всяком случае, в известной его части) чувство жертвы во искупление, чувство некоей неведомой вины, словно у блудного сына? В чем именно виновны? И сами не ведают, но — в жертву, и с радостью великой.

Ну и, primo[12], как же понимать сей пассаж о том, что 14 декабря «все кончилось»? А я-то по наивности своей полагал, что все только начиналось. Разве забыл летописец наш интриги генерал-губернаторов и армейских генералов? Разве забыл о неимоверном сломе, потрясшем

---

[12] Примечания: 12
Во-первых. *(фр.)*

империю? О, разумеется, не сразу, не вдруг, но через год, через два, через десять?

Где primo, там и secundo[13]. Ирония судьбы полагается в том, что разочарование и растерянность, ожидание и некоторое напряжение овладело заговорщиками, да, но только ими. А Муравьев стремится показать, доказать, будто настроение подобное овладело всеми гражданами империи.

Сдается мне, брат, что это — всего лишь скрытая попытка оправдания: дескать, никто ничего толком не мог поделать — ни заговорщики, ни с заговорщиками. Причем излагает он так, словно до 14 декабря не знала Россия ни дворцовых переворотов, ни бунтов. Словно не было ни колик Петра Феодоровича, ни апоплексического удара Павла Петровича, ни прочих событий в таком же роде. Ах, летописцы российские! Когда же перестанем мы удивляться новизне ненового? И всякий раз всплескивать руками…

Может быть, и эти рассуждения его — отзвук того же чувства потусторонней какой-то вины? Впрочем, это всего лишь грех нерешительности. Грех ли? Подобная-то нерешительность, воз-

---

[13] Примечания: 13
Во-вторых. *(фр.)*

можно, и отличает человека от прочих Божьих тварей. Коли так, раздражение мое несправедливо. И чувство вины уже становится сродни чувству религиозному.

По чести, лукавлю я, брат, не верь этой моей критике. Покаюсь тебе: далее не читал. Возможно, что и читать не буду. Лентяем я становлюсь, брат. Читаю я нынче мало, а писать — так и вовсе не пишу. Знаешь ли, устал я, устал. От чего? И сам не ведаю. А вот давит душу какая-то тяжесть, и руки словно чужие. Случается, целый день просижу в креслах, гляжу в окно, будто в картину великого живописца Микеланджело… Хотя нет, сей флорентиец пейзажей не писал. А жаль, право, жаль. Он, мне кажется, привнес бы в природную картину ту долю бунтарского духа, которой нам самим как раз и не достает в нужную минуту.

Чудная картина — словно и не меняется, день ото дня все та же. Так, мелочи уходят, а вроде бы все то же… Глядь, ан нет, уж другая картина, и в первый момент нереальная. Отчего же? Оттого, брат, что память еще прежнюю держит, вот они и смешиваются чудным образом: та, что была, и та, что есть. Не так ли жизнь человеческая? Кажется, день похож на день, месяц на месяц, а после вдруг — старость, а после вдруг — смерть.

Загадочно? Скучно, брат. Что может быть скучнее загадки, которую нет желания разгадывать? Разве что женщина, к коей не имеешь ни духовного, ни плотского влечения и тем не менее терпишь, обманывая себя и ее. Для чего? Бог весть.

Давеча высказал это суждение на людях, и что же? — слыву отныне то ли последователем Диогена (с чего бы?), то ли учеником некоего немца… запамятовал его имя. Словом, филозофом. Ничего мне, выходит, не остается, как завтра же купить бочку побольше и в ней доживать свой век. Чушь, право… Какой же я, к черту, филозоф!.. Я и мудрствовать-то не стараюсь и все норовлю какую глупость сказать — ан-нет, считают это почему-то особым характером ума, «редкого и язвительного» (помнишь, как окрестил меня наш добрый приятель А. В.?).

Словом, скучно мне, и по возможности скуку эту я сам же и лелею. Тем, что избегаю общества знакомых и, казалось бы, приятных людей, а ведь таковых здесь немного, и уж с ними-то, казалось, сам бог велел поддерживать добрые отношения — не приятельские, так хоть соседские. А вот поди ж ты… Но это так, к слову. Может быть, останься я десять лет назад в Санкт-Петербурге и там нын-

че стал бы нелюдим. И даже, наверное, все это — не от окружения, а от натуры человеческой, от возраста проистекает. А здесь… Что же здесь-то? Странные здесь иной раз бывают встречи. Зашел как-то в трактир, позавчера или третьего дня, не помню точно. И встретил там старого своего знакомца, еще по Санкт-Петербургу. Слово за слово, и что-то мы с ним так вдруг подружились вновь, что выпили изрядно, а после я притащил его домой и подарил семь рублей серебром, да еще дюжину полотняных сорочек. Забыл сказать, но выглядел он прямым итальянским Lazzaroni.

И сразу же после этого стал он мне вдруг резко неприятен и несносен. Почему? Сам толком не знаю, однако же постарался от него немедля избавиться и, представь, еле от него отбился. Он-то, видишь, расчувствовался, даже слезу пустил. Слеза на кончике носа повисла. А нос красный, распухший.

Вот это меня и раздразнило более всего — нос со слезою на кончике. Ужель и мы так состаримся? Ох, и жалко же, брат!

И так меня расстроила эта мысль, что, выпроводив беднягу, я тут же побежал к зеркалу. Всматривался в свое отражение до рези в глазах. И что же? Вроде бы ничего нового не усмотрел, а

на душе стало скверно.

Не люблю я зеркал. И получил к той нелюбови изрядное подкрепление, хотя и несколько мистического свойства.

Давеча у букиниста в лавке наткнулся на потрепанный томик арабских легенд, печатанный во Франкфурте в 1726 году. Зачем-то купил, но разобрал пока одну лишь историю.

Некий юноша, живший в Багдаде во времена знаменитого султана Саладина, дал обет творить добро. Этот весьма похвальный поступок воспоследовал за тем, как он по вспыльчивости оскорбил ветхого старца. Далее известным восточным слогом (в немецком переводе звучащем до смешного напыщенно и тяжеловесно: «Дошло до меня, о великий царь наш, повелитель и господин…») излагаются невообразимые приключения пылкого юноши. Не буду утомлять тебя их пересказом, ты и сам можешь себе представить. Кого только очаровательный в наивности своей рассказчик не выводит в качестве воплощенного зла! Суть, однако, в том, что герой наш изрядно подустал рубить зло в капусту и творить добро. А злу, понятное дело, конца-края не видно. Словом, заявился он как-то в селение, где на все вопросы отвечали: «Спроси мудреца». Такая, стало быть,

поговорка. Но оказалось, не поговорка. Оказалось, в горах, за селением, в глубокой пещере живет мудрец, и мудрец сей отвечает на любой вопрос. Ну, наш герой тут же отправляется в горы, проходит над пропастями, сражается с барсом, отыскивает пещеру и… встречает в ней своего двойника.

А точнее, в пещере той никто не живет и не жил, просто задняя стенка в ней не что иное, как зеркало. Вот и спрашивай его, ежели охота. Себя то бишь спрашивай.

К чему это я? Да все к тому же. Не люблю я зеркал.

5

Оказавшись волею судьбы и генерала Ермолова в свите великого князя, Грибоедов недолго предавался мыслям о грядущем. За дорогу от Кавказа до Киева, где отряд Сипягина повстречался с полуэскадроном гродненских гусар, сопровождавших Константина Павловича в его бегстве из грозно затихшей Варшавы, он успел представить себе все мыслимые (а равно и немыслимые) варианты завтрашнего дня. Завтра… Что ж завтра-то? Ермоловская дивизия растянулась невероятно — сказывались зимние дороги, отсутствие мага-

зинов, фуража, зимних квартир… Чем встретит их Петербург, картечью или цветами? А может быть, и вовсе не обратит внимания? Какую задачу задаст им Северная столица?

Случалось, приходило ему в голову за долгую дорогу сюда, что ничего не произошло в действительности, что все события имели место лишь на бумаге (в письмах Булгарина и великого князя) или в речах (того же Ермолова), но никак не на самом деле.

Не хотелось о том думать, хотелось добраться до теплой постели, уснуть и проснуться — не завтра, а послезавтра, когда всё, чему надо свершиться, уже свершилось бы. Но достижима эта мечта стала лишь тогда, когда штаб Константина остановился наконец верстах в шестидесяти от столицы, в поместье ***. Сам *** находился в Петербурге, их встретил управляющий, старик с апоплексическим лицом и остатками пегих волос за оттопыренными ушами. Услыхав, кто заехал к нему и кому он должен оказать гостеприимство, управляющий едва не грохнулся со ступеней высокого крыльца. Во всяком случае взгляд, которым обратился он к раздраженно-хмурому Константину, был вполне бессмысленным. Адъютантам кое-как удалось привести его в чувство,

и спустя какое-то время великий князь и офицеры расположились на ночлег.

Грибоедову досталась комната на втором этаже флигеля, с камином и постелью, покрытою пыльной попоной. Заспанная девка растопила камин, опасливо косясь на молчащего незнакомого барина. Грибоедов стоял спиною к ней, нелепо расставив ноги, и глядел в окно. Окно замерзло, ничего нельзя было рассмотреть, он просто скользил взглядом по причудливым узорам.

Дрова разгорелись, девка убежала. От камина потянуло влажным теплом. Грибоедов сбросил мокрую шубу, пододвинул ближе к огню кресло, сел. Тепло медленно обволакивало ноги, поднималось выше, наливало приятною тяжестью веки, вызывало дремоту. Но отдохнуть, наслаждаясь остановкою и теплом, ему не пришлось.

В дверь постучали.

— Войдите!

Дверь отворилась, однако в комнату не вошел никто. Грибоедов поднялся из кресла. На пороге стоял давешний управляющий.

— Виноват-с, — произнес, вернее, прошептал он. — Позвольте войти? — он держался за край двери кривыми пальцами.

— Прошу, — сказал Грибоедов.

Видимо, управляющий, приметив среди военных одного статского, счел возможным именно к нему обратиться, чтобы удовлетворить свое любопытство. Некоторое время он не решался войти, но желание поговорить с приезжим, что-то узнать от свежего человека, пересилило.

— Да вы сидите, ваше превосходительство, сидите, — поспешно сказал он и плотно прикрыл дверь за собою. — Я вас надолго не потревожу… — он помолчал, явно не зная, с чего начать. Чувствовалось, что гости посещали поместье не слишком часто — даром, что недалеко от столицы. — Вот-с… — сказал старик с виноватою улыбкой и как-то беспомощно развел руками. Грибоедов не торопился прийти к нему на выручку. Улыбка увяла на лице управляющего, пауза затягивалась, становилась просто неприличной. Наконец приезжий сжалился:

— Давно ли хозяин уехал?

— Григорий Евсеевич? Да еще в начале декабря, почитай, — с видимым облегчением ответил управляющий. — Еще до того, как… — он запнулся.

— До чего? — спросил Грибоедов.

— Да вот… да вот-с, значит, до этого самого, — управляющий извлек из кармана большой

красный платок, обтер лысину. — До всего этого.

Грибоедов усмехнулся. Заметив это, управляющий заторопился:

— Да вы, сударь, не подумайте, я не то, что мужики здешние, чай, глупостей болтать не буду.

— А болтают? — безразличным тоном спросил Грибоедов.

— Как же-с! Болтают, ваше превосходительство, конечно, болтают, — управляющий говорил с видимым удовольствием, словно не замечая вежливого безразличия спросившего. — Еще как болтают!

— И что же именно? — Грибоедову вовсе не хотелось поддерживать беседу, но прервать ее он почему-то не мог, раздражался из-за этого все более — не только на старика, но и на самого себя.

— Болтают, будто Бонапарт объявился на английских кораблях, — сказал, понизив голос, управляющий. — Будто вошел он в Неву и высадился в Петербурге. Ну и, понятное дело, объявил себя российским императором.

Это было настолько нелепо, что даже не смешно, но Грибоедов захохотал. Управляющий улыбнулся краешком рта:

— Да уж глупости, одно слово, — он махнул рукой. — Чего не наболтают. Однако… — он осто-

рожно глянул на гостя. — Что ж в столице-то?

Но гость неопределенно пожал плечами и ответил:

— Мы ведь не из столицы, почтенный. Мы с Кавказа идем.

Управляющий покивал:

— Ну да, ну да, тоже, выходит, не знаете… — он вздохнул. — Я вот гляжу, батюшка, войско вы в Петербург ведете. Что же это, а? Может, и правда что? Ну, Бонапарт — не Бонапарт, но что-то стряслось?

Грибоедов вернулся к креслу. Едва оттаявшие сапоги снова замерзли, казалось, еще пуще прежнего, и неприятный озноб волнами пробегал по телу.

Его начало раздражать присутствие в комнате этого человека, вопросительно-просительное выражение его лица. Хотя раздражение это было вызвано всего лишь желанием отдохнуть. Он недовольно дернул плечом и сказал:

— Не знаю, любезный, ничего не знаю. Вот, бог даст, войдем в Петербург, тогда будем знать. А сейчас… — он махнул рукой.

Поленья весело потрескивали, желто-голубые огоньки вели свою бесконечную пляску. Управляющий неловко топтался за спиной.

— Может, приказать ужин?

Грибоедов отрицательно качнул головой. Он очень хотел есть, хотел выпить чего-нибудь крепкого, лучше водки, чтобы справиться с ознобом, чтобы хоть немного согреться. Но тогда ему пришлось бы терпеть присутствие этого человека, а больше голода его одолевало желание остаться в одиночестве, лечь и уснуть, забыться ненадолго. И он сказал:

— Ничего не хочу, ничего не надо, благодарю вас. Обсушусь вот, да и спать лягу. Устал.

— Виноват, виноват-с, ваше превосходительство, — управляющий наконец-то понял, что его присутствие мешает приезжему, засуетился. — Что же это я, право… Отдыхайте, сударь, отдыхайте, — он замешкался немного у порога и вышел.

— Наполеон… Господи, ересь какая… — фыркнул Грибоедов. Он с наслаждением потянулся и решил уже не садиться перед камином, а спокойно лечь в постель и проспать до самого утра.

И снова ему не пришлось отдохнуть. Едва успел он стянуть сапоги, едва подошел к кровати, как в дверь снова постучали. Явился адъютант от великого князя, молодой корнет, недавно еще бывший просто офицером Гродненского Лейб-

гусарского полка, еще не обвыкшийся в роли Константинова порученца. Видя Грибоедова расположившимся ко сну, он несколько смешался, но доложил порученное.

Константин просил пожаловать на военный совет.

Грибоедов шепотом ругнулся и вдруг вспомнил Ермолова: «Какой военный свет? Нешто война в России?»

Пробормотал под нос эти слова, чем вызвал окончательное замешательство молодого гусара, махнул рукой: мол, не обращайте внимания, сударь, это я так. Быстро собрался, оделся и отправился в дом, где остановился великий князь.

Здесь собрались все или почти все офицеры; Грибоедов, как и ранее, оставался единственным статским. Он выбрал себе самый неприметный угол, сел, но через миг почувствовал, что, несмотря на старание быть как можно незаметнее, ему это не удалось ни в какой степени, присутствие его вызывает в военных известное чувство неловкости, вернее, даже не неловкости, а недоумения.

Он поискал глазами генерала Сипягина, формально своего непосредственного начальника. Сипягин сидел в противоположном углу и, каза-

лось, дремал, во всяком случае, глаза его были прикрыты веками. Грибоедов подумал, что и генерал по каким-то своим причинам тоже хотел быть здесь как можно незаметнее. Не исключено, впрочем, что Сипягин попросту устал и решил подремать, а место, им занятое, случайно оказалось наименее освещенным в зале.

Великий князь не сидел, мерил шагами залу, нетерпеливо поглядывал по сторонам, набычившись, покуда прибывшие рассаживались по скамьям, стоявшим вдоль стен. Грибоедов перестал разглядывать Сипягина и обратил свой взгляд к этому, куда более занимавшему его мысли человеку.

Из всех детей Павла I Константин, пожалуй, более других походил на отца — и лицом, и нравом. Грибоедову вдруг представилось, что по просторной пустой комнате, освещенной множеством свечей, скрипя половицею, расхаживает не великий князь Константин Павлович, а Гатчинский безумец, Мальтийский рыцарь, российский Гамлет, словно в чудовищном зеркале повторивший судьбу своего отца, Петра Федоровича… Он усмехнулся: так ли уж отличался декабрь двадцать пятого от марта восемьсот первого? И там заговор, и здесь заговор. И за четыре десятка лет

до того — тоже!

До его слуха доносился негромкий говор офицеров:

— …пустыня снежная… Вторая армия…

— …порох отсырел… лошади… подковы…

— …стихия мятежа страшнее Пугачева… господа… это, знаете ли, да…

— …гвардия… гвардия… гвардия…

Да-а… Впрочем, в восемьсот первом — заговор, в двадцать пятом — бунт? революция?

(На дворе уже двадцать шестой.)

К тому же там предали близкие. Здесь, сейчас — кто знает. Пока непохоже.

Говор стих. Прибывшие, наконец, заняли свои места, голоса их увяли сами собой, и слышно было лишь, как ходит по зале великий князь. Вот он остановился посередине. Щеки его покрывал лихорадочный румянец, глаза были воспалены, редкие светлые волосы дыбились над раннею плешью. Белый конногвардейский мундир расстегнут, кулаки судорожно сжаты. Казалось, он сейчас закричит, затопает ногами, но, против ожидания, Константин заговорил спокойно и очень тихо:

— Господа, хочу поблагодарить вас всех за отличную службу. Переход был весьма тяжел.

Тем не менее в значительной мере он удался. Теперь же жду не только исполнения службы, но и ваших советов, — он пристально посмотрел на Сипягина, и Сипягин мгновенно побагровел.

Константин мрачно сказал:

— Войска у нас мало. Поскупился Алексей Петрович. Отсидеться решил, старый лис. Кавказское царство задумал, что ли?

— Война, Ваше Высочество, экспедиция за экспедицией, — генерал начал путано объяснять что-то о сложности боевых действий на Кавказе, но Константин оборвал его нетерпеливым движением руки.

— Оставьте, генерал, — сухо сказал он. — Тяжесть боевых действий нам известна — не дети, слава богу. Да и сердиться на Ермолова не пристало нам, нищим, уж чем изволил поделиться, и на том спасибо. Хорошо хоть, что не пришлось нам к нему, как в убежище, через всю Россию скакать… Как говорится, положение обязывает, тем более положение хозяина, а он, что ни говори, хозяин Кавказа, я же… я же, господа мои, неизвестно кто. Так что благодарю генерала Ермолова и вас, ваше превосходительство, — он криво усмехнулся, не усмехнулся, дернул щекой. Перевел взгляд на сидевшего в углу Грибоедова, нахмурился,

пытаясь вспомнить, кто сей статский господин, вспомнил, еще больше нахмурился — тоже из ермоловцев, даром что невоенный. Не нравился великому князю холодный блеск стекол, плотно сжатые узкие губы, отрешенно-бесстрастное лицо. Колючий господин, весьма колючий. Такой, похоже, мог бы приподнести сюрприз.

Но не до впечатлений сейчас. И Константин прошел медленно к креслам во главе стола. Сел, опустил глаза. Молчал некоторое время, глядя в стол, постукивая мерно пальцами по доскам.

— Итак, господа, — снова заговорил он, — я в нерешительности. Начальник штаба Второй Армии генерал Киселев должен был предоставить нам, по крайности, столько же войска, сколько и Кавказский корпус. Пришлось и там по нищете нашей стать просителем… — Константин поморщился. — Да…

— Заносы, — сказал кто-то, Грибоедов не заметил кто.

— Да, заносы. И магазинов не приготовили, ни фуража, ни продовольствия… Разумнее всего было бы выждать, поторопить Киселева… Выжидать мы не можем, промедления Господь нам не простит, — Константин говорил сухо, отрывисто, слова его падали в напряженную тишину свин-

цовыми гирьками. — Каждая минута, каждый миг промедления грозит смертью законному императору российскому. Но и вступать в столицу с этакой малостью мы также не можем. В Петербурге двадцать тысяч штыков гвардии. Генерал Милорадович убит, и насколько заражена гвардия случившейся мерзостию, не ведаю. Знаю, что среди бунтовщиков немало было гвардейских офицеров, молю Бога, чтоб они были отщепенцами, чтоб гвардии российской величайший позор не коснулся, — великий князь слегка пристукнул кулаком по столу. — Итак, господа, хочу знать ваше мнение, — Константин обвел взглядом собравшихся, остановился на молодом штабс-капитане, сидевшем неподалеку от Грибоедова. Кивнул офицеру. Грибоедов заметил, что щеки штабс-капитана стали пунцовыми, вернее, какими-то темно-рыжими, так что светло-рыжие бакенбарды утонули в этом сиянии.

Воцарилась тишина. Генерал Сипягин коротко кашлянул и тут же поспешно-испуганно прикрыл рот рукой.

— Силы противника, п-предположительно… — начал штабс-капитан. Голос его был высоким, чуть сдавленным. Грибоедов не особенно вслушивался в его речь. — Выступит маршем, — услыхал

он и вовсе перестал слушать. Снова вспомнился ему Алексей Петрович Ермолов, прищур глаз его, неестественная улыбка и удивленные слова: «Какой военный совет, голубчик? Нешто война в России?»

Закончив говорить, штабс-капитан утер платком вспотевшее лицо и выжидательно посмотрел на великого князя. Константин кивнул, по его лицу невозможно было определить, доволен он или нет. Странно, но речь штабс-капитана, в основном сводившаяся к перечислению причин, затрудняющих вступление в Санкт-Петербург, подействовала успокаивающе. Сипягин откровенно дремал, привалившись головой к стене.

Заседание военного совета шло своим чередом. Офицеры продолжали высказываться — от младшего к старшему. Константин слушал молча, никого не перебивал.

В комнате стало жарко, душно. Грибоедов приспустил галстук. Мерное жужжание неторопливых голосов убаюкивало и его, он вновь перестал слушать. Голоса слились в один негромкий гул, из которого изредка выплескивались отдельные слова:

— …артиллерия…

— …Московский полк…

— …приказ…

— …его величество… высочество…

— …Петербург… ветер… снег… снег…

Глядя на слегка порозовевшее лицо Константина, на его вздернутый нос, нахмуренные брови, Грибоедов вспомнил вдруг невнятные рассказы гродненских гусар о чудесном (во всяком случае, не очень понятном) спасении великого князя.

Говорили гусары, что подполковник Михайла Лунин, любимый адъютант Константина, был связан с петербургскими мятежниками и что будто бы сразу же после известных событий на Дворцовой площади получил он секретную депешу из столицы. В депеше этой предписывалось взять великого князя под стражу и препроводить его в Санкт-Петербург, где судьбу его должны были решить члены тайного общества.

Впрочем, так только говорили. Депеши этой никто, кроме самого Лунина, разумеется, не читал. Лунин же никаких действий против Константина не предпринимал.

На следующий день по получении секретной депеши из столицы лихой ротмистр уговорил Константина отправиться на медвежью охоту.

Медведя они затравили знатного и ночь целую пировали в одном поместье под Варшавой.

И только наутро Лунин будто случайно показал Константину депешу. (Сам великий князь вестей из столицы не имел.)

— Спасибо, брат, этого я тебе никогда не забуду, — будто бы сказал ему тогда Константин и, не возвращаясь в Варшаву, с полуэскадроном гусар тотчас покинул Польшу, поспешил сперва в Малороссию, затем на Север.

Что же до Лунина, то ротмистр уничтожил депешу и, словно не заметив исчезновения великого князя, не торопясь, отправился после охоты в Санкт-Петербург, к своим друзьям, к своим былым единомышленникам.

Так ли все это было в действительности, Грибоедов не знал, проверить было мудрено; рассказы же гродненских гусар сопрягали имя ротмистра Лунина с именем великого князя постоянно. Во всяком случае, все это вполне соответствовало Лунину, соответствовало его натуре и даже внешнему облику — облику романтического рыцаря, воспетого бессмертным Сервантесом.

Грибоедов знавал Лунина по Петербургу и Москве — правда, некоротко. Сейчас ему вспомнились сплетни о бесчисленных проказах этого отчаянного человека, среди прочих — история с вызовом на поединок самого великого князя.

История кончилась ничем, но в гвардии о ней долго говорили.

Случилось это на смотре Лейб-гусарского полка, где служил в те времена Лунин и августейшим шефом которого был Константин. Цесаревич на плацу был чрезвычайно насмешлив, попросту оскорбителен, его шутки и словечки заставляли лихих гусар бледнеть и краснеть — до того, что в конце концов из строя выехал ротмистр Лунин и вызвал великого князя на дуэль. «Молод еще — драться со мною», — сказал Константин, но шутки свои прекратил, за дерзость ротмистра не наказал, много позже даже сделал его своим адъютантом.

Вспомнив о несостоявшемся поединке, Грибоедов вдруг подумал: что бы произошло, ежели бы события недавние имели иной ход? Ежели не угодила бы в Милорадовича пуля, остался бы он жив, попросту разогнал инсургентов, и депеша пришла бы уже не к Лунину, а, напротив того, к великому князю, с приказом об аресте ротмистра? Что бы сделал, как поступил бы Константин? Посвятил бы в содержание депеши своего адъютанта, отослал бы его… Ну, скажем, на охоту? Или же, скрепя сердце, отправил бы его под конвоем в столицу? И пошел бы веселый ротмистр в

Сибирь, в каторгу, в забвение.

Мысль показалась забавною. Грибоедов фыркнул. Заслышав смешок, великий князь, собиравшийся что-то сказать, резко к нему повернулся. Глаза его светлые потемнели.

— Вас что-то насмешило, сударь? — сдержанно спросил он. — Что же именно? Скажите, и мы посмеемся вместе. Видит бог, нам сейчас весьма не хватает причин для веселья.

Грибоедов слегка замешкался. Его нисколько не смутило и не обеспокоило недоброе внимание Константина, просто он внезапно увидел комическую сторону происходящего, но не мог решить, следует ли указывать на нее остальным. Он снял очки, аккуратно протер их.

— Ваше Высочество, — сказал он. — Мне кажется, все говорилось здесь верно… я, впрочем, человек невоенный…

— И все-таки что же вас так насмешило? — перебил его нетерпеливо цесаревич.

— Смех, невольно вырвавшийся, не имел никакого отношения к обсуждаемому вопросу, — сказал Грибоедов деревянным голосом. — Я прошу за то у Вашего Высочества прощения. И прошу также позволить мне высказать некоторые соображения.

«Будь что будет», — подумал он.

Выражение лица великого князя несколько смягчилось.

— Извольте, — сказал он.

Грибоедов вздохнул, надел очки. Помолчал немного.

Лицо его вновь обрело невозмутимое выражение или, скорее, неподвижность. Да, неподвижность, словно обладатель этого лица внезапно надел маску, точь-в-точь повторяющую черты лица, но вырезанную из дерева. Маска эта защищала Грибоедова, он нуждался в защите, он мгновенно надевал маску в недобрую минуту, как сейчас. Голос, которым заговорил он, был столь же твердым и одеревеневшим, как и маска.

— Я человек невоенный, — повторил он. — Статский. В силу того целиком полагаюсь на суждение господ, сведущих более моего, — он слегка поклонился в сторону офицеров, уже высказавших свое мнение. Странно, но и в этот раз он ощутил мгновенный укол тревоги, словно легкий поклон его был принят господами офицерами за издевку. «Только дуэлей мне сейчас не хватало», — подумал он, но продолжил: — Однако не уверен… — Грибоедов перевел взгляд на цесаревича. — Я не уверен, Ваше Высочество, что

боевые действия будут иметь место. Более того, я совершенно убежден в обратном.

В светлой просторной комнате духота сгустилась невыносимо, и в этой духоте повисла тишина. Тишина эта имела явный привкус настороженности, тишина окрашена была снисходительностью и, чему удивляться, презрением. Как же иначе? Приходило ли в голову бравым воякам то, что собирался сказать им этот худощавый, бледный до желтизны господин? Вряд ли. Их снисходительность, их презрение — отсюда, от этой их плохо скрываемой, а иными и вовсе нескрываемой мысли: ну что, что дельного может сказать им, боевым офицерам, сей высокомерный статский субъект, фрачник? (Грибоедов одет был не во фрак, в темно-серый сюртук.) Все это он прочитал на выбритых лицах пехотных офицеров-ермоловцев и на лицах усачей-гусар.

И перестал смотреть.

Перестал видеть эти лица. Они не интересовали его более.

Брови Константина удивленно вздернулись.

— Однако… — протянул он чуть растерянно. — Господин… — он не мог вспомнить имени, поэтому запнулся, это вновь вызвало раздражение. — Извольте-ка объясниться. Я жду.

Грибоедов поднял глаза на великого князя и сказал негромко, бесстрастным голосом, он чувствовал, что и маска на лице чуть смягчилась, стала негромкой:

— Сколько я могу судить, Ваше Высочество, — он обращался только к Константину, прочие его не интересовали более, они не существовали, расплылись, растворились в звенящей плотной духоте, не было их более, и бог с ними, — военное решение… — Он вздохнул и произнес: — Военное решение, возможно, не понадобится.

Первое слово было сказано.

Из душной плотной пелены выплыло лицо очнувшегося от дремы Сипягина. Сипягин уставился на Грибоедова выпученными, слегка очумелыми от сна глазами.

— Не понадобится, — зачем-то повторил Грибоедов. И пояснил: — Бунтовщики присягнули вам, Ваше Высочество, — это было самое опасное место в монологе, — как же и кто же из них осмелится повернуть против вас оружие?

Тишина.

— Разве что вы, Ваше Высочество, изволите их примерно наказать, — безразличным голосом сказал он. — Но в таком случае речь должна идти не об обороне, а напротив. Впрочем…

Взрыв.

Стены зашатались, скамьи задрожали. Грубая ругань ударила в уши. Лицо Константина мгновенно залилось краской, даже плешь пурпурно засветилась сквозь редкие светлые волосы. Он пристукнул кулаком по столу, еще раз выругался — еще грубее и еще громче. Однако больше не сказал ничего, вместо него зашумел совершенно багровый Сипягин:

— Д-да как в-вы, в-ваше превосходительство, к-как вам… как вам не совестно напоминать о такой м-мерзости, к-как… — разволновался генерал, даже мундир расстегнул, полез за платком. Да и прочие господа военные задвигались, громко выражая свое негодование.

— Воля покойного государя…

— Губернатор…

— Генерал…

— Таганрог… Петербург… Варшава…

— Присяга… Сенат…

— Елизавета Александровна… Вдовствующая государыня…

— Армия… Армия… Армия…

— Гвардия… Гвардия… Гвардия…

— И в конце концов…

Зашаркали стульями, завертели головами, од-

нако в рамках пристойности. Ибо и в справедливом возмущении своем помнили о Высочайшем присутствии.

И замолчали, видя, что их возмущение и негодование нисколько не взволновали холоднокровного господина.

Грибоедов по-прежнему не видел их, они по-прежнему не интересовали его. Он смотрел на разгневанного, но молчащего великого князя и ждал возможности продолжить.

Лицо Константина изменилось, краска сошла, будто слиняла. Константин стал бледен… бледен… бледностью, а вернее, внезапно проступившей нездоровой желтизной мог бы теперь поспорить с ним самим. Глядя в стол, сцепив судорожно лежащие на столе белые пальцы, сказал негромко и вежливо:

— Прошу вас, сударь, продолжайте, — и шум тут же прекратился. Вновь повисла в комнате тишина, менее снисходительная, менее презрительная и куда более напряженная.

И Грибоедов продолжил:

— Не говорю сейчас о мерзости или, напротив, о сладости, — он дернул уголком рта. — Скажу лишь, войска, принесшие присягу Вашему Высочеству, искренне присяге этой верят… — он на

миг замолчал. Так ли? Да, так, он уверен в этом, сейчас во всяком случае уверен. — Убежден, что мятежники не могли да и не хотели изъяснять свои подлинные планы нижним чинам… да и многим офицерам также. Не думаю даже, что сами они ясно понимают собственные планы. Взбунтовать войска, поднять их, помешать вашему въезду в столицу… — Грибоедов сделал короткую паузу. — Уверен, не в их силах совершить это сейчас, — он слегка выделил слово «сейчас». Впрочем, заметил ли это Константин, сказать с уверенностью Грибоедов не мог. Он собирался было пояснить, что имел в виду, но Константин предостерегающе поднял руку, и Грибоедов замолчал.

— Благодарю всех, господа, — сказал вдруг великий князь. — Можете быть свободны. Переход был труден, дальнейший, возможно, будет труднее. Еще раз благодарю.

Когда офицеры вышли, цесаревич поворотился к Грибоедову, поднявшемуся при его словах, но несколько замешкавшемуся. Цесаревич некоторое время молча смотрел на него, глаза его были спокойны и холодны, Грибоедову стало зябко.

— Я отпустил и вас, сударь, — медленно произнес Константин. — Но коль уж вы изволили

остаться, прошу, — он коротко указал на скамью. — Вам я особенно благодарен. Вы просветили меня. Садитесь же, — повторил он. Грибоедов подошел к скамье, но остался стоять, поскольку Константин встал. Цесаревич смотрел мимо, молчал. Вздохнул, прошелся по комнате. Остановился против Грибоедова. — Что же, — Константин по-прежнему смотрел в сторону, — и генерал Ермолов мыслит так же? — Светлые, чуть навыкате глаза великого князя обратились на Грибоедова.

— Генерал Ермолов не делился со мною мыслями, Ваше Высочество, — это было сказано не весьма любезно, но Грибоедов устал. — Он лишь приказал мне сопровождать его превосходительство генерала Сипягина.

— Да-да… — рассеянно кивнул Константин. — Кавказский царь обходится без советников. Ах, старый лис… Все еще мнит себя львом… — он снова взглянул на Грибоедова, слегка прищурился. — Итак, сударь, вы полагаете, что в Петербурге меня ждут верные войска и верные люди? Хорошо, коли так… Впрочем, — цесаревич вдруг усмехнулся, — не на это ли надеются бунтовщики? Будь императором, коль мы того хотим! А вот! — Константин скрутил кукиш и ткнул им куда-то в сторону окна. — Вот вам, голубчики! Не

принудите. Войдем в Санкт-Петербург — перевешаю, как собак…

Грибоедов произнес:

— Ваше Высочество, въезд в столицу может иметь последствия самые различные…

«Кровь, — подумал он, — кровь на снежном поле. Не дай, Господи…»

— Вы свободны, — сухо сказал великий князь. — Не задерживаю вас более, благодарю.

«Красное и белое».

Грибоедов склонил голову и пошел к выходу. В дверях он едва не оглянулся. Ему очень хотелось увидеть лицо цесаревича, но он пересилил себя, вышел и плотно прикрыл за собою дверь.

6

Ну вот, дорогой брат, наконец-то и мы дождались. У нас нынче с утра выпал снег. Удивительное явление! Знаешь ли, чувство мое к снегу всегда имело мистическую окраску. О, я знаю, снег — замерзшая вода… Ну что за объяснение? Не хочу я такого объяснения, нет у меня интересу к такому объяснению. Разумом понимаю его правоту, но вижу белизну сию, божественную белизну и — не верю. Как!

Это чудо, неслышно, невесомо парящее в воз-

духе, — замерзшая вода? Да полно! А сердце человеческое — всего лишь мускульный мешок, знай себе гоняет по жилам красную жидкость?

А любовь — животное влечение к продолжению рода, выбор самки… Бр-р!

Что-то тянет меня сегодня на странные рассуждения. Бог с ними. Хочу я еще раз вернуться к «Последнему самодержцу и российскому народовластию». Ладно, не нужны мне трактования и прочие мудрствования. От лукавого они, и обойдемся без них. Желаю иметь перед глазами лишь цепь событий, но тут уж, будьте любезны, государи мои, всю цепь. Каждое звено, каждое, заметьте! Чего стоит история, ежели что-то высвечено ярко, что-то слегка, а что-то и вовсе тьмой окутано. Хороша цепочка. И что же та цепочка сможет связать? А Муравьев? Не могу удержаться от еще одной цитаты:

«Великий князь Николай Павлович, пробыв на престоле менее суток и незаконно, был внезапно убит одним из инсургентов или, вернее будет сказать, бывшим инсургентом, так как он, человек незаурядный и энергичный, в последние годы отошел от дел Общества. Я знаю его имя, но не хочу здесь называть».

Все? Представь, все. Видимо, автор счел доста-

точным для понимания самый факт насильственной смерти «последнего самодержца». Может быть, для кого-то и достаточно, но только не для того, кто хотел бы понять всю картину. Недостаточно, скудно для понимания! И что же остается делать нам, грешным? Вновь, в который уже раз обращаться к беллетристике, которая хоть и расцвечивает все в тона, избранные автором, но тем не менее определенную пищу уму сообщает. Знаю, что ты не согласен, но попробуй непредвзято прочесть еще один отрывок из романа молодого нашего беллетриста. Собственно, я уже однажды цитировал его в письме, если помнишь, речь тогда шла об аресте Николая Павловича лейб-гренадерами поручика Панова.

Кстати, коль уж вспомнилось это имя. Я писал, что к нам сюда приходят самые невообразимые слухи. Правда ли, что и Панов, и Кожин, и Сутгоф нехорошо кончили? Сведения об их смерти весьма смутны и противоречивы.

Но я отвлекся. Итак, привожу здесь еще один отрывок из поминавшегося мною романа.

«Ветер, ветер имел цвет, был белым, завертывался в спирали, и спирали эти, огромные и причудливые, живыми драконами неслись над площадью. Страшные снежные драконы вились

над Дворцовою, и над набережной, и над замерзшею Невою.

Над улицами и домами.

Белый безумный ветер с Севера был неожиданно бесшумным, поглощающим и пожирающим звуки. Страшным казалось это призрачное безмолвие, белая мгла и белая тишина, поразившие огромный город, страшным казалось владычество белого ветра в столице великой Империи.

Неслышными были шаги, нереальными были редкие тени, скользившие набережными и бульварами.

Михаил Сергеевич Лунин шел, кутаясь в старую шинель, поглубже надвинув картуз. Он ощущал безумную тишину, принесенную в Петербург ветром, и оттого чувствовал себя совершенно одиноким, да что там — чувствовал!

Был.

Был единственным человеком в большом, внезапно опустевшем городе, единственным человеком среди белых драконов, и драконы вокруг него заворачивали свои длинные колючие хвосты.

Да, он был одинок, идущий под ветром и снегом, высокий, обманчиво-худой человек в серой шинели и сером картузе — казался одиноким.

И лишь тяжесть двух заряженных пистолетов под шинелью спорила с этим, доказывала, что не один он, что есть еще один — тот, к кому направлялся Лунин.

И белые снежные драконы вились вокруг одного из этих двух, завихривались кольцами, толкали, толкали в спину, чтобы ускорить, убыстрить, связать их воедино поскорее, скорее, ско…

Словно сопротивляясь, словно споря с неизбежностью, с роком, замедлил Лунин шаги. И взъярились драконы, прорвали белое безмолвие, взвыли тысячей голосов: “Иди!.. Иди!.. Не смей останавливаться!..”

Говорил днем Пестель, только что примчавшийся в Петербург (к досаде Северян, аки по воздуху перенесен), только что освобожденный Южанами из-под ареста, говорил… о чем же, господи, говорил-то? Да слова его, ах!.. И слова его путались сейчас в белом ветре, в белом ледяном дыме, заглушались белым воем… что-то там о тысячах сторонников по бескрайней Руси, и — удивительное дело! — ведь слушал ротмистр Лунин полковника Пестеля, слушал внимательно, слушал и соглашался, да-да, со всем соглашался. И с тем, что необходимы стремительные шаги, решительные меры, и насчет

судьбы бывшего (не-бывшего) императора. Говорил пехотный полковник о дивизии, идущей с Кавказа, и еще о двух — из-под Кишинева. Да… О Константине тоже говорил Пестель, об августейшем шефе Михаила Сергеевича, и смотрел он при этом на Михаила Сергеевича строго и недовольно. И горели щеки у подполковника Лунина, как у мальчишки. Горели, еще бы! Как не слушать, как не соглашаться, когда говорит вождь, великий человек, надменный оратор, убежденный! Российский Демосфен… черт знает! Ах, виновным, виновным чувствовал себя адъютант великого князя, что, получив вести из столицы, не арестовал тотчас Константина, позволил ему уйти из Варшавы. А ныне, по слухам, Константин объявился в России и идет в столицу во главе войск, данных ему генералом Ермоловым и генералом Киселевым, и ведь опасен, о, правда, опасен, ведь войска-то, войска присягали ему, господа, и что им теперь скажешь, сбитым с толку солдатам?! Да и мы-то, мы-то ведь тоже присягали, господа офицеры, разве не так?! И глядя в горящие глаза Пестеля, Лунин едва не признался в том, что сам же, своей волей, отпустил великого князя, зная, понимая прекрасно, что тот уж не вернется. Но не признался, потому что понял вдруг: Пестель

о том знает, уж непонятно откуда, но знает. А прочим знать необязательно.

Вдруг Лунин остановился. И вновь взвыли драконы, но он не слушал более их злых голосов, воплей. Неожиданная мысль: а не чувство ли вины толкнуло его навстречу серым глазам Пестеля, не оно ли заставило его взяться за это дело, за невысказанное это поручение, не?..

И тяжелы стали спрятанные пистолеты, ох тяжелы, и тяжесть их едва не согнула лихого ротмистра, едва пополам не переломила.

Нет. Нет, не может того быть, не было этого.

Нет?

Разумеется, нет. Кто же еще мог за это взяться, кто, кроме него, ведь никого другого не было, такого — там — не было? Ведь он-то, он — единственный из всех бывших тогда — давно уже вышел из Общества, не имел с Обществом никаких сношений, ему и до́лжно было свершить все. Ибо Общество во всяком случае должно оставаться чистым. Вот почему он, ротмистр Лунин, бывший адъютант наместника Польши Константина Павловича, идет сейчас на гауптвахту Лейб-гренадерского полка, идет с двумя заряженными пистолетами, идет на эту странную, страшную дуэль. Вот почему все расступились

тогда перед ним, и прекрасные темные глаза Рылеева стали еще темнее.

Вот почему…

Тысячи сторонников по Руси.

Хорошо бы, ей же богу, хорошо бы, коли так! Ах, хорошо бы!

Усмешка искривила плотно сжатые губы. Лунин снова быстро зашагал по набережной. Подумать только, тысячи сторонников! Да неужто? В самом деле? Так ли это? Ах, Павел Иванович, Павел Иванович, душа моя, да полно! Где они, сторонники, тысячи и десятки тысяч? Что ж молчат, что ж затаились, уж не снега ли боятся?

И рассмеялся лихой ротмистр, захохотал во все горло.

Ах, господин Пестель, полковник Павел Иванович, отчаянная душа, железный человек! Есть ли они? Не плод ли это фантазии вашей? Не мертвые ли души эти ваши сторонники?

Но застыл, застыл на губах смех, заледенел, в кристаллы обратился, с неживым, потусторонним звоном покатился под ноги, и вновь словно застыло все, и по-прежнему ни единого звука.

Выбелил снег мысли и картины памяти.

Дальше шел одинокий странник. Дальше размеренно шагал, будто бы и сам, по своей воле, но

нет, нет… Дьявольски прочная цепь приковывала его к тому, к спящему под солдатской шинелью, спящему под присмотром растерянных, напуганных гренадеров. Прочная цепь, неразрывная. Кто каторжник, кто ядро? Бог весть.

Застыло лицо, замерзли глаза… две льдинки… не видят ничего. Решительно отмеряют шаги — время, время — ближе, ближе гауптвахта, ближе рассвет…

Белый вихрь взъюжился, взвился — уже не спиралью, уже петлею… обхватил, ослепил… подхватил, поднял в ледяной воздух, в беззвездное небо… понес над замерзшей, заснеженной землею…

…он очнулся на неудобном жестком стуле с высокою спинкой в углу сдавленного тяжелыми каменными стенами пространства, тяжело вздохнул и только после этого томительного вздоха-отпущения посмотрел в другой угол — туда, где, укрывшись шинелью, на железной кровати спал последний российский самодержец…»

Сколько мне известно, ни разу, нигде, ни при каких обстоятельствах «государственные люди» наши не называли имени того, кто свинцовою точкой завершил родословие Романовых. Поправь, ежели неправ. Слухи — что, слухи были.

И уж тем паче имя Лунина поминалось в сплетнях единожды. Однако… сей беллетрист называет его. Ужели правда? Знавал я Лунина.

Слыхал я, что он и вовсе не объявлялся в Санкт-Петербурге. А также доходили до меня известия, что принял он постриг в одном латинском монастыре в Польше.

Ну, да оставим все эти сомнения на совести автора. Коли лжет, воздастся ему по лжи его. О другом, о другом подумал я, читая сей opus.

Что есть казнь смертная, свершаемая над отдельным членом человеческого сообщества? Справедливость? Воздаяние?

Защита?

Допустим. Хотя… но — допустим.

А знаешь ли, сейчас вот, сию минуту подумалось мне: хорошо бы, кабы и слухов не было. Некто… и точка. Сумбурно я пишу, брат, сумбурно.

Так вот, помнишь ли, ранее писал я тебе о томике арабских легенд, купленном мной у букинистов? Есть там небольшая пиеса под названием «Лицо палача». Хотя если говорить с откровенностью, не думаю, чтобы изысканный арабский рассказчик дал своей балладе столь грубое и прозаичное имя. (А что это именно бал-

лада, в оригинале пиеса поэтическая, так за то голову готов заложить.) Скорее, сие название дал немецкий переводчик или переложитель. Но это так, к слову. А почему я вспомнил эту легенду, сейчас ты поймешь. Вот о чем говорится в ней.

Стража Багдадского Калифа схватила некоего злодея. Злодея отчаянного, обагренного невинной кровью от макушки до пяток. Даже паломников, свершавших хадж в Мекку, сей негодяй грабил и жесточайшим образом убивал. Ну, Калиф (не сказано его имени, но, похоже, славный Гарун аль-Рашид) приговорил злодея к отсечению главы, позволив, однако, изъявить последнее желание — как то водилось в оны дни по всему миру, а в иных варварских странах и поныне водится. Злодей пожелал, чтобы палач, когда будет его казнить, открыл бы свое лицо.

Праведный судья немало был удивлен подобным странным желанием, однако бородою Магомета поклялся его исполнить.

Итак, настает день казни. Толпы обывателей Багдада стекаются на площадь к дворцу Калифа, а тут уж, на помосте, покрытом алым ковром, — плаха и огромный изогнутый меч, острый, как бритва. Звучат трубы, стража выводит злодея. Тот совершенно спокоен, ни одна черточка в лице

не дрогнет.

Навстречу осужденному выходит палач — огромного росту, обнаженный по пояс, но в глухом клобуке с прорезями для глаз.

Сии два лицедея последней комедии сходятся у плахи. Один спокойно встает на колени, другой же, прежде чем взять в руки страшный меч свой, медленно стаскивает клобук, обнажая голову, отбрасывает его в сторону, и все окружающие видят его лицо.

Миг… другой… третий…

Палач медлит. Калиф, наблюдающий казнь, недоуменно хмурится. Толпа ропщет.

Палач медлит.

В конце концов осужденного уводят, ибо палач так и не смог заставить себя взяться за меч.

Почему?

Потому, видимо, что, свершая казнь с закрытым лицом, чувствовал себя лишь орудием правосудия. Открыв же лицо, показав всем и, прежде всего, осужденному свой лоб… глаза… нос… морщины, шрамы, прыщи, как бы перестал быть таковым, превратился всего лишь в человека, который готов отнять жизнь у человека же.

Превратился в убийцу.

7

Три дня, последовавшие за военным советом, принесли беспорядочные хлопоты свите и штабу цесаревича. Грибоедов бесцельно ходил по дому, по усадьбе, слушал и не слышал, смотрел и не видел. Окружающим он казался рассеянным и ненужным, лишним, они старались не замечать его, он был занозой, неприятным и непонятным включением, инородным телом.

Сам Грибоедов чувствовал себя скверно, к бесцельному ожиданию прибавились легкий жар, ломота в суставах. Имела ли хворь причиной холод и сырость, царившие во флигеле, или переутомление последних недель, но он махнул рукой на всю суету и сборы-несборы и на несколько дней слег в постель. Управляющий имением, взявший в обязанность опекать единственного статского (он просто боялся показываться на глаза великому князю и военным), принес по просьбе больного несколько книг из библиотеки отсутствующего хозяина поместья. Тот, видимо, отечественную словесность не жаловал, имел слабость к французской. Книги были: Парни, Расин, Ронсар и прочие. Стихов Грибоедов читать не стал; обнаружив томик Вольтера, взялся было

за этого фернейского насмешника, но вскоре отложил и его. Чтение не отвлекало, чтение раздражало. Гладкие фразы, изящество, остроумие — все это казалось неуместным и неприятным, как смех на поминках. Отвлекало легкое полузабытье, то и дело накатывающее на него и мягко размывающее сознание.

В минуты бодрствования вспоминался военный совет — каким-то комком, путаницей лиц и мундиров. Комок топорщился шпорами, гудел бесконечно-бессмысленным словом тарабарского наречия.

Усилием воли Грибоедов отгонял это досадливое гудение и вновь погружался в забытье.

Так продолжалось два дня. На третий день в послеобеденное время больного в очередной раз навестил управляющий. Он с неодобрением покосился на нетронутый обед, покачал головой. Грибоедов закрыл глаза, притворился спящим. Но управляющий вдруг сказал:

— Вы, ваше превосходительство, поели бы чего, а то сил не достанет. Вам, я чаю, скоро в Петербург отправляться.

Это было неожиданно, так что Грибоедов перестал притворяться, открыл глаза:

— С чего вдруг?

Управляющий замялся.

— Да вот… — он запнулся. Грибоедов выжидательно смотрел на него, и старик заговорил снова, видимо, ему и самому очень хотелось поделиться с гостем новостью.

— Случилось, сударь, случилось, — он прокашлялся. — Вести из Петербурга нынче пришли…

Грибоедов сел на кровати.

— Какие вести? — спросил он. — Кто прибыл?

Управляющий неловко пожал плечами.

— Военные как будто. Трое. Я, ваше превосходительство, их только из окна и видел.

— А что, великий князь посылал в столицу?

Управляющий приблизился к постели, оглянулся зачем-то и, понизив голос, торопливо заговорил:

— Да ведь то-то и оно, ваше превосходительство, что приехали не из наших, а из тех. Из мятежников, стало быть. Вот ведь какая штука. Их ведь его высочество тотчас под караул-то и посадил, а сейчас все наши у него. И вроде к походу приказано готовиться, а Константин Павлович гневны-с… — Наклонившись к гостю, старик сказал едва слышным шепотом: — Брата его высочества, Николая Павловича, вроде как жизни решили…

Позже Грибоедов, вспоминая эти дни, понял, что втайне давно был готов к этому известию, ожидал его. Все же на какой-то миг он словно застыл от слов управляющего, и лицо его — он почувствовал — передернуло судорогой. Управляющий испуганно отшатнулся.

— Ваше превосходительство, водички вот, водички вот выпейте, — забормотал он.

— К черту, — сказал вдруг Грибоедов ясным спокойным голосом. — К черту водичку. Не сочтите за труд, сударь, пришлите моего лакея. И благодарю за заботу.

— Не следовало бы вам вставать сейчас, ваше превосходительство, — управляющий с сомнением покачал головой. — Больны ведь вы, слабы. Вот и лицо, не в обиду будь сказано, желтое и прозрачное, ровно воск. Уж полежали бы. Хоть до вечера.

Грибоедов холодно взглянул на него. Старик замолчал, кивнул головой и вышел из комнаты.

Одевшись, он не сразу отправился в дом, к великому князю: его не приглашали, возможно, не хотели тревожить больного, хотя, скорее, он просто раздражал всех (и Константина в том числе) своим присутствием. Следовало решить: идти ли к великому князю самому, без приглашения,

или же сидеть здесь до вечера, и пусть все идет как идет.

Он ближе пододвинул кресло к камину, сел. Протянул к огню зябнущие руки.

— Да-а, Алексей Петрович… Нешто война в России?

Внезапная злость охватила его при очередном воспоминании о генерале Ермолове. Знал, знал старый лис, куда посылает своего чиновника! Сам-то небось выжидает, словно ничего не произошло. Приказ великого князя выполнен, великий князь… Неожиданная мысль заставила Грибоедова выпрямиться.

А ведь уже не великий князь! Ежели управляющий не ошибся, не принял за правду досужие сплетни (ах, уж эти мне военные! почище девиц сплетни любят!), то, стало быть, отныне Константин Павлович — Император Всероссийский, Самодержец… И на трон возвели его мятежники!

Грибоедов расхохотался, и в смехе его не было ни грана веселья, невеселый получился смех, леденящий самого смеющегося. Ах, господа мятежники, инсургенты российские! Как просто у вас все получается. Николай убит, престол — Константину («Ура, Константин!»), манифест о свободах, конституция, и… Веселись, Святая Русь,

воля тебе дарована законным государем!

А того не подумали, господа инсургенты, что, может быть, силой возвести на престол не лучше, чем силой свести с него. Константин в бешенстве, надо полагать. Ему, категорически от власти отказывающемуся, власть эту силой навязывают. Ну, держитесь, благодетели…

«Парламентеров, возможно, пуля ждет, — подумал Грибоедов. — Хорошо, если не петля…»

Он поднялся со своего места, накинул на плечи шубу. Какие там, к черту, приглашения, до обид ли сейчас!.. В двери столкнулся со стариком.

— Что?.. — почувствовал, как сел голос, как схватили горло ледяные пальцы. Управляющий был бледен, на лице выступил обильный пот. — Что? Говорите…

— Беда… — выдохнул старик. — Беда, ваше превосходительство. Эполеты с них сорвали, в парк повели. Руки за спиной скручены…

— Кого повели? — тупо спросил Грибоедов, словно не понимая, что управляющий лишь подтвердил его давешнюю мысль.

— Да этих же, из Петербурга…

— В парк? — медленно повторил Грибоедов. — В парк… Ну да, конечно же, в парк… Куда же еще… — Он провел рукой по лицу, едва не сбив

при этом очки. — А что, великий князь у себя?

Собственно, для чего он спросил это?

— Не ведаю, — управляющий пожал плечами.

— Х-хорошо…

— Не ходили бы вы сегодня, батюшка, — сказал управляющий. — Слабы вы еще, вон лицо какое. И руки дрожат. Это, ваше превосходительство, лихорадка. Беда просто. Отлежаться вам следует, чайку с малиной. А?

Грибоедов вздохнул.

— Ничего-ничего, — он улыбнулся. — Тут идти-то… — Он отстранил управляющего и решительно направился к выходу.

Ступени скрипели под ногами так, что казалось, вот-вот рассыпятся, и это ощущение нисколько не улучшало настроение. День был пасмурным, тусклым. Мокрый снег множеством ног превращен был в грязное месиво. У крыльца господского дома толпились солдаты. Грибоедов, поднимаясь по ступеням, механически отметил, что лица у многих были растерянными.

В передней он остановился. От быстрой ходьбы перехватило дыхание. Передняя была полна офицеров. Его заметили, и негромкие разговоры смолкли, словно присутствие нового человека спугнуло собравшихся. Грибоедов отыскал глаза-

ми молодого адъютанта, подошел к нему.

— Здравствуйте, корнет, доложите великому князю: статский советник Грибоедов просит принять его незамедлительно, — отрывисто сказал он.

Корнет замешкался. Грибоедов сделал вид, что не заметил этого.

— Его Высочеству доложили, что вы серьезно больны, ваше превосходительство, — смущенно пробормотал корнет.

— Ерунда, простуда… Так вы доложите, я жду.

Корнет не двигался с места.

— Его Высочество не принимает, — сказал он. — Мне кажется, вам лучше вернуться к себе, ваше превосходительство.

Грибоедов коротко глянул на него, и лицо адъютанта стало пунцовым. В эту минуту дверь отворилась, и на пороге появился Константин. Взгляд его остановился на Грибоедове.

— Вы, господин Грибоедов? — он нахмурился. — Ко мне?

Грибоедов молча кивнул.

— Что ж, прошу.

В кабинете Константин сел за стол, некоторое время молча смотрел в исписанный лист бумаги, потом, не глядя на посетителя, сказал:

— Я слушаю вас.

Удивительно, но он казался абсолютно спокойным, даже более спокойным, чем сам Грибоедов. И руки, лежащие на столе, были неподвижны. И голос тих и бесцветен.

Грибоедов вдруг обнаружил, что не знает сам, о чем следует говорить с великим князем, и что, собственно говоря, заставило его прийти сюда.

— Ваше Высочество, — сказал он. Его голос, в отличие от голоса Константина, заметно дрожал, и это уже было весьма неприятным обстоятельством. — Ваше Высочество, я хворал.

— Да, мне доложили.

— За это время случилось что-то… — Грибоедов запнулся.

Константин поднял голову и холодно посмотрел на него.

— Господин Грибоедов, — тихо сказал он. — Почему, собственно, вы хотите знать все? Ежели вы и прикомандированы к войскам распоряжением генерала Ермолова, это не значит, что я избрал вас своим советником. Надеюсь, вам понятно?

— Да, Ваше Высочество, — голос Грибоедова уже не дрожал, но был столь же тих. — Я понял и прошу простить меня… Но позвольте спросить, какова судьба… — он вновь запнулся, но продол-

жил: — Какова судьба парламентеров?

— Не парламентеров, сударь, — холодно ответил Константин. — Бунтовщиков. Мятежников. Цареубийц!.. — выкрикнул он вдруг с такой силой, что Грибоедов вздрогнул. — Ступайте, господин Грибоедов, — промолвил он обычным голосом. — Вы больны. Вам следует отдохнуть.

Грибоедов шел от цесаревича, чувствуя неприятную, предательскую слабость. Перед ним расступались. Он смотрел под ноги, не желая ни с кем встречаться взглядом. Когда он вышел на крыльцо, из парка донесся звук ружейного залпа.

8

Время совершило оборот, и вновь я — за бюро, вновь пишу к тебе, брат мой. Представь, чем больше пишу, тем чаще приходит в голову странная мысль, что не к тебе пишу я письма свои, хоть и ставлю каждый раз твое имя. К кому же?

К себе. Да, брат, словно разделилась душа моя на две половинки, и одна из них осталась во мне, в моей оболочке, другая же отдалилась, обрела самостоятельное существование, с тем и растаяла в серой полупрозрачной дымке.

И утратила душа моя нечто очень важное.

Половину свою, брат…

А та часть, что во мне, в прежней моей оболочке, переполнена памятью. Вот и тороплюсь, спешу изложить на бумаге все, что помню. Для чего? Для чего мне сейчас все это, зачем? Я же понимаю, это моя память: что же изменится, если завяжутся буква за букву? Видимо, надеюсь, что тем самым склею обе половинки. Кто знает…

Вот ведь какая странность, не правда ли, брат? Впрочем, боюсь, что и это чувство — всего лишь еще один признак наступающей старости. Той самой, о которой я уже писал тебе, если помнишь. Подкрадывающейся незаметно и неотвратимо. Да-да, скорее всего, так оно и есть.

Жаль, редко ты пишешь мне. Понимаю, что оказии случаются редко, и все-таки жаль…

Не знаю, что там у вас, как там… И заполняет моя фантазия те пробелы, которые оставляет память.

Память, память…

А что в памяти? Обрывки когда-то прочитанных книг. Книг, рассказывающих о прошлом. Вот, например:

«…белый город, северный город придавлен был снегом. Легкий, пушистый, невесомый, пока летел, пока висел в стоячем хрупком воздухе.

Рухнув в изнеможении на квадраты города, он мгновенно отяжелел, огрузнел и тяжким грузом лег на дома, на мостовые — придавил и сковал все.

И не только сам город, не только каменные громады, но и людей, обитавших в городе.

Чем больше новый, переродившийся снег тяжелел над ними, над их домами, над их душами, тем больше сковывало их всех Оцепенение.

Пало с небес на Петербург Оцепенение, рухнуло с небес, овладело столицей и столичными обывателями. И, удивительно, нестрашным было оно, это Оцепенение. Не страх сковал души, ибо страх горяч, обжигающе горяч, а Оцепенение леденило, словно навек поселилась зима в Северной Пальмире. Все замерзло, все застыло. На Петровской площади даже костры, вокруг которых грелись солдаты, казались неподвижными пирамидами, яркими, сверкающими, но холодными, сделанными из светящегося льда. И сами солдаты были не живыми людьми, а фигурами из игрушечного ящика, выросшими внезапно, но неподвижными.

Ледяные огни на площади, ледяные огни вокруг Сената, ледяные фигуры солдат и офицеров, дальше темные, почти черные дома, с тусклыми

окнами и вовсе без окон — все это и складывалось в замерзшую мозаику, имя которой было Оцепенение.

В этой мозаике застывшими вихрями выписывались слухи, сплетни и страхи: смерть Николая, смерть Лунина, присяга сенаторов, погромы — все это вспыхнуло, взорвалось, взвилось к небесам и застыло, замерзло, обеззвучилось…»

Память, память…

Чем далее, тем труднее дается мне прошлое, тем труднее вызывать в памяти черты, некогда знакомые, голоса…

Словно гляжу в зеркало. Отражение столь точно повторяет оригинал, до малейших подробностей, до мельчайших черточек.

Но…

Но, брат мой, но, душа моя, ведь все совсем не так. Не то и не так. Да, подробности, да, черточки.

Однако правая рука — на самом-то деле левая. И наоборот. Лжет, выходит, отражение, все лжет, лжет зеркало. Лгут все зеркала! И как хитро лгут — не сразу и догадаешься.

Вот так же, возможно, и память моя. Раскрывается в буквах и словах, в черных знаках на гладкой белой бумаге, в четком почерке (я всегда

любил свой собственный почерк! Мальчишество? Бог с ним…). Да, раскрывается — и все лжет.

Веришь ли?

Смешно. Да, смешно, брат! Вот, вот она — противоречивость натуры человеческой. Только что написал, все — ложь, и сам же спрашиваю: веришь ли? Смешно…

А во что, собственно?

В ложь, мною изложенную?

Или в то, что все, мною изложенное, ложь?

Ведь я-то, я-то страстно желаю, чтобы верил. Потому что я же верю! И в то, и в другое, и в третье. И во многое. Во все!

Кстати. (Впрочем, кстати ли?) Давеча встретил А. В. (Помнишь ли? Велел тебе кланяться.) Вот поистине счастливый человек. И знаешь ли почему? Не меняется. Нисколько. Подобно натуре. Вечен и неизменен. Что ему катаклизмы, бури и потрясения? Он живет в ином мире, неизменном и гармоническом. Знаешь, никакие иные звуки не касаются его слуха, ибо Поэт еси. Поэт! А стихов не пишет. Вообще ничего не пишет, но Поэт. Впрочем, это так, к слову.

Вспомнил я эту встречу вот почему. Он сказал… За смысл ручаюсь… он сказал: «Все, что происходило, происходит и будет происходить, —

происходит в тебе и только в тебе».

Вот так, брат…

Иной раз лежу ночью без сна и все думаю, роюсь в памяти: так ли было? не так ли? Было — не было — не будет… Это ли было черным, это ли — белым? Не знаю, не знаю и знать не могу. Или не хочу, а ведь это, брат, одно и то же. Желание, хотение — несвершившаяся возможность, возможность же — свершенное хотение. Или свершающееся?

И это незнание иной раз доводит до слез, до боли сердечной. Ужели всякий историк такие муки испытывает?

Так-то вот, роюсь в памяти, гложут меня сомнения, а после — бюро, чернильница, перо, бумага, за окном свет поднимающегося дня — в дорогу! — и ложатся на бумагу строки, и в строках тех уж нет места сомнениям. Прочь сомнения! Прочь ночные тревоги и страхи! Каждое слово исполнено одного определенного смысла. Прав, оказывается, А. В.! Напишу, и выходит, что было все так, а не иначе. Все происходит во мне и только во мне. И значит, все было так, как я напишу.

Но означает ли это, что напишу я так, как было?

Знаем ли мы классическую историю такою,

какою она в действительности была? Да нет…

Не историю читаем мы, но литературу. Литературу, созданную рукою Тита Ливия, Светония, Тацита.

Что истина?

Кем был Юлий Цезарь? Был ли он убит?

Каков был Нерон?

Вопросы, вопросы…

Ты, я чаю, догадываешься, к чему я клоню все это. Давеча вновь прибыла почта с Севера, с полуночи. И письмо твое, и бандероли с журналами.

Испугался я вдруг. Страшно стало мне ломать печати. Что, если?..

Что, если прочту я, что все было не так? И известия, полученные мною, сотрут мою память, и память моя станет палимпсестом, где прежние письмена едва угадываться будут под новыми? Как тогда? Что тогда?

Страх, страх белый одолевает меня. Страх пришел и заменил собою скуку — прежнее мое чувство. Страх — от старости. Чем больше пишу, тем больше отдаюсь памяти, тем больше старею. И не остановить этого, и не вернуть того…

Альпы, Бородино,

В старом ли, Новом Свете

все остается, но

все достается Лете…

Так, кажется? Кажется, так.

Но по́лно! По́лно, брат. Разомлел я от собственных тревог, сам видишь. Я уж говорил, сладостное удовольствие нахожу в странности нового чувства. А ведь…

…По Древнему Риму. Однако фантазия моя, сдается мне, стала убогою. Тщился я понять старика, а сам все думал: «Оставь! Что мне до твоих восторгов, когда я и собственных не приемлю!» Угостил его стаканчиком бургонского. Он, видать, понял, ушел не поблагодарив. А я еще думал ему мелочь отдать кое-какую. Из карманов. Ан-нет! Ушел гордый потомок римлян, властителей мира.

Ну да бог с ним, с потомком. Любят меня нищие и душевнобольные, видят каким-то особым зрением, угадывают во мне брата своего. Есть тут один, Гай Юлий Цезарь, он же, дай Бог памяти, Джузеппе (или Джованни? не все ли равно). И поведал он мне, что вовсе не был убит Брутом, ибо как раз на мартовские иды подцепил от девки дурную болезнь (как все-таки верно будет: французская болезнь? или итальянская болезнь?), лежал в горячке, и некий жид лечил его меркури-

ем. Сей потомок Авраама так славно его вылечил, что он жив до сего дня. Хотел я спросить, а жив ли лекарь-иудей? Я бы и сам так не прочь… Когда же я (из чистого любопытства) напомнил знаменитое: «И ты, Брут», а затем битву у Филипп и принципат Августа, храбрейший из римлян презрительно взмахнул рукою и проговорил: «А, всё это ваш Шекспир», припечатал барда бранным словом и отвернулся — дескать, нечего об этом и толковать более. И тут, представь, обнаружил я в лице его черты, схожие с чертами мраморного бюста Цезаря. Дьявольское наваждение! К счастью, императора кто-то окликнул, он ушел, а я вздохнул с облегчением. Слава Богу, а то я уж начал подозревать, что и сам я то ли Теренций Плавт, то ли Ювенал, хорошо, коли не Давид-псалмопевец. А вел я все это к тому, что опиши талантливо событие, никогда в истории не бывшее, и оно возникнет в истории. Вот к чему. Страшно и опасно прикасаться к прошлому, к истории. К забвению.

К зеркалу…

…не менее, как первоначальный слепок моего безумия. Очаровательная мысль, не так ли? Да, брат, вот она, истинная плата за труды. Как там?

И будет ночь, как ночь покоя,

Как перья в ангельском крыле,
Запечатленною строкою
На остывающем челе.

Как там дальше, не помнишь? Когда-то я любил это стихотворение — давным-давно, в юности:

И вы не знаете, что будет,
И вам придет ночная весть…

Дальше не помню. Помню только, что рифма была неудачная — «смесь».

Да, брат, вновь стала многоречивой моя эпистола. А перечитывать и выправлять что-то, что-то вымарывать, вычеркивать — боюсь.

Боюсь, брат…

Стоит мне только перечесть письмо, как тут же отправится оно в печь, в огонь. И не придет к тебе, и не прочтешь ты его никогда, как не довелось тебе прочесть многого из того, что писал я только тебе и для тебя…

9

Июньская ночь была на переломе. В ночном небе по едва уловимым признакам уже предчувствовался рассвет. Ветер, налетавший с вечера резкими порывами, утих, и тишина стала ясной

и хрупкой.

Именно прозрачность и хрупкость предутренней тишины, подобная хрупкости стекла, заставили неспящего человека в спящем доме встать от письменного стола и подойти к окну.

Человек этот был невысок ростом, сух фигурою, желт лицом. Звали человека Александр Сергеевич Грибоедов, и его знала вся Россия как автора разошедшейся некогда в списках комедии «Горе от ума». Комедии прочили бессмертие, автору — тоже. Самому ему, впрочем, никакого дела не было ни до похвал, ни до ругани. Что же касается бессмертия, то и к сему щекотливому предмету он относился без любопытства. Растасканная на поговорки, словечки, размноженная по всей стране комедия давно уже стала безразлична автору, в глубине души он не считал ее ни своевременной, ни удачной. К тому же прошло невесть сколько времени.

Сжегши с вечера все бумаги, какие смог отыскать в ящиках бюро и старых сундуках, Грибоедов половину этой ночи провел у письменного стола. Он не написал ни единого слова, только сидел над чистым листом, обхватив голову руками. Перед глазами все еще стояла картина того, как огонь в камине медленно поглощает пожелтевшую

бумагу, как бумага корчится и чернеет в огне, как сургучи и воск старых печатей разжижаются в кровавые капли и шипя стекают на горящие поленья. По временам ему казалось, что такой финал и есть в высшей степени закономерный и справедливый финал любых писаний, ибо для чего писать, как не для того, чтобы стала бумага пищею древней всепоглощающей стихии?

Он сжигал старые письма и записи, черновики незаконченного и отвергнутого, полагая, что тем самым очищает свою память от сора, нанесенного за много лет. Прав ли он оказался в этой надежде — пока что и сам не знал. Во всяком случае в доме не осталось ни единого листа бумаги, за исключением того, что лежал на столе.

Сейчас он стоял у распахнутого окна и чувствовал некое оцепенение. Желтые сухие пальцы вросли в подоконник, желтое лицо — он видел отражение в створке окна — застыло, превратилось в неживую маску, и это ощущение усиливалось металлическим блеском оправы очков. Весь облик его стал хрупким — столь же хрупким, что и ночная прозрачная тишина. Но стоило с улицы донестись какому-то слабому звуку — то ли шагам ночного бродяги, то ли порыву стихшего было ветра, — как оцепенение оставило

Грибоедова, руки его расслабились, черты лица смягчились, он словно погрузился на мгновение в прохладную белесую синеву. Непривычная, отрешенно-рассеянная улыбка проявилась на бескровных губах. Он осторожно закрыл окно и повернулся.

Улыбка замерла и исчезла, едва он оторвался от окна, глаза похолодели, взгляд замерз.

Его все чаще раздражала скудная обстановка рабочей комнаты. Грибоедову не раз приходило в голову, что стороннему взгляду эта скудость покажется нарочитой, выставленной напоказ. Собственно, в этом его упрекнули однажды. Странно: он прекрасно помнил упрек и насмешливый голос, бросивший его, а вот кто сказал, кто упрекнул, не помнил. Ни лица, ни имени. Впрочем, не все ли равно?

Он вернулся к столу, отодвинул кресла, сел. Тонкими, чуть подрагивающими пальцами подкрутил фитиль настольной лампы. Свет ее был слишком слаб, его недоставало на освещение всей комнаты, и от стола казалось, что помещение не имеет ни стен, ни углов, что стол и кресла стоят посередине огромного пространства, замкнутого и в то же время беспредельного.

В подрагивающих бликах и без того желтые

руки выглядели еще более желтыми и сухими, особенно левая, давно, на дуэли простреленная Якубовичем.

Грибоедов взял из деревянного стакана перо, внимательно рассмотрел острие на свет, поморщился: слишком широкий разрез, он любил, чтобы перо оставляло тончайшую линию. Перо полетело в корзину, а Грибоедов принялся придирчиво перебирать остальные. Наконец остановился на одном, очень долго его разглядывал, пробовал пальцем. Достал из ящика стола перочинный ножик, подправил острие. Совсем уж было собрался подвинуть к себе одиноко лежащий лист бумаги, как взгляд его упал на едва освещенную книгу.

Медленно отложил он приготовленное перо, медленно, словно в раздумье, словно опасаясь чего-то, протянул руку, медленно раскрыл книгу наугад. И тут же (смешно!) наткнулся на опечатку. Недовольные морщины побежали из-под очков к уголкам рта. Грибоедов обмакнул перо в чернильницу и аккуратно исправил точку в книге на запятую. Потом закрыл книгу и долго держал ее перед глазами. Так долго, словно впервые видел, словно не сам написал ее. Словно не прошло с тех пор десяти лет.

Почти вслух, шевеля губами, прочитал то, что стояло на обложке:

— Петрополис. Трагедия в пяти актах. Сочинение Александра Грибоедова. Санкт-Петербург, тысяча восемьсот тридцать пятый год.

И отложил книгу. Пора было приниматься за письмо. Грибоедов пододвинул к себе лист, решительно ткнул перо в чернильницу. И на бумагу легла первая фраза:

«Милостивый государь Фаддей Венедиктович!»

Он писал, размеренно двигая рукой, размеренно поскрипывало перо по плотной бумаге. Это письмо он уже трижды или четырежды написал в уме — от первой до последней строки. Тщательнейшим образом отобрал, осмотрел и взвесил каждую фразу. И теперь рука сама двигалась, сама выписывала — аккуратно и без помарок — слова, одно за другим, словно кто-то диктовал:

«…имен моего противника и господ секундантов, не желая тем скомпрометировать не токмо их, но и Вас, ваше превосходительство. Что же до прочего…»

Перо на мгновение повисло в воздухе. Он помедлил, усмехаясь неизвестно чему, и дописал:

«…всего прочего, то тут я полностью полагаюсь на ваше превосходительство».

Он перечитал, подписался: «Александр Грибоедов», поставил дату: «Июня 20-го дня лета 1835». Аккуратно сложил письмо, сверху надписал: «Его превосходительству Господину Начальнику Канцелярии Фаддею Венедиктовичу Булгарину».

Отложил письмо в сторону. Рядом легли очки и книга. Оставалось еще одно дело, пустяковое, но необходимое, и Грибоедов сам не понимал, отчего медлит. Он сидел в кресле, поза его стала напряженной, лицо — он чувствовал это — вновь превратилось в неподвижную маску. Время шло, в комнате явственно светлело, а он все так же сидел, не двигаясь и даже не дав себе труда погасить лампу. Казалось, и мысли его застыли, подобно лицу.

Но вот он вновь ощутил ход времени, словно чья-то рука толкнула невидимый маятник, и маятник закачался, постепенно увеличивая размах колебаний.

Грибоедов вздохнул, лениво надел очки. Вынул из тумбы стола плоский широкий ящик. Положил ящик перед собой, откинул крышку. Ящик был обит изнутри красным, местами стершимся бархатом, и на этом бархате тускло блестели два старых дуэльных пистолета.

Он рассеянно провел пальцем по чеканке, взял

один из пистолетов, взвел курок, нажал на собачку. Сухо щелкнул кремень, вылетела искра.

Грибоедов положил пистолет в ящик, взял второй. С пистолетом в руке подошел к окну.

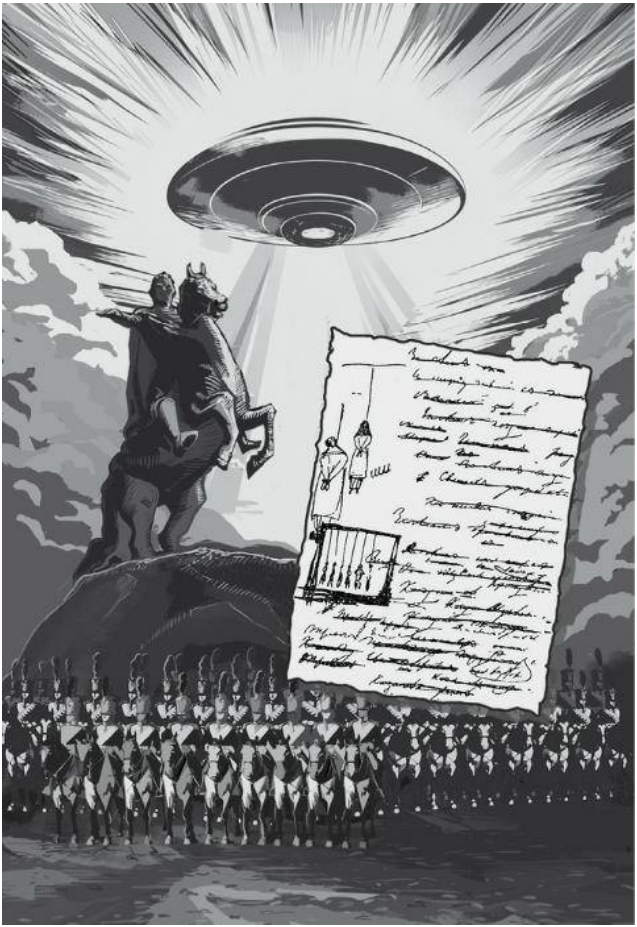
Город просыпался. Хотя на улице еще не появились люди, их присутствие чувствовалось где-то совсем рядом. И улица — уже не ночная, расплывающаяся в темной синеве, обычная улица. Легкий ветер несет вдоль тротуаров сухую пыль.

Город просыпался. Город обретал реальность, и одновременно теряла реальность комната, в которой он находился. И вновь, как когда-то, давным-давно, охватило Грибоедова странное, пугающее чувство — будто он некая расплывчатая фигурка, каприз художника, знак на картине. Вот-вот чья-то таинственная рука перенесет его.

Он потянулся к оконному стеклу, как к границе, отделяющей вымышленное пространство картины от реальности, и в ту же минуту напряглась его рука, держащая пистолет, щелкнул взводимый курок. Пистолет поднялся над просыпающимся городом.

Прогремел выстрел, оконное стекло разлетелось вдребезги, и хлынула в разбитую раму темнота.

Очень странные варианты



Дмитрий Осин
Шестая петля

— Заканчивая выступление, хочу подвести краткое резюме, — сказал Николай Тургенев, прокашлявшись. — Главная трудность издания будущего журнала состоит в двух вещах. Первое: необходим массовый расход его среди как можно большего числа подписчиков, включая сюда, собственно, крестьян, что подразумевает под собой сколь возможную дешевизну каждого нумера. Второе: не нарушая цензурных границ, исподволь проводить линию на коренное переустройство и перемену ныне существующего крепостного права, а точнее говоря, бесправия. И это будет главная задача нашего Вольного журнального общества.

Собрание зашумело, зашевелилось, кто-то сказал скептически, Вильгельм не успел заметить, кто именно:

— Массовый расход это прелестно, но позвольте спросить вас, милостивые государи, на какие шиши?

— Учредим паевую систему, — крикнули от

окна.

Общее бормотание прервал резкий насмешливый голос человека средних лет в штатском платье:

— Как вы себе это представляете, Николай Иванович? Мужик, забросивши все хозяйственные нужды, заботы о посевах, день и ночь напролет будет с жадностью вникать в научно-экономические штудии Адама Смита или, не в обиду вам будь сказано, в многоумный собственный ваш труд о налогах в империи? Вы в деревне-то бывали хоть раз?

Тургенев досадливо поморщился:

— Напрасно иронизируете, господин Грибовский. Нынешнее лето я провел как раз в своем имении Тургеневка в Симбирской губернии, поэтому знаю быт хлебопашца не понаслышке. Так вот, смею вас уверить, что собственными глазами наблюдал, как после полевых работ мужики собираются в кружок и с великим интересом слушают то, что читает им который-нибудь грамотный из них. К сожалению, таких пока немного, в основном дьячки или поповичи, проповедающие исключительно христианнейшее смирение перед власть имущими.

— Ну вот…

Не выдержав, Вильгельм вскочил, чуть не опрокинув стул, вытаращил глаза и крикнул:

— Необходимы народные повести! И поэмы! А также иллюстрированные листы с подписями и нравоучениями!

Тургенев согласно кивнул, Грибовский изумленно-неодобрительно оглядел его с головы до ног, а Вильгельм вдруг настолько сконфузился, что неловко поклонился в глухую стену с одиноким пейзажиком посередине, пробормотал какие-то извинения и вымелся в прихожую.

На улице почти смерклось и в отдалении фонарщики уже зажигали лампы на высоких столбах. Не обнаружив в пределах видимости ни одного извозчика, он решил идти домой пешком, благо до Калинкина моста было недалеко. И снова мысли о Софи воровски прокрались в сознание и изгнали оттуда все прочее и малосущественное.

Пять дней он не был у нее, и все эти пять дней невидимый и неощутимый мясник-мучитель резал тупым ножом его сердце. Да и как же ему было пойти, когда в последний раз, под вечер, по оплошке не доложившись прислуге, он вошел в гостиную и остолбенел. Мерзейший поэтишка Панаев в недопустимой близости сидел вместе с Софи на кушетке, и рука его нагло и по-хозяйски

обнимала ее плечи. Не проронив ни слова, Вильгельм убежал.

Изменщица, мрачно думал он, вышагивая по тихим улицам.

В литературный салон Софи, или Софьи Дмитриевны Пономаревой, его впервые привел Дельвиг. Было довольно интересно. Он впервые собственными глазами увидал знаменитого баснописца Крылова. Сидел, расплывшись в кресле, невообразимо толстый человек и посматривал вокруг себя хитренькими глазками.

— А вот, Виля, издатель Николай Иванович Греч, я тебе об нем рассказывал, — шептал Дельвиг.

— Как же, как же, наслышан, Вильгельм Кюхельбекер, поэт, — прогудел тот, пожимая руку. — Неоднократно читывал ваши поэзы в «Сыне отечества» и в «Соревнователе просвещения». Примите от меня искренние со…

Тут Греча толкнули, он запнулся, а Виле ни с того ни с сего почудилось, что тот сейчас закончит свою речь словом «соболезнования». Виля смертельно побледнел. Впрочем, никаких ужасов не случилось.

— Так вот, примите от меня искренние советы и наставления, как издателя и просто старшего по

возрасту человека, — не бросать столь успешно начатого дела.

А потом он увидел Софи и тут же забыл про все на свете. Удивительнее всего, что никаких конкретных примет ее внешнего облика не сохранилось в памяти. Так, нечто неопределенно-легкое, смеющееся, с очаровательными ямочками на щеках. Он даже не мог бы сказать, какого цвета на ней было платье, а вот ямочки почему-то запомнились.

— Виля, позволь тебе представить нашу очаровательную хозяйку Софью Дмитриевну Пономареву, — торжественно объявил Дельвиг.

Принимая для поцелуя душистую ручку, улыбаясь криво и дико, Виля пробормотал:

— Карл Вильгельмович…

Софи изумленно вскинула на него глаза.

— А мне говорили…

— Врет, врет, — захохотал Дельвиг, — никакой он не Карл, а наоборот, Вильгельм. Должен заметить, что еще с лицея он прославился как огромнейший оригинал. Представляете, однажды…

Виля бросил страшный взгляд на приятеля, после чего тот железным усилием воли согнал с лица улыбку и поспешно отошел, продолжая,

однако, подрагивать плечами от сдерживаемого смеха. Софи ласково улыбнулась, кивнула и тоже ушла.

В продолжение всего приема Виля исподтишка наблюдал за хозяйкой, но та была со всеми абсолютно ровна, приветлива и, к его глубокому удовлетворению, никому не отдавала явного предпочтения.

За ужином случился невероятный конфуз. Какой-то сутулый господин в синем сюртуке, не переставая болтать о чем-то с соседом, принялся наливать шамбертен в стоявшие поблизости фужеры и за разговором как-то ненароком пропустил Вилю. В этот момент Виля перехватил взгляд Софи, исполненный живейшего любопытства к происходящему, и закоченел на своем стуле. Потом лицо его побагровело и он медленно выпрямился во весь свой длинный рост.

— Милостивый государь, — сдавленным голосом произнес он, обращаясь к сутулому, — вы изволили обнести меня вином. Настаиваю, чтобы вы тотчас исправили свое невольное оскорбление.

Сутулый, глупо улыбаясь, глядел на него снизу вверх и растерянно хлопал глазами, что еще больше взбесило Вилю.

— Это подлость! Требую немедленной сатисфакции!

— Что такое? — вдруг пронзительно крикнул сутулый и растерянно огляделся.

Случилась сумятица. Сутулый плаксиво кричал: «Это черт знает что! В жизни не встречал ничего подобного! Я не позволю…» и порывался уйти. Виля молча раздувал ноздри. Насилу их угомонили и заставили помириться.

Через некоторое время Крылов, оживившийся при виде принесенного на стол запеченного поросенка с яблоком во рту, принялся услаждать собравшихся баснями собственного сочинения.

— Э, Иван Андреевич, — сказал кто-то, — басни нынче вышли из моды. Нынче в моде элегии, рондо — высокая поэзия.

Крылов хитренько сощурил заплывшие глазки:

— Не в том дело, любезный, что вышли из моды, а в том дело, что их сочинять надобно уметь. Надысь довелось мне читать басню «Змея и пила» графа Хвостова. Впечатление, я вам скажу, незабываемое:

Лежала на столе у слесаря пила.
Не ведаю, зачем туда змея пришла.

Вокруг засмеялись, и поэтому окончание басни Виля полностью не разобрал, только отдельные строчки:

Резвясь с пилой,
По ней рассыпало богатый, золотой
Чудесный отлив свой.

И тут Виля вдруг почувствовал какое-то неудобство, какое-то постороннее внимание к себе, будто именно он являлся автором злополучной басни. Он стал озираться по сторонам и вскоре обнаружил источник неудобства. Это была древняя старуха во всем черном, пристроившаяся на уголке стола и словно бы через силу клевавшая с тарелки что-то несущественное. Цепкий взгляд черных глаз, глубоко запавших в орбиты, внимательно и прицельно ощупывал его лицо. Каждый раз, когда Виля прямо взглядывал на старуху, она утыкалась носом в тарелку, но стоило ему отвлечься, как ощупывание возобновлялось. «А это что за ведьма?» — недовольно думал он.

Кто-то из близ сидевших предложил ей вина.

— Благодарствуй, сударик мой, — откликнулась старуха, — ты бы мне лучше оршаду налил, изумительный у Софьюшки оршад приготовляют.

Голос у нее оказался на удивление сильный,

звучный и очень приятный, чем-то напоминающий звуки виолончели.

В перерыве между переменами блюд он отыскал среди гостей гвардейского полковника Глинку, с которым был хорошо знаком и которого считал самым многознающим человеком в столице.

— Федор Николаевич, позвольте вас на два слова. — Они отошли к окну. — Не подскажете ли мне, кто вон та старушка в черном?

Глинка охотно рассказал, что это баронесса фон Клюге, родом не то из Дерпта, не то из Митавы, в общем из тех краев. Почти всю жизнь прожила за границей, а в 1784 году вернулась в Россию и обосновалась здесь, в Петербурге. Ведет очень уединенную и скрытую от всех жизнь, а с недавнего времени каким-то образом сблизилась с нашей прелестной Софи и с некоторыми другими молодыми дамами. Поговаривают, что причиной этому сближению стали некие тайные сеансы гаданий, которые старуха якобы устраивает для своих юных подопечных.

— Гадалка, — разочарованно сказал Виля, — цыганские фокусы.

— Не совсем, мой милый, — возразил Глинка. — Надобно вам знать, что, пребывая за границей,

баронесса очень сблизилась со знаменитым графом Сен-Жерменом, магом и чародеем по мнению тамошнего высшего света. Ходят слухи, будто он обучил ее некоторым из своих секретов и что она присутствовала при его кончине. Имейте наблюдение: она вернулась на родину в год его смерти. Кроме того, отдельные люди, не заслуживающие, впрочем, особого доверия, утверждают, что она была любовницей графа.

Виля весь перекосился от брезгливости. Очень не по сердцу ему были подобные альковные разговоры.

— Врут, наверное.

— Может, и врут, а может, и нет. Но, например, мой покойный дядя говорил лично мне, что баронесса в молодости была не так замкнута и под веселую руку рассказывала весьма любопытные и пикантные подробности о Сен-Жермене.

— Что же это за подробности такие? — недоверчиво спросил Виля.

— А вот хотя бы то, что у графа имелось большое родимое пятно в форме треугольника и что размещалось это пятно, простите за нескромность, на три вершка пониже спины.

Виля еще раздумывал над услышанным, когда его насторожила очень странная сценка. В

мельтешении человеческих фигур он увидел зловещую старуху, что-то шепчущую в ухо Софи, наклонившейся к ней. Затем старуха вытянула скрюченный палец в направлении Вильгельма, Софи послушно кивнула и снова подставила ухо к сморщенным губам. Что все это значило, Виля понять не смог, но как бы то ни было, после этой мимолетной мизансцены поведение Софи разом и неожиданно переменилось. Теперь она буквально не отходила от Вильгельма, словно забыв о своей роли радушной хозяйки, в обязанности которой входило общее руководство приемом, а не повышенное внимание к кому-то одному. Она так неприкрыто флиртовала с ним, пыталась увлечь остроумной беседой, кокетливо щурила глаза, что Виля даже испугался неизвестно чего, неожиданно для самого себя соврал, что у него имеются неотложные дела, и поспешно распрощался, неловко шаркнув ногой.

Следующие три недели запомнились Виле как сплошной непрекращающийся бред. Сладостный бред. Софи затягивала его в омут своей неотразимой прелести, как водоворот затягивает неопытного пловца.

Через несколько дней после знакомства Виля получил от нее первый долгожданный поцелуй,

после чего события понеслись по нарастающей, в стиле крещендо. Поначалу он сильно робел, оставаясь с Софи тет-а-тет, тревожно прислушивался к посторонним звукам и одними губами спрашивал: «А где же муж?» — «Объелся груш», — смеялась она в ответ.

Теперь он часто оставался у Софи, когда остальные посетители салона расходились восвояси, и несколько раз их действительно заставал муж, как правило подвыпивший, Аким Иванович. Видимо, он был, что называется, человеком широкой натуры и мало обращал внимания на их конфиденции. Виля стал испытывать к нему какое-то странное чувство — смесь тайного превосходства, легкого презрения и почему-то жалости.

Роман с Софи продолжал развиваться своим чередом, пока не завершился роковым вторником в первых числах августа.

Еще накануне сияющая от радости Софи сообщила ему, что Аким Иванович уезжает по делам в Псковскую губернию, вернется не раньше чем через пять дней, и что она ждет Вилю к себе в десятом часу вечера. Прислугу она к тому времени постарается спровадить куда-нибудь из дому.

Виля моментально понял, что означает это

приглашение, устроил у себя во флигеле полный курс туалетных процедур и в условленное время уже тихонько дергал шнурок дверного колокольчика. Тут же стукнула щеколда, как будто Вилю ожидали прямо за дверью, и Софи в небрежно накинутом на плечи пеньюаре впустила его в дом. Несмотря на то, что она изо всех сил старалась казаться спокойной и даже развязной, в глазах ее Виля прочел страшное напряжение. Ему даже показалось, что она мелко и беззвучно выстукивает зубами.

Как только дверь затворилась, Виля, заранее отрепетировавший в уме все свои возможные действия и фразы, приобнял Софи за талию и стал по возможности страстно нашептывать ей положенные в таких случаях слова. Сердце у него при этом колотилось, как заячий хвост. В одном месте он сбился и вместо ключевого периода «как мучимый адскою жаждой путник тайно желает припасть к роднику райских своих возжеланий» произнес «как райский путник припадает к тайному роднику адских своих вожделений». Что я плету, — ужаснувшись, подумал он, однако Софи этого, кажется, даже не заметила.

— Не здесь, — пробормотала она торопливо, — пойдемте наверх, ко мне в будуар.

В будуаре тоже оказалось все не слава богу. Софи, извинившись, куда-то отлучилась, а Виля стал нервически озираться. Огромная, ярко освещенная с той стороны ширма с цаплями неизвестно зачем перегораживала помещение. Виля из любопытства заглянул за нее. Ему показалось, что многие десятки свечей были как попало натыканы на каждое свободное место огороженного пространства. Низенький столик, на нем не то книга, не то тетрадь необычной треугольной формы, а рядом с книгой — желтый человеческий череп с наполовину выпавшими зубами — символ не только смерти или опасности, но и вечности, о чем романтически настроенный Виля читал еще в лицейской юности. Странные у Софи причуды. Кстати, ни одного стула поблизости не наблюдалось. Пожав плечами, Виля хотел уйти, как вдруг случайно зацепился каблуком за ковер, расстеленный перед столиком. Ковер сбился на сторону. Какой-то непонятный рисунок обнаружился под ним. Круг, разбитый на несколько секторов, нарисованный мелом, а может быть не мелом, а, скажем, известкой; по внешнему ободу круга в каждый сектор вписаны неведомые слова на неведомом языке, а в самом центре круга — чье-то схематически набросанное лицо, хмурое, с

закрытыми глазами. Какое-то неприятное лицо.

Тут с лестницы послышался голос возвращающейся Софи, он поспешно поправил ковер и шагнул к двери, чтобы встретить любимую.

А потом были минуты неописуемого блаженства. Мягкая кровать подхватила их заботливо и нежно, как тихо колышущийся океан подхватил бы две утлые лодочки одиноких мореплавателей. Как путников, стремящихся припасть к тайному роднику своих вожделений, — бессвязно подумал Виля и задавленно хихикнул. Надо сказать, в голове у него царил полный кавардак. Причиной тому, вероятно, было вино, которое принесла с собой Софи и бокал которого Виля послушно выпил. Странное было вино, какое-то необыкновенно густое и терпкое, даже горькое, пахнущее не то травами, не то какими-то приправами, вроде корицы. Оно моментально ударило в голову.

Поэтому, когда к их ритмическому движению вдруг примешался чей-то посторонний женский голос, Виля воспринял это без особого удивления. Как ему показалось, голос раздавался из-за ширмы, очень приятный и глубокий голос, даже как будто знакомый. Он негромко напевал неизвестную песню или, скорее, молитву, соблюдая строгую размерность и такт.

Одновременно Виля физически ощутил, как в него вливается внешняя и необоримая сила. Что-то невероятно древнее и могущественное овладело его разумом и телом. Перед глазами поплыли цветные линии, складываясь постепенно в лицо человека, изображенного в круге.

Шатались за ширмами огоньки свечей, шатался потолок, и Софи тихонько постанывала, кусая губы.

В тот момент, когда волна наслаждения достигла своего наивысшего предела, голос за ширмой вскрикнул необыкновенно отчетливо и громко, все свечи до одной мгновенно потухли, словно задутые невидимым ветром, и будуар погрузился в непроницаемый мрак.

— Ну вот и все, — чуть слышно произнесла Софи.

Все это вспоминал Вильгельм, уже подходя к своему дому у Калинкина моста.

Именно с того злополучного вторника все изменилось в их отношениях. Софи как будто перестала вовсе замечать его, а когда их взгляды случайно сталкивались, то поспешно отворачивалась, словно сам вид его стал для нее отвратителен. Виля несколько раз пытался выяснить, в чем причина столь разительной перемены, но

встречал только подчеркнутую холодность и лицемерное удивление. И вот не показывал носа в литературный салон уже пять дней.

Дома он попытался отвлечься делом и сел в очередной раз марать и перемарывать свою театральную драму «Аргивяне». Отвлек его от этого занятия Семен:

— К вам письмо, барин.

Виля принял плотный конверт с черным траурным бордюрчиком. Отправителем значился Аким Иванович Пономарев. Сердце оборвалось и застыло в мертвой пустоте.

«С глубоким прискорбием извещаю Вас, милостивый государь, что супруга моя София Дмитриевна Пономарева скоропостижно скончалась сего года 20 августа. Как близко знавшего Софию Дмитриевну, приглашаю Вас на гражданское отпевание, долженствующее состояться нынешнего числа в 9 часов вечера по известному вам адресу.

Аким Пономарев».

Виля сидел в оцепенении не меньше минуты, потом уронил голову на сложенные руки и разрыдался.

Через пятнадцать минут он бешено гнал пролетку, не жалея ни извозчика, ни лошадь, ни

безобразных матерных слов, обильно исторгаемых им в серое вечернее пространство. Извозчик безмолвно ужасался и нахлестывал квелую лошадку. Было уже значительно позднее девяти.

Запыхавшись, Виля подбежал к входной двери. Она была приотворена, изнутри слышался сдержанный звук многих голосов. Никого и ничего не замечая по пути, он бесцеремонно проталкивался сквозь одинаковые спины собравшихся, пока его не остановил знакомый приятный и звучный голос.

— Что это ты, сударик мой, пихаешься, ровно бык гишпанский?

Баронесса фон Клюге спокойно смотрела на него своими черными глубоко посаженными глазами и выглядела ничуть не опечаленной, а как будто даже довольной происходящим. Из-за этого Виля возненавидел ее еще больше.

Ничего не ответив, он двинулся дальше, но успел расслышать брошенную ему в спину фразу:

— Каждому свое время, таков вечный закон. Осталось восемь месяцев.

Что бы ни означали слова полусумасшедшей старухи, они моментально вылетели у Вили из головы, когда на подгибающихся ногах он при-

близился к гробу, обтянутому голубым бархатом, и посмотрел внутрь.

Скорбное и белое лицо Софи покоилось на белой же подушечке. Глаза были закрыты не плотно, поэтому виднелись из-под век мутные белки. Приподнятые как бы в недоумении или в укоризне брови. Сложенные на груди руки, которые он так часто целовал, сжимали тонкую свечку.

В ушах у Вили толчками шумела кровь, рот покривился. Все происходящее казалось ему страшным и неправдоподобным спектаклем. Он деревянным движением наклонился над покойницей, чтобы поцеловать ее в лоб, обернутый венчиком, и тут произошло невозможное.

Софи вдруг открыла глаза и уставилась на него жутким немигающим взглядом. В следующий миг он почувствовал, как ледяные руки обхватили его шею и потащили к себе, все ближе и ближе. Сзади истерически завизжала какая-то женщина, раздался топот множественных ног, болезненные ахи и охи, приглушенное рыдание, и весь этот гомон перекрыл мощный бас, произнесший сдавленно: «Господи, помилуй!» Милосердное сознание оставило Вилю.

Он видел сон. И до чего же странный был этот

сон, больше похожий на явь. Его шею по-прежнему сжимали с нечеловеческой силой, не давая дышать, слышалась барабанная дробь, потом из-под ног пропала опора, и он полетел вниз, круша и разламывая по пути что-то деревянное. Болезненный удар. Отчаянный вскрик рядом. Он ничего не мог разглядеть, поскольку голова его была закутана в какую-то белую тряпку. Он хотел сорвать ее с лица, но ничего не вышло. Руки оказались скрученными за спину. Да что же это происходит, ради всего святого?

Тут он обнаружил, что тряпка, закрывающая лицо, лопнула при падении. Да и не тряпка это была, а, скорее, что-то вроде капюшона или башлыка. Сквозь прореху он увидел, что находится в полутемном дощатом помещении наподобие погреба, а рядом с ним на земляном полу копошатся три белых продолговатых мешка. Мешки слабо постанывали.

Он еще продолжал упорно, но безрезультатно барахтаться, стараясь освободиться, когда приблизились возбужденные мужские голоса и кто-то безжалостно скомандовал:

— Поднять их, живее. Тащите наружу.

Его грубо схватили и поставили на ноги. Другой голос, как показалось Виле, более участливый,

произнес:

— Ну что ты будешь делать, людей нормально удавить не могут.

Ему ответил третий голос:

— Дело-то новое, непривычное. Веревки — дрянь, гнилые, вот и не выдержали.

Это, стало быть, меня удавили, то есть повесили, догадался Виля. А веревочка возьми и оборвись. Чудеса.

Его развернули направо, и он увидел, что в разломанной деревянной стене хмуро сереет неприветливый петербургский вечер. Или утро. Он инстинктивно рванулся на свет.

Давешний участливый голос произнес:

— Да тише ты, вашбродь. Чего ты дергаешься.

Страшный удар под дых заставил Вилю согнуться пополам, разинуть рот и захрипеть.

И одновременно кончился этот удивительный сон, лопнул, как разноцветный мыльный пузырь.

Когда Виля открыл глаза, то обнаружил над собой участливое, но совершенно потерянное лицо Акима Ивановича. Сквозь нервное заикание и пришепетывание Виля с трудом улавливал смысл его сбивчивой речи:

— То ли еще случается в жизни, милостивый

государь. Вот господин Протасов, известнейший в Петербурге врач, утверждает, что подобные явления вовсе не редкость в медицинской практике и объясняются строго научными причинами. Например, остаточные гальванические явления в мускулах тела или, прошу прощения, накопление внутренних газов, кои, высвобождаясь, сообщают телу видимость осмысленных движений.

Виля огляделся. Он лежал в прихожей на топчане и никого вокруг больше не было, только валялся на полу истоптанный и грязный носовой платок. Не желая ничего ни слышать, ни видеть, Виля с трудом поднялся на ноги и ушел.

Видимо, он заболевал. Похороны Софи на Волковом кладбище остались в его памяти только в образе промозглого дождя, скользкой глины под ногами и абсолютно незнакомых лиц, мокрых то ли от слез, то ли от дождя. Впрочем, одно лицо он все же узнал. Это была все та же баронесса фон Клюге. Каким-то воровским движением она сунула в гроб небольшую серебряную вещицу. Что-то вроде креста, только с кольцом наверху.

Потом гроб накрыли крышкой, забили гвоздями и опустили в яму. Все кончилось.

Той же ночью Виля впал в сильнейшую горячку. В бреду он отчаянно вскрикивал: «Нет, нет,

оставьте меня! Я не с вами!» Потом затихал, потом метался снова. Доктор выписал ему кучу пилюль и успокаивающую микстуру, также посоветовал для полного излечения переменить обстановку, съездить куда-нибудь, отвлечься.

Болезнь постепенно отступала, но почти каждую ночь Вилю мучили кошмары: то встающая из гроба Софи, то загадочная интермедия с собственным повешением. В конце концов он решился ехать за границу, благо Дельвиг подыскал ему синекуру при обер-гофмаршале Александре Львовиче Нарышкине, в прошлом году вышедшем в отставку с должности директора императорских театров. Нарышкин собирался совершить вояж по Европе, ему был нужен секретарь да и просто образованный собеседник, и Виля подошел как нельзя лучше.

Александр Львович оказался милейшим человеком, держался запросто и больше всего любил рассказывать о театре, которому отдал много лет, и о своей юности. Как-то раз в его устном мемуаре промелькнуло имя баронессы фон Клюге. Виля неприятно удивился:

— Как, ваше сиятельство? Вы были знакомы с этой вульгарной гадалкой?

Нарышкин строго посмотрел на него.

— Милый мой, я не советую тебе употреблять слово «вульгарный» рядом с именем фон Клюге. Баронесса была необыкновенной женщиной.

И рассказал прелюбопытную историю.

Как-то раз, пребывая в Париже, баронесса совершенно случайно познакомилась с неким маркизом де Монферат, впоследствии более известным как граф Сен-Жермен, и моментально в него втрескалась. Графу было на вид лет пятьдесят, а она в два раза его моложе. Правда, потом он пытался всех уверить, что в действительности ему не меньше трехсот лет, и даже более, что он владеет секретом омоложения. Некоторые верили. Так вот, случилось это где-то в пятидесятые годы прошлого века…

— Когда? — невольно перебил его Виля. — Сколько же лет ей сейчас?

— А этого, мон шер, не знает никто на свете. В юности она слыла первой красавицей, вплоть до кончины графа почти не менялась внешне, а после смерти внезапно постарела, стала носить только черные одежды в знак вечного траура и вернулась в Россию.

Далее Нарышкин поведал, что вернулась она не просто так, а с вполне определенной целью и что цель эта заключалась ни больше ни меньше как в

воскрешении своего возлюбленного. Физически и духовно. Вот тогда-то баронесса и стала собирать вокруг себя молодых и легковерных дам со всего Петербурга. В качестве приманки она использовала старенькую колоду Таро, якобы завещанную ей самим Сен-Жерменом и якобы обладающую необыкновенной предсказательной силой. Но, как шушукались по углам досужие кумушки, на самом деле она неким сверхъестественным образом забирала у девушек то, что нынче принято называть месмерической или жизненной силой, накоплять ее постепенно, чтобы в нужный момент разом пустить в ход. Действительно, многие из девушек, по наблюдению близких, неприметно чахли, теряли веселость и живость нрава, а некоторые даже умирали в цветущем возрасте.

Виля вздрогнул. Само собой всплыло воспоминание о том, как спокойно и почти удовлетворенно держалась фон Клюге в день отпевания.

Нарышкин, очень довольный произведенным впечатлением, ласково похлопал Вилю по плечу.

— Вот так-то, мой милый, а ты говоришь, вульгарная.

Вильгельм крепко задумался. Никак он не мог поверить до конца, что в просвещенный и насквозь рациональный XIX век возможны такие

чудеса, годные разве что для бабушкиных сказок. А с другой стороны… Софи, странные полубредовые видения в ночь близости, чудовищная сцена на отпевании… Нет, за этим явно что-то кроется. Но что именно?

Надо сказать, что ночные кошмары продолжали преследовать Вилю, и поэтому всякую минуту, свободную от обязанностей секретаря, он старался занять чем-нибудь посторонним. В каждом городе, куда они заезжали, он первым делом отправлялся осматривать всяческие музеи и достопримечательности и, вернувшись в гостиничный номер, бревном обрушивался в постель, мгновенно засыпал, не видя или просто не запоминая мучительных снов.

В Марселе, осматривая в толпе прочих любопытствующих средневековую крепость Святого Жана, он заблудился в многочисленных переходах и оказался в небольшой комнатке вроде полуподвала, единственное и очень узкое окно которой, расположенное почти на уровне земли, выходило на общую галерею. Перед его глазами важно проплывали подолы дамских платьев, метущие известняковые плиты, мужские сапоги, туфли. Вдруг окно почти полностью закрыл не то черный плащ, не то накидка. Знакомый до жути

глубокий, звучный голос раздельно произнес:

— Осталось три месяца.

И все исчезло. Остались только сапоги, туфли и подолы. Виля рванулся к выходу. Найти! Отыскать ведьму! Выяснить все до донышка! Но тщетны оказались его поиски — она словно бы растворилась в воздухе.

В эту ночь он долго не мог заснуть, так и сяк обдумывая произошедшее, а когда под утро задремал, то во сне увидел вот что.

Снова на голове его был белый капюшон, снова его направляли и нетерпеливо подталкивали в спину чьи-то грубые руки, а он, жадно приникнув глазом к прорехе, старался определить, где же он, черт побери, находится. В сером воздухе мелькнул купол Казанского собора и лента Невы. Виля попытался определить относительно них свое местоположение. Получалось, что где-то в районе Петропавловской крепости.

Он разглядел также, что вместе с ним конвоируют еще трех человек в белых балахонах. Один из них хромал, двое других еле-еле переставляли ноги. Все молчали.

И внезапно в этой мертвой тишине грянул оркестр. Необыкновенно бодрая и оптимистичная мелодия рванулась в утреннее небо. Лязгала

медь тарелок, ухал барабан, по-кошачьи визжали флейты.

— Ишь ты, как на смотру, — вдруг процедил хромой.

Виля споткнулся от удивления. Он узнал голос. Не может того быть!

— Рылеев, вы?

— Нет, папа римский, — со злостью ответил голос.

Пока Виля обдумывал дальнейшее продолжение разговора, их усадили на глинистый склон крепостного вала. И только тут Виля как следует рассмотрел, что дощатое помещение, где он оказался спервоначалу, было не погребом, а просто свободным пространством под помостом. На самом же помосте возвышалась длинная виселица, на которой тихо покачивались два тела в белых одеяниях. Солдаты копошились возле виселицы, спешно прилаживая новые веревки взамен оборванных. Виля насчитал четыре свободные петли, итого — шесть петель. Это, стало быть, для них.

— Но за что? — непроизвольно воскликнул он вслух.

Рылеев, словно бы прочитав его мысли, желчно ответил:

— За плохое поведение.

— Подождите, Рылеев, я действительно ничего не понимаю, — заторопился Виля. — Память у меня отшибло, что ли… Что такого мы сделали, чтобы… И что лично я сделал, заслуживающего казни?

— Ничего особенного. Застрелили великого князя.

Вилю скрутило в тошный узел от услышанного. Это просто не укладывалось в голове. Этого не могло быть! Наваждение! Просто, чтобы не молчать, он механически спросил:

— Которого же? Константина? Или, может быть, Николая?

Рылеев завозился рядом, видимо, устраиваясь поудобнее на окаменевшей глине, пробормотал невнятно:

— Вы, Кюхельбекер, наверное, действительно сильно зашиблись при падении. Николай Павлович, как вам должно быть известно, недавно стал царствующим государем, а убили вы Михаила, младшего из братьев Романовых.

Бог мой, Михаила! Это надутое и пустое ничтожество! Но ради чего, скажите на милость?

Происходящее опять напомнило Виле грубо срежиссированную и неумелую постановку.

Спектакль. Он снова взглянул на виселицу.

И тут случилась странная вещь. Сон во сне. Помост с шестью петлями вдруг размылся в утренних сумерках, вместо него появилось почти такое же, но в корне иное изображение: виселица с пятью свисающими телами. Шестой петли не было. И это было очень важно и очень правильно, все встало на свои места. Ощущение разыгрываемого спектакля исчезло.

— Вот оно что! — вскрикнул Виля и проснулся, обливаясь холодным потом.

Наконец-то они с Нарышкиным прибыли в Париж, эту святую землю изящества и просвещения. Виля был очарован великим и немного бесшабашным городом. Нарышкин целыми днями пропадал у многочисленных знакомых и родственников, а Виля прилежно писал литературные эпистолы для печати, адресуя их Дельвигу, которого на всякий случай обозначил как анонимного Д.

В один из дней он получил письмо от матушки. Та писала по-немецки, причем так неряшливо и торопливо, что он с трудом разбирал буквы. Немедленно возвращайся в Петербург, писала она, не то случится непоправимое. Над головой твоей, сынок, сгущаются грозные тучи, и близкая

беда караулит тебя, как вор в подворотне. Ко мне приходила неизвестная женщина, старушка, и нарассказывала таких ужасов, что я мало разума не решилась. Ничего конкретного она не сообщила, но упорно настаивала, что только возвращение домой может тебя спасти. Еще она велела дословно передать, что у тебя остался месяц времени. Что сие означает, понять я не сумела.

Виля сжал кулаки. Проклятая ведьма! Она уже и до матушки добралась! Убью гадину!

Нарышкин, ознакомившись с содержанием письма, милостиво отпустил его, не преминув заметить, что это ему очень жаль, что он очень привык к Вилиному обществу, что будет скучать, но успокоить мать — это первейшая заповедь каждого доброго христианина.

Через три недели Виля был в Петербурге. И новое письмо. Изысканным почерком, украшенным старинными завитушками, сообщалось: «Вам надлежит послезавтра весь день с утра до вечера провесть у себя дома. Ожидайте специально посланной для Вас кареты. Времени совсем не осталось». Подписи не было. Пугает, старая карга, решил Виля.

Означенный день он, как и было предписано в

посланию, провел дома. От волнения в горло не лез кусок, поэтому он подкрепился только тремя чашками кофию. Потом он оделся для выхода в город и, немного поколебавшись, сунул в карман сюртука заряженный пистолет с воткнутым в дуло шомполом.

За окнами стемнело, часы пробили 11 часов вечера, когда в дверь постучали. Это был извозчик или, правильнее сказать, кучер. Не произнеся ни слова, он повел рукой в сторону ожидавшей у крыльца кареты.

За всю поездку Виля только единожды нарушил молчание:

— Куда мы едем? — спросил он, высовываясь из окна.

Кучер ничего не ответил, но Виля и так догадался, присматриваясь к темным улицам: конечной целью поездки, без всяких сомнений, было Волково кладбище. Так и оказалось.

Возле скромной могилки Софи, которую обозначал только деревянный крест с именем погребенной, их уже ожидала баронесса фон Клюге, с нею еще какая-то женщина и рослый мужик в поддевке и с фонарем в руке.

— Я все знаю, баронесса, — начал Виля грозно и без обиняков. — Знаю ваши изуверские преступ-

ления и безбожный замысел…

— Ну, что ты можешь знать, сударик мой, — перебила его старуха каким-то усталым тоном, — разве только слухи и сплетни, которые громоздят вокруг меня несведущие.

— Я знаю, что вы непостижимым образом злодейски умертвили бедную Софи, чтобы забрать ее жизненную силу для оживления вашего любовника.

Она помолчала, наблюдая, как мужик в поддевке поставил фонарь на землю, извлек из травы лопату и стал аккуратно снимать с могилки верхний слой дерна. Немного погодя к нему присоединился кучер.

— В твоих обвинениях верна только последняя часть. Да, я хочу возродить Сен-Жермена к новой жизни. А что до Софи… Она была безмерно счастлива отдать свою временную и в сущности пустую жизнь, получив взамен нечто неизмеримо ценное. Душа ее пока здесь, но пришло время освобождения.

— Не вам судить о пустоте ее жизни, — хрипло сказал Вильгельм и вытащил из кармана пистолет. — Она была счастлива со мной, я это знаю.

Но старуха ничуть не испугалась:

— Счастлива, говоришь? Да ее тошнило от тебя.

И если бы не мой приказ, она бы за версту обходила такое чучело. Однако многие приметы и указания, которые я разглядела в тебе при первой встрече, толкнули меня на этот выбор. Да и потом частенько она плакалась у меня на груди, клялась, что видеть тебя не в состоянии.

— Врешь, ведьма! — рявкнул Вильгельм и навел дуло прямо ей в лоб.

Глаза баронессы вдруг сверкнули, как у кошки в свете фонаря. Она воздела левую руку ладонью вперед, и Вильгельм почувствовал, как все тело его сковало арктическим холодом. Пальцы судорожно разжались, пистолет упал в траву. Он не мог двинуть ни рукой, ни ногой, как будто превратившись в одну из античных статуй, которых он довольно насмотрелся в музеях Европы.

— Надеюсь, теперь ты понял собственное ничтожество перед силами, выходящими за пределы твоего понимания.

Несколько секунд она всматривалась ему в лицо, затем опустила руку. Вильгельм облегченно вздохнул и невольно отступил на шаг.

— Так-то лучше, — проворчала старуха, — ишь, развоевался. Если бы не условия обряда, я бы в жизни с тобой не стала связываться, с малохольным. Тем более приводить сюда.

— Так а зачем же… — он не договорил и умолк, но старуха поняла его и без этого.

— Затем, что младенца должны принять из лона руки отца.

Вильгельм ровно ничего не понял из сказанного.

— Какой отец? Какое лоно? — пробормотал он. — Что за чепуха.

— Ты должен принять у роженицы младенца и лишь затем передать его мне, потому что только я знаю, как поступить с ним дальше. Глупец, ты здесь только для того, чтобы принять у Софи вашего сына! Недаром я тогда за ширмой все силы выложила, чтобы зачатие произошло по древним установлениям.

Что-то забрезжило у него в мозгу:

— Значит, Софи была от меня беременна?

— Ну вот, догадался, наконец, сударик мой многомудрый, — явно издевательски проговорила баронесса.

Он оторопело молчал. Рассудок его мутился.

— Стало быть, вы откапываете ее, чтобы я…

Баронесса молча покивала головой. Виля отчаянным усилием попытался собрать вместе разбегающиеся мысли.

— Но… но ведь она же мертва!

— Для нас — да. Но не для тех сил, которые в этом задействованы. Возможности и могущества этого младенца превзойдут все, что известно до сих пор, ибо выношен он в двух чревах одновременно, в женском чреве и в утробе земли-матери.

Одновременно с этими словами раздался глухой стук лопаты о дерево. Мужик сбросил свою поддевку, что-то тихо сказал кучеру и, размотав обернутую вокруг пояса веревку, спрыгнул в яму.

Через несколько минут возле кучи вырытой земли стоял гроб, грязный, весь в клочьях некогда голубой сгнившей обивки. Заскрежетали выдираемые гвозди. Сняли крышку. Сдернули с трупа погребальную пелену.

Виля едва задавил в себе горестно-изумленный крик. Софи лежала как живая, ни малейшего признака тления и разложения не было на ее прекрасном и строгом лице.

— Это летаргический сон! — закричал Вильгельм и судорожно ухватился за край домовины. — Я читал про такие случаи!

— А ты, сударик, возьми ее за руку, — спокойно произнесла баронесса. — Иль щеку потрогай.

Виля послушно прикоснулся тыльной стороной руки к щеке лежавшей. Могильный холод. Он в

ужасе отдернул руку.

— А теперь, сударик, отойди в сторонку и не мешай. Здесь наше дело.

Пока они с второй женщиной производили над телом непонятные манипуляции, Виля покорно стоял в двух шагах и не мог оторвать глаз от снежно-белого, но по-прежнему милого лица, которое только и было видно из-за женских спин. Раздался треск разрываемой материи. Женщины отошли от гроба.

Старуха вынула из складок платья уже знакомую Виле книгу треугольной формы, бережно перелистала несколько страниц, но света фонаря явно недоставало, чтобы разобрать текст. Она сунула книгу под мышку и стала чего-то выжидать, то и дело поглядывая на тонкий серпик нарождающегося месяца, что-то прикидывая или высчитывая в уме.

— Время, — наконец решительно сказала она.

Она за руку подвела Вильгельма к гробу, треугольную книгу поднесла ко лбу покойной и стала нараспев читать свои тарабарские молитвы или заклинания. Вдруг тело Софи конвульсивно дернулось. Глаза распахнулись, в точности как в тот кошмарный вечер, она подняла руки, но не к обмершему Виле, как он почему-то

ожидал, а к своему раздутому, как и у обычных беременных, животу. Она обхватила его руками, раскинула ноги (платье было заранее разорвано старухой), и с губ ее сорвался хриплый мучительный крик.

Виля шарахнулся было в сторону, но налетел спиной на кучера, который тихо подошел сзади.

— Выходит! Скорее принимай, черт, недотепа! — вопила баронесса.

Виля вытаращил глаза и сознание его на какое-то время как бы отключилось.

А еще через какое-то время он обнаружил, что стоит рядом с гробом, а в руках у него копошится и пищит серовато-розовый младенец. Виля с любопытством осмотрел его и заметил на сморщенной попке небольшое родимое пятно правильной треугольной формы. Да-да, он уже слышал где-то про такое пятно. Неужели это мой сын, удивленно подумал он.

— Давай его мне, скорее, — приказала баронесса.

Он подчинился. Старуха в свою очередь тоже внимательно осмотрела дитя, тоже заметила пятно и радостно улыбнулась. На вытянутых руках она подняла новорожденного к небу, усеянному звездами, и торжествующе провозгласила:

— Прими чадо твое, прими вновь родившегося, прими великого Сен-Жермена!

Потом она передала ребенка второй женщине, по всей видимости, специально нанятой кормилице, со словами:

— Держи, милая, да, гляди, аккуратнее. Закутай его сразу же, чтобы не простыл на воздухе. Поезжай домой, я буду чуть погодя.

Виля, нахмурившись, проводил глазами кормилицу с ребенком на руках. Внезапно он ощутил чувство утраты. Что-то важное закончилось, а новое притаилось впереди в размытых сумерках.

— Что ж, сударик мой, осталось последнее, — произнесла баронесса, внимательно глядя на него. — Но это зрелище, пожалуй, будет не для тебя. Слишком ты тонок душой, впечатлителен.

— А что такое? — вяло поинтересовался Виля.

— Сейчас я выну из гроба анкх, египетский оберег в виде окольцованного поверху креста, который положила в день похорон. И тогда все известные природные законы снова вступят для Софи в свою силу. Ты, пожалуй, отвернись на это время.

Так Виля и сделал. Он слышал, как за спиной шуршит платьем и бормочет что-то под нос старуха, затем раздался словно бы хлопок в ладоши

и тут же дробный перестук, словно вывалили из мешка мелкую картошку.

— Семен, можно заколачивать, — громко позвала баронесса мужика в поддевке. — Как зароешь могилу, не забудь разровнять землю, а сверху хоть листьев каких накидай, что ли.

Она подошла к Виле, взяла его под руку и увлекла к выходу, где смутно различалась кладбищенская часовенка.

Виля долго молчал, потом решился на вопрос:

— Будет ли мне позволено хоть изредка его видеть?

Старуха поняла, о ком идет речь.

— Нет, сударик, нельзя. Да ты и сам это понимаешь, так ведь?

Он неопределенно пожал плечами.

— Считай, что ничего не было, — продолжала она с неожиданной теплотой в голосе. — Тебе же легче будет.

— Сказать-то проще простого, — возразил он, — столько всего приключилось со мной за последнее время, что, пожалуй, забыть будет трудновато. Обрушилось на меня, как обвал в горах, ни с того ни с сего, за здорово живешь.

Старуха ничего не ответила, только покрепче сжала ему руку, и некоторое время они шагали

молча, думая каждый о своем.

— Нет, не за здорово живешь, — вдруг твердо произнесла она, — тебе положено вознаграждение.

— И в чем же оно состоит? — несколько иронически спросил он. — Франки, английские фунты, немецкие талеры?

— А хотя бы в том, что отныне сгинут все твои кошмарные сны про шестую петлю.

Виля в изумлении остановился посреди тропинки. Откуда она знает про его сны?

— Я, сударик, много чего знаю. А если и не знаю, так догадываюсь. Не будет никакой шестой петли. Пистолет твой упадет в снег, порох намокнет и произойдет осечка. И жить тебе после этого еще много лет. — Она помолчала. — Не цветами будет выстлана твоя дорога, но ты человек упрямый, и свой выбор будешь блюсти до конца. Может быть, в этом и заключается для таких, как ты, подлинное счастье. Это и будет тебе дар от только что родившегося сына. Не спрашивай меня, как это может быть, я и сама не знаю. Вернее, не могу объяснить, ибо нет таких слов и понятий в человеческом языке.

Они подошли к ожидавшему экипажу, и баронесса вынула руку из-под его локтя.

— Садись, сударик мой, в карету. Я тебя домой подвезу.

Татьяна Минасян, Александр Путятин
Кто ты и откуда?

Дьяволы состоят из падших ангелов и выдвиженцев из людей.

Станислав Ежи Лец

Батово, Санкт-Петербургская губерния, 1798 г.

Сознание медленно, тяжело возвращалось в реальность, выбираясь из-под обломков сна. Черное небытие не хотело отпускать его, тянуло назад, но оно все-таки вырвалось из ледяной темноты, стряхнуло с себя остатки ночного кошмара и окунулось в мир живых, в яркий свет, в тепло хорошо натопленной комнаты. В тишине просторной спальни раздался шумный вздох облегчения.

Анастасия села на кровати, еще не открывая глаз, провела ладонями по лицу и лишь после этого с трудом приподняла тяжелые веки. Возвращение к жизни было непростым, она никак не могла поверить, что с ней все хорошо, что она находится у себя дома, в собственной постели, что ничего из того, что ей только что снилось, на самом деле не было… А что ей снилось?..

Женщина мучительно наморщила лоб, пытаясь вспомнить, что она видела секунду назад. Это было что-то страшное, настолько невыносимо страшное, что даже просто думать об этом было почти физически больно. По сравнению с этим реальная действительность казалась самым настоящим раем, и это несмотря на все несчастья, которые в ней были и о которых женщина невольно вспомнила в следующее мгновение. Да что же там было, во сне? Может, и к лучшему, что оно сразу забылось, может, и не стоит пытаться об этом вспомнить?

«Что там могло быть настолько ужасным, что мне было страшнее, чем наяву? — пронеслось в голове у Анастасии. — Разве есть на свете что-то худшее, чем то, что творится в моей жизни сейчас?»

Она медленно встала с кровати и потянулась к перекинутому через подлокотник стоящего рядом кресла домашнему капоту. Мрачные мысли о реальной жизни со всеми ее страхами и робкими надеждами заставили ее ссутулиться, словно под тяжестью давящего на плечи груза, и она двигалась медленной шаркающей походкой, словно ей было не сорок лет, а все шестьдесят, и ведь еще недавно она выглядела намного моло-

же своего возраста. Неуверенными шагами она направилась к двери и внезапно остановилась на полпути, замерла неподвижно, прижав ладони к лицу и затаив дыхание.

Воспоминания о только что увиденном во сне обрушились на нее так неожиданно, что она едва устояла на ногах. Нет, она ошибалась — есть на свете более страшные вещи, чем ее теперешняя жизнь, гораздо более страшные!

…Странный красноватый свет, как на закате солнца, заливающий спальню, но словно бы льющийся не только с неба, а со всех сторон и даже снизу… Сухой горячий воздух, какой бывает в самый разгар летней жары… Красивое, но суровое, даже злое лицо склоняющейся над ней молодой женщины… «Неужели ты хочешь такой судьбы своему ребенку? Своему единственному, любимому сыну?..»

Анастасия вжималась в подушку, пыталась отодвинуться, пыталась вскочить, но не могла пошевелить даже пальцем. А перед глазами у нее сменяли одна другую такие яркие, живые картины будущего: комната в ее усадьбе с играющим на полу маленьким мальчиком, учебный класс, где этот же мальчик, уже подросший, что-то пишет вместе с другими учениками, бальный зал,

где он, уже совсем взрослый молодой человек в военной форме, кружится в вальсе с нарядной красавицей… тюремная камера, слабо освещенная маленьким огарком свечи, он сидит на койке и смотрит в темноту остановившимся взглядом… высокая каменная стена крепости, возле которой стоят пять виселиц, его, вместе с еще четырьмя молодыми людьми подводят к ним…

«Хочешь ему такой судьбы?»

«Нет! — беззвучно шептали губы Анастасии. — Нет, я не хочу этого, совсем не хочу!!!»

Какая мать ответила бы на ее месте иначе?!

«Значит, ты понимаешь, что твоему сыну лучше умереть теперь, до того, как он стал преступником? — продолжала ее собеседница. — Ты согласна прямо сейчас попрощаться с ним?»

Любая мать закричала бы в ответ: «Нет! Ни за что?!» Почему же Анастасия этого не сделала? Этот вопль, по-прежнему беззвучный, рвался у нее из горла — почему же она выкрикнула совсем другие слова? «Я не могу… Дай мне подумать!»

Алый свет стал темно-багровым, лицо нависающей над ней женщины исказилось от гнева: «Я пожертвовала своим сыном, не колеблясь! Чем ты лучше меня?!»

«Я не лучше», — собралась было начать оправ-

дываться Анастасия, но какое-то неведомое чувство подсказало ей, что этого делать нельзя. Что сейчас вообще нельзя спорить, а можно только одно — тянуть время, просить отсрочки. «Дай мне подумать», — снова сказала она и приготовилась повторять эти слова столько раз, сколько потребуется, хоть десять, хоть сто.

Но как оказалось, достаточно было произнести эту просьбу только один раз. Стоило женщине повторить ее, как багровый свет быстро начал меркнуть и наступившая темнота скрыла все вокруг, включая и лицо той, которая требовала от Анастасии невозможного.

А потом Анастасия проснулась и не сразу вспомнила этот сон. Но все-таки вспомнила…

Встряхнув головой, она выпрямилась и почти бегом бросилась к двери. Минуту назад ее можно было принять за древнюю старуху, так тяжело она двигалась, но теперь ее словно подменили — она выскочила в соседнюю комнату, легко, как юная девушка, пробежала через нее, дернула ручку следующей двери и осторожно, стараясь не шуметь, приоткрыла ее и заглянула в еще одну маленькую комнатку, где пахло лекарствами и царил мрачный, почти зловещий полумрак. За окном, в просвете между не до конца задер-

нутыми шторами, клубилась черная тьма — до рассвета оставалось не меньше двух часов. В комнате же едва тлела догорающая оплывшая свеча — почти такая же, какую Анастасия только что видела во сне, в темной зловещей тюремной камере.

В полумраке хозяйка дома с трудом разглядела детскую кроватку и сидящую рядом с ней в кресле няню. Голова девушки бессильно свесилась на плечо, и она казалась спящей, но когда Анастасия шире распахнула дверь и вошла в детскую, тут же вздрогнула и открыла глаза.

— Марьяша, ты спишь? — шепотом позвала ее Анастасия.

— Что вы, барыня, не сплю! — так же шепотом отозвалась няня, устало замотав головой. Было видно, что заснула она недавно, под утро — возможно, вообще только что.

— Как он? — еще тише, одними губами спросила хозяйка, на цыпочках подходя к кроватке, в которой, закутанный в одеяло и накрытый сверху еще и пуховым платком, спал трехлетний малыш.

— Ночью был сильный жар, но сейчас ему лучше, — ответила няня, приподнимаясь с кресла.

С трудом подавив вздох облегчения, Анастасия

наклонилась над ребенком и осторожно дотронулась до его лба. Он был теплым, но все-таки не таким горячим, как накануне, и спал мальчик спокойно, его дыхание казалось ровным и почти здоровым, разве что довольно слабым. Его мать все-таки не удержалась и шумно выдохнула, облокотившись на край кроватки, словно ей тяжело было даже просто стоять возле нее. На мгновение она, казалось, потянулась к ребенку, собираясь поцеловать его выглядывающее из одеяла личико, но потом, побоявшись разбудить его, выпрямилась.

— Марьяша, — повернулась Анастасия к девушке, — доктор обещал приехать после полудня. Скажи Прасковье, чтобы встретила его, накормила и провела к нему, — она кивнула на своего спящего сына. — А мне сейчас надо срочно съездить в Рождествено, и я не знаю, когда вернусь.

— Да как же вы поедете-то? Ночью метель была, дорогу замело! — запротестовала Марьяша, но хозяйка уже решительно шагнула к двери.

— Мне надо в Рождествено, это очень срочно, — повторила она и неслышно вышла из детской, притворив за собой дверь.

Рождествено, Санкт-Петербургская губер-

ния, 1798 г.

Утреннее небо немного посветлело, из непроницаемо черного сделалось темно-синим. Окна маленькой деревянной церкви, стоявшей на краю села Рождествено, светились тусклым, но теплым оранжевым светом, и выбравшаяся из саней Анастасия заспешила к ним, проваливаясь в глубокий снег, но стараясь идти как можно быстрее. «Который теперь час? — спрашивала она себя, тщетно пытаясь вспомнить, во сколько покинула свою усадьбу. — Ехали мы долго по этим сугробам… Утренняя служба должна была уже кончиться… Хоть бы отец Михаил никуда не ушел!»

Несколько минут спустя она поняла, что не ошиблась. Ее духовник сидел рядом с ней на узкой скамейке, где во время служб устраивались пожилые прихожане, которым тяжело было долго стоять, и с сосредоточенным видом слушал ее сбивчивый рассказ.

— Поймите, отец Михаил, мне много раз снились кошмары, самые разные, но все они не были похожи на этот сон, — пыталась объяснить Анастасия. — В этом сегодняшнем сне все было как наяву… почти как на самом деле… я видела свою спальню во всех подробностях, чув-

ствовала, как тянет холодом от окна и теплом от печки, чувствовала, что у меня под головой мягкая подушка… И в то же время там все было… необычным… не знаю, как сказать… неземным, потусторонним! Это нельзя описать словами, но это чувствовалось! Этот красный свет был из иного мира, в обычной жизни не бывает такого оттенка… Но это не главное… Та, с кем я разговаривала… она тоже была не из обычного мира, она была… чужой? Чуждой нам? Было такое ощущение, что она не должна здесь находиться и что она не может быть здесь долго… Нет, я не могу, я не знаю, как объяснить!

Женщина прижала ладони к лицу, опустив голову. Священник осторожно коснулся ее руки успокаивающим жестом.

— Я вас понимаю, Анастасия Матвеевна, — сказал он тихо, но уверенно. — Я знаю, о чем вы говорите. Поверьте, вы далеко не единственная, кто столкнулся во сне с бесами. Скорее всего, вы стали их жертвой, потому что сейчас очень уязвимы — вы же переживаете из-за болезни сына! Вот они и ударили в ваше самое слабое место, разожгли еще сильнее ваш самый большой страх.

— Конечно, это мой самый большой страх! — воскликнула женщина. — Вы же знаете, у нас с

мужем много лет не было детей, и мы уже смирились с тем, что их не будет — и вдруг случилось такое счастье! Этот ребенок — все, что у меня есть, он мой единственный сын, больше всего на свете я боюсь… что его не станет…

— Все в руках Божиих, вы это знаете… — попытался вставить слово ее собеседник, но она продолжала, не слушая его, торопясь выговориться:

— Ему было совсем плохо несколько дней, а во сне мне пришлось выбирать, что лучше — потерять его сейчас или через много лет, когда он станет взрослым и из-за него погибнут сотни людей!

— Никто не может знать заранее, кем маленький ребенок станет, когда вырастет! — священник тоже повысил голос. — У человека есть свобода воли, значит, то, кем он станет, зависит только от его собственного выбора. А вы, как мать, можете только постараться воспитать вашего сына так, чтобы он не стал преступником. Вот так вам надо отнестись к словам искушавшего вас беса: не верить им и растить своего сына добропорядочным человеком!

— Но что, если это был не бес? Женщина, которая ко мне явилась, сказала, что она — Бо-

городица, Дева Мария! — простонала Анастасия сквозь покатившиеся у нее из глаз слезы. — Разве это возможно, чтобы бес прикинулся матерью Христа?!

— Очень даже возможно, почему нет? — вздохнул ее собеседник. — Он выбрал именно такой облик, потому что в этом случае вы ему, скорее всего, поверили бы. Вы ведь поверили?

— Да… — с сомнением посмотрела на него женщина. — Я и сейчас… не уверена, что это была не она…

— Анастасия Матвеевна, вы же знаете — нельзя верить снам! Чаще всего они ничего не значат, но иногда могут быть бесовским наваждением. Но в обоих случаях то, что мы видим во сне, — неправда. Не хочу вас пугать, но ваш сегодняшний сон может повториться, потому что враги рода человеческого почувствовали, что вы их испугались. Но вы же помните, как с ними можно бороться? Крестом и молитвой, которых они боятся. Вопросом «Кто ты и откуда?», на который они не смогут убедительно солгать, выдадут себя — разозлятся, вернут себе свой обычный облик и либо сами исчезнут, либо их несостоявшаяся жертва проснется.

— Отец Михаил, это я все знаю, но… — Ана-

стасия подняла на священника испуганные глаза. — Ведь бывали случаи, когда некоторым людям являлись святые… не бесы, принявшие их обличья, а действительно святые. И иногда они являлись во сне… Что, если…

— Вы считаете себя настолько исключительным человеком, что к нему могла явиться сама Богородица? — прищурился отец Михаил. — Это уже называется гордыней…

Анастасия смущенно опустила голову:

— Нет, что вы, конечно, нет… Я не это имела в виду… Но ведь мы, простые смертные, не можем знать всего! Я не исключительный человек, и мой сын — не исключительный, но что, если в будущем он окажется в центре каких-то страшных событий? И ему… действительно лучше не дожить до этого?..

Она вновь закрыла лицо руками, и ее плечи мелко затряслись от рыданий.

— Вижу, я вас не убедил, — вздохнул ее собеседник. — Успокойтесь, прошу вас! В одном вы правы — никто из нас не может сказать, что все знает и понимает… И я не могу. Хотя также не могу представить, чтобы мать Нашего Спасителя могла сказать другой матери, вам, такие жестокие вещи… Но вас ведь и это не убедит?

Женщина чуть заметно покачала головой, вытирая слезы.

— Вот что, Анастасия Матвеевна, — внезапно оживился священник. — Поговорите еще с одним человеком, моим другом, Краскиным Дмитрием Савельевичем. Он историк и теолог, член Российской Академии наук, доктор Сорбонны, много знает о прошлых веках, и, мне кажется, сможет вам объяснить, чем явления святых отличаются от бесовских наваждений. Сей ученый муж в наших краях проездом, с разрешения Синода осматривает монастырские библиотеки. Сейчас квартирует у купца Веревкина, рядом с постоялым двором. Двухэтажный дом с мезонином через две улицы отсюда, я сейчас объясню, как туда дойти… Скажете, что вы от меня и что я очень просил его вас выслушать и сказать свое мнение.

— Но мне надо домой, в Батово, — начала было возражать Анастасия. — Мой сын там один, с нянькой и горничными… муж сейчас в Петербурге…

— Ваш сын сейчас под присмотром, и вы сами сказали, что у него будет врач, — напомнил ей отец Михаил. — Поговорите с моим другом — если уж мне вы не доверяете, может, у него

получится вас успокоить?

Врываться к чужому мужчине без приглашения, да еще и с утра, было верхом неприличия, но речь шла о ее ребенке, о его жизни, здоровье, о его судьбе, и Анастасия решила наплевать на условности.

Во дворе купеческого дома уже вовсю кипела жизнь. Дворник сметал с крыльца снег, у распахнутых ворот лабаза два мужика грузили на сани тюки с товаром. За ними присматривал закутанный в тулуп приказчик со смоляным факелом в руке. Узнав, что к приезжему историку ее направил отец Михаил, дворник прислонил к перилам метлу и широко раскрыл двери.

— Проходите, барыня! — поклонился он Анастасии. — У нас здесь по-простому, не обессудьте. Хозяин с хозяйкой в городе, а квартирант на месте. Он завсегда до свету встает, словно солдат по барабану… И все пишет, пишет. В какой час дрова ни принесешь, все за столом, и перо гусиное по бумаге скрипит. Сейчас вас ключница проводит. Прасковья Филатовна, принимай дорогую гостью!

На ключницу имя отца Михаила произвело то же магическое действие, что и на дворника. Ни сомнений, ни размышлений. Казалось, посоветуй

им священник ходить по снегу босиком, тут же снимут валенки и забудут о них до следующей зимы.

— Присядьте пока здесь, барыня! — сказала Прасковья, проведя Анастасию в жарко натопленную горницу. — Я доложу, что вы пришли.

Дмитрий Савельевич оказался пожилым, но крепким и плечистым мужчиной. Глядя на белоснежно-седую голову и густую сеть морщин в уголках глаз, ему можно было дать и семьдесят, и восемьдесят лет. Но легкая пружинистая походка и размеренные, точные движения рук скорее подошли бы тридцатилетнему гвардейскому офицеру. Сюртук английского сукна тончайшей выделки стоил дороже, чем лучшее платье Анастасии.

«Сколько же ему лет? — невольно подумала она. — И как обращаться? По имени-отчеству? А вдруг он в больших чинах? Еще обидится… Отцу Михаилу мирская суета чужда. Ему что холоп, что князь — все люди Божьи. А как этот, столичный?..»

Оказалось, так же.

Уже через пару минут они сидели за столом друг против друга и говорили об общих знакомых, коих нашлось великое множество. Языки

пламени шести свечей — перед уходом ключница разожгла их все — ярко освещали горницу. В печи гудели и потрескивали горящие дрова.

— …Однако заговорил я вас, Анастасия Матвеевна, — плавно закруглил светскую беседу историк. — У вас ведь дело ко мне? Важное. Срочное.

Говоря это, Дмитрий Савельевич чуть подался вперед, и Анастасия увидела в его бездонных карих глазах озорные, насмешливые огоньки. Или это отблески свечей? Она почувствовала, как краска стыда заливает ей щеки.

— А почему вы думаете?..

— С другим-каким вы бы не приехали, — пожал плечами историк, и в его голосе не было слышно ни озорства, ни насмешки: значит, показалось. — Рассказывайте! Я хоть и не духовное лицо, а тайны храню не хуже Мишки Хромова… Извиняюсь, отца Михаила.

Анастасия уперлась взглядом в покрытое ледяными узорами окно, за которым все еще не до конца рассеялись густые утренние сумерки, глубоко вздохнула и начала рассказ, словно в омут с головой нырнула. Дмитрий Савельевич сидел неподвижно, подперев руками подбородок.

— Ваши сомнения понятны, — сказал он,

дослушав окончание ее разговора со священником. — Скажу больше: они типичны для нашего века. Русская церковь невысоко оценивает силу адского воинства. То же мнение господствует и в народе. Типовой сюжет русских сказок: как хитрый мужик обводит вокруг пальца доверчивого дьяволенка. Самая популярная из пословиц: «Не так страшен черт, как его малюют». Наш народ верит в нечистую силу, но не боится ее. Священники учат, что чертей легко одолеть с помощи креста и молитвы… В Европе иной взгляд на адское воинство. Там считают, что демонов вокруг не сотни и не тысячи — миллионы, а по силе и могуществу сатана практически равен Богу. Образы эти приходят к нам в Россию исподволь: из немецких сказок и французских романов, из британских книг по экономике и философии, из итальянских богословских трактатов. Приходят и смущают души… Но даже римские богословы уверены, что, соблазняя человека, бесы могут ошибиться, выдать свою адскую сущность… Именно эти ошибки я постараюсь найти у явившейся к вам фальшивой «богородицы». Готовы мне помочь?

Анастасия кивнула.

— Отлично! Тогда напрягите память и скажите,

какой вам показалась эта женщина. Она добрая или злая?

— Трудно сказать…

— А все-таки? Если выбирать только из этих двух слов, без оттенков и полутонов: какое больше подходит?

— Злая, наверное…

— Тогда второй вопрос: как вы узнали, что она Богородица? Это чувство пришло к вам изнутри, от сердца, или она сама так назвалась?

— Она…

— Тот свет, что вы описали «как из иного мира», был золотистым, как солнечный, или красным, словно тлеющие угли?

— Скорее красным…

— А сверкающий нимб над головой? Яркий, как на иконах… Вы его видели?

— Какой-то свет там был… Я не уверена. Возможно, нимб скрыла прическа… Она была сложная и пышная, как будто для бала.

— А туфли? Вы видели ноги?

— Нет… Сейчас припоминаю: платье до пола и длинный шлейф.

— Подведем итог! Если ловкому бесу нужно спрятать от нас рога, копыта и хвост, прическа и платье такой лже-Богородицы — лучшая из

форм маскировки. Окружавший ее красный свет больше похож на адское пламя, чем на сияние райских кущ. Нимба над головой нет. Зато налицо призыв: совершить грех детоубийства. К какому выводу мы приходим?

— Отец Михаил был прав: мне явился демон.

— Возможно. Но с научной точки зрения, необязательно. Это мог быть ночной кошмар, вызванный волнением за сына… А еще недавно появилась гипотеза о множественности миров. Некоторые в Европе считают, что Господь населил людьми не одну лишь Землю, а множество планет, именно так трактуют фразу Христа: «В доме Отца Моего обителей много». Как знать, может, их жители могут являться к нам во снах… Или наяву. Хотя в последнее трудно поверить.

— Вы думаете…

— Все возможно. Но главное не в этом! Сон, демон, женщина другого мира — это все не Богородица. И значит, действовать нужно, как подсказывает сердце! А что оно вам говорит?

— То же, что отец Михаил.

— И всякий раз, когда вам покажется, что он неправ…

— Я стану вспоминать наш с вами разговор… И сомнения исчезнут. Спаси вас Бог, Дмитрий

Савельевич!

— До свидания, Анастасия Матвеевна! Поклонитесь от меня отцу Михаилу, как увидите. Лечите сына. Учите его добру и надейтесь на лучшее!

Выйдя на улицу, Анастасия поежилась от холода — то ли мороз усилился еще больше, то ли ей так казалось после натопленной комнаты и горячего чая, которым угощал Дмитрий Савельевич. Зато солнце наконец поднялось над горизонтом, и село было залито его золотистым светом — таким ярким, что, отражаясь от засыпавшего улицы снега, он слепил глаза и заставлял ее щуриться.

Быстрым шагом, не глядя по сторонам, она направилась к церкви, рядом с которой ее должны были ждать сани. Надо было спешить, она не ожидала, что проведет в Рождествено так много времени. Надо было скорее вернуться к сыну — что бы ни говорили ей отец Михаил и ее новый ученый знакомый, больше всего на свете она хотела сейчас увидеть своего ребенка и убедиться, что ему не стало хуже.

— Беги, беги быстрее! — неожиданно услышала она за спиной чей-то скрипучий старческий голос. — Беги к сыночку, приласкай его — ему недолго осталось!

Анастасия шарахнулась в сторону и оглянулась

— за ней шла маленькая сгорбленная старуха, закутанная в несколько торчащих друг из-под друга шерстяных платков. Они встретились глазами, и старуха скорчила уродливую гримасу, словно специально попыталась стать еще страшнее и неприятнее.

— Любишь сыночка? — спросила она все тем же дребезжащим голосом. — Если любишь, не дай ему стать висельником! Пусть умрет сейчас, пока маленький и невинный! Если ты хорошая мать, согласись на это!!!

Первым порывом Анастасии было броситься бежать или вообще замереть на месте, закрыв лицо руками, но почти сразу на место страха и желания скрыться и отрешиться от происходящего пришла злость. Даже не просто злость — сильнейший, острый, пылающий жарким огнем гнев!

— Кто ты такая?! — крикнула она, делая шаг к кривляющейся старой женщине. — Пошла прочь от меня прочь!!!

Старуха в ответ расхохоталась на всю улицу — смех у нее был таким же неприятно скрипучим, как и голос.

— Что ты за мать? Хочешь, чтобы сын стал убийцей? Хочешь ему страшной судьбы?! —

выкрикивала она все громче, и от ее криков у Анастасии звенело в ушах. — Для тебя же лучше, если он сейчас умрет, для тебя и для него!

— Да как ты… — Анастасия задохнулась, закашлялась в морозном воздухе, но все-таки с трудом заставила себя закончить фразу. — …как ты можешь такое говорить?! Ты же женщина! Есть у тебя самой дети, внуки? Даже если нет, как ты можешь так думать о ребенке?!

— Ты!.. Ты плохая мать, плохая! Не любишь своего мальчика! — старуха скорчила еще более безумную гримасу, но голос у нее звучал уже не так громко и уверенно. Ее глаза дико засверкали, она взмахнула руками, словно пытаясь взлететь, и стала приплясывать на месте, и Анастасия, снова охваченная безотчетным страхом, попятилась от нее к стене ближайшего дома.

— Прочь! — повторила она непослушными губами и бросилась бежать. Без оглядки, не осознавая, куда бежит, лишь бы только убраться как можно дальше от этой сумасшедшей! — Кем же, кем надо быть, чтобы так говорить о детях?! — бормотала она, подбегая к своим саням и страстно надеясь, что кучер никуда не ушел за время ее отсутствия. Замотанная в платки женщина продолжала хохотать и что-то кричать ей вслед, но

Анастасия уже не могла разобрать в ее воплях ни слова.

Двое прохожих, наблюдавших за этой сценой с другой стороны улицы, проводили Анастасию сочувственными взглядами.

— Что-то сегодня Ленка-Чудинка совсем разошлась, — проворчал один из них, недовольно скривившись.

— Юродивая, что с нее возьмешь? — вздохнул второй, но его собеседник, бросив еще один взгляд на смеющуюся и подпрыгивающую на месте пожилую женщину, с сомнением покачал головой:

— Говорят, никакая она не юродивая, а только притворяется, чтобы ей милостыню давали и еду… Сам не видел, но кухарка рассказывала: видела она ее в лавке в хорошем салопе, чистенькую, и разговаривала она там, как обычный человек. И принесло же ее к нам!

— Но зачем ей это нужно? Если она не нищая, зачем ей жалкие гроши?

— Может, ей нравится пугать людей? Настоящие блаженные так не делают, на то они и Божьи люди. Могут сказать что-то непонятное, но чтобы так, как она…

Словно услышав разговор этих прохожих, старуха замолчала и, бросив в их сторону злобный и

вовсе не безумный, вполне осмысленный взгляд, проворно юркнула в проход между домами и скрылась из виду.

Батово, Санкт-Петербургская губерния, 1798 г.

Обратно в усадьбу Анастасия ехала, тоже нетерпеливо глядя в окно крытых саней и переживая из-за того, что они тащатся так медленно, но уже не в таком смятении, какое было, когда она спешила к отцу Михаилу. Низкое зимнее солнце по-прежнему золотило снег, заваливший дорогу и лежащий белыми шапками на ветвях возвышающихся по обеим сторонам деревьев. Анастасия смотрела на этот искрящийся снег, мысленно повторяя то слова духовника, то объяснения его друга, то бормотание странной бездомной женщины, и раз за разом спрашивала себя, кому из них верить и как ей, в конце концов, поступить.

Но когда заваленная сугробами дорога перешла в расчищенную аллею парка, примыкающего к усадьбе Анастасии, ей стало ясно, что, по крайней мере, одну вещь она знает точно.

— Как он? Доктор был? — спросила она у встретившей ее горничной, как только вошла в дом.

— Был, но вас не дождался, — быстро ответила та. — Сказал, что малышу лучше, но болезнь еще

не ушла, и к вечеру жар может снова подняться. Оставил вам записку, что еще можно сделать…

— Сейчас посмотрю, — кивнула Анастасия, быстрым шагом направляясь в детскую.

Ее сын снова спал. Это и огорчило ее — так хотелось его обнять и сказать ему как можно больше ласковых слов! — и обрадовало, потому что дышал он, как и утром, спокойно, и во сне ему явно было хорошо.

— Марьяша, иди отдохни, — сказала хозяйка дома сидевшей рядом в кресле сонной молодой няне. — Я сама за ним пригляжу.

— Да, барыня, — девушка послушно вышла из комнаты, и Анастасия опустилась на ее место. Только теперь она поняла, что страшно устала. Казалось бы, в дороге все время сидела в санях, во время разговоров с отцом Михаилом и его другом тоже сидела, с чего вдруг ей чувствовать себя совсем обессиленной? Надо было встряхнуться и хотя бы посмотреть, что ей написал врач, а потом можно будет и отдохнуть немного… Но ее глаза уже закрывались, и сопротивляться этому не было никакой возможности…

…Ее снова окружал необычный, как будто бы неземной свет, но теперь он был мягкого золотистого оттенка и не резал глаза, хотя и был при

этом довольно ярким. И перед ней снова стояла женщина, но совсем другая — в лице этой женщины не было ничего пугающего, она чуть печально улыбалась… и была чем-то похожа на саму Анастасию, хотя и выглядела заметно старше.

Нет, эта женщина выглядела совсем не опасной и очень доброй, но теперь Анастасия знала, что это еще ничего не значит и что верить снам нельзя. А еще знала, что ей теперь следует делать.

— Кто ты и откуда? — спросила она срывающимся, дрожащим голосом.

Вопреки ее ожиданиям, женщина не разозлилась, не стала превращаться в чудовище и не исчезла. Вместо этого она снова улыбнулась и спокойно покачала головой:

— Нет, я вовсе не то, чем ты меня посчитала, Настя. Не бойся, я ничем тебе не наврежу. Я пришла только для того, чтобы сказать, что ты все решила правильно.

— Значит, ты это..? — Анастасия запнулась, не решаясь высказать свою догадку.

Теперь странная посетительница тихо рассмеялась:

— Нет, что ты! Конечно же, я не Она. Но я тоже мать, да. Как и ты. И мне тоже в свое время пришлось делать такой же выбор, перед которым

сегодня оказалась ты.

— Тебе тоже сказали… что твой ребенок станет убийцей, когда вырастет? — прошептала Анастасия. — И что ему… лучше умереть, пока он маленький?

— Да, — опустила голову ее собеседница. — И я тоже на какой-то момент едва не поверила, что это действительно так. Но потом спохватилась и так закричала на того, кто ко мне явился, чтобы он убирался, что проснулась от своего крика. Потом уже сообразила, что нужно было молитву какую-нибудь прочитать, но в тот момент я была в такой ярости, что о молитвах не подумала. Я хотела наброситься с кулаками на того, кто желал зла моему сыну, и набросилась бы, если бы не проснулась!

Женщина на мгновение замолчала, словно заново переживая все те чувства, которые она тогда испытывала, но потом, чуть успокоившись, продолжила свой рассказ:

— Ну а проснувшись, я побежала к сыну, обняла его и дала себе слово, что сделаю все, чтобы он вырос хорошим, добрым человеком. Что буду сама заниматься его воспитанием, буду проводить с ним много времени, а няньки будут только помогать мне. Вообще, я тогда много чего решила,

и не все у меня получилось сделать так, как я собиралась, но главное мне все-таки удалось…

— Твой сын не стал преступником? — перебила ее Анастасия.

Ее собеседница с улыбкой покачала головой:

— Нет… Когда он стал взрослым, то примкнул к тайному обществу, которое хотело устроить революцию, как во Франции. И им это почти удалось, но мой сын вовремя понял, что все это может кончиться большим кровопролитием — и так оно и случилось. Но он еще раньше отказался в этом участвовать. И еще отговорил от этого двух своих друзей, Сергея и Михаила. Все они сейчас живы, и у них все хорошо…

Облегчение, охватившее Анастасию при этих словах, все-таки не помешало ей удивиться:

— Когда же это было? Мы тут, конечно, живем в далекой глуши, но мой муж часто бывает в Петербурге и никогда не слышал о таких событиях…

На лице рассказчицы появилось чуть смущенное выражение.

— Это не важно, — ответила она. — Все это очень сложно, и я пришла к тебе только для того, чтобы поддержать тебя в твоем решении вырастить ребенка хорошим человеком.

Это и правда было самым важным, и Анастасия

не стала расспрашивать таинственную гостью дальше. Тем более что она, кажется, и без ее ответов начала что-то понимать…

— Скажи мне только одно! — попросила она, прижимая руки к груди. — У меня получится то же, что у тебя? Мой малыш не станет..?

— Это зависит только от него самого, — мягко сказала ее собеседница. — Он в любом случае будет человеком со свободой воли, и только он сам сможет решить, что ему делать со своей жизнью. Но ты сможешь сделать так, чтобы он, скорее всего, не стал причиной смерти многих людей. Это в наших, материнских силах.

— Но у меня может и не получиться? — с дрожью в голосе уточнила Анастасия.

— Может, — подтвердила так похожая на нее женщина. — Я не хочу давать тебе ложную надежду, Настя. Может случиться так, что твой сын все-таки станет бунтовщиком и будет казнен вместе с друзьями и еще двумя заговорщиками. Может быть и так, что ты сама не доживешь до этого и не узнаешь, чем все для него кончилось. А может, все вообще будет как-то иначе, намного лучше или намного хуже… — она замолчала, с сочувствием глядя на Анастасию, но та понимающе кивнула:

— Как все будет — не главное. Главное то, что мой сын должен жить, а я должна правильно его воспитать.

— Да…

Золотистое сияние померкло, его сменил мягкий оранжевый солнечный свет, пробивающийся сквозь шторы в маленькую детскую комнату. «В доме Отца Моего обителей много», — вспомнились Анастасии слова историка, и она нашла в себе силы улыбнуться. Из соседней комнаты доносились шаги и приглушенный голос горничной.

Анастасия встала с кресла и наклонилась над детской кроваткой. Ее сын, тоже только что проснувшийся, радостно улыбнулся, увидев мать, и протянул к ней руки.

Лоб у него был холодным, и он выглядел совсем здоровым.

— Коня, Кондраша… У нас с тобой все будет хорошо, — пообещала Анастасия, доставая ребенка из кроватки и прижимая его к себе.

Сергей Удалин
Искра надежды

Маленький мальчик на проселочной дороге поднял голову и закричал:
– Мама, смотри, смотри! Падучая звезда!
Ослепительно яркая звезда прочертила небо и канула в сумерки над Иллинойсом.
– Загадай желание, – сказала мать. – Загадай скорее желание!

Рэй Брэдбери, «Калейдоскоп»

Дымчато-серый металлический шар приблизительно пяти метров в диаметре неподвижно завис в воздухе, почти не заметный на фоне низких зимних облаков, затянувших все небо. Впрочем, капсула дежурной службы Отдела коррекции (или «о'кей», как называли его между собой сами сотрудники) и была сконструирована с таким расчетом, чтобы ее не смог увидеть случайный посторонний наблюдатель. Мимикриловое покрытие шара автоматически меняло цвет в зависимости от окружающей обстановки. При этом нижняя его часть способна, к примеру,

приобрести небесно-голубой оттенок, а верхняя — допустим, ярко-зеленый, сливающийся с пейзажем тропических джунглей.

Но в данном случае такие ухищрения были излишними. До летательных аппаратов здесь, похоже, еще не додумались. А если бы и додумались, все равно вид сверху выдержан в той же заунывно-серой тональности. Даже снег с высоты в пять километров не казался белым. Поперек пепельно-серой равнины тянулась широкая, но короткая изломанная полоса замерзшей реки, возле самого устья распадающаяся на множество рукавов. Пространство между ними было усыпано темными квадратиками домов. В расположении улиц угадывался какой-то сложный иероглиф, прочитать который могли бы лишь избранные, но почувствовать его зловещий смысл способен практически каждый.

— Узнаешь, Антон, куда нас занесло?

Наил развернул к ученику свою оскаленную в стодвадцатизубой улыбке пупырчато-фиолетовую физиономию. Вообще-то Антон, как и любой землянин-стажер из Отдела коррекции, предпочел бы иметь наставника-рафима. Те все же более антропоморфны, чем ящероподобные атаны. Да и… как бы это сказать… пахнут не так резко.

Но оказалось, что у Антона аллергия на перья рафимов. Надо ж такому случиться! С помощью своих инопланетных друзей человек научился управлять гравитацией, преодолевать световой барьер, путешествовать во времени, а вот с обыкновенной аллергией ничего поделать не может. Смешно… хоть плачь.

Нет, Антону в целом повезло с учителем. Наил — один из лучших специалистов в отделе, опытнейший мастер коррекции. Он такое может порассказать, о чем ни в одном справочнике не прочтешь. Только разговаривать почтенный атан больше любит о всяких пустяках. И легко раздражается, если кто-то не проявляет горячего желания поддержать беседу.

— Узнаешь, спрашиваю?!

Молодой человек запоздало кивнул.

— Да, конечно.

Разве можно не узнать свою родину? Пожалуй, на всей Земле не найдется второго такого величественного, холодного и не приспособленного для жизни города. Он ни к кому не испытывает добрых чувств, но снисходительно позволяет восхищаться собой. И если уж посчастливилось родиться здесь, то у тебя не остается другого выхода, кроме как полюбить его. Или уехать навсегда.

Антону удалось исполнить и то и другое. Правда, «уехать» — не совсем точное слово для обозначения того, что с ним произошло, но нужного слова пока еще не придумали. И Антону не предоставили возможности не то что отказаться, но и просто не поверить по-ангельски крылатому существу, которое неизвестно как и откуда появилось в его комнате и предложило поработать в таинственной организации, по-хозяйски обращающейся с самим временем.

— А в «когда» мы с тобой попали, догадываешься?

Атаны в отличие от рафимов легко переняли людское пренебрежение к языковым нормам и в разговоре нередко щеголяли такими неправильностями речи.

— Пока нет, — Антон энергично замотал головой уже в другой плоскости.

— Тогда снижаемся, — скомандовал Наил.

Город монументально и равнодушно наползал на большой экран. Что-то в его облике казалось землянину непривычным. Во-первых, конечно, размеры. Когда Антон еще существовал в линейном времени, Питер располагался на куда более обширной территории. Это, конечно, зацепка. Компьютер может сопоставить изображение со

своими данными и определить дату с точностью до одного года.

Нет, ерунда все это. Компьютер и так знает точку выхода из временного тоннеля. Не знает ее только сам Антон. Но может — тут Наил абсолютно прав — догадаться. В конце концов, не подсунули же ему для экзамена по коррекции совсем уж незначительное историческое событие. Здесь должно происходить что-то важное, хотя бы парой строк вошедшее в учебники. Или даже парой страниц. А что если…

Антон увеличил разрешение экрана. Нет, на Дворцовой все тихо и спокойно. Насколько вообще может быть спокойной эта площадь. Народ суетится, но без особой паники. Чего-то здесь даже не хватает для полного счастья. Ах, да, колонны нет. Александрийского столпа, как выразился дяденька Пушкин. И это уже более серьезная подсказка.

Кстати, Дворцового моста тоже не видно. И немудрено — его же построили намного позже. Зато чуть в стороне, за Адмиралтейством, мост стоит. Совсем не на месте, с точки зрения Антона. И так без золотого купола Исаакия этот район кажется чужим, незнакомым. А тут еще и мост с толку сбивает.

Но как бы там ни было, а народу здесь собралось намного больше, чем возле Зимнего. Часть — неопределенным расплывчатым пятном, часть — ровными, неподвижными прямоугольниками и квадратами. Так стоять могут только солдаты на параде. Или не совсем на параде… Э-э, ребята, так ведь это же Сенатская площадь! И следовательно…

Антон обернулся к наставнику, но спросить ничего не успел.

— Дошло, наконец? — Наил выглядел ужасно довольным — то ли тем, что ученик все-таки сам нашел правильный ответ, то ли, наоборот, тем, что удалось загадать ему сложную загадку. — Тогда приступай. У тебя в запасе часа два. Вся аппаратура в твоем распоряжении. А меня здесь нет, я буду нем, как Медный всадник. Даже не так — как лошадь Медного всадника.

И он радостно закаркал над своей непритязательной шуткой. Да уж, заслуги заслугами, а чувство юмора у всех атанов оставляло желать лучшего. Впрочем, рафимам оно и вовсе не было знакомо. Зато в иезуитской хитрости ни тем ни другим не откажешь. Антон и раньше слышал, что Совет наставников для экзамена обычно выбирает какой-то близкий, небезразличный для

испытуемого исторический эпизод. Дабы кандидат в полной мере ощутил свою ответственность за принятое решение. И надо признать, что в его случае наставники попали в яблочко.

Восстание декабристов чуть ли не с детства будоражило воображение Антона. Сначала дворяне-революционеры казались ему этакими рыцарями без страха и упрека. А кинофильмы и художественная литература это впечатление только усиливали. Потом, правда, оказалось, что не все так просто и однозначно и далеко не все декабристы заслуживают того, чтобы восхищаться и подражать им. Но первая любовь не забывается и после того, как начинаешь понимать, что идеализировал своего избранника. (В этом Антон успел убедиться на собственном опыте.) А декабристы… в конце концов, не он один продолжает считать их героями. И соблазн исправить ошибку истории, привести ее в соответствие своим юношеским идеалам очень велик.

Так что Наил имеет полное право хихикать в свое удовольствие. Это ведь не ему предстоит «проанализировать варианты развития событий и их возможные последствия, сделать вывод о целесообразности коррекции, после чего определить оптимальный объем воздействия» и так

далее, согласно инструкции по проведению экзаменов. Но его в случае провала лет на пять отправят прозябать в информационном либо техническом отделе (причем почти наверняка — в земном филиале), прежде чем Совет смилостивится и разрешит переэкзаменовку. Если дело вообще до нее дойдет.

При мысли о таком бесславном завершении карьеры внутри все похолодело. А Наил, как и все атаны, весьма чувствительный к изменениям температуры, тут же нарушил обет молчания.

— Да не паникуй ты, малыш! Справишься как-нибудь. Не зря же я тебя учил! И не думай, что получил какое-то уникальное задание. По нему до тебя не меньше десятка стажеров экзамен сдавали.

— И как, у них все получилось?

Атан снова зашелся каркающим смехом.

— Если бы получилось, тебе бы здесь уже нечего было делать.

Похоже, он еще и великий мастер по части успокоения.

— Но они же не натворили ничего страшного? — без особой надежды на утвердительный ответ спросил Антон.

— Нет, конечно, — оскалился в улыбке учитель.

Только передним рядом зубов, но все равно впечатляюще. — Ты же знаешь, история — довольно инертный материал. Одной-двух обратных коррекций обычно достаточно, чтобы все исправить. Правда, был у меня в практике один случай…

И он замолчал, понимая, что выбрал не самый удобный момент для воспоминаний. Антон тоже в этот раз не заинтересовался рассказом учителя. Его сейчас волновало другое.

— И что с ними потом стало, с этими стажерами?

— Я их всех съел, — по обыкновению остроумно ответил Наил. — Не переживай, все они спокойненько работают в фирме. Кто-то в техническим отделе, а кое-кому экзамен все-таки зачли.

— Но ведь…

— Понимаешь, малыш, — перебил Антона наставник, — оценивается не только результат, но и ход рассуждений. Даже в первую очередь — он. Думаешь, почему мы решили привлечь землян к этому проекту? Грамотных исполнителей у нас и так достаточно. Но вы, люди, при всех своих недостатках, обладаете одной уникальной способностью — нестандартно мыслить. Иногда это оказывается намного полезней, чем пятидесятилетний опыт работы. И наша идея себя оправдала,

хотя многие поначалу сочли ее по-человечески нелогичной.

— Так что же…

— Не знаю, — отрезал Наил и для пущей убедительности щелкнул пастью. — Думай! Я и так сказал больше, чем следовало.

И замолчал, теперь уже действительно всерьез и надолго. Антон вздохнул и обреченно уткнулся в дисплей компьютера.

И чем дольше он изучал материалы, тем больше убеждался в справедливости своих подозрений. Он ничего не мог здесь исправить. Его капсула оснащена множеством всякой хитроумной аппаратуры — от генератора оптических иллюзий до распылителя психотропных газов. На крайний случай имелся даже боевой бластер, имитирующий прямое попадание молнии. Но все они казались теперь бесполезными игрушками.

Восстание декабристов было обречено. Даже если бы об их намерениях не узнал новый император, а кое-кто из заговорщиков в последний момент не отказался участвовать в акции. Даже если бы все происходило строго по плану, и этот расплывчатый план вдруг увенчался временным успехом. В этом случае все окончилось бы особенно мрачно. Члены тайного общества не

имели единого мнения о будущем России и рано или поздно начали бы конфликтовать между собой. А дальше — подковерная борьба за власть, показательные судебные процессы, прямое уничтожение конкурентов. И все это в обрамлении кровавого террора во имя торжества справедливости. Проходили уже.

А если бы какой-нибудь Каховский, Булатов или Якубович, да хотя бы и сам Антон, все-таки выстрелил в царя, тогда не миновать гражданской войны, в ходе которой все эти прелести расцветут с удвоенной силой. Нет, уж лучше бы это восстание вообще не начиналось. Ну, арестуют десяток-другой заговорщиков, так ведь и приговор за неосуществленное намерение окажется гораздо мягче. А главное — не погибнут простые солдаты, вся вина которых заключается лишь в том, что они не хотят изменять присяге. Ведь отцы-командиры даже не сочли нужным объяснить им истинную цель выступления. Впрочем, и сами заговорщики в большинстве своем не догадывались, что являются лишь пешками в сложной политической игре двух претендентов на престол и еще нескольких придворных интриганов. Антон не очень-то жаловал блатной жаргон, но слово «подстава» само просилось на

язык.

Да, идеальным решением было бы вообще не пустить восставших на площадь. Но, атан вас всех побери, ему не позволили так просто справиться с задачей. Он появился здесь слишком поздно. Фигуры расставлены, и остается только дожидаться окончания партии. Со стороны Адмиралтейского бульвара на площадь уже выдвинули артиллерию, и если бы не заминка с боеприпасами, все уже могло закончиться. Но скоро прибудут и снаряды.

Может, попробовать перехватить курьеров? И что это даст? Неужели добрый император отпустит бунтовщиков подобру-поздорову? Хорошо, предположим, гипноизлучатель внушит мстительному Николаю такую мысль. И пусть даже декабристов не станут потом преследовать. Ну, вот ничегошеньки им за это не будет. Но как же быть с красивой легендой? Со знаменитым посланием Пушкина и гордым ответом Одоевского: «Из искры возгорится пламя». С самым настоящим подвигом жен декабристов. С его, Антона, мальчишеским восторгом перед мужеством благородных революционеров. Нет, это тоже часть истории, которая не должна исчезнуть бесследно! Только вот напрашивается вопрос: а не ошибся

ли ты, дорогуша, когда подался в корректоры?

Есть, правда, и еще один вариант: объявить Наилу о нецелесообразности вмешательства и с чистой совестью отправиться домой. Но не зря же Совет с таким упорством выбирает для экзамена именно это событие. Значит, что-то в нем все же можно изменить. Это во-первых. А во-вторых, что там Антон подумал про чистую совесть? То-то и оно! Не может он просто так оставить… нет, не упивающихся собственным жертвенным героизмом дворян-заговорщиков, а этих несчастных солдат. Толком не понимающих, что здесь происходит, продрогших на ледяном декабрьском ветру, не видящих никакой надежды на спасение, но не сдающихся. Вот кто настоящие герои! Нужно чем-то помочь им. Чтобы они тоже увидели во всем этом смысл. Пусть не пламя, но хотя бы крошечный огонек. Хотя бы искру.

— Ну, и долго ты еще собираешься морщить лоб? — поинтересовался Наил несколько минут спустя. — Того и гляди, там без тебя все решат.

— Да, да, конечно, — спохватился Антон и забарабанил по клавишам пульта управления. — Я сейчас.

— А ты не хочешь объяснить мне, что задумал? — продолжал допытываться атан.

— Сами все увидите, — ответил землянин, не отрываясь от работы. Времени и в самом деле в обрез.

А там внизу артиллеристы генерала Сухозанета уже зарядили пушки. Еще одна, последняя задержка произошла, когда так и оставшийся неизвестным солдат отказался стрелять по своим. Но его быстро заменил офицер, имя которого в истории как раз сохранилось, — поручик Бакунин, не склонный к досужим размышлениям. И грянул залп.

Первый выстрел, даже по бунтовщикам, все равно был предупреждающим. Заряд прошел поверх строя. И вдруг разорвал ранние декабрьские сумерки миллионами разноцветных искр. Диковинные цветы расцвели в воздухе и долго еще не желали вянуть, посверкивали то тут то там, вроде бы затухая, а потом разгораясь опять. А солдаты — и бунтовщики, и те, кого пригнали на их усмирение, — дружно задрав головы, удивленно смотрели на этот совершенно неуместный фейерверк.

А в кабине капсулы Наил с таким же удивлением смотрел на Антона.

— И это все? — разочарованно прошипел он. — Признаться, я надеялся на что-то более

осмысленное.

— Все, — стажер виновато развел руками.

Он уже и сам начал догадываться, что сморозил глупость. На что, собственно, он рассчитывал? Что все эти люди вдруг вспомнят о скором Рождестве, времени веселых игр и долгожданных подарков? А потом поймут, что убивать друг друга нехорошо, прослезятся, расцелуются и в обнимку направятся в ближайший трактир. Так, что ли?

Глупо, конечно. Ну, а вдруг? Неужели люди, даже увидев, какая красота может родиться из орудийных стволов, снова заставят их выполнять прежнюю грязную, отвратительную работу? А вдруг именно его глупость изменит мир? Пусть не в этот раз и не здесь. Он согласен повторять снова и снова. Пока его с треском не вышвырнут из отдела. Пока не погаснет последняя искра надежды. Надежды на то, что Антон все-таки не такой безнадежный идиот, как сейчас думает Наил. Ну и пусть себе думает!

Он обиженно отвернулся и уставился в обзорный экран.

Но наставник не дал ученику возможности узнать, чем все там, на площади, кончилось.

— Что ж, посмотрим, что скажет Совет, — сказал он и нажал кнопку быстрого подъема.

Сам мастер коррекции на экран даже не взглянул. Любопытство он сможет удовлетворить и в офисе отдела. А надежда для любого атана по-прежнему оставалась чуждым, непонятным, чисто человеческим чувством.

Декабристы: мы и они



Вячеслав Ледовский
Наши мертвые нас не оставят..

Наши мертвые нас не оставят
в беде.

В. С. Высоцкий

Зачастую при всем кажущемся богатстве вариантов для человека на самом деле остается только один-единственный путь. Поскольку то, что внутри тебя, что является твоим стержнем, сутью, иного выбора не позволит. Даже если это гарантированно приведет к поражению и гибели.

Но, даже если смерть в двух шагах исключительно по твоему личному решению, умирать все одно не хочется.

Отто, кутаясь в доху, под которой озябшая рука сжимала рукоять пистолета, понимал, что все шансы упущены. Предупредительные пушечные выстрелы уже грянули, ядра просвистели над головами мятежников, брызнув каменным щебнем из выбоин в стенах домов за их спинами.

Более всего сейчас хотелось оказаться подальше от ставшей ловушкой Сенатской — она же

Дворцовая, она же Петровская — площади.

Ну или все же попробовать, сумеет ли спасти от опасности волшебный колпак, полученный в наследство от бабушки, слывшей колдуньей. Который, по ее сказанным на смертном одре словам, мог то ли делать хозяина невидимым, то ли вообще переносить через расстояние и время.

— Ура!!! — прогремело над вставшими в каре ротами. Но не атакующим кличем, а словно приветствием салюту в свою честь.

Однако следующий залп будет в упор. Картечью на поражение.

Конечно, если сейчас всем броситься в атаку, взять артиллеристов на штыки, то расстрела удастся избежать. Но не разгрома: противник намного, в разы сильнее.

«Бог всегда на стороне бóльших батальонов», как говаривал самый гениальный полководец современности. А на той стороне — и артиллерия, и кавалерия, и зарядов в подсумках у кратно превосходящей по численности пехоты не полдесятка, как у бунтовщиков, а много больше.

К тому же те, кто в одном с тобой ряду, уже устали и замерзли. Это у Отто Шмидта шуба (так уж получилось, что он, офицер, гвардеец, застигнутый событиями внезапно, оказался на площади в

партикулярном), а солдатики-то большей частью в мундирах и киверах. При минус десяти мороза да под ветерком с заледенелой Невы. И убивать своих сослуживцев, ныне внезапно оказавшихся противником, они явно не желают.

— Пусть энти такой грех на свою душу берут! — сплюнул коричневой от табака вязкой слюной рослый гренадер слева. — А я не хочу. Пусть и кончат меня, зато с чистой совестью перед райскими вратами предстану. Как мученик христовый… Всяко лучше там, чем такая жизнь.

Шмидт прижал пистолет левым локтем к боку, озябшие пальцы правой руки сунул под доху. К внутреннему карману, где хранилась сильно напоминающая ночной колпак колдовская, по словам бабушки, шапка.

Что же делать-то?

Ведь давал Бог ему шанс одним выстрелом решить все проблемы! Когда из внутреннего колодца Зимнего дворца, повернув полукружием мимо, восставшие лейб-гвардейцы вместе с примкнувшими штатскими прошли буквально в десятке метров от узурпатора.

Тот еще к себе внимание привлек, крикнул:

— Куда вы? Если за меня, так направо, если нет, так налево!

Подпоручик Кожевников скомандовал:

— Налево!

Туда все врассыпную и побежали.

А ведь у Отто пистолет был готов к выстрелу, даже курок взведен, сделай пару шагов — никто бы не остановил. А там практически в упор вряд ли промахнешься.

И оружие-то особое, купленное в Лозанне у тамошнего умельца за немалые деньги. Три ствола, заряжаемых с казенника капсюльными патронами. Можно подряд столько же выстрелов сделать. Даже при одной осечке два заряда долетят…

Но не домыслил, посчитал, что можно без пролития крови обойтись.

Ошибся.

Эти-то кровь легко прольют. Еще на десятилетия, если не на века, погрузив страну, ставшую родной для русского дворянина из Курляндии, в дикость и варварское рабство для низших сословий.

Раньше надо было ему думать, быстрее соображать. А теперь все, принимай свою долю, какая уж выпадет, с достоинством и честью.

— Первая! — да это же сам узурпатор дает команду расстрелять войска, верные присяге императору Константину! А может быть, и род-

ного брата он уже удавил. Это еще та семейка. Если подымали руку на отца или супругов, коим в преданности перед Богом клялись, чего от них еще ждать?!

Да и насколько родные Константин с Николаем? Говорят, покойный император Павел прямо заявлял, что младшие не его дети. Потому как с женой к моменту их зачатия он давно не был близок. Поскольку ему противно совать свое перо в чернильницу, где побывало слишком много других перьев!

Жахнул орудийный залп. Рядами повалились солдатики, раскидывая оторванные конечности, фрагменты тел; покатились по булыжнику, звеня, кивера и ружья.

А те по новой пушки заряжают!

— Отступаем к Петропавловской! — это голос Бестужева, пытающегося удержать порядок. Ну да, если там затворимся, то из-за этих стен долго выковыривать придется. А там… дай Бог, другие полки одумаются, братья из Южного общества помогут, народ подымется.

Шмидт на почти не сгибающихся, словно мускулы и кости пристыли друг к дружке, ногах закосолапил за отступающими. С двух сторон его подхватили, помогая, два гренадера. Тот, кто же-

вал табак, и второй, со шрамом от щеки к носу, но на него похожий. Как брат. А, видимо, он и есть.

— Быстрее, ваше благородие! А то вдарят еще раз, и каюк нам! — это хрипело слева.

Шмидт оглянулся.

Пора. Не поможет — значит, не судьба.

Но попробовать стоит.

Хуже не будет.

Скинул с головы щегольский, с меховым подкладом изнутри цилиндр. Достал из кармана смешную, похожую на раздувшийся чулок, тканевую шапку, напялил на голову.

Солдат слева недоуменно покосился, не понимая, что происходит с офицером, зачем он это делает. А те, что отступали рядом, в суматохе бегства даже не обратили внимания, что фигуры этой троицы стали словно таять, растворяться в сумрачном синем питерском воздухе, пока не исчезли окончательно… * * *

Что-то непонятное произошло не только с телом Отто, которое с трудом слушалось, словно заторможенное, как в кошмарном сне, но и с глазами.

Жерло пушки он видел будто с расстояния не в сотню, а всего лишь с пяти-семи шагов. Оно взбухло вулканическим жаром и выплюнуло из

себя нестерпимо-алый столп огня, на острие которого черные, не успевшие раскалиться чугунные шарики неторопливо направились даже не в сторону Отто, а точно ему в голову и грудь. Они летели неспешно, но неотвратимо, преодолевая внезапно ставшее безмерно малым расстояние между стволом орудия и жертвой.

— Это всё… Прощай, Ольга… и Санечка… — успел Шмидт пожалеть о молодой супруге и малолетнем сыне, которым придется теперь страдать не только без мужа и отца, но будучи родственниками мятежника.

— Господи! Помоги моей семье! — успел взмолиться он. Картечь неестественно медленно приближалась, была уже совсем рядом, в аршине, когда краем глаза почти под ногами Шмидт заметил черный провал в серой булыжной мостовой.

Неизвестно откуда пришло понимание — там спасение. Тело вновь стало послушным, и Отто упал туда, увлекая за собой обоих спутников.

— Вжжух!!! — пронеслась, разрывая воздух, над спинами, но уже где-то далеко, картечь.

— Ашша… — ответил порыв ветра, сметая со здоровенной березы шматы снега, причем прямо на головы прибывшим.

— Где это мы? — спросил тот брат, что был со

шрамом.

* * *

Широкий заснеженный луг, с двух сторон окаймленный рощей, взбаламученной вторжением чужаков и недовольно переговаривающейся скрипом стволов, падением сбитых ветром веток. Лунный диск в прогалинах туч. Ну да, вчера было полнолуние, с этой ночи пойдет убыль небесной спутницы планеты, но пока еще незаметно.

А вот справа не так далеко квадратно-черные силуэты на белом. Дома. Видимо, деревушка или, скорее, село. Судя по природе и погоде, где-то недалеко от Северной столицы. Откуда их неизвестная спасительная сила и перенесла.

— Слава тебе, Господи! — перекрестился Отто, выбираясь из объятий гренадеров.

Солдаты вслед за ним дружно повторили крестное знамение. Завертели головами, потеряв из вида спутника.

— Где эт мы, ваш-бродь? И, это… а вы где? — хрипло повторил шрамоватый.

Шмидт стянул с головы шапку. Ладно что хоть стоял за спинами солдат, потому его появление прямо из воздуха оказалось для них незамет-

ным.

— На Руси, — а что еще отвечать? — За городом. Бог нас спас. А теперь надо выбираться отсюда.

— А… куда?

— А вот для начала разберемся, где находимся! — внезапно разозлился Отто. И от непонятного, и от того, что, получается, он как бы с поля боя дезертировал, бросив друзей. Хотя и не по своей воле. Впрочем, чего лукавить, именно по своей, отчаянно пожелав оказаться подальше от расстрела.

— Сначала разберемся где, потом решим что и куда! — повторил он и направился к деревне.

Гренадеры тронулись следом. Хорошо, что снежный наст оказался застоялым, не проваливался: шли по нему, как по булыжной мостовой. И месяц вовсю разошелся, освещал мертвенно-бледным светом окрестности. Еще что-то, пока неуловимое, кроме самого этого чудного переноса, было тоже непонятным, неестественным. Разум, взбаламученный только что минувшей, пролетевшей в пяди смертью и резкой сменой обстановки, это непонятное чувствовал, но уяснить, сформулировать хоть чуточку точнее пока был не в состоянии.

— Рождество сегодня, — буркнул Шмидт, осты-

вая. — Вот чудо и случилось.

— Побойся Бога, барин, — нерешительно возразил любитель табака. — Рождество только недели через полторы.

— Это православное, — уточнил Отто. — А я лютеранин. У нас сегодня. В ту же ночь, что и космическое. Точно по науке астрономии.

Упоминание заковыристой науки, а более того, вбитая шприцрутенами привычка не прекословить благородному сословию, солдат вроде бы убедили.

— Как вас зовут? — спохватился Шмидт.

— Федотовы мы, — ответил шрамоватый. — Я Петр, брат Федор. Сами с-под Тамбова. У нас мужики рослые, которое поколение уже с нашего села в гренадеры забривают.

— Хорошо, — ответил Отто. Минуту посомневался, однако все же добавил. — Мое имя вам знать необязательно. Вам же лучше. Так что на такое не обижайтесь!

— Да понимаем мы все, барин, — вздохнул Петр. — А что дальше с нами со всеми будет?

— Со временем разберемся, — отмахнулся Шмидт. — Все в руцах божьих.

Такой тезис гренадеры оспаривать не решились.

К крайнему дому подходили молча, мало ли что. Удачно, что снег под ногами оказался мягким, не хрустел.

Изба оказалась жильцами покинутой. И непонятной. Вроде не господская. Но печка добрая, с кирпичной трубой и железными прибамбасами — от вьюшки до кочерги. Хотя и давненько не топленая. Рамы заделаны пусть местами побитыми, но стеклами. Посуда на кухне — иные мелкопоместные дворяне обзавидуются. Несколько кроватей, одна из них железная. Шкафы со вполне достойной, но брошенной хозяевами одеждой. Вполне может быть жилище выкупившегося на свободу состоятельного крестьянина. Но во дворе нет ни конюшни, ни коровника, ни иных подсобных и крайне необходимых в подобной усадьбе строений.

— А вот, барин, книжка какая-то… с картинками… — Петр поднял из-под стола завалившийся туда скорее журнал, чем книгу. Присмотрелся. — И вроде Петровская площадь нарисована. Это же Сенат?

Месяц светил вовсю в незанавешенные окна, и все было ясно видно, словно сейчас не декабрь, а июньские белые ночи. Озноб прошел: в доме, очевидно, было холодно, но никто почему-то уже

не мерз.

Шмидту вообще стало спокойно и уютно, будто все его проблемы решены и впереди ждет только доброе и хорошее.

Гренадер пошевелил губами, пробуя прочесть название, повел носом. Признавая свое поражение, передал книгу Шмидту.

Картинка была только на обложке. Там орудия расстреливали выстроившееся перед ним пехотное каре. И вполне угадывалась как та самая площадь, с которой они только что спаслись, так и абрис Петропавловского равелина на заднем плане.

Отто полистал страницы. Все выше подымая брови, вчитывался в написанный странным языком, но все же понятный текст.

— И что там? — заинтересовались неграмотные братья.

Шмидт глянул на год издания. Кашлянул. Еще раз пролистал страницы, перечитывая наиболее примечательные места.

Еще раз кашлянул. Внимательно осмотрел обстановку в избе, останавливая взгляд на непонятных предметах, коих внутри хватало.

Решился.

— Ну, похоже, все же мы не зря оттуда выходи-

ли. Это, как ни странно, предположу…

Замер.

На грани восприятия появились посторонние звуки…

* * *

…Скрип снега. Позвякивание железа. Негромкий, пока непонятный, но, очевидно, говор. И еще что-то неузнаваемое, ворчание-громыхание, еще дальше, совсем вдалеке.

Люди.

Несколько.

Скорее всего, с оружием.

— К бою! — скомандовал Шмидт. Лучше быть готовым ко всему.

Гренадеры перехватили ружья, привычно взвели курки.

Отто вытащил пистолет, стал сбоку от окна. Хоронясь, глянул буквально одним глазом.

На дороге, что шла в десятке саженей мимо дома, четыре человека. Уже совсем близко.

Первый, самый крупный, тащил-поддерживал второго, хромающего на опорную сторону и закинувшего руку на спину товарища. Дальняя его рука была прибинтована к туловищу. Вслед за ними шел почти впритык третий. И замыкал

шествие самый маленький с двумя странного вида ружбайками на ремнях — одна за спиной, другая в меховых рукавицах с отдельным местом для указательного пальца.

Кроме второго, все одеты примерно одинаково: в полушубки, валенки и ушанки. А вот раненый нарядился в шинель серо-зеленого цвета, кепи с опущенными ушами и высокие ботинки. И рука у него была, скорее всего, крепко привязана к поясному ремню за кисть в перчатке. Так, чтобы он ею свободно действовать не мог.

Кроме того, у третьего перебинтовано лицо вверху, от края шапки по самый рот. Он шел вслепую, ухватившись за одежду самого крупного. А замыкающей была, судя по фигуре и походке, видимо, женщина.

Переговаривались трое, сходно одетые. Тот, что в шинельке, молчал, запалённо отдышиваясь.

— Не оторваться, — хриплый мужской голос. — Я ведь слышу, ганомаг уже где-то в километре и догоняет. Не уйдем.

— А сразу в лес? — это тот, что самый крупный.

— По снегу, да с раненым и слепым? И пехом догонят, они-то свеженькие. Заслон надо оставлять, другого выхода нет. Это единственный шанс пленного доставить.

— Я готова! — звонкий девичий голосок.

— Ну да, — неохотно согласился, видимо, старший. Добавил: — Михаил единственный, кто этого унтера может до заимки дотащить. А в заслон станем мы с тобой. Два «папаши» — пока из одного стреляешь, я второму диск на ощупь заряжаю. И гранаты. Не удержим, понятно. Но пока с нами справятся, со своими потерями разберутся, дом обыщут, у Михи есть шанс до сворота успеть и по болоту оторваться. Там всего две версты до островка, где наши встретят. Часа полтора ему, если без прицепа со мной, ходу отсюда. Нам хотя бы треть этого времени выиграть. И, считай, свою задачу выполним.

Замолчал, отдыхая от длинного монолога.

— Это как, мне без командира и переводчицы возвращаться? — возмутился, вклинился в паузу крупный. — Рацию потерял, еще и вас на смерть оставлю? Лучше вы уходите, я прикрою!

— Отставить, сержант Федотов! — вроде и полушепотом, а вроде и рявкнул старший. — Оля его не утянет, а я вообще балласт. А этот язык нам сотню, а то и больше, жизней спасет. Наши того стоят. Иди, Миша, и живи за нас. А мы… может, и выкарабкаемся как-нибудь. Бог не выдаст, фрицы не… Разберемся с ними как-нибудь, из засады-то.

— С ганомагом? — недоверчиво переспросил крупный. — Может, лучше все вместе? В три ствола как-никак сподручнее.

— Не могу я так пленным рисковать… — прошипел командир. — У тебя мой ТТ и одна граната. Так что — впеее-реед! Если увидишь, что вдвоем не получается, вали фрица… и сам уходи. Хоть доложишь, что не справились, пусть новую группу высылают. — Всё! — скомандовал слепой, прислушиваясь к отдаленному ворчанию непонятного механизма за поворотом дороги. — Время вышло. Отдохнул? А теперь пошел! Без разговоров!

Михаил протяжно вздохнул. Потоптался на месте. Потом все-таки нехотя двинулся вперед, утягивая с собой пленника, привязанного к конвоиру и почти повисшего на его плечах.

— Мы… куда? — деловито спросила девушка. — В этот дом? Самый первый который? Сейчас гляну, что там.

Кивнула на хату, в которой таились пришельцы.

Шмидт, ничего не объясняя, притянул к себе попутчиков, быстро напялил шапку.

Шепнул:

— Тихо. Ничего не говорим, ничему не удивляемся. Они нас не увидят. Потом все объясню.

У гренадеров, уставших от преследовавших их с самого утра сюрпризов, сил и желания возражать не было.

— Нет, на первый самое большое внимание будет, лучше где подальше, — поправил старший. — И поближе к дороге, чтобы попробовать бронетранспортер гранатой сразу накрыть. А потом ты их «метлами» в упор накроешь.

Двинулись вслед уходящей, обнявшейся, словно лучшие друзья, паре. Девица впереди, раненый, уцепившись за оружие на ее спине, следом.

Уже на расстоянии услышалось:

— Как же мне не вовремя-то по зенькам прилетело! Ну как назло, а…

Полсотни саженей дальше свернули к близко стоящему у дороги дому, угрюмо уставившемуся на мир выбитыми проемами окон. Завозились там, обустраиваясь. Через минуту маленькая фигурка выскочила с веником, замела ведущие к крылечку следы.

* * *

— Война, что ли, какая, ваше благородие? — отмер и решился поинтересоваться Петр. — Вишь ты, как мы, гренадеры, и гранады у них тоже есть!

И даже Федотов, как мы… Но ток девки почему-то воюют.

— И в Отечественную воевали, — поправил Шмидт. — Была такая кавалерист-девица Дурова. Этот-то Федотов вам не родня?

— Ну, так-то похож, только я всю свою родню знаю, не было у нас такого, — засомневался Петр. — А нам что сейчас делать?

— Подождем, посмотрим, кто там этих преследует. И решим, — определился Отто.

— А что решать-то? — осмелился возразить Петр. — Эти-то, понятно, свои, русские. А те неизвестно кто.

— Бывает, что и русские в русских стреляют, — жестко осадил солдата Шмидт. Уточнять, что он сам по нации курляндский немец, не стал. Здесь и сейчас это не имело никакого значения.

Тем более что отпущенное время уходило. Горизонт на востоке стал по каемке наливаться белым отсветом восхода. И это Шмидту почему-то не нравилось. А громыхание за березовой рощей приближалось.

И вот наконец-то вполне ожидаемо из-за поворота выкатилась железная повозка. Похожая на виденные в Альбионе локомотивы, только без дымящей вверх трубы, и двигалась она не по

рельсам, а по заснеженной дороге.

— Эт что ж за диво такое? — не выдержал уже Федор.

— Самобеглая машина, — разъяснил Отто. — Я такие в Шеффилде видел.

Сразу уточнил для повернувших к нему головы изумленных гренадеров, что это не какое-либо адское место, а всего лишь заграница, Британия.

— Ну, попробуем, какова шефлска коляска против русского свинца и наших штыков, — не стали возражать братья, прилаживая стволы на табуретах и спинках стульев, чтобы первый залп прошел незаметно, из глубины комнаты.

Преследователи переругивались явно на немецком. Сильно искаженном, видимо, какой-то провинциальный диалект, но Шмидту вполне понятном. Обсуждали, стоит ли догонять путников, следы которых местами отпечатывались на снежных наносах, или никакого смысла погоня не имеет.

И это, абсолютно очевидно, была враждебная России армия.

— К бою товсь! — шепотом сказал офицер, ожидая самого выгодного момента. И, когда эта самая машина поравнялась с окнами, скомандовал:

— Пли!!

Шарахнули вместе из двух окон: Петр и Отто из комнаты, Федор из кухни.

У братьев то ли порох оказался подсыревшим, то ли прицелились некачественно — их пули выбили искры из брони самобеглого экипажа. А вот в пистолете был патрон с крупной дробью, часть которой досталась торчащим над бортиком фигурам, тут же ссыпавшимся под защиту бортов.

Впрочем, враг тут же ответил своим залпом, частично вынесшим последние стекла.

Гренадеры в это время отвалились к стенам, споро перезаряжая ружья, потому никто не пострадал.

Шмидт же сразу взвел курок и передвинул под него ствол со вторым патроном. Высунулся, выглядывая цель в безопасные для этого секунды.

И не угадал.

У противника было то ли точно такое же оружие, то ли, скорее всего, оказались под рукой запасные уже заряженные ружья, но второй залп последовал практически мгновенно. Расщепив перекрестия рамы и пробив тело курляндца сразу в нескольких местах.

Однако боли не было.

— Все? — прошептал Отто, скашивая глаза себе на грудь.

— Барин, а как это? — Петр ткнул пальцем. Глаза его расширились чуть ли не вполовину лица. Дыры в дохе затягивались, словно густая сметана, в которую упал камушек. Секунда, и будто никаких ранений не было. Да и чувствовал себя Шмидт прекрасно, не так, как следует после того, как тебя практически в упор расстреляли.

Отто двинул плечами, собираясь показать, что он и сам ничего не понимает, однако в эту же секунду в окно влетели два железных, с небольшой кулак, цилиндра на деревянных ручках.

И взорвались.

— Вот теперь точно все! — понял Шмидт, выносимый воздушной волной через окно. Причем показалось, что руки прошли сквозь бревна, не встречая их неприступной твердости.

Шапка в полете выскользнула из кармана, и Отто пришлось предстать перед врагами в явно непривычном для них, судя по вытаращенным под касками глазам, обличии.

— Не все! — переосмыслил он ситуацию, разглядывая выброшенного из избы прямо через стену гренадера. Именно в этот момент он вытягивал из завалинки свои ноги — ничуть не пострадавшие ни от взрыва, ни от того, что секунду назад они были словно сросшиеся с досками и щепой.

— Нехристи! Поубью на хрен! — рев Федора, решившего, что все, кроме него, погибли. Любитель табака выскочил из двери, замахнулся ружьем с багинетом, как вилами.

Из пятящегося задом ханомага начали садить со всех стволов, однако расход боезапаса был зряшным — никакого ущерба засаде он явно не приносил. Наконец диковинный локомотив развернулся и, выпуская клубы дыма, с максимальной скоростью рванул прочь.

— Стоять! Не уйдешь! — рявкнул Шмидт по-немецки и яростно бросился в погоню. — Федотовы! — успел он скомандовать уже по-русски, обернувшись. — Наискосок через рощу, наперерез путь рвите!

Те послушно кивнули и, по-лосячьи вскидывая ноги, кинулись к деревьям, куда за поворот уходила дорога.

Ханомаг взревел, хотя куда уж больше, и добавил хода, скрываясь за стволами и сугробами.

Шанс догнать врага, наверное, был. Если бы не рассвет, развеявший пришельцев из прошлого века. И освободивший их души.

Впрочем, враги, улепетывающие на полной скорости от непонятного и страшного противника, этого не видели.

* * *

— И что это было? — жадно спросил прислушивающийся к происходящему лейтенант. — Наши? Партизаны? Из ПТР, что ли, влупили? Или полковая разведка? Или кто?

— Ага… — согласилась Ольга, ошарашенная картиной атаки, очевидно, призраков из прошлого века. А что она еще могла сказать?

— И где они сейчас… И кто?

— Ну… партизаны… ну да, партизаны, — решила она. — Преследуют ханомаг. А где? И те и другие уже за рощей. Очевидно…

— Откуда они появились?

Ольга догадалась, о ком речь.

— Из того дома, самого первого. Который мы пропустили.

— Ага, понятно, — качнул головой лейтенант. — Нас заметили. В контакт вступать не стали, но помогли… Хорошо, тогда никого не ждем, уходим. Догоняем Мишу, пока его волки не съели. Хотя его не съедят, он тамбовский. А им волки — первые товарищи!

…Радист бой и его результаты не только слышал, но даже видел. Хорошо, что с расстояния в полверсты, потому в деталях не разобрался.

Помогли — и ладно. А кто там был, неважно. Дождался у поворота дороги к болоту, а дальше пошли вместе привычным уже караваном.

* * *

— Мундиры Лейб-гвардии Гренадерского полка, — прошептала негромко идущая замыкающей Ольга, вспоминая бережно сохраняемые семейные дагеротипы и рисунки. — Да, это точно они…

Поколения ее предков бессменно вставали в ряды этого славного подразделения. Включая пра–(несколько раз) — деда, пропавшего без вести во время восстания декабристов. Скорее всего, утонул в Неве, когда ядра карателей разбивали на ней лед.

Она не поленилась, сходила к дому, из которого так вовремя их поддержала эта непонятная засада. Ничего необычного не нашла, кроме вышитой причудливой вязью шапки, похожей на ночной колпак старых времен. Но на всякий случай прихватила ее с собой.

Жаль, что обо всем виденном никому нельзя рассказывать. И так к ней за происхождение «из бывших» да немецкую кровь отношение настороженное. Даже фамилию пришлось сменить.

На Кузнецову вместо Шмидт, чтобы вопросов меньше задавали.

Алексей Филиппов
Заботы отца Евдокима

У священника Староверского прихода Тураевской епархии отца Евдокима третий день ныла поясница. Ныла так противно, что не выдержал вчера Евдоким и пошел к главному врачу центральной приходской больницы Прокопию Лукичу на обследование. Седовласый доктор священника обследовал, нужные анализы с его выделениями произвел и, не найдя ничего серьезного, велел батюшке Евдокиму денька три отдохнуть от трудов всяческих.

— Да разве тут отдохнешь? — шептал себе под нос батюшка, потирая левой рукой ноющую спину, а правой делая пометки в отчетах священников местных приходов. — Не время сейчас отдыхать. Похолодало. Зима на носу, а в трех приходах трубы от котельных на новые поменять не успели. Торфа завезли две трети лишь от задуманного. Вот ведь ироды какие. Не подтолкнешь вовремя их, так любое дело испоганят. Прости меня Господи. Все ведь им дали, все объяснили, ассигнованиями обеспечили. Так нет же, не успе-

ли. Вместо дела нужного только объяснения одни и пишут. Кому они нужны в сентябре месяце? Кому? Прости их Господи еще раз. Опять, что ли, придется монахов Воскресенской обители к ним посылать?

Евдоким крепко стукнул по столешнице кулаком и сердито поставил красным карандашом три вопросительных знака на отчетном бланке села Гороховское. Священник уже потянулся к телефону, чтоб вызвать под очи свои старосту села Гороховское Пантюху Кузина, но тут на мониторе его ноутбука завертелась, пиликая мелодию восьмого псалма, напоминалка. Отец Евдоким легонько хлопнул себя по лбу ладошкой и ткнул пальцем в пульт телевизора.

Всего лишь чуть больше месяца оставалось до 175-летнего юбилея создания Русской Православной Республики, и потому пора уже было готовиться к праздничной проповеди. Юбилейная проповедь вещь тонкая: здесь историю надо помянуть, нынешнего дня коснуться и, конечно же, рассказать о планах Центрального Синода как на ближайшее, так и на весьма отдаленное будущее. Здесь без подспорья никак.

Сегодня начинался курс телевизионных лекций по истории республики. Его отец Евдоким

пропустить ни в коем случае не желал, хотя и знал он историю весьма основательно. Знал, но каждые телевизионные курсы лекций внимательно слушал. Повторение — мать учения.

А на телевизионном экране в это время грохотали пушки и отважно шли на кого-то в атаку гренадеры Семеновского полка. Это была историческая инсценировка кровавых событий декабря 1825 года. Много в те дни кровушки людской пролилось на Сенатскую площадь. Два дня лилась она, а на третий день вышли братья Романовы Константин с Николаем в центр площади и отреклись оба принародно от престола.

— Не стоит престол наш крови вашей! — громко молвил Николай Павлович, подписывая манифест отречения от власти. — Помиритесь вы все ради Бога между собой. Помиритесь!

И отдана была власть тем морозным утром в руки Державной Думе. Сперва хотели Сперанского во главе страны поставить, но потом решили, что Дума лучше. Вошли в ту Думу тогда четыре человека: Павел Пестель, Никита Муравьев, Михаил Бестужев-Рюмин да Кондратий Рылеев. Звали туда еще какого-то Пушкина, но тот чего-то вдруг заупрямился и уехал жить в Англию.

С неделю думцы победе порадовались, воин-

ских начальников с нижними чинами усердно наградами одарили, бывшей царской семье разрешили на Аляску уехать, потом выбрали Пестеля президентом пока еще не существующей республики с условием, что он через два года бразды правления другому передаст, и началось…

Первым делом указ о нарушении крепостного права Дума Державная написала да стала землю делить. При дележке, конечно, сразу же недовольные нашлись. Больше всех помещики возмущались. Все им не так было: и земли им мало оставили, и компенсацию обещали не ту, на которую они рассчитывали. Никак на них Дума угодить не могла. Не все, конечно, против новой власти пошли, а те, которые не особо просвещенные были. И набралось таких не одна тысяча и даже не две. Раньше-то вроде дворянское сословие в основном все просвещенным считалось, а как до дележки дошло, так просвещение это будто в воду кануло. Видя недовольство дворянское, купцы стали потихоньку торговлю сворачивать да в сторону заграницы вожделенно взирать. Тут еще мужики из наиболее смелых рубахи принялись на груди рвать да горло драть, а те, что потише, за топоры взялись. Местами до обильного кровопролития дележка дошла.

Солдаты присесть не успевали, маршируя то туда, то сюда по стране, успокаивая недовольных штыком да пулей. Через год немного успокоили и уж в казармы пошли, но тут другая беда. Пока думцы решали по поводу Республики Русской, на просторах российских другие, как русские, так и не совсем русские республики плодиться стали, словно мыши-полевки в хлебородный год. Со счету скоро в Петербурге сбились от этакого изобилия. Да и кабы просто всякие там республики провозглашались, а то вот нет же, каждая из них от Державной Думы отмежеваться задумала. И Рязанская, и Казанская, и Новгородская — все вдруг независимости возжелали. Опять солдатам забота. Еще год шагали они по стране, вразумляя да вешая новоявленных президентов. Здесь у нас не Америка какая-нибудь, здесь у нас особо хорохориться да о независимости кричать не всегда позволят. Пока с республиками разбирались, у Пестеля срок правления закончился. Два года пролетело, а толку от них, как у нищего калики в котомке. Даже столицу в Нижний Новгород перевести не успел. Павел Иванович продления полномочий попросил. Не дали. Выбрали на его место в Державную Думу Егора Брыкина от купеческого сословия, а президентом стать жребий

выпал Кондратию Федоровичу Рылееву. Все, как на бумаге Пестелем когда-то записано было, так и исполнили. Исполнили и хотели уж начать Народное Вече с Верховным Собором собирать, чтоб сословия отменить да новую республиканскую Конституцию наконец-то принять, но тут вдруг Пестель в Киев сбежал. И ладно бы просто сбежал, так нет же, он с собой еще Муравьева прихватил, Бестужева-Рюмина да два гвардейских полка и Вятский в придачу. Кондратий Федорович отряд снарядил, чтоб догнать беглецов, а те уж в Киеве Южное Славянское Государство провозгласили. Сперва из-за такого дела воевать хотели, но солдаты вдруг на попятную пошли. «Хватит, — говорят, — навоевались промеж собой, пора и честь знать». Пришлось за стол переговоров сесть. Посидели, поспорили за тем столом и полюбовно поделили Россию на два государства: на Южное Славянское Государство (ЮСГ) и Союз Северных Славянских Республик (СССР). Мода в те неспокойные годы на сокращения слов вдруг появилась. В СССР президентом Рылеев стал, а в ЮСГе — Пестель. На том и порешили, чтоб споров с кровью поменьше было.

Пестель, наученный горьким опытом прежнего президентства, сразу круто за дело взялся,

присвоил себе всевозможные диктаторские полномочия, все национальности, кроме славянской, в государстве своем отменил, жалование солдатам повысил и заслужил тем самым вскоре любовь народную. А у Кондратия Федоровича так гладко не получилось. Стихи Рылеев хорошие писал, а с политикой у него как-то не очень пошло. Он решил не силой, а убеждением своей правды добиваться. И добился — только не правды, а раздрая всеобщего. Сперва возмутились те, которые не совсем славянами были.

— Почему это нас, не совсем славян, славянской республикой окрестили! — истошно кричали они во весь голос. — Не хотим в СССР жить!

На помощь к крикунам скоро внешний враг подоспел, а тут еще и солдаты из-за невеликого жалования бузить стали. За год от СССР меньше трети осталось, и часть врагов вдруг из внутренних как-то сама собой во внешние обратилась. Сколько ни старался Рылеев, да все без толку. Давят его со всех сторон недруги как изнутри, так и извне. До того беспощадно давили, что не выдержала возвышенная душа президента. Пистоль он круглой пулей зарядил — да к виску.

Купцы сразу же Брыкина в президенты двинули, но тот через две недели поругался с полковым

командиром семеновцев и куда-то исчез. И вот тут вообще безвластие в Союзе началось. Да уж, если честно сказать, какой там Союз, не о Союзе теперь думали все, а о том, кому лучше отдаться: ЮСГ или Ханству Казанскому.

И отдались бы, кабы не виде́ние, которое монаху Кирилло-Белозерской обители Максиму было. Пришла к нему ночью Богородица и стала его слезно умолять, чтоб спас он народ православный от позора. Инок Максим, конечно же, просьбам таким противиться не смог, взял он на рассвете котомку и пошел в Максимград, который в ту пору еще Петербургом именовался. Встал там монах на площади и давай громовым голосом смущенный народ к вере да к борьбе с врагами всех мастей призывать.

— Кто погибнет на бранном поле за дело православное, того кущи райские ждут, — вещал монах Максим, осеняя собравшуюся толпу серебряным крестом, — а кто не пойдет за свободу сражаться, так я того сей же час от храма отлучу! Пошли, братья, на смертный бой! Хватит позора! Неужто не надоело посмешищем-то быть?!

Первыми на призыв монаха откликнулись шедшие из бани солдаты третьей бомбардирской роты Гренадерского полка, а за ними и другие

отважные люди потянулись. И столько народу на оборону веры православной собралось, что ружьями их смогли лишь на треть обеспечить. Кому не хватило ружей с саблями, так те вилы да косы взяли, но пошли. Впереди Максим хоругвь несет, а за ним воины отважные шагают.

На том первая историческая лекция и закончилась.

Евдоким закрыл блокнот и легонько вздохнул. Конечно, он ожидал более детального разбора исторического момента, предшествовавшего образованию Русской Православной Республики, но и такие лекции народу нужны. Особенно молодежи. Конечно, что-то посерьезнее бы, но… Священник уж было подумал, чтоб второй том труда по истории профессора Троицкой обители Афанасия Трондина полистать, но тут вошел младший дьяк Клим и напомнил, что пора на трапезу обеденную, а после нее встреча с игуменом местной обители отцом Пименом намечена была.

Перед обедом по давно заведенной традиции отец Евдоким уселся в мягкое кресло, чтоб просмотреть блок полуденных новостей. Новостей было немного, а душу священника тронули только две. Первая — о визите министра иностранных

дел ЮСГ в Уралию, а вторая — о разрешении забавы караоке в будние дни. От первой новости у отца Евдокима тревога о внешней политике зародилась. Уж очень ЮСГ Православную Республику в последнее время не уважало. Да что там не уважало? Если честно сказать, не любило вовсе и постоянно старалось какую-нибудь гадость подбросить.

Лет сорок назад особая нелюбовь началась. Тогда ЮСГ обратилось к правительству Православной Республики с предложением организовать военный союз против Соединенных Европейских Штатов, а правительство православное отказалось в войну вступать, сославшись на объявленный всему миру нейтралитет. ЮСГ в той войне поднатужилось крепко, но со Штатами справилось. Справилось с ворогом, границы свои до реки Рейн расширило, победе великой возрадовалось на весь мир, а вот против русских злобу крепкую затаило и гадит теперь при всяком удобном случае. Вот и сейчас оно уральское руководство начнет уговаривать насчет того, чтоб через Астрахань в обход Рязани со Смоленском трубопровод с газом китайским сразу на Курск пустить. Уговорят, коли, так и останется республика православная без транзитных денег. Невелика с

них, конечно, прибыль, но прибыль все-таки. Без копейки и рубля нет. А ведь и уговорят ироды. Уральцы — народ ой, какой податливый. Тревожно стало от сей новости Евдокиму, а от караоке вообще в душе буря греховодная началась.

— Как так можно? — шептал себе под нос священник, неторопливо шествуя в трапезную. — Чтоб с такой бесовской забавы да узду снимать? Что это стало твориться на белом свете, Господи? Так недолго и до ЮСГ докатиться. У них там под эту караоку в каждой деревне пляшут. Оттого и беспорядки одни в ЮСГ с демонстрациями разными. Каждый чего хочет, то и делает. Ни стыда, ни совести. Спаси и помилуй, Господи.

После сытного обеда отец Евдоким успокоился и направил стопы свои в приемную келью, где его игумен Пимен дожидался.

С ним новости последние немного обсудили и тоже про историю поговорили. Вспомнили добрым словом владыку Феофана, который после смерти Максима в республике править стал. Немало добрых дел он сотворил, но главное, за что века люди помнить будут этого святого угодника, была его знаменитая проповедь о тайне Божией.

— Много тайн у Господа, — говорил тогда Феофан, — но не все он нам за грехи наши открывать

решается. Да и не каждому он эти тайны приоткроет, а только тем, у кого искра Божья есть и талант, Господом же данный. Наш же с вами долг перед Господом Богом — искать таких людей среди народа православного и беречь их как зеницу ока своего, пестовать да никогда не препятствовать им в поисках тайн Божьих. И не только не препятствовать, но и помогать всячески. Только через них Господь нам свои тайны приоткроет. Только через них.

Жила в то время республика бедно. Как ни отважны были воины православные, но продвинуть границы на юг дальше города Саратова не получилось, на востоке только Нижний Новгород удалось отвоевать, а на западе до Орла-города дойти, но зато весь берег Студеного океана вплоть до царства Аляска шириной местами до пятисот верст в состав республики вошел. А как стали по стране людей с талантами искать да селить их в монастырские слободы и волю талантам всяческую давать, так и процветание в стране наметилось. Вроде и взять чего-то неоткуда было, но нашлось все скоро. Пшеницы во Владимирской епархии стали с десятины собирать больше, чем под Екатеринославом. Видано ли такое раньше было? И дорогу железную раньше, чем в ЮСГ,

через всю страну проложили. А за большегрузными автомобилями, сделанными в Православной Республике, и теперь со всех стран гонцов присылают. В Голутвинской обители такие паровые котлы, работающие на торфе, мастерят, что уж все люди православные про нефть с газом и не вспоминают. Даже замерзающей воде применение нашли. Электричество с ее помощью вырабатывать стали. Из мороза тепло делать! Молодцы. Дай им Господь здоровья да таланта побольше. А если людей с талантом в государстве предостаточно, то и у народа страны той всегда достаток будет. Да и не только талантами богата теперь православная республика, здесь и золотишко добывается не пудами, а тоннами. Нигде в мире столько драгоценного металла из недр не берут. Только на Руси. Есть золото в северных землях. И газ с нефтью вроде уж отыскали люди талантливые. Господь угодников своих никогда не забывает. И всегда им нужный путь да нужное место укажет.

Отец Пимен сегодня тоже не с пустыми руками к приходскому главе явился. Диковинный материал иноки его обители придумали. Еще по весне привезли они из Московской епархии два вагона смолы сосновой, жиру тюленьего натопили

пудов сорок, муки из гальки морской на особой мельнице намололи, а потом постарались, поварили все это в котлах замысловатых и получили тридцать пудов темно-серого порошка. А уж из порошка того таких труб славных напекли, что все остальные трубы только им в подметки и годятся. Пимен почти насильно заставил Евдокима со всей силы по трубе той молотком грохнуть. Не разбилась. Стальная будто, не звенит только. Проверив качество трубы своей рукой, решил приходской священник диковинкой той сразу двух зайцев укокошить. Новинку отца Пимена в настоящем деле испытать и село Гороховское к отопительному сезону побыстрее должным образом подготовить.

— Вот, — тряс Евдоким через час перстом у красного носа Пантюхи Кузина, — благодари Бога, озорник! Иноки тебе завтра все недостающие трубы на новые заменят. И смотри, чтоб не было как в прошлую зиму!

— Да я-то при чем здесь? — оправдывался густым басом Пантюха. — Это истопник наш Троха. Выпил зелена вина лишний ковшик да уснул возле котла, а зима та, сами знаете, какая лютая была. Воробьи на лету замерзали.

— Ишь ты, — обвел всех присутствующих

старост ищущим понимания взором отец Евдоким, — ни при чем он тут! Ты на селе староста или кто? Ты почему не усмотрел за истопником? Почему ни в одном селе, кроме твоего, никто зелья хмельного ковшами не пьет? Почему ты за мирянами подобающе не смотришь?

— Да где ж ему смотреть? — засмеялся староста Каменного Яра Митрий Кочерга. — Они ж с Трохой, поди, из одного ковша и лакали?

Гороховский староста что-то промямлил в свою защиту, но это «что-то» мгновенно потонуло в веселом хохоте почтенного собрания сельских старост.

Как только смех пошел на убыль, отец Евдоким перевел свой взор на дьяка Тита Патрикеева и строго спросил о причинах отставания в заготовке торфа.

— А ты будто не знаешь, отец Евдоким, — всплеснул руками Тит.

— Чего не знаю?

— А то, что урезали нам лимиты в епархии по торфу аж на три тысячи пудов.

— Как так урезали? Почему?

— Так я ж тебе в прошлом году твердил, что рано первого июня отопительный сезон завершать. А ты мне что сказал?

— Что?

— Миряне, видишь ли, преют. Ничего, попрели бы для доброго дела чуток. Замерзших до смерти мы много видели, а запаренных никогда. Как я тогда уговаривал тебя, как сопротивлялся, но ты ж настоял на своем. Теперь наш лимит Москве отдали.

— Как Москве? — вытаращил глаза, будто молодой теленок, Лука Сенной с Тюленьего мыса. — У них же там не каждую зиму и морозы настоящие бывают! Минус тридцать — это разве мороз?! Почему им?!

— Перерасход у них прошлой зимой случился, а у нас экономия, — вздохнул Тит, — вот потому им добавили, а нам убавили. По справедливости, значит, поступили. У нас всегда так. Поумнее они и на этот раз нас оказались. Одно слово, москвичи.

Старосты загудели, будто встревоженный пчелиный улей, и уж некоторые из них с лавок привстали, но отец Евдоким строго цыкнул, прекращая зарождающееся безобразие.

— Там, наверху, виднее, у кого взять! — сердито топнул священник ногой. — Чего расшумелись?! Не хватит торфа — поеду в Тураев, преклоню колено перед отцом Федором и решу вопрос. Не впервой.

Евдоким топнул ногой еще раз, но уже значительно мягче и всем своим видом показал, что собрание пора завершить. Однако старосты намека его красноречивого не поняли и с лавок теперь вставать не спешили. Видно, задумали чего-то.

— Мы вот что решили, — вежливо откашлявшись, привстал со своего места Митрий Кочерга, — письмо нам надо в Центральный Синод написать.

— Какое еще письмо?

— Да насчет караоки этой. Слышал, поди, чего сегодня в новостях-то сказали? Не дело там с ней задумали. Ой, не дело. Нельзя ей у нас волю давать.

— Вы мне это, того, — возмущенно стал грозить пальцем на слова старосты священник. — Не нашего это ума дело. Там решили. Там думают, а нам выполнять, и не более того.

— Надо писать, — в помощь к Митрию поднялся седобородый Серафим из села Клюквенное, — а то ведь получится как с указом о юбках бабьих. Помнишь, в семьдесят пятом году разрешили, чтоб юбки башмаков бабьих не скрывали? Помнишь? И что из этого получилось?

— Сейчас уже у колен эти юбки болтаются! — шлепнул себя по ноге Пантюха Кузин. — И лет

через десять как в ЮСГ будет — там у них бабы по самую свою сущность оголились. До самого греха. Демократия у них там, видишь ли. Вот как.

— Так же и с караокой этой будет, — отважно ринулся в дискуссию Евсей Крохин. — В нее ведь все больше бабы поют. Мужики-то стесняются пока.

— Да и ладно бы они просто пели, — перебил Крохина Пантюха, — а то ведь они ногами да станом выкрутасы разные делать начинают. Вот так.

Кузин вдруг проворно выскочил в проход между лавками и начал там замысловатый танец с разными похабствами вытворять. И так у него забавно это получалось, что все старосты от смеха за животы схватились.

От составления письма в Центральный Синод отец Евдоким своих подчиненных все-таки отговорил. С трудом, но сбил охотку к написанию реляции местного масштаба. Работа у священника такая — от необдуманных поступков мирян с Божьей помощью отговаривать.

Когда Евдоким вышел из присутствия, на улице было уже темно. Ярко сверкали фонари вдоль центрального городского проспекта, по которому степенно прогуливались серьезные горожане.

Мальчишки носились возле памятника Преподобному Максиму с пластмассовыми мечами и с криками «ура» сражались с кем-то: то ли с ЮСГ, то ли с казанцами. Парни постарше возле здания уездного театра играли в бабки, а румяные девки, кутаясь в подбитые собольим мехом душегрейки, лузгали семечки и смеялись, почти внимательно наблюдая за игрой.

— Хорошо живем, — подумал отец Евдоким, широко перекрестившись, а потом, ни к селу ни к городу вспомнив о караоке, прошептал с протяжным вздохом: — Только надолго ли?

Павел Виноградов
В тот назначенный час..

Девчонки выгоняют вас на крышу музея и остаются в отдающем благородной вековой плесенью сумраке Северной туры, откуда сразу раздается их шебаршение и хихиканье. Археолог Федя, реставратор Миша и ты молча вдыхаете грубый папиросный дым и долетающий с Кема жесткий ветерок, внимая звукам города, мрачными холмами прижатого к огромной реке.

Темногорск — идеально подходящее граду сему имя. Горы и правда темные, и нависает надо всем городом скала Коготь духа, ну, или Чертов коготь — кому как нравится. Но тебе больше по сердцу другая гора, или как их здесь называют, сопка — правее Когтя. Ее названия ты не знаешь, но, если глядеть с моста, она очень похожа по очертаниям на гору Сент-Виктуар, которую часто писал Сезанн. Обе прекрасно видны и отсюда, с крыши музея, построенного лет восемьдесят назад сумасшедшим архитектором по заказу сумасшедшего золотопромышленника в виде древнеегипетского храма — из красного кирпича

и с египетскими фресками на стенах.

И да, туры — это четыре башенки по углам здания, в них хранится часть фондов, довольно небрежно, надо сказать.

…Хихиканье прекращается, и из туры выплывает дивное виденье. Вы сперва и не понимаете, что это не гений чистой красоты, а экскурсовод Вика, которая только что была в старой футболке и рабочих штанах — возиться в фондах дело крайне грязное. Но теперь это какая-то розовая фея, экзотическая бабочка, неведомым образом воплотившаяся в центре Сибири.

Высокую узкобедрую и длинноногую платиновую блондинку Вику платье XIX века совершенно преображает. При этом оно словно бы так и предназначено для нее, ожидало ее лет сто тридцать, последние пятьдесят в музейном ящике — среди прочих вещей жены декабриста, отбывавшего в Темногорске ссылку, тут и умершего. Жену звали Александра, она поехала за мужем в Сибирь, а после его смерти с детьми уехала обратно за Урал, часть старых платьев отдав местной прислуге. Та бережно хранила их много лет, почти не надевая, передала своей старшей дочери, сын которой, разобравшись, кому эти тряпки принадлежали, отнес их в тридцатых годах в краеведческий

музей.

Честно говоря, история эта сомнительная, как и у многих вещей из фондов. Но музейным нравится думать, что она полностью правдива, и некогда это платье Александра надевала на балы у городского головы. Ну а сейчас его, с помощью своих коллег Лили и Риты, надела Вика и, судя по всему, пребывает от этого в полном восторге, изображая изящные па на фоне суровой реки и городских кварталов, уползающих к хмурым сопкам.

Парни издают одобрительные возгласы, аплодируют, Вика упивается их вниманием. А ты лишь молча, словно завороженный, смотришь, сжимая погасшую папиросу. Вика тебе нравится, как, впрочем, и другие музейные дамы, но сейчас дело в другом. Словно ты скакнул более чем на столетие назад…

* * *

Тебе ведь очень хочется скакнуть отсюда куда подальше. Тебе кажется, что жизнь остановилась, что ты всегда будешь жить в этом городе, среди его серых стен с идиотическими лозунгами и не менее идиотическими панно и нависающих надо всем этим лесистых сопок. Дело даже не в

том, что ты в свои двадцать два «профилирован» компетентными органами и не имеешь личных перспектив, поскольку еще в институте показал политическую незрелость и неблагонадежность. Просто тебе все сильнее кажется, что все это не настоящее — улицы, дома, город, страна… Словно смотришь черно-белое кино — насквозь фальшиво-бодрое, от которого во рту привкус мыла с химическим запахом земляники. Но на самом деле это просто дурной тягучий сон — не кошмар, а какое-то нудно повторяющееся действо. И оно прервется, канет в небытие, когда ты проснешься. Беда в том, что ты сам живешь в этом сне и исчезнет он лишь вместе с тобой…

С музеем тебе повезло — у тебя же «волчий билет» и устроиться на приличное место тебе не светит. Но музей закрывается на долгую реконструкцию, идет работа в фондах, им сейчас драгоценна любая пара рук. А платят тут копейки. Так что в местном отделе кадров решают не обращать внимания на сомнительную репутацию нового сотрудника.

И вот ты формально смотритель, а фактически подсобный рабочий. Вы разбираете, каталогизируете, запаковываете в ящики множество обломков самых разных времен, порой и очень

давних. Что говорить, если, всякий раз приходя на работу, ты обязательно споткнешься о валяющийся у входа огромный череп древнего шерстистого носорога… Не передать словами, как тебе это все нравится — словно ты нашел лазейку из этого времени, какую-то его подсобку, подвал, где свалены отжившие вещи и где ты можешь скрываться и предаваться мечтаниям, как печальный одинокий ребенок.

До того у тебя были только книги да фильмы — из тех, которые изредка показывают в кинотеатрах на окраине, и с которых через двадцать минут уходит большая часть зрителей, и остаются лишь знающие, что пришли смотреть. Ну, еще иногда смотришь что-то совсем уж запретное по видео на квартирах друзей.

* * *

Ты читаешь. Еремей Парнов, «Трон Люцифера. Краткие очерки магии и оккультизма»:

«Мир существует вечно, учили катары, он не имеет ни начала, ни конца… Земля не могла быть сотворена богом, ибо это значило бы, что бог сотворил порочное… Христос-человек никогда не рождался, не жил и не умирал на земле, так как евангельский рассказ о Христе является выдум-

кой католических попов… Крещение бесполезно, ибо оно проводится над младенцами, не имеющими разума, и никак не предохраняет человека от грядущих грехов…»

* * *

Мир существует вечно, и это плохой мир. Он никогда не кончится, и спасения от него нет.

Огромное лицо генерального секретаря на желтой стене автовокзала: «Вперед, к победе коммунизма!»

Ты идешь по раскаленной июльским солнцем улице. Здесь лишь мягчеющий от жары грязный асфальт, который отбойными молотками взламывают потные, обожженные палящим солнцем дорожные работяги. От грохота и поднятой пыли тебе дурно, и ты перебираешь в голове сами собой возникающие четки неправильных стихов шизоватого содержания:

Красные лики асфальтодробителей
вплелись в декорации зданий.
Гномы таскают агат,
отражаясь в витрин колебаниях.
Панели и окна сплетаются в косы —

изящные очень.
Грозные рыки колоссов
и нефть, и свинец погребальный…

Ты спускаешься к набережной, двигаясь вдоль музейной стены слева от тебя. Справа — гранитная облицовка въезда на огромный мост через Кем, шедевр сталинского ампира. Здесь уже благословенная тень и доносящаяся от реки прохлада.

…В клубах укутаюсь, в кольцах
из грубых клоак самосвалов.
В клубах возрадуюсь, в кольцах,
каких эта жизнь не видала.
Мертвое декольте
уродливых нищих строек
в бетоне расплавит кадавры
последних героев…

Обходишь главный вход, заходишь в дворик, ныряешь в неприметную дверцу полуподвала, задеваешь кроссовком носорожий череп. Ты в безопасности.

* * *

Декабристов тут любят. Почти как дедушку Ленина: пароход, на котором он плыл в ссылку, восстановили и водят на него экскурсии трудящихся. Пароход тоже принадлежит музею, хотя есть большие сомнения, что это точно то самое судно. Ну а про то, что на нем еще раньше плавал цесаревич Николай Александрович, предпочитают не говорить.

Но декабристов тоже любят:

«На территории нашей губернии в разное время проживало более 30 декабристов, в том числе в самом Темногорске 12 человек. Декабристы оставили заметный след в истории города».

Ну да. Как тот, в платье жены которого наряжалась Вика. Вообще-то, это серьезное нарушение — даже преступление в глазах трясущихся над экспонатами музейных людей. Но время от времени можно позволить себе некоторые проказы, пусть даже на грани фола. Вика — девушка очень правильная, видящая свой путь далеко вперед. Он прям, однозначен и сулит ей лишь жизненное благо. Еще она серьезно и строго ведет собрания крошечной музейной комсомольской ячейки. Куда входишь и ты, хотя у тебя нет комсомоль-

ского билета. Ты порвал его на клочки и спустил в толчок общественного туалета в центре города, сделав над собой усилие, чтобы зайти в это вонючее капище. Но в музее сказал, что потерял его, Вика тебя отругала, обещала поставить на собрании вопрос о наказании. И все благополучно об этом забыли.

А ты никак не можешь забыть, как она парила в розовых кружевах на крыше… Ты не можешь забыть и взгляды, которыми они порой обмениваются с экскурсоводшей Ритой — роскошной дамой с копной каштановых волос. Тебе нравится и Рита. Трудно сказать, кто из них нравится тебе больше. Хоть они и лет на пять старше тебя.

Ты тоже нравишься им — ловишь на себе однозначные взгляды и той и другой. Ну а что, ты юн и смазлив. Прихрамываешь из-за больного колена, но это, наверное, добавляет тебе в их глазах шарма. «Хромой бес» называют они тебя, и тебе это льстит. Твои разговоры с ними — смесь цинизма, загадочности, интересничания и наглости. Плюс обязательная доза политической крамолы.

* * *

— Да какие они были герои… Обычные тусовщики того времени. Бухали, по борделям

шарились… Когда они собирались принимать Пушкина в «Союз благоденствия», он приехал и говорит: «Господа, поехали лучше к актрискам!» И они поехали. Так он и не стал декабристом.

— Откуда ты это взял?

Лицо Вики внешне холодно и строго, но в льдисто-голубых глазах кроется лукавый огонек.

— Читал где-то.

— Врешь, нигде ты такого прочитать не мог.

А вот зеленые глаза Риты искрятся весельем откровенно. Они обе каждый день с придыханием рассказывают экскурсантам о святых героях-революционерах. Может быть, даже искренне. Но теперь, здесь, они не прочь пошалить.

Задернутые тяжелые портьеры, ковры. Чешская стенка с хрусталем и рядами блатных книг. Кассетный «Грюндик» изливает чувственную попсу. Мягкий свет бра, мерцающее в бокалах грузинское вино, под воздействием которого беседа становится все более хаотичной и фривольной…

Вика и Рита на диване, ты напротив в кресле. Девчонки размякли, плывут, глаза их мерцают, на губах — загадочные полуулыбки джоконд… Хотя почему загадочные: улыбка Лизы Герардини, которая в Лувре, явно имеет ту же причину, и нечего искусствоведам ломать над ней голову.

Ты поднимаешься с кресла, подходишь к дамам, делающим вид, что не замечают тебя, не слишком смело кладешь руку на плечо Вики, второй гладишь Риту по каштановым кудрям, переводишь руку на длинную Викину шею… У нее очень нежная кожа — как и у всех натуральных блондинок.

Твою крышу сносит на фиг.

Вика не глядя протягивает руку и выключает бра…

* * *

Ты читаешь. Л. Н. Гумилев, «География этноса в исторический период»:

«В чем же усматривали катары (альбигойцы) и вообще все гностики-манихеи свою задачу? Они считали, что надо вырваться из этого страшного мира. Для этого мало умереть, так как смерть тела ведет к новому воплощению души — к новым мучениям. Надо вырваться из цепи перевоплощений, а для этого мало убить тело, нужно умертвить душу. Каким путем? Убив все свои желания… Надо изнурить свою плоть до такой степени, чтобы душа уже не захотела оставаться в этом мире, тогда она в момент смерти воспарит к светлому Богу. Но плоть

*можно изнурять двумя способами: или аскетизмом, или неистовым развратом. В разврате она тоже изнуряется, и поэтому время от времени альбигойцы устраивали ночные оргии, обязательно в темноте, чтобы никто не знал, кто с кем изнуряет плоть». * * **

…Здесь мосты, словно кони —
По ночам на дыбы!
Здесь всегда по квадрату
На рассвете полки —
От Синода к Сенату,
Как четыре строки!..[14]

Мужик из магнитофона и не поет вовсе — просто наговаривает стихи под гитару. Но голос его пробирает до нутра, а стихи крамольные и будоражащие. Генка этого не понимает, для него это просто кассета «не для всех», которую можно хорошо продать. Тебя выперли из института за политику, его — за фарцу, в политике же он разбирается так себе, для него что Вилли Токарев, что Галич…

…Мальчишки были безусы —

---

[14] Примечания: 14
Здесь и далее — Александр Галич.

Прапоры и корнеты,
Мальчишки были безумны,
К чему им мои советы?!
Лечиться бы им, лечиться,
На кислые ездить воды —
Они ж по ночам: «Отчизна!
Тираны! Заря свободы!»

— Муть какая-то. Давай «Зоопарк» поставлю.
— Погоди.

…И я восклицал: «Тираны!»
И я прославлял свободу,
Под пламенные тирады
Мы пили вино, как воду…

В голове у тебя клубятся крамольные мысли. Ну да, вот вышли они, постреляли, потом кто в петлю, кто сюда, в Сибирь. Пришли другие, еще круче стреляли. А потом другие, совсем уж крутые — и все рухнуло, перемешалось, а после устоялось в уродливой неразберихе, словно взбаламученная колесами самосвалов грязь проселочной дороги под летним солнцем. И ты сейчас в этих дворцах из засохшей грязи обретаешься. Слава героям!

…Можешь выйти на площадь,

Смеешь выйти на площадь,
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь
В тот назначенный час?!

— Ладно, давай «Зоопарк».

…Лето!
Я купил себе газету.
Газета есть, а пива нету.
И я иду его искать…[15]

— Наливай, Ген.

…Лето!
Оно сживет меня со свету.
Скорей карету мне, карету!
А впрочем, подойдет и квас…

* * *

Директриса музея еще довольно молодая и привлекательная. К музейному делу никакого отношения не имеет — выдвиженка из комсомола. Музейные ее не любят, злорадно пересказывают

---

[15] Примечания: 15
Здесь и далее — Майк Науменко.

истории, как она «плавала» на первых порах: например, велела перекрасить стул, который, предположительно, принадлежал великому художнику-передвижнику, уроженцу Темногорска…

— Ольга Васильевна, мне очень нравится работать в музее…

Ты старательно пытаешься сохранять спокойствие, но голос твой иногда предательски дрожит.

— Я все понимаю, но что поделаешь — мы закрываемся на реконструкцию, ваша ставка сокращена.

Наверное, дело не только в этом: до органов наконец-то дошло, что ты пристроился в «идеологическое учреждение», что с их точки зрения непорядок. Можно умолять эту бабу на коленях, но это бесполезно — все решено…

— Вика, меня уволили, — говоришь внизу, в фондах, вваливаясь в маленькую комнатку, куда переселили экскурсоводов.

— Я знаю, — льдистый взгляд светло-голубых глаз.

Ставки экскурсоводов тоже сократили. Но она-то не пропадет — за ней крайком, где работает ее папаша, найдут что-то в филиалах. А вот ее

холодность вызвана чем-то другим. Возможно, с ней провели профилактическую беседу в кабинете Серого дома. Ну, или донесли информацию другим способом. Органы смотрят на моральное разложение сквозь пальцы, если оно не осложняется иными грехами, а ты и есть такой грех. Думаю, она в подробностях поведала товарищу майору содержание всех ваших бесед. К примеру, о развратниках-декабристах.

— Прикроешь дверь с той стороны?

Я прикрываю.

Может, стоит найти Риту? Она куда добрее и душевнее Вики. И, не исключено, влюблена в тебя. Но ты уходишь, больше ни с кем не прощаясь. Отныне «египетский ящик» для тебя — запретная территория.

* * *

Сейчас ночь, но скопившаяся за день духота продолжает тебя медленно убивать. Тем более что ты пьян до изумления. Как ты, блин, оказался на мосту?.. Вы же пили с Генкой… да, сначала у него дома, потом в самую жару в детском саду в беседке. Потом пошли ловить такси, чтобы разжиться у водилы фунфырем водяры за десятку. И вам прилетело. Ты даже не понял, откуда в

темном дворе возникли гопники, сразу поймал головой удар чем-то твердым и отрубился. Генка свинтил, надо думать, а ты, получив еще ногами и повалявшись, встал и пошел в состоянии аффекта. На тебе нет часов и кроссовок, ты в одних носках, разодранных в нелегком пути.

Но как ты оказался на мосту? Это же совершенно другая часть города.

А, неважно. Ты облокачиваешься на ограждение и вглядываешься в темные воды далеко внизу.

Над тобою, мостом и городом парят Чертов коготь и твоя гора Сен-Виктуар, но их очертания расплываются в теплой смолистой мгле летней сибирской ночи.

…Ведь в грудях, укутанных туго
посконно-сермяжной материей,
слепые котята скребутся,
медлительно булькает вар.
Кварталы низвергнутся в прерии,
раскроют гробы для вселенной,
под темною сопкой, похожей
на гору Сент-Виктуар…

Дурацкие стихи мешают тебе сосредоточить-

ся на чем-то важном, над чем ты прямо сейчас должен подумать. Голова трещит после удара, алкоголь медленно растворяется в твоих венах, и на горизонте уже маячат муки похмелья. А стоит ли их дожидаться?

Надо ли тебе уходить с этого места?..

До тебя вдруг доходит, где именно ты стоишь: примерно отсюда года два назад сиганула одна твоя однокурсница. Нашли ее только месяца через три — тело зацепилось за следующий мост, ниже по течению.

Поговаривали, что она вырубилась во время очередного бухача в общаге, очнулась голой на чьей-то койке, а по прошествии времени поняла, что пребывает в затруднительном положении. Ну и решила проблему слишком радикально. Но тебе нравится думать, что ее, как и тебя, просто задолбал этот мир.

Летела девочка в кромешный рай с моста...

Не отрывая взгляда от мощно прущих внизу тяжелых вод Кема, ты вытаскиваешь папиросу, привычно замысловато сминаешь мундштук, прикуриваешь. Говорят, грянуться о воду с такой высоты — все равно, что о стальной лист. Говорят

и то, что долететь живым до воды отсюда невозможно — сердце разорвется от ужаса…

А вдруг… Вдруг там, где-то на середине полета, и есть тот самый портал, который ты не сумел открыть в «египетском ящике»? Вдруг оттуда ты проникнешь в другой мир, в котором станешь тем, кем быть должен?..

Окурок призрачной искрой планирует вниз, но вскоре гаснет и исчезает.

* * *

Видак — мерцающее чудо, окно в блистающий мир, генератор странных и острых впечатлений. Голые мужчины и женщины бесстыдно любят друг друга, китайцы дерутся ногами, дико при этом визжа, а безумец устраивает шоу на площади в Риме.

Вас набилось в комнате человек пять: мало у кого в этом городе есть видак, и такие люди очень популярны, все хотят попасть к ним в гости. Вы передаете друг другу тлеющую папиросу, мысли ваши все более размываются, подергиваются шалой дымкой, становятся запутанными и причудливыми.

Безумец вещает с конной статуи какого-то, судя по всему, заслуженного древнего чувака. Безу-

мец размахивает руками, провозглашая вещи странные, но в твоем состоянии они кажутся удивительно точными:

«Истинное зло нашего времени состоит в том, что не осталось больше великих учителей. Мы должны вслушиваться в голоса, которые лишь кажутся бесполезными. Нужно, чтобы наш мозг, загаженный канализацией, школьной рутиной, страховкой, снова отозвался на гудение насекомых. Надо, чтобы наши глаза, уши, все мы напитались тем, что лежит у истоков великой мечты. Кто-то должен воскликнуть, что мы построим пирамиды. И неважно, если потом мы их не построим. Нужно пробудить желание. Мы должны во все стороны растягивать нашу душу, словно это полотно, растягиваемое до бесконечности…»[16]

— Слышь, отруби это говно, давай порнушку!

— Погоди, это же его последний фильм. Он его в Италии снимал и там остался. У нас его теперь хрен покажут.

— Так фигня же, кайф ломает…

«…Человек, выслушай меня! В тебе вода, огонь и еще — пепел. И кости в пепле. Кости и пепел.

---

[16] Примечания: 16
Андрей Тарковский, «Ностальгия».

Где я? Если я не в реальности и не в своем воображении?..»

Безумец волнуется, но говорит удивительно четко и связно — наверное, долго учил эту речь, репетировал:

«…Я заключаю новый договор с миром. Да восстает солнце ночью и падет снег в августе. Великое недолговечно, только малое имеет продолжение…»

Редкие люди на площади молча и неподвижно стоят вокруг, словно статисты античной трагедии.

«…Что же это за мир, если сумасшедший кричит вам, что вы должны стыдиться самих себя!..»

Безумец требует музыку, но с ней какие-то проблемы. Он берет канистру и выливает на себя из нее жидкость. Долго мучительно щелкает зажигалкой, которая никак не хочет исторгать огонек…

«…О Мать, о Мать, воздух так легок, что кружится вокруг Твоей головы и становится все прозрачней, когда Ты улыбаешься…»

Наконец огонь добыт, безумец подносит его к себе. Пламя охватывает его, он падает с памятника на мостовую, продолжая гореть. Зрители

наблюдают за этим столь же безучастно и молча, лишь какой-то псих валится рядом с горящим и бьется в припадке.

Тут проблемы с музыкой разрешаются, и на площадь обрушивается «Ода к радости» Бетховена. Безумец догорает под нее.

Это катарсис — от слова «очищение». Как и катар, впрочем…

— Чуваки, давайте порнушку!..

…Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь?..

* * *

…Смеешь выйти на площадь
В тот назначенный час?!

Да какая там площадь — так, небольшая площадка между краевой научной библиотекой и Серым домом. До революции в нем была торговая фирма местных богатых купцов, а после заселилась ЧК. Так и сидят в нем до сих пор чекисты, хоть грозное ведомство и сменило аббревиатуру. Темногорск всегда был расстрельным городом, и если бы подвалы под этим зданием могли говорить…

Вообще-то, краевая управа занимает весь квартал, но в представлении темногорцев мощь Конторы символизирует этот вот Серый дом, когда-то трехэтажный, в 1937 году надстроенный четвертым этажом. Так что вся твоя площадь — пятачок между библиотекой и входом в приемную Конторы на перекрестке Карла Маркса и Дзержинского. Тебе хватит.

Ты приехал сюда рано утром — не спал всю ночь, что не удивительно. Но идешь на место своего триумфа не сразу. Сначала долго сидишь на скамейке в центральном городском парке — кусочке тайги, сохраненном на полутора десятке гектаров. Куришь папиросу за папиросой, что тоже вполне естественно перед задуманным тобою делом.

В твоей голове мелькают сотни мыслей, ассоциаций и воспоминаний — так быстро, что тебе трудно уследить за ними. И снова — слова, слагающиеся в четки несуразных стихов:

…Сероватые, злые, немые —
растворяются в золоте дня
смешные фигурки.
Бесстрастно питаются инеем,
пронизывают меня

из глаз лучами космическими.
Смеюсь над величием их!..

— Пора!

Тебя словно что-то толкает, ты выбрасываешь в урну последнюю папиросу, мысли и стихи в голове прекращают хаотичное круговращение. Ты мгновенно успокаиваешься и упруго поднимаешься со скамейки, одновременно поднимая рюкзак. Тяжелый, литров пять не меньше, в канистре из гаража отчима. Раньше там стоял его мотоцикл, но он его уже давно продал: мама сидит дома, ты без работы, денег нет…

Твое спокойствие удивительно — оно всеобъемлюще. И жизнь сейчас доставляет тебе неподдельное удовольствие: утреннее солнце, шелест ветра в кронах реликтовых сосен, запахи близкой реки, цветов и выхлопных газов с улицы. Все это воспринимается как дорогое сердцу воспоминание об оставленном позади мире, который ты идешь спасать. Или спасаешься от него.

Ты аккуратно переходишь улицу Маркса, терпеливо дождавшись зеленого светофора, хотя в этот час машин очень мало. Но еще не хватало, чтобы тебя остановил гаишник за нарушение ПДД. Спокойным шагом двигаешься к Серому

дому. Тяжелый рюкзак с канистрой оттягивает руку.

На тебе растянутая футболка и старые джинсы — все натуральное, вплоть до трусов: синтетика не горит, а плавится, говорят, это очень больно… Здесь нет конного памятника римскому императору, никто не включит для тебя музыку, да и речь ты произносить не намерен — просто некому. Хотя тебе есть что сказать. Но ты делаешь это не для редких прохожих, спешащих на работу, не для уныло дежурящих на проходной Серого дома юных лейтенантов. Ты делаешь это для себя и для мира, с которым ты сейчас остался с глазу на глаз. Или же для Того, Кого ты считаешь миром.

Надо торопиться, отреагируют они быстро, хоть ты и молчал, чтобы заранее ничего никуда не просочилось. В твоем окружении достаточно людей, охотно делящихся информацией с обитателями этого здания… Потому рюкзак на асфальт, делаешь вид, что что-то в нем поправляешь. На самом деле извлекаешь канистру и отвинчиваешь крышку. С этого места ты уже не уйдешь.

Распрямляешься, поднимаешь канистру обеими руками и льешь на себя. Безумец в фильме большую часть пролил, когда лил его на спину. Чтобы не делать такой ошибки, ты льешь на

голову и грудь. Запах бензина одуряет, но он тебе не неприятен. Солнце припекает, тебе кажется, что ты уже горишь, но нет — ты просто мокрый.

В фильме безумец долго возился с зажигалкой, но со спичками, пожалуй, было бы еще неудобнее. Потому ты и купил самую дешевую зажигалку в магазине «Подарки».

До них дошло! Двое выскакивают из дверей приемной — один в форме хаки и фуражке с синим околышем, второй в штатском. Но они еще довольно далеко. Ближе несколько прохожих, но они явно еще не понимают, что происходит. Кроме одного мужика — его лицо напряжено, а фигура выдает намерение рвануть по направлению к тебе. Возможно, тоже конторский, идущий на работу.

Но зажигалка уже у тебя в руке, и ты лихорадочно щелкаешь ею.

Тому, что в форме, до тебя осталась два-три прыжка. Прохожий тоже рвется к тебе. Но тут зажигалка, наконец, срабатывает.

…В тот назначенный час…

Наверное, срабатывает — ты этого не видишь. В голове у тебя взрывается «Ода к радости» и тебя охватывает безумная боль.

* * *

…Да, это безумный ужас, но и безумный восторг. Тебя разрывают адреналин изнутри и дьявольский ветер снаружи. Но сердце твое не разорвалось, хоть и бьется с частотой пулемета. Странно, стальная вода, испещренная арабесками быстрых волн, приближается вовсе не так быстро, как ты думал.

Ты даже успеваешь посмотреть вверх и увидеть смутную в ночи сопку. Тебе кажется, что она стала во много раз больше и сейчас поглотит тебя, реку и весь город, и ты кричишь от ужаса и восторга под этой *«трепещущей сопкой, похожей на гору Сент-Виктуар»*. Но тут декорация меняется.

* * *

Холод, пронизывающий холод. Ветер с Невы несет ледяную крошку, твердую и острую, от которой не спасает шинель. Острый запах сожженного пороха и крови.

Ты оглядываешься назад. Каре твоих соратников разрушено. Да и какие они тебе соратники, эти обманутые тобой и твоими друзьями солдаты… Теперь, после нескольких залпов картечи,

они разбегаются. На грязном снегу Сенатской валяются тела. Стонут раненые. Большая часть твоих людей — мятежников! — кинулась к Неве. Будут уходить по льду? Все равно. Ты с этого места не уйдешь.

Со стороны Адмиралтейского проспекта нарастают лязг и рокот. Это новая атака кавалергардов. Ты поднимаешь руку с тяжелым пистолетом.

Перед тобой в слякотно-снежной темени петербургского декабря возникает восхитительное видение: парящая светловолосая девушка в развевающемся розовом платье.

Влада Ладная
День открытых дверей в отечественной истории

Самопожертвование… развращает тех, кому приносят жертву.

Оскар Уайльд

Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто.

Св. апостол Павел

Трассирующие пули простречивали помещение, горящие стрелы вонзались в дубовые створки ворот, пулемет Максим старательно выводил речитатив, стрелецкие бердыши сновали в воздухе, как челноки, тень атомного гриба маячила вдалеке.

Безобразничали в городском музее. Стилизован он был под русский терем, но с готическими витражами, с самаркандскими изразцовыми куполами и с древнегреческим портиком при входе. Обычное дело для Чтоделатьландии. Здесь же, как в Ноевом ковчеге, кого только нет. Вот

и аукается.

И выхлестнулось.

Законсервированное с трудом в витринах и пришпиленное к стендам, наше прошлое вырвалось на свободу и разгулялось.

Юные кавалергарды 1812 года рубились на палашах с французскими гренадерами, летчики времен Великой Отечественной метелили люфтваффе, дружинники князя Олега врезались в конницу половцев, ветераны-афганцы стояли насмерть против моджахедов.

Крики, взрывы, ошметья человеческих тел, мольбы о помощи.

Как меня сюда занесло? Пришел с войны.

Неважно с какой — мало ли горячих точек в чокнутом мире!

От всего было больно. Автобусы, где люди сдавлены, как скот, который везут на убой. Одинокие старухи, безнадежно волокущие за собой неподъемные сумки. Синие тушки невинно убиенных кур в магазинах и то отзывались трагедией.

Скомканное небо. Чудовище бюрократии. Близкие, которых перестал узнавать. Друзья, которые напрочь забыли. Война потрепала меня капитально. Жена от меня ушла.

Это раньше ездили за мужем в Сибирь. Теперь

— в Нью-Йорк за любовником.

Спасибо, оставила мне дочь.

Единственный, кто тогда не предал меня, — город.

Он твердил:

— Я тебя обойму своими тенетами, обовью своими пеленами: колоннадами и парками, руками статуй и площадьми. Я уйму твою боль своей красотой. Ты заслушаешься музыкой улиц. Ты напьешься гармонией храмов. Если больше нет сил выносить жизнь, иди ко мне — в параллельный мир искусства. Живи прекрасным. И пусть мертвые хоронят своих мертвецов.

И сбылось.

Бывший крутой спецназовец, я пошел работать чичероне в исторический музей. Водил экскурсии, пичкал детишек рассказами о святых и героях, читал дояркам из глубинки Цветаеву и Гиляровского. Орошал заблудшие души родниковой водой культуры.

И постепенно обрел нечто.

Это называется душевным покоем, а в религиозной литературе — сладостью бесстрастия.

Но все рухнуло в одночасье.

Мэру приспичило провести то ли фестиваль, то ли перформанс, то ли день открытых дверей

в отечественной истории и, конечно же, в моем музее.

Сейчас в узкие проходы между тематическими побоищами проныривали танцующие: раут тоже был в разгаре. Кому война, а кому мать родна. Да и затевалось-то все как праздник.

Так что вальсировали, плясали вприсядку, рок-н-роллили, поскальзываясь на окровавленном паркете, круглолицые боярышни коса до пят с космонавтами, вольный каменщик с мумией алтайской принцессы, гимназистки в белых фартуках с рындами в белых же терликах с топорами под мышкой, Лев Троцкий с неандерталкой, комсомольцы, покорители целины, с придворными дамами государства Урарту, Лжедмитрий с Верой Комиссаржевской.

Светский щебет на фоне исторических реалий не прерывался. И на каждую фразу современного бомонда эхом отзывались слова тех, кто уже стал жертвой истории.

— Да, гламурно все организовали, стильную забабахали вечеринку…

— Наши светские мероприятия были изысканнее. Только кончилось все быстро. Я в восемнадцатом схоронила мать, умершую от тифа, отца расстреляли, так что даже могилы не осталось,

а потомки наших крепостных сожгли имение с коллекцией итальянской живописи. Вот и весь гламур…

…А тем временем не только история подверглась форменному приступу сумасшествия. У природы, и той крыша поехала.

В заоконном саду в мае месяце вдруг начался февраль. Метели заносили старый город по самую крышу. Волки выли у порога, как будто это бушевал пугачевский буран в оренбургской степи.

И гости не умолкали. Кого-то волновала прибыль. Кого-то — спасение страны.

— Этот сейшн — прекрасный способ отмыть деньги… Удачная мысль!

— Вот коий век твердят: ах, счастье-то какое привалило жить в такой богатой стране! А где оно, счастье-то? По-моему, так наоборот — проклятье. Каждый жадный мерзавец тянет свои грязные лапы к нашим богатствам, тут и приходится знай воевать всю тысячу лет истории без перерыва на обед. Да и работать никак не научимся, сокровища ж под ногами. А если б не было у нас ни шиша, как у той Японии, пришлось бы брать только умом и трудолюбием…

…А то вдруг там, за окном, в кротком саду размером с диванную подушку, начинался сущий

июль, да не наш, а африканский: жара палила, словно в пустыне, песчаными барханами заносило газоны, дым торфяных пожаров набивался в кроны деревьев и в легкие прохожим, люди терялись, блуждая в сизой мгле.

И снова жажда наживы перемежалась философией:

— Откаты увеличиваются — инфляция, милейший…

— Или еще! Великая Россия, великая! Да что нам с того? И при Иване Грозном козыряли величием, и при Петре, и больше всего при Сталине. А толку-то? Чем больше величия, тем ужаснее жилось народу. Может, не над грандиозностью работать, а над добротой, например? Как вам: милосердная к своим гражданам Россия! Звучит?

— По крайней мере, свежо…

— Богатство губительно для человека, но, может быть, и для страны?.. Гордыня, заставляющая алкать величия, смертельна для души, но, кажется, и для государства?..

— Вы, значит, считаете, что, когда на нас напала фашистская Германия, нам надо было смирять гордыню, власяницу носить и оккупантов встречать хлебом-солью?..

И некогда легкомысленная стрекоза с кружев-

ным веером грустила. Даже ее история сделала философом:

— Ах, какой душка был тот гусар! Куда там нынешним — сплошное вырождение! Да только сгинул он под Бородином…

…Легкомысленных и занудливых танцоров одинаково теснили и толкали то Ленин со товарищи, бесцельно таскавшие свое бревно по музею туда-сюда, то древнерусские охальные скоморохи со свирелями, с волынками и с медведем на сворке, то коронационная процессия Николая II, то надутые чиновники мэрии, перед которыми раскатывали ковры деловитые шестерки.

Затевался этот содом с тайным умыслом: на халяву получить консультации, как же все-таки быть с Чтоделатьландией. Можно ее как-то цивилизовать и наладить или пора закрыть на переучет и упразднить втихаря?

Но историческая элита могла только отважно сражаться да упоительно повесничать. Путного слова же от нее так и не удалось добиться.

— Да если бы мы знали, куда идти, разве мы допустили бы революцию в семнадцатом? — оправдывались сенаторы и помазанники Божьи.

В совсем уж темном углу притулились на скромном чаепитии жены декабристов. К ним на

пресс-конференцию высадили десантом девочек-подростков из лицея с гуманитарным уклоном. Преподаватель их, костлявый, нелепый, с плохо вымытыми, клочьями седеющими волосами и в поношенном вязаном жилете ромбиками, сверкал залапанными очками с дужкой на лейкопластыре и строго бдил, чтобы окружающая мужская шатия не пускала слюни вокруг Лолит.

Декабристки пытались рассказать о своей жизни. Но молодежь это не интересовало. Ей не терпелось высказаться самой:

— Я нахожу, что это идиотизм — ехать за мужем в Сибирь да еще лобызать его кандалы в благодарность за то, что он мне жизнь сломал. Где логика?

— А на что вы хотели бы потратить себя, если не на любовь? — тихо спросила страшно постаревшая Полина Гебль-Анненкова. Еще бы, француженка да в пятидесятиградусные морозы. В острожной церкви венчание — только на это время и сняли цепи с жениха. Восемнадцать детей родила и лишь шестеро выжили.

— Конечно, на карьеру, — ответствовала девушка в безупречном английском костюме, мечта ревнителя дресс-кода. — Как можно быть чьей-то тенью? Я имею право на собственную

самореализацию!

Взгляд у девушки был как холостой выстрел.

Молодежь искала смысл жизни. Но история уже дала ответы на эти вопросы:

— Батюшка мой стал премьер-министром, да тут грянула революция… Стоило на карьеру эту жизнь гробить! — на ходу бросила фразу вальсирующая с кем-то дама.

…И вновь в музейном саду развернулась несусветица: осень как есть, проливные дожди без конца и без края, желтый бред обрываемых стервенелыми ветрами листьев.

— А я хотела бы просто радоваться жизни! — возгласила отроковица в блестках: и платье, и губы, и платформы туфелек переливались огнями, как рождественская елка. И вся девочка была, как новогодняя побрякушечка, сверкучая, мимолетная. — Выйти замуж за бизнесмена, ну там дом на Рублевке, мазерати, яхта, круиз вокруг света. Мы ведь для этого приходим в сей мир, для радости! Да все о благополучии мечтают, и вы тоже!

…Новая порция танцоров прогарцевала мимо, болтая без передышки:

— Накопил я немало, — хвастался брюнетке красавец Алексашка Меньшиков. — Принадле-

жало мне девять городов, девяносто тысяч душ крепостных, девять миллионов в зарубежных банках (это при том, что на пятнадцать копеек можно было теленка купить, а за рубль — дом в деревне), бриллиантов на целый миллион, сто пять пудов золотой посуды. А потом арестовали меня, все добро отняли, в одном кафтане сослали в Березов вместе с семьей, с дочерью, которую собирался я выдать замуж за императора Петра II. Там дочь моя обожаемая и умерла. И понял я, все материальное — суета сует…

…И снова зима лихолетила в садике: иней перехрусталил деревья, воздух оделся в кружевные жабо-манжеты снежинок, словно галантный елизаветинский кавалер.

— Я бы тоже не поехала за декабристами в Тмутаракань какую-то. Они же на власть законную покусились, переворот задумали, а мы знаем, чем это закончилось в 1917 году и чем вообще свержение законной власти заканчивается: недавняя история дарит свои страшные примеры. Декабристы — убийцы, преступники, а жены, им сочувствующие, стали их соучастниками, — влезла девочка-дюймовочка с беленькими волосиками и в бифокальных очках, превосходящих по тяжести ее живой вес. Видно, что

отличница.

Но ответом на эти рассуждения девочки-вундеркинда стали восторженные воспоминания Салтычихи:

— Девки мои дворовые сами виноваты — нечисто белье мыли и полами манкировали, — убеждала партнера разгоряченная мазуркой помещица. Взгляд у нее был такой, как будто ее всю через глаза вывернули наизнанку. — Пришлось поучить — мерзавок побила поленом, выпорола по-матерински после того, как раскаленными щипцами их прижигала. Преставились от этого сто тридцать восемь лентяек. Ну, квелые оказались. Так на все воля Божья!

Дюймовочка в бифокальных очках слегка сбилась. Наверное, ей пришло в голову, что неизвестно все-таки, то ли декабристы убийцы, то ли спасители народа от салтычих многочисленных.

— И своих детей вы бросили, маленьких совсем, помчались за мужьями-сумасбродами. А дети-то без пригляда умерли! Вы в детоубийц превратились! — не сдавалась вундеркиндша.

— Однажды к древнегреческому философу во время научного спора пришли с сообщением о гибели сына. Ученый помолчал, а потом сказал: «Я всегда знал, что породил смертного». И

продолжил дискуссию, — вмешался, наконец, преподаватель девушек.

…А за окном словно разрезвился апрель: мелькали то солнце, то пасмурь, то смех, то слезы. Будто кто-то фокусы показывал, выдергивая из цилиндра поочередно ленты, пауков, цветы, шипящую кобру. Или как если бы у разноглазого человека случился нервный тик, и уникум замигал бы иногда черным, а временами голубым.

— Нет, это все слишком по-детсадовски, — вонзилась в обмен мнениями красотка, вылитая фарфоровая статуэтка, но в косухе, в берцах, в заклепках и в цепях. — Здесь дело принципа. По-моему, наша страна так ужасно, убого, нищенски живет из-за таких, как вы! Это вы со своим альтруизмом оголтелым приучили людей собой жертвовать. Простаки повелись, поверили. А тут и подоспели шустрые и хитрые, которые сели жертвователям на шею и стали погонять, покрикивая: «Еще, еще давай, нам твоих жертв мало!» Философия самопожертвования порочна. Она окружающих портит. Она приучает разных проходимцев пользоваться добротой людей, как дойной коровой!

— Но ведь современный мир создан подвижниками и теми, кто не жалел себя за други

своя, — пыталась вставить Трубецкая, сидевшая в инвалидном кресле на колесах и раздираемая кашлем: у нее был рак легких. Та самая княгиня, которую пугали, что ее в Сибирь за мужем погонят в каторжанских кандалах по этапу пешком сотни верст в мороз, а Екатерина Ивановна только просила поскорей надеть на нее цепи, чтобы быстрее отправиться в путь.

— Да, и каков этот мир! В нем же жить невозможно: войны, зверства, жадность! — вскричала девица в косухе. — История и сама жизнь не богадельня. Чем меньше нам делают незаслуженных подарков благотворители, тем человек вынужден быть сильнее и трудолюбивее. А если народ, как ваши муженьки, приучится, что его проблемы доброхоты языками вылизывают, это будет не народ, а паразит. И это уже не история, а садомазохизм. Ты, папа, хотел бы, чтобы я поехала за каким-то придурком в Сибирь? — дернулась девица в мою сторону. Ибо признаюсь: сия продвинутая особа — моя дочь.

Пришлось отвечать честно.

— Не пустил бы.

— Не пускали, — вздохнула Волконская. — Отец проклясть обещал. Мать запретила мне ей писать. Ребенка отняли. Все равно уехала.

— И вы ни секунды не пожалели о сделанном? — вцепилась в Марию Николаевну моя дочура.

Волконская молчала. Угрюмое лицо ее с тяжелым неприятным взглядом, как у законченного мизантропа, могло сойти за ответ.

— Я на декабристок молиться готов, — вмешался я. — Но дочь не отпустил бы. Все, что угодно, только чтобы наши дети не сжигали себя на жертвенниках, чтобы отпрыски просто были счастливы. Довольно того, что я всего себя отдал своей стране, вернулся контуженный.

Так я всегда думал. До сегодняшнего дня.

Но вот сейчас послушал собственное чадо, как оно поет оду эгоизму, и понял: я вырастил чудовище.

Или моя кровь все же права? Устами младенца глаголет истина?..

Не знаю, в чем правда. Запутался.

В девятнадцатом веке и аристократы, и крестьяне жили по принципу самопожертвования. А у нас ни бояре, ни народ. Так ведь теперь все существуют гораздо легче и комфортнее, чем двести лет тому назад.

Что случилось? Как могла история так протухнуть?

— Приучая детей к альтруизму, вы отправляете их на убой, — надсаживалась доча, — делаете их гарантированной добычей обманщиков и манипуляторов, создателей финансовых пирамид, черных риелторов, искателей пушечного мяса. Вы плодите обреченных агнцев. Что их ждет?..

— «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится… не ищет своего, не раздражается… все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит», — едва слышно прошептала Ентальцева, цитируя апостола Павла.

Лицо ее было по-русски мягким, нежным, простым. А ведь ей досталось, пожалуй, горше всех: в первый раз вышла замуж за игрока, который все проматывал и опустился до шулерства. Кое-как развелась с ним, и тоже ценой потери дочери. Обвенчалась с Ентальцевым, настоящим букой, старше Александры Васильевны, далеко не красавцем. Его сослали в Сибирь, как и других декабристов. Поехала за ним. А он при всех, не стесняясь, стал изменять жене с ее служанкой. Потом вовсе сошел с ума. И Ентальцева до самой смерти за мужем ухаживала.

— Я же говорила: дурдом! — подвела итог моя дочь. — Исповедовать такие идеи сегодня — са-

моубийство, вы в глаза реальности-то взгляните, блаженные! Мой тренер по боевым искусствам учит: никого не пускай за спину, никому не верь, будь всегда начеку, ты в мире одна против всех! Только так можно выжить. Мир — это бассейн с акулами, а вы призываете с ними целоваться? Вы хоть понимаете, сколько вы жизней уже сломали и еще сломаете своими проповедями?

— Вот чему вы тут мою дочь учите? — ворвался префект в тет-а-тет поколений, хватая за руку и выволакивая из чайного сообщества крошку в бифокальных очках. — С девчонкой и так сладу нет: родителей вздумала осуждать, нравственность, видите ли, нарушаем. А что дочь о жизни-то знает? Пусть сначала хоть копейку сама заработает. Если сможет, с совестью этой. Хватит чушь нести! И затевать это позорище не стоило! Мэр надавил: культура, культура. Актуально. Модно.

— Разводилово сплошное — эта культура ваша!

— Короче, нужен порядок, — кивнул префект шестеркам.

Половцев разогнал ОМОН. Кавалергардов и моряков Красного Флота затолкали обратно в витрины телохранители мэра. Врачей, прививавших себе чуму и холеру ради спасения человечества,

посадили на десять лет за игры с бактериологическим оружием. Мать Марию, участвовавшую во французском Сопротивлении, арестованную гестапо и добровольно пошедшую на казнь вместо другого человека, чтобы подарить ему жизнь, отправили по скорой в психушку. Пушкина за то, что вступился за честь жены, уволили по сокращению штатов из солнц русской поэзии. Зое Космодемьянской просто устроили такой черный пиар, что она уже сама повесилась.

Ввели уголовную статью за начитанность и духовность. Порядочность сослали вглубь истории.

Может, они и правы?

Вдруг, действительно, только так реально выжить?..

Но стоит ли выживать чудовищам?..

А может, это я мутант и чудовище, специально выведенный, чтобы затыкать собой дыры в здании социума? Последователь секты приносителей себя в жертву?

Но я на войне был, я знаю: вместе, прикрывая друг друга, выжить легче!..

Дочь верит в иные идеалы.

Каждое следующее поколение должно быть умней. Это и называется прогресс человечества.

Это — прогресс?..

Меня разжаловали в сторожа за то, что допустил бесчинства на вверенном мне объекте.

Но зато я обрел утешение. Я снова полюбил.

Александру Васильевну Ентальцеву.

Она там, в девятнадцатом веке, я тут. У нее своя жизнь, у меня никакой.

Я скитался ночами по залам музея, залитым луной, безжизненным, как санитарная зона между эпохами.

Я искал, где ступала нога любимой. Я по-юношески расточительно и дерзко высекал из сердца стихи. Мне чудился взгляд Александры, отраженный в музейных стеклах.

А я один, один, любовь моя погребена в толще истории.

Нет надежды.

Вот разве что вдруг установился истинный май на дворе, хрестоматийный даже. Словно любовь исцелила раздробленный в мелкие осколки климат. Цвела безумная сирень, извергались трава и листья, соловей изрыгал трели, поражавшие жестоко, как проклятья.

Я, кажется, понял, что хотел нам сказать взбесившийся календарь.

Цивилизация ходит по кругу, как годовой цикл.

Абсолютный эгоизм, конец морали, сексуальная революция Древнего Рима и христианские добродетели, альтруизм и аскетизм, воцарившиеся после нашествия варваров. На полторы тысячи лет вразумили они общественность.

Снова жадность, исчезновение морали, беспутство и распущенность восемнадцатого века, и все притихли после Великой французской революции, когда гильотина навела чистоту в рядах дворян. Весь девятнадцатый век пылинки сдували с нравственности.

Опять распяли мораль в начале двадцатого века, и семнадцатый год всем прочистил мозги. Все такими скромниками стали.

Внушает ли это надежду?

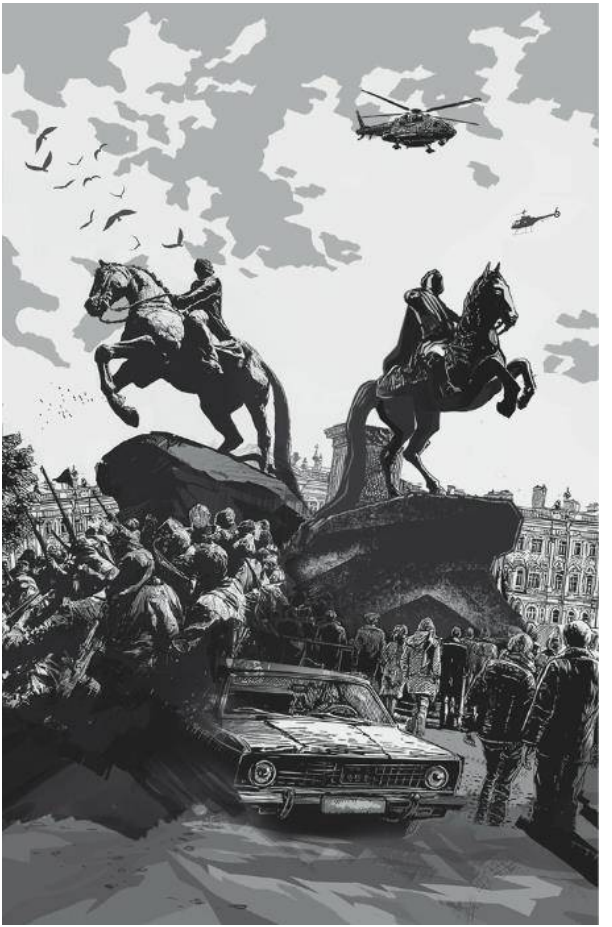
Недолго ведь человечество помнит урок.

Но, по крайней мере, все возвращается на круги своя. Мы не разрываем с нравственностью окончательно.

И из пыльной витрины музея полузадушенно доносились обрывки:

— «Любовь никогда не перестанет, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится…»

Декабристы: они и мы



Олег Кулагин
Общество соединенных славян

Выстрел картечи почти в упор — страшная вещь.

За несколько десятков шагов он выкашивает целые ряды, разбрасывая людей, как кукол. Вырывая куски мяса вместе с клочьями шинелей.

И это конец.

Потому что выжившие начинают разбегаться — забрызганные чужой кровью и ошметками. С лицами, перекошенными, как в кривом зеркале. По красному тающему снегу.

Он успевает это увидеть. Успевает, пошатнувшись, развернуться к своим солдатам, приоткрывая рот для команды. Пытаясь остановить хаотичное бегство.

Но почему-то ноги подкашиваются, будто сделанные из соломы. И он падает набок — неуклюжий, как сноп. Щекой в красный снег, чувствуя под собой влажное тепло. А вместо крика из груди рвется булькающий хрип.

Наваливается темнота.

И последнее, что удается различить, — солдат-

ская голова в кивере, срезанная будто ножом, нелепо торчащая из сугроба…

Вниз.

Еще ниже…

В вязкую, как болото, тьму. В вечный холод.

«Господи, почему так холодно?»

Мысль пронзила, словно ударом молнии. Поручик жадно вдохнул, открывая глаза. Все расплывалось, но, кажется, вокруг была зелень. Он сел, чувствуя под собой траву.

«Откуда зимой?»

Как слепой, недоверчиво пощупал руками. Ведь только что был январь — он совершенно ясно это помнил. А потом поежился на ветру. И сообразил, что на нем вообще нет одежды.

«Значит, я все-таки умер?»

Без клочка ткани на теле. Даже без серебряного крестика на цепочке, подарка матушки.

«Ничего…»

Именно так отправляются в вечность души — налегке, без различия богатства и бедности.

Он пощупал живот, грудь. Крови не было. И боли не было. Только чертовский холод.

Он вскочил, подпрыгивая, потирая плечи руками. Солнышко светило сквозь облака, но толку от этого было мало. Так что несколько минут

поручик пытался согреть себя сам — моргая и оглядываясь по сторонам.

Погода напоминала вторую половину весны.

Вот он каков, загробный мир? И точно не рай, особенно если принюхаться к аромату, долетавшему от огромных железных ящиков.

Он шагнул ближе, босыми ногами переступая битое стекло. Заглянул в ящик и увидел мешки из странной полупрозрачной ткани. Из мешков выглядывали селедочные головы и картофельные очистки. Это напоминало свалку отходов. А еще там были какие-то яркие мешочки и скомканные бумаги, которые выкинуть могли только богачи — вместо того, чтоб использовать на растопку. И все это смердело. Невыносимо, дьявольски смердело.

Он отошел в сторону, прислонился к дереву, прячась от ветра. И криво усмехнулся. Значит, его зашвырнуло на чью-то свалку, как бесполезный мусор.

«Такое твое воздаяние, грешник Михаил?»

За то, что лгал своим солдатам. И вместе с другими рвался в бой под звеневшие в голове благородные слова. Но так ничего и не смог.

Поручик закрыл глаза, вспоминая события последних дней — бессмысленные, хаотичные.

Ведущие к неминуемой гибели. И ружье в своих руках, штыком вонзающееся в рыхлый живот подполковника.

А следом почему-то пришла картинка, как его без сапог, кивера и шинели волокут по мерзлой земле. Сбрасывают в припорошенную снежком яму к таким же, как он, неподвижным, посиневшим. И жесткие комья земли начинают падать ему в лицо. Заслоняют свинцовое морозное небо.

«Без креста и отпевания…»

Поручик вздрогнул. Заморгал, опять оглядываясь.

Но вокруг ничего не изменилось. Только шелестели над ним кленовые листья.

Неужели где-то там он лежит, вымазанный в почернелой крови, присыпанный тяжелой землей?

«Как кусок остывшего мяса…»

В такое не хотелось верить. Тем более что он был цел, невредим. И чувствовал прежнюю силу в тренированном теле, особенно теперь, когда он оказался совершенно голый. Без тяжелой шинели и жесткого мундира.

А потом он услышал далекий лай собак. И угрюмо прищурился: бывают ли собаки в аду?

Можно проверить. Заодно раздобыть одежду.

Ведь кто-то же лопает эту селедку и выбрасывает в ящик вонючие головы? Он выломал кленовую ветку на случай встречи с четвероногими местными.

«Да и с двуногими пригодится…»

Хотя он предпочел бы что-то потяжелее. Мир вокруг точно не обещал любви и безмятежности. А погибать второй раз поручику не хотелось.

Обошел железные ящики по дороге, покрытой странным потрескавшимся камнем. Обогнул кусты. И оказался на улице, вымощенной таким же неровным камнем, с трещинами и лужами.

По левую сторону росли деревья. По правую — стояли узкие высокие каменные столбы, с натянутыми между ними черными тонкими веревками. Интересно, зачем?

А еще тянулись деревянные и металлические заборы, выкрашенные коричневой или зеленой краской. За заборами виднелись дома.

Значит, здесь жили люди, а не демоны?

И очень неплохо жили — об этом можно судить не только по крепким заборам. Дома тоже выглядели внушительно: не бревенчатые и не глиняные мазанки, но из кирпича, крыты не соломой, не дранкой и даже не тесом, а диковинной на вид, крупной волнистой черепицей. И стекла!

Застекленные окна!

Это обнадеживало. У таких зажиточных точно можно выпросить какое-нибудь рубище. С этой мыслью он двинулся вдоль улицы, по очереди барабаня в запертые ворота.

«Кто-то точно отзовется…»

Но через несколько минут стало ясно — все будет не так просто.

Поручик прошел уже пять дворов, стуча по железу или дереву то кулаком, то палкой. Никто не реагировал. Словно все вымерло в этом небедном местечке. Ему не открыли даже там, где начала заливаться истошным лаем дворовая собака. Хотя он почти был уверен, что за ним следят в окно из-за занавесок. И такие взгляды чувствовал не первый раз.

Все видели, слышали. И не хотели иметь с ним дело?

Но разве он настолько страшен? Или чем-то напоминает бродягу-шаромыжника?

Гладко выбрит, подстрижен, как и положено представителю благородного сословия. А что голый, так и лучше. Сразу видно, что не лихой человек — не прячет под одеждой ни ножа, ни кистеня.

Может, попробовать назваться?

— Я Михаил… Грушницкий! — вспомнил он фамилию знакомого офицера. — Поручик… Азовского полка!

Называть настоящий полк не рискнул — даже здесь, в этом странном месте.

— Попал в затруднительную ситуацию и умоляю о вашем содействии!

Занавеска чуть колыхнулась. Больше никакой реакции.

— Эй, люди!

«Да что с ними?»

Эпидемия? Холера? Чума?

Сейчас ему стало не только холодно, но и немного жутко. Почти как там, в морозном январе, когда он увидел нацеленные стволы пушек.

Он бы с удовольствием исчез и из этого местечка, если бы мог. Но сперва надо было разобраться с одеждой. Даже вопреки опасениям подцепить заразу.

Значит, придется действовать по-другому. Хотя очень надеялся этого избежать, чтобы не стать похожим на самых пропащих солдат полка, которые сперва украли где-то бочку хлебного вина, а потом пьяные еще и ограбили вдову, вынесли с ее двора какой-то жалкий облезлый кожух.

Тогда он едва сдержался, чтобы в кровь не раз-

бить их морды: нельзя было злить своих, пока они метались между селами и городками, пытаясь дождаться помощи, вырваться из неизбежного окружения. А сейчас…

Придется повторить их «подвиги» совершенно трезвым. Уже не заботясь о чьих-то замках и заборах. Ему не оставляли другого выхода.

— Эй, дайте хоть что-то накинуть, — прохрипел он, глядя в равнодушные окна. — Любую рогожу!

Поднял камешек и швырнул в стекло. Оно оказалось крепким. Так что камешек отлетел с глухим цоканьем. Никто не ответил. Не вышел из-за крепких кирпичных стен. Только опять вздрогнула занавеска.

— Обещаю, я верну ваши тряпки! — сипло выдохнул Михаил.

Ждал еще пару минут, слушая собачий лай.

И, ежась на ветру, заковылял дальше по безлюдной улице. Подпрыгивая от холода и чувствуя подкатывающую к горлу злость. Бешено взмахивал отломанной веткой, словно это была не палка, а ружье с примкнутым штыком, и где-то в этих домах опять прятался подполковник с пустыми оловянными глазами — затянутое в мундир дерьмо!

Ведь эти сидящие за занавесками в чем-то были

не лучше.

«Отказывая в таком пустяке…»

Оставался последний двор. Он еще раз попытается. А потом обойдется без приглашения — перелезет через забор, проберется огородами. Сам возьмет что надо — по-хорошему или иначе. Но лучше по-хорошему!

И поручик ударил по воротам, не скупо окованным железом или даже, кажется, целиком железным, стиснув зубы, сжимая кулаки.

Неужели за этих людей он раньше готов был умереть?

«Нет, ни за что… Больше никогда!»

И он занес кулак, чтобы ударить еще раз. Но в эту секунду услышал новый звук, кроме воя ветра и лая собак. Низкий, ни на что не похожий гул, вроде шума воды на мельнице. И все-таки другой. Потом стало тише, и донеслись голоса.

Михаил повернул голову, вслушиваясь. Звуки долетали откуда-то из-за пределов местечка — за изгибом дороги, скрытым деревьями и кустами.

Наконец хоть кто-то живой!

Только нельзя было понять, о чем там болтают. И он решительно двинулся по дороге, помахивая палкой. Миновал какой-то сарай, на удивление, тоже выстроенный из кирпича. Повернул за угол,

прошел еще немного.

И вдруг за кустами увидел зеленоватый фургон, стоявший на обочине. А рядом — бородатого мужика в затрапезном, бесформенном одеянии. Не церемонясь, как и положено извозчику, тот справлял малую нужду почти возле дороги. Михаила он пока не видел.

Одежда у извозчика была странная. Не привычные армяк и шаровары, заправленные в сапоги, а длинная куртка и штаны — противные на вид, покрытые пятнами, как от засохшей грязи. И вместо сапог имелись башмаки — тоже зеленоватого цвета и очень странного фасона.

А еще странно, что не было видно лошадей. Может, их распрягли и отправили пастись на луг за кустами?

И стоявший задом возок смотрелся диковинно, похоже, что из крашеного металла. Обтекаемой формы, со множеством стеклянных окон. Колеса тоже были из серебристого металла. А их очень широкие обода покрыты каучуком?

Никогда в жизни поручик не видел ничего подобного.

Но все странности не имели значения. Главное, что теперь появилась возможность убраться из этого неприятного места.

И, роняя бесполезную ветку, Михаил ускорил шаги. Камешки зашуршали под босыми ногами.

Бородач в неопрятном одеянии вздрогнул, оглядываясь.

Пару секунд они смотрели друг на друга, пока поручик приближался — совершенно голый, но от этого не менее решительный:

— Эй, кучер, мне нужны твоя одежда и возок!

Бородач ошалело заморгал. И вдруг расхохотался. Застегнул штаны. Развернулся, делая шаг к возку. И в этот момент, Михаил рассмотрел то, что висело на брезентовом ремне через плечо кучера. Это было чем-то вроде короткого ружья странной формы, только с пистолетной рукоятью и с чуть закругленным, ребристым выступом, торчащим из цевья. Английские охотничьи карабины бывают похожих размеров и такого же малого калибра — но совсем слабые, для детского развлечения. А от этой штуковины веяло смертельной угрозой.

— Ты кто такой? — спросил бородач, продолжая ухмыляться.

И Михаил сообразил, что изначальный план никуда не годится. Он-то думал все сложности разрешить простой зуботычиной. А здесь пахло длинным разговором.

— Я офицер… попал в неприятности.

Да, в таком виде звучало не слишком убедительно. Но даже темный мужик должен различить выправку. И уверенный голос.

— В неприятности? — кивнул кучер. — Это заметно.

И вдруг сделал шаг навстречу, прищурился, всматриваясь в лицо Михаила:

— Соль или метадон? — почесал рыжеватую бороду. — Хотя не похож ты на солевика. Значит… обычная синька?

Поручик нахмурился, пытаясь уловить смысл в этой белиберде.

А бородач кивнул с усмешкой:

— Синька — зло! Был у нас один, вроде тебя. Так он…

Фраза осталась незаконченной. Потому, что где-то рядом, за деревьями, хлопнуло несколько оглушительных выстрелов. Долетели чьи-то злые голоса.

Кучер оскалился, лениво стаскивая с плеча диковинный карабин.

Он не различил легкого шороха, долетающего совсем с другой стороны. Но Михаил резко обернулся.

Как раз чтобы успеть увидеть еще одну фигуру,

наверное, возникшую из-за кустов. Высокого, но сутулого и тощего парня в зеленоватой безрукавке и таких же пятнистых, как у бородача, штанах.

Длинные пальцы судорожно сжимали нож. А глаза светились бешеным блеском.

Тощий прыгнул, выставив лезвие — узкое и не слишком длинное. Зато удобное, чтобы прятать и пырять исподтишка.

«Оружие для грязных кабацких драк…»

Для труса и негодяя.

И Михаил встретил его ударом в челюсть — быстрым, но таким, что пальцы заныли. Однако тощий удержался на ногах. Ошеломленно моргнул, взмахивая ножом, теперь уже наверняка целясь поручику в живот.

Лезвие лишь казалось маленьким. Такого хватит, чтоб потом мучиться с гниющей раной. Если сразу не истечешь кровью. И глупо не воспринимать прохвоста всерьез.

Полшага в сторону — как на уроках штыкового боя (фехтование — это для отпрысков богатых отцов). И еще один удар — коротким крюком в висок. Такой, что дернулась вбок стриженая голова, а вместе с ней качнулось длинное тело. Рухнуло в пыль на покрытую серым камнем дорогу.

Нож вывалился из пальцев.

Поручик склонился над разбойником и забрал это смешное на вид оружие.

— А лихо ты его! — восхитился кучер.

— Не люблю, когда нападают сзади.

— А эти твари только так и могут, — кивнул рыжебородый. Повесил карабин опять на плечо. Склонился над стонущим верзилой, грубо перевернул того на живот, лицом вниз, и придавил коленом. Достал из-под своей куртки какую-то странную желтоватую веревку с готовыми петлями.

Михаил поморщился. В эту минуту он сообразил, что атаковали вовсе не его. Главной целью был именно кучер.

«Наверное, чтобы захватить возок?»

— Ничего, теперь из тебя выбьют дурь, — сказал бородач, начиная вязать пленнику руки.

— Больно, — прохрипел тот.

— Это лишь начало, — усмехнулся кучер.

— Убьете… как Серегу?

— Никто никого не убивает. Просто бывают несчастные случаи. Эпилептические припадки.

— С переломанными костями?

— И с выдранными ногтями, с отбитыми почками… А что ты хотел? Эпилепсия — опасная

болезнь, — прищурился бородач, затягивая петли на запястьях пленника так, что желтоватая веревка туго врезалась в кожу.

И протянул руку к Михаилу:

— Дай-ка нож!

Поручик замешкался, чувствуя внимательный взгляд. Ему не нравился такой разговор, даже если это не всерьез. Но трофейный нож он все-таки отдал.

Опасался худшего, а незнакомец просто начал резать шнурки на башмаках пленника:

— Чтобы больше не бегал. И случайно не поранился!

— Ну, спасибо… за заботу.

— Не за что, — усмехнулся кучер. — Это герои живут вечно. А трусы подыхают даже от насморка.

Кажется, они поймали дезертира? Да еще и дерзкого, упрямо бормотавшего:

— И в чем трусость — не подставлять голову за чужое бабло?

— Нет, за свою страну.

— Свою? — засмеялся тощий. — А есть в ней хоть что-то мое?

— Разве ты бомж?

— Квартира, которую моим родителям подари-

ли Советы?

— Вспомни еще колбасу по два десять, — и бородач качнул головой, оглядываясь на Михаила. — Видишь, что за гной? Меряют все только шкурой и желудком! И как с такими победить?

— Нельзя только шкурой, — глухо отозвался поручик.

— Давно служишь?

— С четырнадцатого года, — ответил он машинально.

— Ого, молодец! А на вид совсем молодой. Сам пошел или мобилизовали?

— Нет, добровольно, — пробормотал Михаил, вспоминая, как шестнадцатилетним юнцом записывался в Черниговский полк. Как с восторгом смотрел на вернувшихся из Франции офицеров-победителей в новеньких мундирах.

А двумя годами раньше эти же офицеры прошли на Запад — по родной, разоренной Смоленщине. Изгоняя лютого врага.

«И двуглавые орлы были, как символы освобождения…»

Тогда он пришел именно под эти знамена.

А под какими флагами воевал рыжебородый?

Диковинная серая эмблема была у того на рукаве, но Михаил не узнавал геральдику. И пока

мало что понимал.

«Ни эполетов, ни вензелей… Только дурацкие грязно-пятнистые робы».

Куда его вообще занесло?

— Я тоже с четырнадцатого, — кивнул кучер, поднимаясь. И усмехнулся: — А ты чего смурной? Замерз, да? — сложил нож, спрятал его в карман и распахнул задние двери фургона. — Обожди… Сейчас найдем тебе подходящее!

Бородач начал рыться внутри в каком-то ящике. И спросил:

— Тебя, кстати, как зовут?

— Михаил Грушницкий.

— А из какой части?

— Из Азовского полка.

Лучше было придерживаться старой легенды.

— Ага, — одобрительно кивнул кучер. — То-то я смотрю, крепкий хлопец!

— Обыкновенный.

— Не прибедняйся. Знаю, у ваших база в соседнем районе. Отличные ребята… А сюда, как занесло?

— Не помню, — честно ответил Михаил.

— Да, синька — зло, — оскалился бородач. И кинул ему какие-то короткие серые кальсоны. — Надевай, пока яйки не отморозил!

Эти странные штаны оказались впору, тем более что в талии они удивительно облегали тело. Словно внутри была вделана упругая, как тетива, прокладка.

Еще кучер вручил ему темную замызганную кофту с капюшоном:

— Утепляйся. А то станешь, как цыпленок в супермаркете.

Кажется, это была шутка. И поручик скупо улыбнулся, натягивая кофту из странного ворсистого материала: плотного, напоминающего толстую фланель. Она оказалась великовата, пришлось немного закатать рукава. Но так было даже лучше, потому что кофта закрывала половину бедер. И вообще была удивительно теплая для своего веса.

— Благодарю…

— Виктор меня зовут, — покровительственно прищурился рыжебородый.

— Спасибо, Виктор.

Наверное, неплохой человек, несмотря на грубость и странные шутки. И он первый, кто в этом дурацком, неживом местечке пришел на помощь. Может, стоило осторожно выпытать у него, что вообще здесь происходит.

Пока Михаил это обдумывал, кучер вдруг пред-

ложил:

— Позвонишь своим?

Поручик озадаченно кашлянул. Ни колокола, ни других подходящих предметов рядом не было. Да и глупо подавать сигнал таким образом.

— Не помнишь номера? — усмехнулся Виктор.

— Не помню, — с готовностью кивнул поручик, до сих пор не улавливая смысла в этих вроде бы по-русски сказанных фразах.

— А ты часом не контужен, браток?

— Не знаю. Просто пальнули из пушки почти в упор.

— Ого, — сочувственно вздохнул бородач. — В госпитале лежал?

— Нет.

— Это зря! У меня тоже так было — думал, все прошло. А потом полгода маялся. Сутками не спал и в голове ничего не держалось!

— Плохо дело.

— Ты покажись нормальным лекарям, ладно?

— Ладно.

«Да с кем они вообще воюют? Неужели опять с французами?!»

Надо было получить хоть какой-то намек. Только опять ничего вышло.

Рыжебородый поправил торчавшую из уха тон-

кую веревочку. И неожиданно шагнул в сторону, торопливо забормотал:

— Да, понял. Отлично! Ага… У меня тоже нормально!

Не замечая Михаила, глядя в пустоту, как сумасшедший, разговаривающий с призраками. А потом задрал голову куда-то в небо и приветственно махнул рукой.

Поручик удивленно заморгал. Сперва подумал, что контузия у кучера так и не прошла. Но вдруг уловил какое-то слабое жужжание — там, в высоте. И через секунду различил что-то вроде огромного насекомого, парящего в воздухе над дорогой. Не стрекоза, не жук… Странный угловатый силуэт, медленно перемещающийся по кругу очень высоко, на уровне городской колокольни.

— Удобная штука, да? — сказал Виктор, — И не только, чтоб ловить всяких уродов.

— Удобная… — эхом отозвался поручик, чувствуя, что скоро сойдет с ума.

— Нам бы в четырнадцатом такие возможности!

— Да… Было бы неплохо.

— Чтобы видеть сверху каждого ублюдка. И накрывать, перемалывать в кашу… в дерьмо!

— А ради чего? — вдруг долетел снизу тихий

голос. И оба повернули головы, всматриваясь в лицо связанного дезертира.

— Ты так до сих пор и не понял? — оскалился бородач. — Тупой слизняк!

И слегка пнул вытянувшуюся у их ног фигуру — жалкого, неудавшегося убийцу, способного только подкрадываться исподтишка. Затем посмотрел на поручика:

— Они никогда нас не поймут.

— А вы попробуйте, — засмеялся дезертир. — Попробуйте ответить хотя бы себе!

— Ладно, — рыжебородый прищурился. Снова кинул взгляд на поручика. — Объясни ему, ради чего ты шел под пушки?

В эту минуту больше не хотелось ничего скрывать.

— За свободу, — хрипло сказал Михаил. — Против царя.

Он ждал чего-то неприятного в ответ. Только было без разницы, ведь один раз он уже умер.

«За эти самые слова. И за дела…»

Но глаза Виктора радостно расширились.

— Вот! — поднял он палец. — Хорошо выдал, — и дружески хлопнул поручика по плечу. — Вот главное… За свободу! Против московского царя!

И это было здорово — чувствовать восторг в

нацеленных на тебя зрачках. Так что на минуту Михаилу показалось — он опять среди своих.

Только почему против московского?

«Ведь правильно — петербургского…»

Странный звук долетел откуда-то из-под ног.

Поручик удивленно опустил глаза. А дезертир корчился на сером камне. И было непонятно плачет он или смеется:

— Свобода… Это вы называете свободой? Отлавливать людей, как рабов, на улицах. И пускать их на мясо, как скот!

«Что он несет?»

Может, этот тощий помешался?

А бородач сплюнул на дорогу:

— Как скот? Может быть. Но чего ж вы сами не идете, чего прячетесь, как трусливые животные?

— Действительно… За такое не жалко умереть! За ваших полицаев на каждом углу, за тюрьмы для несогласных.

— Врешь! Тюрьмы для врагов и предателей.

— Конечно. Кто скажет слово поперек — ваш враг. А кто сомневается — предатель. И потому вы закрыли границы, чтобы не разбежались из такого рая?

Виктор молча рассматривал лежащего на дороге человека. А тот сипло добавил:

— Только все равно бегут — лесами, горами, реками. Не удержите вы их, не удержите…

Где-то за деревьями хлопнул еще один выстрел. Но обе фигуры почти не двинулись. И поручик тоже не сводил с них глаз.

Он ждал объяснения — чего-то, опровергающего безумный рассказ.

А кучер лишь лениво пожал плечами:

— Зачем бегать? Границы открыты. Для всех, кроме обязанных отдать долг Державе.

— Не подскажешь, когда это я брал у нее взаймы?

— Когда родился с членом и яйцами — как мужик. Хотя, конечно, это не про тебя!

— Только родился я на пару лет раньше… Когда Державы еще не было в помине.

— Тупой совок. Она была и будет!

— Пока есть оружие и деньги из-за бугра — за которые вы нас продали!

Виктор прищурился, рассматривая дезертира. Качнул головой:

— Ого, как запел… С чужих голосов? Знаешь, что с такими бывает?

— А какая теперь разница? — на длинном, лошадином лице мелькнуло что-то вроде улыбки.

— Разница появится. Если поедешь не к нам,

а в другое место. Там обойдутся без лишней болтовни!

— Ну, спасибо… за болтовню. И за то, что били арматурой, гноили в яме без еды и воды…

— Просто хотели сделать из вас людей!

— Но мы и есть…

— Нет, — почти грустно вздохнул кучер. — Вы уроды, из-за которых все и тянется столько лет!

Поручик растерянно моргнул.

«И с кем же они так бесконечно воюют?»

Была догадка. Только в нее не хотелось верить. И даже знакомые слова складывались в слишком муторную картину.

А голоса продолжали звенеть в наполненном ароматами воздухе. Кругом была весна, но эти двое ее не замечали.

— …Говоришь, продали вас? Да я бы даром отдал миллион шкур, вроде тебя, за нормальную помощь. Чтобы везде выбить оккупантов — до последней деревни, до самых границ!

«Каких оккупантов?»

— …И вернуть нашу землю!

Краснея, словно от трудной работы, кучер пинал тело у своих ног.

— …А ты против, дерьмо? Ты бы хотел капитуляции?

Михаил поморщился. Хотя тот, кто корчился под ударами, по-прежнему не вызывал симпатии.

— Я бы хотел… чтобы тюрьма рухнула! — донеслось из клубившейся над камнем пыли.

И в это перекошенное, неприятное лицо прилетело зеленоватым ботинком — так, что брызнула кровь, смешиваясь с пылью.

Багровое с серым.

— Не надо, — поручик шагнул ближе, сжимая кулаки.

Он все еще слишком мало понимал. Но так было нельзя.

Только сделать что-то не успел.

Зашуршала трава, захрустели кусты. И на дорогу вышли двое — тоже в пятнистых одеждах. А еще в больших касках не похожих на кирасирские, покрытых такой же пятнистой тканью. Через плечо у солдат висели уже знакомые диковинные карабины. Под руки они вели третьего — в синей фланелевой куртке, штанах, разодранных на колене.

И со связанными за спиной руками.

— Что-то не очень вы торопились, — прищурился рыжебородый.

— Цэй добрэ бигае, панэ майор.

По угрюмому лицу пленника текла кровь — кажется, ему не раз прилетело прикладом.

«Не слишком приятно…» Даже прикладом такого игрушечного на вид карабина.

— А где третий? — спросил майор, который раньше казался кучером.

— Зараз прывэдуть.

Было немного странно, что солдаты рапортуют на сельском диалекте. Хотя, наверное, это было нормально в армии, которая сражается за свободу.

И третьего, действительно, скоро привели. Точнее, приволокли, потому что идти сам он уже не мог. Темно-красное пятно расползалось по пятнистой безрукавке.

— Что вы натворили, болваны?!

— Дужэ швыдкый попався, панэ майор.

— Да что ты заладил, тупица… Опустите его!

И третьего уложили на пыльную дорогу.

Виктор шагнул ближе — почти с жалостью склонился над пойманным беглецом. Тот хрипло, тяжело дышал. И помутневшими глазами смотрел куда-то в небо, словно не замечая ни солдат в пятнистых робах, ни нависающей рядом массивной фигуры.

— Ну… и зачем?

— А мы йому крычали: стий. А вин хотив стрыбнуты в рику!

— И что? — со злостью оскалился рыжебородый — Не захотели штаны мочить, остолопы?

Он осторожно коснулся руки беглеца:

— Ты как?

— Плохо мне… — слабо прошелестел тот — на вид совсем молодой, с юношескими угрями на лбу и ссадинами на тонких руках. Напоминающий не солдата, а скорее угловатого подростка. — Совсем плохо…

— Вижу.

— Холодно. Больно…

— Потерпи, браток.

— Больно…

— Сейчас, — кивнул майор. Отступил на шаг, извлекая что-то из-под куртки. — Сейчас станет легче.

И короткий гром расколол воздух.

Голова юнца безвольно откинулась — красное потекло по слипшимся волосам.

В абсолютной тишине, прежде чем заорал лежавший в стороне дезертир:

— Тварь!

Бешено дернулся, словно пытаясь разорвать веревку на запястьях:

— Что ж ты делаешь, тварь?!

Бордовая лужа все шире растекалась по камню.

А Михаил стоял неподвижно, будто скованный холодом. И зачарованно смотрел на маленький пистолет в руке майора.

Тот пожал плечами:

— Все равно не довезли бы, — и криво усмехнулся. — В госпитале нет мест и для нормальных хлопцев, тех, что воюют, а не бегают по кустам!

— Мразь! — оскаленным ртом хрипел дезертир, поднимаясь на колени, пытаясь выпрямиться. — Нечисть…

— Да успокойте уже его.

И один из солдат ударил пленника ногой в бок — коротко, сильно, опять сбивая того лицом в пыль. А другой, толстый, успел залезть в фургон и вытащил большой черный сверток из плотной, тускло блестящей ткани. Когда его расправили, это оказалось длинным, очень длинным… мешком. Черный прямоугольник уложили на дорогу. А потом кто-то открыл его с одной стороны, двумя пальцами касаясь маленького выступа.

Двое солдат шагнули к растекающейся бордовой луже — аккуратно, стараясь не запачкать ботинки. И подняли застывшего юнца — при-

вычно, словно занимались этим не первый раз. Голова у того колыхнулась, как у живого. Будто остановившимися зрачками он еще хотел что-то рассмотреть: зеленые листья или белые облака? А потом его положили поверх открытого мешка, затолкнули внутрь. И так же быстро, легко соединили шов. Отправили во тьму одним движением.

— Грузите, — приказал майор. И упакованное, словно кусок мяса, тело втащили внутрь фургона — посредине, между рядами боковых сидений.

— Этих рядом, — кивнул он в сторону связанных — пока живых, но с неподвижными, мертвеющими лицами. И людей тоже уложили на железный пол, справа и слева от черного пакета. Словно не было большой разницы между телами, разделенными тканью.

Михаил сглотнул подступивший к горлу ком. Призрачным миражом в памяти опять возникла картинка, как волокут его без сапог, кивера и шинели.

«По мерзлой земле, к узкой яме…»

— Могу подбросить тебя до райцентра.

Поручик вздрогнул, поворачивая голову. Глаза майора дружелюбно блестели:

— Оттуда быстрее доберешься к своим.

— Конечно, — машинально кивнул Михаил.

— Наш побратим из «Азова», помог задержать того упыря! — бородатый Виктор хлопнул его по плечу, представляя солдатам.

«Действительно, помог…» — мелькнула растерянная мысль. А связанный дезертир с ненавистью глянул из фургона.

Остальные нацеленные на него взгляды казались чуть насмешливыми — вероятно, из-за нелепо сидящей на Михаиле мешковатой грязной кофты и босых ног.

Зато голос майора Виктора звучал уверенно:

— У хлопца были проблемы. Поэтому мы сделаем ради него маленький крюк!

И все начали забираться внутрь возка буднично, словно не произошло чего-то особенного. Двое солдат сели впереди — перед прозрачным стеклом. А остальные разместились на боковых сиденьях, упираясь башмаками в спины и ноги пленных.

Как в мягкие, теплые подножки.

Прежде чем тоже залезть внутрь, майор запрокинул голову, взмахнул рукой. Туда, где в высоте парило странное угловатое насекомое — наверное, все это время наблюдавшее оттуда, сверху.

«Как ангел-хранитель… Или демон с перепон-

чатыми крыльями?»

— Порядок! — сказал Виктор.

И описав круг, угловатая «стрекоза» улетела вперед, растворилась в воздухе.

Майор забрался в возок. А поручик до сих пор стоял на дороге, все еще не понимая, куда и зачем.

— Ну, ты едешь? — бородач смерил его острым взглядом.

Надо было на что-то решаться.

— Да, — хрипло выдохнул Михаил. И полез внутрь. Чтобы сесть на боковое сиденье ближе к задним дверцам, ведь выйти ему предстояло раньше других.

Сердце стучало в висках гулко, как барабан.

Он неловко поставил босые пятки поверх ног связанного дезертира. Это было почти удобно.

— Сволочи! — отозвался тот осипшим, глухим голосом. — Какие вы…

— Какие? — усмехнулся Виктор. — В отличие от тебя, мы защищаем страну!

Один из солдат захлопнул задние двери.

А поручик спохватился: «Лошади…»

Где же они?

Ведь сперва надо было привести их с луга, запрячь в возок пару или тройку. Беспокойно пря-

дущих ушами, звонко перебирающих по камню подковами… Сейчас ему нестерпимо захотелось их увидеть. Как что-то реальное в этом диком мире. Без разницы, заморенных или резвых. Пегих или гнедых. Подстриженных или со свисающими до земли гривами и хвостами.

Но лошадей не было.

Просто внутри возка послышалось легкое гудение, чуть похожее на звук водяной мельницы, но другое. А потом фургон двинулся с места, сам собой. Как паровая машина где-нибудь в Англии (молодой Бестужев рассказывал о таких звенящим от восторга голосом, предвозвещая то всеобщее счастье, которое наступит, когда такие локомобили поползут и по нашим дорогам).

Михаил почти не удивился. И не обрадовался техническому совершенству. Закрыл глаза, прислонившись к стенке возка. А еще хотелось заткнуть уши, чтобы не слышать голосов.

Солдаты со смешками обсуждали, как они догоняли и ловили. Как дронщики им вовремя посоветовали отрезать беглецов от леса.

— …Инакше б точно выслызнули!

А дезертир чуть слышно бормотал:

— Твари. Все вы твари…

Но никто этого не замечал. Только майор сухо

объяснил:

— Он бы уцелел. Если бы ты не сагитировал его удрать!

— Нет, все началось раньше.

— Неужели?

— Из-за таких, как вы.

— А ты не перепутал?

— Вы даже не понимаете, во что превратились…

Майор засмеялся. А дезертир угрюмо выхаркнул:

— Да, это смешно. Затевать бойню ради того, чтобы запрещать язык и сносить памятники Пушкину…

— И кто же, по-твоему, ее затеял?

— Когда почти десять лет накачивают ненавистью, это не может закончиться по-другому!

Послышался звук удара.

Поручик открыл глаза. И увидел, как майор бьет дезертира: тяжелыми ботинками в лицо, рукояткой пистолета по голове. Так, что капли крови брызгают на пятнистые штаны.

— Не надо, — хрипло попросил Михаил.

— А ты слышал, что он сказал? Он нас — *нас* — обвинил! Коллаборант, ватник… — Бородач ударил пленника еще раз — ногой по ребрам. —

Мы же против совка, против рабства воюем, а эти гниды хотели бы его вернуть!

— Да. Но можно воспитывать иначе… без мордобоя.

Майор повернул голову, недоверчиво щурясь. А потом рассмеялся:

— У вас в «Азове» свои методы? Я слыхал! Хочешь прострелить ему колено?

И вдруг протянул поручику пистолет:

— Давай, докажи псу, что за свободу стоит бороться!

Возок мягко подпрыгивал на ухабах, словно карета с лучшими английскими рессорами. Деревья проносились за стеклянными окнами удивительно быстро. Но Михаил почти не замечал их, уставившись на оружие в руке бородача. Оно тускло блестело и размером было чуть более жилетного пистолета. Хотя казалось меньше в толстых пальцах. И вид был необычным — ствол спрятан в глубине прямоугольного кожуха, курка вообще не было. Лишь спусковой крючок не давал сомневаться в назначении.

А еще его смертельную эффективность доказывало тело, упакованное в черный гладкий мешок. И дезертир, который, как мягкая подстилка, шевельнулся под ногами.

Поручик не видел его лица, зато заметил, как дрожат его руки, скрученные за спиной. Так, что тонкая желтая веревка еще глубже врезалась в кожу.

Наверное, пленник ждал выстрела. Но разве стоило о нем волноваться? О несостоявшемся убийце, готовом нападать исподтишка.

— Извините, — сказал Михаил вслух. — Я не умею…

Он действительно не знал, как тут взводить курок.

— Что?! — удивленно заморгал майор.

— Никогда не стрелял из такого.

После короткой паузы, рыжебородый засмеялся — так, что румянец проступил на круглых щеках. Остальные заулыбались. И в эту минуту все казались симпатичными, даже самые грубые солдаты.

— Вот уникум, — Виктор хлопнул его по плечу. — Что, не держал ничего кроме калаша?

— Не держал, — ответил поручик.

Хотя понятия не имел, что такое калаш.

— Ну, ты валенок, — ласково моргнул майор и терпеливо начал объяснять: — Это же Глок–19, из него проще, чем из макара. Даже нет нормального предохранителя. Смотри, — и он дернул за

прямоугольный кожух. — Взводишь затвор — вот так… — что-то щелкнуло внутри пистолета, — и можно стрелять!

— А перезарядка?

— Зачем? Здесь и магазин в два раза больше. Или боишься с пятнадцати раз промазать ему в колено?

Солдаты заржали. А их командир вложил рукоять в пальцы Михаила.

Она оказалась удивительно теплой. И пистолет был удобным — лег в ладонь, как влитой.

— Значит, сразу нажимать спуск?

У него под ногами отчаянно вздрогнул дезертир. А майор улыбнулся:

— Сразу.

Пятнистые фигуры весело, нетерпеливо щурились.

— Так просто, — вздохнул поручик.

И пистолет, как живой, дернулся в его пальцах, громом ударило по ушам.

Сидевший напротив солдат изумленно выпучил глаза.

А Михаил опять выстрелил. Чувствуя странное облегчение. Не вскидывая оружия, продолжая держать его в согнутой руке.

И тут же нажал спуск еще раз.

И еще…

Радуясь грохоту. Почти не целясь, лишь слегка двигая запястьем — на каждую судорогу пятнистых кукол.

Так удобно, когда не надо перезаряжать. Только давить туговатую скобу, пока пистолет заглушает их вопли. И смотреть в их искаженные физиономии. И лупить локтем майора, навалившегося слева. Посылать в него еще одну пулю. Ногой отшвыривать ствол карабина, когда раненый сорвал его с плеча.

Длинные раскаты поверх пистолетного грома. Пули звенели о стенку рядом: двое все-таки вскинули карабины.

«Почему не упали после выстрелов в живот?»

Может, дело в нелепых кургузых жилетах, надетых поверх курток? Он слишком поздно сообразил. Ответные вспышки уже нащупывали его в темноте. Но в тесном фургоне некуда было уйти, и Михаил сам прыгнул навстречу огню. Отталкивая карабины, почти в упор стреляя в лица под шлемами, в толстые шеи, торчавшие поверх жилетов.

И пока те, в кого он стрелял, оседали с глухими всхлипами, смотрел, убеждаясь, что это не демоны.

Обычные куски мяса с кровью, бежавшей через темные дыры…

— Один ушел!

— Что?

— Говорю, водитель смылся!

Поручик растерянно моргнул, оглядываясь. Возок накренился — кажется, съехал в кювет. И внутри уже не слышалось негромкого гула. Зато остро пахло кровью и порохом. Темные пятна расползались на серой зелени.

А из-под мертвых тел две пары глаз смотрели на него с испугом и надеждой.

— Его надо догнать, иначе приведет подмогу! — прохрипел долговязый.

— Точно приведет, — кивнул второй с багровеющими следами прикладов на лице. — Облава во всем районе — они тут на каждом шагу!

Словно в подтверждение кто-то тихо булькнул горлом среди оскаленных в немом крике солдат. И звук повторился, хотя непонятно откуда.

Михаил поморщился. Неужели это он сделал?

«И всего за минуту…»

Хотелось выть от страха и ярости. А еще мутило, как на скотобойне.

— Уйдет! — настойчиво повторил дезертир.

И он был прав. Не только по законам этого

мира.

Поэтому поручик спрятал пистолет в карман кофты. И, скользя в красной луже, шагнул к телу майора.

Дернул того за плечо, переворачивая. Достал из его кармана нож.

А веки на перекошенном лице вдруг приподнялись.

— С-сука… — сипло долетело из запачканных кровью губ. — Ну… почему?

— За Пушкина, — криво усмехнулся поручик. И оттолкнул рыжебородого.

Перерезал веревку на запястьях дезертира. Отдал тому нож, чтобы освободил товарища. А сам схватил один из карабинов и распахнул дверцу, выбираясь из возка.

— Тебя же на ремни порвут… — донеслось ему в спину. — Живьем шкуру спустят!

С отчаянной ненавистью.

Но Михаил уже не оглядывался. Знал, что те двое справятся сами.

Время летело, как ястреб с высоты. А майор не стоил даже лишней минуты: надо было мчаться по дороге, жадно втягивая весенний воздух, чувствуя подошвами холод камня. Ведь не было сомнений, что улизнувший водитель где-то

рядом. Бордовые капли на сером полотне его выдавали.

«Пуля все-таки зацепила…»

И сейчас эти отметины были как след зверя-подранка. Будто поручик опять был в лесах родной Смоленщины и пытался догнать волка-людоеда. Огромная тварь полгода держала в страхе всю округу. А Михаил почти достал его на окраине деревни. Перезарядил штуцер и бежал по кровавому следу, пока волк сам не прыгнул на него в темной лощине.

Тогда он едва успел нажать спуск — без права на второй выстрел. А сейчас…

У него имелся чудесный карабин, способный много раз палить без перезарядки. Но и зверь был умнее волка. А где-то рядом рыскали такие же.

Чувство опасности морозом отдавалось в позвоночнике. И хотелось затаиться, вслушиваясь в шелест листьев. Только не было времени. И он мчался, ускоряя бег.

За изгибом дороги перепрыгнул канаву, нырнул в густую посадку. Ведь след до сих пор угадывался красными каплями на траве. И нельзя было его потерять.

Казалось, он почти чуял запах пота и страха от раненого водителя. Но, вырвавшись на прогали-

ну, словно споткнулся. И прыгнул в сторону, сам не зная почему. Еще до того, как щепки полетели из ближайшего дерева.

Он должен был упасть, заливаясь кровью. Но разминулся с пулями, пусть лишь на доли мгновения. Рухнул лицом в траву и отполз. Пока гремело откуда-то из кустов и взлетали рядом фонтанчики земли.

А враг сделал ошибку. Наверное, подумал, что с поручиком кончено. И поднялся в кустах, чтобы лучше рассмотреть, добить его парой выстрелов.

«Из палачей — вообще плохие солдаты…»

Михаил угадал очертания пятнистой фигуры. И торопливо вдавил крючок.

Раскатисто грохнуло — одним нажатием он выпустил сразу две пули.

Из зарослей долетел отчаянный вопль — как добрый знак. Затрещали ветки под рухнувшей тушей.

Но все-таки враг был жив. И метнулся через кусты к дороге с бешенством раненого зверя.

Наверное, дело было в проклятом кургузом жилете. Поручик едва не зарычал, бросаясь вслед. Водитель был живуч, как скотина Гебель, получивший не меньше десятка штыковых. И все равно ведь ухитрившийся сбежать!

«Только этот не улизнет!»

Провидение не вечно бывает слепым…

Он верил в это целую минуту. Но когда продрался через кусты на дорогу и вскинул карабин, кое-что изменилось. Донесся нарастающий звук, который уже был знаком. А потом из-за изгиба дороги вылетели сразу два возка — белые с желто-синими полосками на боках. Раненый враг бросился к ним навстречу, размахивая руками, что-то выкрикивая.

Самодвижущиеся возки резко начали тормозить. И поручик смог рассмотреть на них черные надписи «ПОЛІЦІЯ».

В прошлой жизни у него не было проблем с законом, если не считать восстания. А сейчас он просто нажал спуск, целясь уже не в раненого людолова, а в силуэты, маячившие по ту сторону стекла.

Он не колебался в эти мгновения.

Так что загрохотало, зазвенело о железные возки. А брызги стекла посыпались на дорогу.

Михаил стрелял, пока не закончились заряды.

Потом бросился к подранку, не успевшему добежать до возков, упавшему в грязь, пускающему губами красные пузыри. И вырвал оружие из ослабевших пальцев. Как раз вовремя, чтобы

встретить очередями фигуры, выскочившие из второго возка.

Одного он положил сразу, расчетливо целясь в голову поверх темного кургузого жилета. Но тут закончились патроны и в карабине водителя.

Поручик упал на дорогу, вжимаясь в камень, прячась за телом врага, пока грохотало, летело и вышибало кругом каменные крошки.

Несколько пуль точно попало в раненого, судя по сдавленному всхлипу. Михаил оставался невредим за этой массивной тушей.

«Пока невредим…»

Пощупал одежду врага — патронташа у того не было. Имелся лишь плоский брусок в кармашке на жилете, похожий на тот, что торчал из карабина. Жаль, поручик понятия имел, как с этим управляться.

Он вытащил странный брусок из кармана мертвеца. И убедился, что внутри есть что-то вроде зарядов — остроконечные желтоватые пули, соединенные с металлическими цилиндриками. Наверное, точно такие сейчас долбили рядом с ним камень, ведь круглые свинцовые не вонзались бы так глубоко…

А почему нет бумажных гильз с порохом?

Михаил наморщил лоб. И вдруг сообразил: да

ведь это же просто! Просто и гениально. Вот почему похожие цилиндрики катались под ногами там в пропахшем кровью фургоне! Он искренне обрадовался чьей-то смекалке. Им бы в Черниговский полк такие приблуды!

«Мы бы за неделю дотопали до столицы!»

В любую погоду — в снег, в сырость. Не опасаясь, что кремневые замки дадут осечку или влага размочит пакетики с порохом…

Значит, единственное, что надо, — сменить плоский брусок на карабине… Он не знал как. Но можно было разобрался, имея хоть пару минут в запасе.

«Хотя бы минуту…»

Его обошли с тыла.

И поручик выронил карабин и брусок. Неловкими пальцами рванул пистолет из кармана кофты. Выстрелил на шорох в кустах. А когда угадал в зарослях еще одного, квадратный кожух поверх ствола остался сдвинутым назад. И вместо выстрела была тишина.

«Патроны — их всегда не хватает. Даже когда так много…»

В это мгновение он понял, что погиб.

«Уже второй раз?»

Честно пытался. И опять ничего не вышло…

Поручик криво усмехнулся, роняя пистолет. И глянул в зрачок нацеленного на него ствола.

Оттуда смотрела неизбежность.

Он вдруг ясно представил, как два спасенных им дезертира сдаются полиции, как их опять вяжут. А потом страшно бьют, превращая в кровавые куски мяса.

И ничто не меняется. В раз и навсегда установленном порядке. В огромной тюрьме под этим прекрасным весенним небом…

На солнце становилось теплее. Только было холодно от накатившей ясности. И Михаил поднялся с камня, разминая ноги, не замечая истошных воплей полицаев:

— А ни руш!

— Завмэрты, покыдек!

«Опять этот диалект…»

Это на него они променяли Пушкина? Ломая язык, подстраиваясь под самых дремучих селян.

— На землю! Мордой в землю, тварь! — заорал ближайший полицай. Похоже, от волнения вспоминая родную речь.

«Хотят взять живым…»

Скрутить как барана и выслужиться перед начальством за поимку опасного злодея. У них были грандиозные планы. И Михаил улыбнулся,

глядя на перекошенную физиономию полицая, на карабин в дрожащих руках.

«Второй раз не так муторно?»

Скорее, обидно. И противно от их трусливой злобы, дурацкой черной формы и нашивок. От великолепного оружия, доставшегося таким ничтожествам.

Полицай наклонил ствол, не убирая палец со спуска. Кажется, собирался выстрелить поручику в ногу. А уже потом добивать прикладом, башмаками. Наваливаться всей стаей, заворачивая ему руки за спину, скручивая их удобными желтыми веревками.

Темная ясность была в глазах. А палец шевельнулся у стального крючка.

В это мгновение Михаил прыгнул вперед.

Нет, он не надеялся обогнать пулю. Просто знал, что теперь каждый из них нажмет на спуск, целясь уже не по ногам. Любой ценой пытаясь его остановить, перемазанного чужой кровью, с улыбкой на губах.

И закончится нелепый спектакль…

Загрохотали выстрелы с разных сторон. Поручик успел ощутить удовлетворение от собственной правоты.

Но что-то было не так. И, оказавшись почти

вплотную к полицаю, он заглянул в его перекошенное застывшее лицо. В эту секунду хлопнул еще выстрел — куда-то в камень, ведь ствол карабина смотрел вниз. А потом мордой вниз рухнул и полицай — тяжелый, как бревно, поднимая клубы пыли.

Небольшой топор торчал из его коротко стриженного затылка.

Зато Михаил до сих пор был невредим. И можно было не гадать о причине. И почти не удивляться, когда из ближайших кустов показалась невысокая фигура в телогрейке на голое тело, в смешных синих шароварах с белыми лампасами на боках, в калошах на босу ногу…

Хотя кое-что не подходило к облачению.

И поручик застыл, словно приморожденный. Пока не услыхал:

— Ну, здравствуй, Миша!

И голос был тот же — грубовато-уверенный. И серые глаза — пронзительные, как удар шпаги.

— Здравствуй… Анастас, — прозвучало, как во сне.

Ответная жесткая усмешка скривила губы. А крепкие руки, торчавшие из замызганной телогрейки, подобрали трофейный карабин.

Поручик тоже не стал мешкать, торопливо

выдернул топор из затылка полицая.

Они отступили в кусты на обочину. Но еще пару секунд стояли рядом, едва узнавая друг друга в нелепых одеждах, прежде чем крепко обняться.

— Я видел, как ты бежал к пушкам… Красиво, красиво!

— А ты?

— А я до сих пор жалею, что не смог… Остаться там вместе с тобой!

Поручик заглянул в зрачки товарища. Хрипло спросил:

— Ты выжил?

— Тогда да.

— А что с остальными?

— Всех взяли. Только Ипполит застрелился.

— И что… было дальше?

— Не знаю, — усмехнулся Анастас. — Я ведь тоже пальнул себе в висок. Ночью. Из спрятанного пистолета.

Поручик поморщился.

«Самому спустить курок…»

Даже думать о таком невыносимо. А командир пятой роты, первой восставшей, беспечно отмахнулся:

— Но хватит об этом… Сколько у тебя людей?

Какой-то шорох долетел из-за спины. Михаил

вздрогнул, поворачивая голову. И обнаружил, что несколько человек в разнокалиберной штатской одежде выскочили на дорогу, наверное, уловив знак Анастаса. И теперь начали собирать оружие с трупов, обыскивать полицейские возки.

— Сколько людей, Миша?

— У меня… Двое.

Конечно, если освобожденные им дезертиры еще не сбежали.

— А у тебя?

— Шесть.

— Повезло, что вы оказались рядом…

— Это не случайность.

Они глянули друг на друга. И старый товарищ объяснил:

— Мы как раз хотели поймать возок… то есть авто, когда ты устроил маленькую войну — «ун петит гер».

— Моя ошибка, — кивнул поручик.

— Нет, это стиль, как говорят французы. И мне он по душе!

— С такими силами надо уходить в дебри, а не устраивать засады.

— Ты серьезно?

— Да… — пробормотал поручик, опять оглядываясь на звук.

Ветки шевельнулись как раз в том месте, где прятались атаковавшие его полицаи. Он машинально стиснул топор, но из зарослей показались совсем другие фигуры в расстегнутых пятнистых куртках. У обоих висели через плечо карабины. И можно было не сомневаться, откуда оружие.

Один из них — мрачный, сухощавый — травой вытирал лезвие ножа.

— Видишь, — сказал командир пятой роты, — важно не только число, но и качество.

— Но мы не боги, Анастас.

Даже в этом странном, исказившемся мире.

— Да, люди… И вспомни, сколько нас было вначале — там, в Трилесах?

— Четверо.

— А через день — уже тысяча!

И вышедший из кустов мрачный гость подтвердил:

— Будет больше. Намного больше!

— Уверен? — прищурился поручик, рассматривая нож в его руке.

— Раньше легче было уйти в СЗЧ. А последний год закрутили гайки. Охраняют, как в тюрьме, бьют до смерти, если ловят… Значит, теперь один выбор!

— Какой?

— Или на «мясо»… Или так!

И загорелые руки вздрогнули, оттирая красные пятна:

— Пацанам есть за что поквитаться!

А другой, седоватый, приоткрыл рот, наверное, собираясь что-то добавить. Но лишь кивнул, стиснув зубы — так, что шрам перекосило на щеке. На пальцах его тоже угадывались свежие пятна. И на трофейном карабине…

Ветер шуршал листвой. Переговаривались на дороге дезертиры — кажется, они пытались завести полицейские возки.

А два старых товарища молчали, обдумывая.

— Когда? — негромко спросил поручик.

— Немедленно, — ответил командир пятой роты. — Это как лучина возле сухих дров!

— И много… «дров»?

— Сперва поднимем учебку и пару бригад.

— У нас там кореша, — уточнил дезертир с ножом.

— Порядочный ресурс. С которым можно нанести главный удар.

— И куда?

Они уставились друг на друга. Пока жесткая усмешка опять не тронула губы Анастаса:

— В самое сердце — на столицу!

Поручик опустил веки. Слишком многое всплыло из памяти: тела в разорванных шинелях и тающий красный снег…

— Думаешь… в этот раз получится?

— А как по-твоему? Ведь не зря Вселенная нас свела через столько лет.

— Через сколько?

— Неважно, Миша. Главное, опять на том же месте!

«И тюрьма должна рухнуть…»

Что-то хрустнуло в кустах.

Оба оглянулись. Но это были всего лишь «крестники» Михаила — освобожденные им беглецы.

— Твои?

— Мои, — кивнул он, всматриваясь в растерянные физиономии.

Не сбежали, не оставили его, хотя могли.

«Все не так, как в прошлый раз… Не так!»

И, чувствуя внутри странное тепло, поручик протянул руку командиру пятой роты:

— Я с тобой, Анастас!

Ведь было кое-что сильнее картечи. И важнее их собственных, вновь обретенных жизней.

— Вместе и… — он хотел сказать «до конца», но сам себя поправил: — До победы!

Татьяна Минасян
Ольга I, Павел II..

Санкт-Петербург, 1826 г.

Император Николай I в крайнем раздражении смотрел на лежащий перед ним лист бумаги, исписанный красивым женским почерком. Что себе позволяет эта дама? Мало ему других срочных дел, всевозможных прошений и других документов, которые необходимо рассмотреть, так еще она со своей сумасшедшей просьбой! Да как она, жена государственного преступника, вообще смеет ему писать?!

Он поднялся из-за стола и несколько раз прошел взад-вперед по кабинету, постепенно успокаиваясь. Напоминания о прошлогодней попытке восстания до сих пор выводили царя из себя, несмотря на то, что дело это давно закончилось и виновные либо держали ответ перед судом более высоким, чем императорский, либо уже несколько месяцев ехали к месту ссылки. Вот и теперь прошение супруги одного из сосланных в Сибирь бунтовщиков освежило эти неприятные воспоминания и заставило Николая Романова

мысленно вернуться во времена следствия и суда над восставшими, что не замедлило сказаться на его настроении.

«Зачем ей это нужно? — в крайнем изумлении спрашивал себя император. — Семьи бунтовщиков не несли никакой ответственности за их преступление, она может жить в столице, ни в чем не зная нужды! Что это за глупая фантазия — ехать за мужем в ссылку, как какая-нибудь крестьянка?! Нет уж, потакать подобным безумным идеям я не буду!»

Он вернулся к своему письменному столу, еще раз пробежал глазами прошение и на краткий миг заколебался: в конце концов, если этой Марии Волконской взбрело в голову ехать в Сибирь, стоит ли этому препятствовать? Пусть едет, жене бунтовщика там самое место! А Волконский, значит, вместо того, чтобы искупать свою вину, будет радоваться жизни, воссоединившись с супругой… Этого еще не хватало!

И хотя Романов прекрасно понимал, что даже если он разрешит Волконской уехать и она сможет добраться до места каторги, жить вместе с осужденным преступником ей все равно не позволят, решение было принято окончательно и бесповоротно. Резко обмакнув перо в чернильни-

цу, он прижал прошение к столу и, едва не порвав бумагу, наискосок перечеркнул написанный на ней текст неровной отрывистой надписью: «Отказать».

Получив отказ, княгиня Мария Николаевна Волконская предприняла еще несколько попыток добиться разрешения на отъезд к бывшему князю Сергею Григорьевичу, однако император, сказав нет один раз, уже не мог изменить своему первому решению. Прошли годы, и Волконская смирилась с тем, что ей придется остаться в Петербурге и что она больше никогда не увидит своего мужа. Утешением для нее стал подрастающий сын, воспитанию которого она и посвятила свою дальнейшую жизнь.

Что же касается жен других ссыльных, то, если у кого-нибудь из них и возникали такие же мысли об отъезде в Сибирь, как у Волконской, они, наученные ее горьким опытом, не решились на них настаивать.

Несостоявшееся восстание постепенно забывалось, а к концу царствования Николая I о нем не часто вспоминал даже сам император. После смерти царя Николая в 1855 году ссыльным было разрешено вернуться в столицу, но те немногие, кто к тому времени был еще жив, этим

разрешением не воспользовались: они прочно обосновались на поселении, завели семьи с местными женщинами и менять устоявшуюся жизнь не захотели.

Ясная Поляна, 1862 г.

В кабинете графа Льва Николаевича Толстого царил обычный для этого помещения беспорядок — много неделями не вытираемой пыли и разбросанных где попало вещей. Впрочем, справедливости ради следовало бы сказать, что в последние месяцы с появлением в доме молодой хозяйки эта комната, как и все имение в целом, сделалась гораздо более чистой и прибранной. По крайней мере, сапоги на туалетном столике у Толстого больше не стояли, да и табачным дымом в кабинете теперь пахло не так сильно. Вот только хозяина кабинета эти перемены совершенно не радовали.

Он смотрел в будущее и не видел ровным счетом ничего. Новая жизнь, которая, как ему представлялось, должна была начаться после женитьбы на барышне Софье Берс, так и не началась. Все шло как прежде, разве что прибавилось поводов для раздражения: молодая супруга то и дело порывалась чем-нибудь ему помочь и сделать что-нибудь «для его спокойствия» и при

этом словно бы нарочно добивалась противоположного результата. И больше всего пугали Льва не ее неуклюжие попытки порадовать его, а мысли о том, что теперь так будет всегда, до самой его старости, что такая жизнь уже никогда ни в малейшей степени не изменится…

Вести дневник ему теперь приходилось тайком, преподавание в крестьянской школе и другие дела, в которые он еще недавно уходил с головой, больше не приносили ему удовольствия… Даже писать не хотелось. А точнее, хотелось, но граф абсолютно не знал о чем. Продолжать рассказы о войне? Он, несомненно, мог бы еще многое сказать по этому вопросу, но почему-то душа к нему у писателя больше не лежала. Он бы предпочел взяться за что-то новое, возможно, за большой роман, который занял бы его на много лет, в который можно было бы погрузиться полностью… Однако стоило Толстому задуматься о том, что могло бы лечь в основу такой работы, как все его мысли заходили в тупик. Да и размышлять часто было некогда — Софья Андреевна все время оказывалась рядом в самый неподходящий момент. Вот и сейчас она наверняка постучится в дверь с каким-нибудь очередным вопросом по хозяйству или по подготовке к празднованию Рождества!

В дверь постучали. Граф Толстой тяжело вздохнул и раздосадованно вскочил из-за стола.

— Войдите!

В кабинет осторожно прошмыгнула миниатюрная графиня Софья Андреевна. Ее большие, полные любви глаза смотрели на мужа неуверенно и робко. Эта совсем еще юная женщина чувствовала, что с ним что-то не так, и больше всего на свете ей хотелось облегчить ему жизнь и сделать его счастливым. Вот только она плохо представляла себе, как это сделать, а кроме того, не была уверена, что у нее есть право помогать тому, кто не просил ее помощи. Но и не делать вообще ничего Софья тоже не могла, а потому старалась хотя бы время от времени отвлекать супруга от одолевавших его неприятных мыслей.

— Я вам помешала, Лев Николаевич? — спросила она извиняющимся голосом, увидев в беспорядке лежащие на столе бумаги. — Вы начали писать что-то новое?

— Нет, я пока ничего не начинал… И вряд ли начну в ближайшее время, — покачал головой Толстой. — Мне сейчас не до этого. А что вы хотели?

— Там ряженые приехали, — чуть заметно улыбнулась молодая женщина. — Не хотите

немного повеселиться?

— Ну что ж, пойдемте, — старательно скрывая скуку и недовольство, согласился граф и вслед за женой вышел из комнаты.

Санкт-Петербург, 2008 г.

В большой пустынной аудитории Императорского государственного университета было сумрачно и прохладно. Голоса сидящих на подоконнике юноши и девушки гулким эхом разносились по залу, где еще полчаса назад сидело множество студентов и шла консультация для абитуриентов. Девушка, одетая по самой последней моде в брюки вместо юбки, держала в руках толстую растрепанную тетрадь, почти до конца исписанную крупным витиеватым почерком. Изредка она опускала глаза на эти записи, сравнивая с ними ответы своего друга, но чаще выслушивала их, не глядя в тетрадь, одобрительно кивая, если он отвечал верно, и поправляя его, когда он ошибался: даты царствования российских императоров, в которых этот приехавший из провинции молодой человек постоянно путался, юная барышня знала назубок.

— Давай еще раз, сначала, скажем, с Николая Первого, — сказала она, когда юноша наконец с грехом пополам добрался до последнего царя. —

Закрепим результат.

— Ага, сейчас, — сосредоточенно вздохнул молодой человек и принялся со скучающим видом заново перечислять так сложно запоминающиеся цифры. — Значит, Николай Первый — с восемьсот двадцать пятого по восемьсот пятьдесят пятый годы, Александр Второй — с пятьдесят пятого по девяносто шестой, Николай Второй — с восемьсот девяносто шестого по девятьсот… э-э-э… девятьсот двадцать шестой, правильно?

— Да-да, все верно, давай дальше.

— Дальше Алексей Второй. С тысяча девятьсот двадцать шестого по тысяча девятьсот сорок третий…

— Да не сорок третий, а тридцать четвертый!

— Ох, точно, тридцать четвертый! Опять цифры местами поменял! Ладно, потом идет Ольга Первая — с тридцать четвертого года по шестьдесят второй, после нее Павел Второй — с шестьдесят второго по восемьдесят третий, а потом Николай Третий — с восемьдесят третьего года и до сих пор!

— Молодец, все можешь, когда захочешь, — похвалила его девушка. — Только с Алексеем Вторым будь внимательнее, — она перевернула несколько страниц тетради и хитро улыбну-

лась. — Ну что, давай теперь даты подавленных мятежей?

— А может, в следующий раз? — вкрадчиво спросил молодой абитуриент. — Я так с этими царствованиями намучился — больше никаких дат не помню!

— Да их же всего три было, и все сразу же разогнали! Ну неужели так трудно выучить?! — возмутилась девушка. — Ты так никуда не поступишь и вернешься в свой Всеволожск! А мне бы… — она чуть понизила голос и посмотрела на него более ласковым взглядом, — мне бы этого совсем не хотелось, понимаешь?

— Я все выучу! — воскликнул молодой человек. — Честное слово, я сам хочу остаться в Питере, я не хочу с тобой расставаться! Просто мне очень сложно запоминать цифры.

— Ладно, завтра я с тебя спрошу и Романовых, и мятежи, — пообещала девушка. — А сегодня, так уж и быть, отдыхай. Мне, кстати, все равно домой пора, надо еще реферат по Толстому писать.

— И зачем вам изучать Толстого, некрупный ведь писатель, один сборник рассказов всего, — буркнул юноша, подавая подруге руку и помогая ей слезть с высокого подоконника.

— И хорошо, что только один сборник, если бы

еще и он, как другие, романы писал, я бы точно никуда не поступила! — усмехнулась девушка и принялась засовывать тетрадь в туго набитую учебниками сумку.

— Кстати, держи, — молодой человек достал из кармана кошелек и протянул подруге две слегка помятые купюры. Она рассеянно взяла их, но потом, чуть подумав, вернула одну обратно:

— Это слишком много, я же у тебя только даты царствований проверила.

— А, хорошо, — кивнул юноша и убрал лишние деньги в кошелек. Потом он взял свою спутницу под руку, и они вместе направились к выходу из аудитории.

Владимир Лещенко
Из «Очерков Второй русской Смуты»

1

Санкт-Петербург, 1823 год. Зимний дворец

Александр Павлович Романов, называемый за глаза Александром Маленьким (и менее почтенными словами), размышлял о своей жизни. И ни одной хорошей мысли не приходило. Он считался в обществе и за рубежами России человеком лукавым, «византийцем», но научился по крайней мере не лгать себе…

В молодости на маневрах вверенной ему отцом дивизии случайно встреченная в корчме цыганка предсказала ему, что он не проживет дольше родителя. Он скоро сравняется возрастом с батюшкой. Но даже не будь этого пророчества…

Повесть его жизни, вероятно, заканчивалась. Заканчивалась такой страшной пустотой, такими руинами, такой безмерной тоской, что он готов был бы молить о спасении не то что Господа, но и врага его.

Низко склонив лысую, как яйцо, голову, он ходил по своему огромному кабинету, как зверь

по клетке, и думал, мучительно размышлял: как случилось то, что случилось?

Он родился в те блестящие (пусть и позолоченные, сказать по правде, тонким сусальным слоем) годы, когда царствовала императрица Екатерина Алексеевна. Модный ныне юнец Пушкин не терпел этого «Тартюфа в юбке и в короне» и утверждал, что она развратила весь народ. Знаменитый созыв депутатов он считал непристойною фарсой, а ее «Наказ» — лицемерием.

Что он понимал, этот стихоплет?!

Бабка, видит Бог, была многогрешной и мужелюбивой, но она и в самом деле хотела просвещения и порядка в России, хотела правильных законов и порядочного правления. А что сказали депутаты Уложенной Комиссии? Бормотали льстивые речи да еще требовали права покупать крепостных независимо от сословия! Она убила мужа — так же верно, как если бы сама, а не Орлов, нанесла тот удар? А он сам — Александр — как он поступил с отцом?

Да и кто был безгрешен? Его издерганный и полоумный батюшка? Когда он воцарился, сразу решил, что призвание его состоит в том, чтобы восстановить все, разрушенное французской революцией, этим великим мятежом. Стал

гроссмейстером Мальтийского ордена, мечтал возвратить низверженным венценосцам их троны, мечты эти освящали всю его политику… И что это принесло, кроме массы поступков явно уже безумных, вроде посмертного выговора покойному генералу Врангелю или публичного, чрез газеты, вызова всех европейских монархов на дуэль? Запрещение круглых шляп и слова «гражданин»? Даже сыновья его не знали, что ждет их завтра, потому трепетали день и ночь.

Однажды Павел вошел в комнату Александра и увидал у него на столе трагедию Вольтера «Брут», которая кончается стихами:

Рим свободен! Довольно!

Возблагодарим богов…

Павел ничего не сказал, а потом велел позвать к себе Александра и, показывая ему указ Петра I о цесаревиче Алексее, спросил:

— Римскую историю вы знаете. А знаете ли вы, сударь, историю этого царевича?

И надолго остановил на сыне свой бешеный взгляд…

Все с минуты на минуту ждали указа о заключении его, Александра, в Шлиссельбург, а Константина — в Петропавловскую крепость.

Павел открыто говорил о своем желании назначить наследником престола принца Евгения Вюртембергского, племянника Марии Федоровны, пятнадцатилетнего мальчика, которого император сделал уже генерал-майором и шефом драгунского полка. Наконец он объявил о союзе с Бонапартом — кичившийся рыцарством монарх подружился с самозванцем!

А потом был март 1801 года, и презрительно брошенное фон Паленовское: «Идите и царствуйте!»

И была война с Корсиканским чудовищем, на которой не случилось ни одной победы… Война, к коей идеально применимы слова, сказанные кем-то об убийстве отца: «Дело без чести для совершивших и без пользы для России».

Он бы с ней закончил — мелькала мысль после первых неудач: дождаться большого поражения и подписать мир, отступив в Россию. Но отступать было невозможно, о чем недвусмысленно говорили подброшенные после того или другого бала либо приема письма, в изысканных французских и грубых русских выражениях предостерегающие от любого мира с Францией и напоминающие, к чему это привело отца…

После Аустерлица казалось, что все рухнет. Что-

бы поддержать народный дух, по всем церквам было приказано читать воззвание Синода, в котором Бонапарт обвинялся в том, что он угрожает России вторжением и хочет потрясти веру православную, что во время революции он отложился от веры Христовой, воздавал поклонение, одному Богу подобающее, «истуканам, человеческим тварям, блудницам и идольским изображениям», что в Египте он приобщился к гонителям церкви Христовой, проповедовал Алкоран магометов, созвал во Франции иудейские синагоги, установил новый великий Синедрион еврейский, «сей самый богопротивный собор, который некогда дерзнул осудить на распятие Спасителя, а теперь помышляет соединить иудеев, гневом Божиим рассеянных по всей земле, подвигнуть их на ниспровержение церкви Христовой и — о, дерзость ужасная, превосходящая меру всякого злодеяния! — провозгласить Наполеона Мошиахом…» Что там еще было в тех листках и проповедях, не упомнить уже…

От служителей церкви не отставали и служители науки. Нашелся в Дерпте профессор Гецель, который в зверином числе Апокалипсиса открыл имя Наполеона. Свое научное открытие профессор предложил Барклаю, дабы «распечатать

оное для усугубления бодрости духа русского воинства».

(Этого профессора Бонапарт велит потом публично высечь, но изменит решение, ограничившись лишением профессорского звания за глупость. «Теперь вы простой студент!» — сообщил некий Анри Бейль[17], вручая трясущемуся немцу соответствующий указ.)

А затем Бонапарт вошел в Россию…

Фон Пфуль обещал шахматный разгром Наполеона: одна армия будет встречать его на Смоленской дороге, а вторая ударит в тыл из Дрисского лагеря…

Александр отчего-то поверил беглому пруссаку и сначала отправился в Москву ободрять население, а затем прочно уселся в Каменноостровском дворце, коротая время прогулками в его великолепном парке и чтением Библии. Побаивались теперь черни, но лишь немного: по сравнению с почти преступной небрежностью в подготовке внешней войны довольно тщательно приготовлялись к обороне от домашнего врага. Он написал не одно письмо своим близким, вынужденным оставаться в менее надежных

---

[17] Примечания: 17

Анри Бейль — настоящая фамилия писателя Стендаля, одно время бывшего чиновником при Наполеоне. *(Здесь и далее — прим. авт.)*

местах, нежели Петербург: «В случае какого-либо волнения полубатальоны внутренней стражи (по триста человек на губернию!) легко с этим волнением справятся…»

Кривая ухмылка исказила осунувшееся лицо монарха: приходится врать даже в мелочах! Ибо по губернским городам для этой цели существовали лишь штатные роты — не более чем по полста штыков в каждой.

А потом — громовым ударом — три поражения: в Смоленске, на Двине и под Петербургом!

И хоть война в прошлом, но важные лица постоянно оправдывают себя в глазах общества и всю вину взваливают на особу государя. Его особу…

Сильный ропот по-прежнему раздается в столице. Многие ждут волнения раздраженной и тревожной толпы.

Он машинально коснулся ящика стола, где лежали переписанные отрывки из перлюстрированных писем.

«Весь сотканный из тщеславия, он был еще более во власти той гордости, которая побуждает выставлять с одинаковым безразличием как добрые, так и дурные поступки, — следствие сознания своего превосходства, может быть, и

воображаемого…»

Дворянство громко винило Александра в проигранной войне: мол, вместо того, чтобы командовать, сидел во дворце и читал Библию. Так что в разговорах редко кто решался его защищать и оправдывать. Он даже, вопреки прежнему, ездил по городу не верхом, а в карете.

Александр вспомнил свою недавнюю поездку в собор и то, как со страхом смотрел из окна кареты на тротуары, запруженные несметною и мрачно-молчаливою толпою, как-то медлительно стягивающей шапки. Не было слышно обычных ура или проклятий с бранью, но этого жуткого безмолвия было достаточно, чтоб у придворных и у самого императора затряслись поджилки. Вспомнился отрывок из письма другой сестры, великая княгиня Екатерина Павловна писала в те дни своему брату: «Не бойтесь катастрофы в революционном роде, нет! Но я предоставляю вам судить о положении вещей в стране, главу которой презирают».

И того не бояться, что среди темного люда идет слух, будто Наполеон убил настоящего царя еще в Тильзите секретным образом, подменив его неким жидом — оттого, дескать, проиграна война и губернии потеряны.

«Не бойтесь!» Вот стукнет в голову семинаристу или корнету что и выпалит в упор. Или мастеровой выкрикнет: «Бей яво, анчихристова сына, робяты!», и пойдет замятня…

Он, что ли, хотел этой войны? Да нет — вся эта раззолоченная сволочь! Одни боялись Робеспьера на коне, как кто-то сказал о Бонапарте, другие злились, что больше не выходит торговать с Англией хлебом и пенькой! Или он устроил, что русская армия своими ворами-интендантами была раздета, разута и обречена на муки голода? Солдаты и офицеры грабили свое и чужое население, беспощадные и постоянные расстрелы грабителей не производили никакого впечатления. «Если наши крестьяне начнут драться с нашими солдатами (а я этого жду), — писал московский губернатор, этот шут Растопчин, — то мы накануне мятежа, который непременно распространится на соседние губернии, где раненые, беглые и новонабранные полки также производят неурядицу». Среди начальников шли, как всегда, невероятные интриги, и Александр должен был держать при генералах своих соглядатаев: за Барклаем наблюдал Ермолов, за Кутузовым — Беннигсен, за Багратионом — Сен-При, за Чичаговым — Чернышев, а так как Багратион считал Сен-При чуть

ли не за наполеоновского шпиона, то он в свою очередь окружил его своими шпионами.

…Когда Наполеон внезапно вместе с австрияками повернул на турок, у многих зародилась надежда — на Востоке можно воевать годами. А когда удача стала ему изменять — Константинополь не был взят, а армия австрияков наполовину вымерла от холеры — пошли даже разговоры, что-де разбойник напоролся на собственный нож… Лихорадочно запасали порох и амуницию (куда только все девалось?), набирали новых рекрутов и строили лагерь на Двине. Робко надеялись: ладно там Эйлау и Ауэрштадт, но у себя дома мы-то вломим, ох и вломим! Глупые надежды, рассеявшиеся с дымом первых боев!

Смоленск. Солдаты, умирающие от тяжелых ран, гниющие заживо, перевязанные вместо бинтов сеном и бумагой из разграбленных архивов… Рекруты, гибнущие, как мухи, под картечью, мрущие от голода и поноса… В Тарусском ополчении, например, из тысячи ушедших вернулись меньше сотни.

Истребленный Дрисский лагерь — этот «Граль победы», как думал не только разработчик плана Пфуль, но и начальник штаба Волконский, воистину баба! Как там поют в срамной анти-

монархической песенке: «Князь Волконский, баба — начальником штаба!»… Да и в самом деле, укрепления, прикрытые рекой, — попробуй возьми! Но французы пересекли обмелевшую Двину вброд и обошли лагерь с обеих сторон, так что люнеты и редуты оказались обращены афедроном к неприятелю. Одно добро — фон Пфуля, чертова немчика, там затоптали, как зайца, бегущие уланы…

Синявинские высоты, где корпус Витгенштейна и гвардия были разбиты вместе с бежавшими из Дрисской мышеловки полками и бригадами, но даже среди трупов Витгенштейн бранился с де Толли…

…И позорный мир. Милостивый мир. Оттого, может, еще более позорный…

Со смехом Бонапарт рассказывал, как прусский король, чью страну Александр спас от полного растаптывания еще недавно, согласился присоединится к походу против России, прося у Наполеона в случае успешной войны отдать Пруссии Курляндию, Лифляндию и Эстляндию.

«“Русские провинции? — сказал я ему, — поведал Наполеон. — А как же клятвы на могиле Фридриха Великого?” И вот что услышал в ответ: “Я готов делом загладить свой недостойный союз

с потомками Чингисхана!” Так он охарактеризовал вас, брат мой Александр. Впрочем, довольно о Пруссии: *vilain roi, vilaine nation, vilaine armee* — дрянной король, дрянная нация, дрянная армия. Лучше поговорим о Польше…»

И поговорили… Хорошо поговорили! Бонапарт отобрал у России лишь половину того, что просили ляхи: половину Западного края, Волынь, Виленские и Ковенские земли, запад Подолии до Житомира. А еще пресловутую Курляндию…

И Александр подписал мир с Речью Посполитой, вернув ей, что было особо подчеркнуто, знамена и инсигнии короны.

— Я же вам вернул, брат мой, — пояснил Наполеон по этому поводу.

А еще право досмотра всех судов для вящего соблюдения континентальной блокады! Люди из французского посольства бродили в портах Архангельска, Петербурга и Риги как у себя дома…

Триумфально возвращаясь в Париж, в Варшаве Корсиканец провозгласил себя императором Востока и Запада, главою европейским, защитником веры христианской. Лучше бы сразу *maitre de l'univers* — владыкой вселенной — хихикали в осмелевших салонах Петербурга.

Вот уже скоро семь лет минуло…

Александр ощущал, как дико устал, словно загнанная лошадь, которая не понимает, за что ее мучают, и у которой, несмотря на жестокий кнут, нет больше сил идти вперед. Он устал жить. Жизнь опустела. Все человеческое рушилось. Жизнь лежала перед ним печальными развалинами. Царем в ней ему было делать уже нечего. Он думал отречься и уйти… Но куда уйти, как?.. Куда же денется он, бедный самодержец всероссийский? Принять постриг разве?!

— Ваше императорское величество, к вам князь Багратион со срочным докладом! — сообщил флигель-адъютант Воейков.

Александр чуть нахмурился, вспоминая…

Генерал от инфантерии Петр Иванович Багратион в битве под Смоленском был основательно контужен и поцарапан осколками. Лежа в госпитале, он узнал о подписании Псковского мира. Это известие потрясло полководца до глубины души. Несколько дней он находился в бреду со словами: «Боже! Спаси Отечество!» Полгода лечился, потом снова болел, а затем был выпихнут в отпуск, где сейчас и пребывал…

Еще вспомнился донос о скандале в Ставке:

— Ты немец!.. — кричал Багратион на Барклая. — Тебе все русское нипочем!..

— А ты дурак! — кричал Барклай в ответ. — И сам не знаешь, почему ты считаешь себя коренным русским!

Итак, князь Багратион. Безместный генерал уменьшенной в числе армии, откуда дезертировали не одни лишь солдаты, но и офицеры, он имел проживание в Твери, где проводил время с… — Александр сморщился — …с его сестрой, великой княжной Анной Павловной, своей давней хорошей знакомой.

Неприятное чувство кольнуло монарха: он хорошо, слишком хорошо знал сестру, чтобы верить, будто они с князем ограничивались кофием и беседами… Теперь вот Багратион прибыл в столицу — во дворец. Неужто осмелится просить руки августейшей особы?!

— По какому поводу сей господин явился?

— Он утверждает, что имеет сообщить нечто чрезвычайной важности.

— Пусть подаст доклад в установленной форме! — зло фыркнул царь.

Выйдя, Воейков, однако, быстро вернулся.

— Ваше императорское величество, — голос «флигеля» дрогнул, — он говорит, что дело… о жизни вашего величества и смерти… И сообщить подробности может лишь лично…

Александр вознамерился было выйти и отчитать генерала, не выбирая слов. Но внезапно похолодел.

Ну конечно! Заговор! Чертовы генералы решили отправить его вслед за отцом! Не иначе тоже на английские деньги… Хотя могли и без денег: за мир с Анчихристом-Бонапартом и отдачу западных губерний полякам его ненавидит и мужичье, и придворные щеголи!

И военачальники, подписавшие вместе с ним позорный Псковский мир… И попы, которые так много говорили, будто Бонапарт суть Аполлион, губитель христиан и слуга Синедриона, что сами в это поверили… И булочники с дворниками, видевшие, как полк Старой Гвардии — таково было требование Бонапарта! — во главе с графом Сегюром промаршировал от Стрельни до Дворцовой и вернулся… А выстроившись, издевательски отдал честь вышедшему к ним монарху: Сегюр доложил на ломаном русском, что рад видеть доблестного государя в его столице!

И ведь даже повод был пристойный: французы возвращали семь взятых в бою под Смоленском знамен в знак мира и уважения. На деле, конечно, даже последнему мальчишке-половому в извозчьем трактире было ясно — это парад побе-

дителей, вошедших в павшую без боя столицу.

Он тогда решил: пусть унижение падет на него, но град Петров избежит участи Сарагосы и на его руинах не воссядет французский комендант. А вот теперь — расплата!

Александр остановился посеред кабинета. В глазах его были смертельные боль и ужас. Тень отца вошла незримой, презрительно взглянула… «Батюшка, прости!»

Он не мог выносить воспоминаний о той ужасной ночи. Его не было там, но он знал все. Как те ворвались в спальню отца и… Скарятин — шарфом, а Зубов — табакеркой…

Не помня себя, владыка России хотел было броситься на половину жены — даже непонятно зачем. Может быть, просто выговориться, получить утешение хоть от нее…

Но взял себя в руки. Он царь еще!

— Ну что ж… Просите… генерала, — стараясь не выдать волнения, произнес Александр.

«Что же заставило Багратиона отвернуться от планов заговорщиков?» — мелькнула деловитая мысль. Неужто совесть?! Или местом в будущем правительстве обошли? Как там оно зовется у Тургенева с Рылеевым — Коренная Дума? Коренником не взяли?

Кривая усмешка тронула бледные царские губы.

Хотя нет, то болтуны салонные да офицеры мелкие, а тут, похоже, люди большие взялись…

Не раз получал царь подметные письма о комплоте — чаще почему-то называли Милорадовича, вертящегося вокруг принцев Вюртембергских. Милорадович крутоват: мог и не потрафить горячему грузинцу, и без того должностью обойденному…

Впрочем, через минуту он узнает все!

Как на плацу чеканя шаг вошел и стал в уставных семи шагах высокий полуседой человек с обветренным, крепким, как из камня сеченым, лицом.

— Что вам угодно, господин генерал от инфантерии? — с холодным выражением осведомился монарх.

Мгновенным рывком преодолев расстояние между ними, Багратион выхватил из-под полы любимый кинжал работы мастера Георгия Элизарошвили и вонзил в царскую грудь.

— Ничтожество! Наполеоновская подстилка! Трус! Отцеубийца! Кровосмеситель! Содомит! Ты обесчестил Россию! Ты погубил ее! — выкрикивал князь, раз за разом всаживая в поверженного

монарха добрый кавказский булат.

На вопли ворвался флигель-адъютант да и замер, глядя на распростертого на ковре поверженного монарха и оседлавшего его Багратиона, возносящего и опускающего окровавленный клинок. Но следом вбежали, отшвыривая остолбеневшего «флигеля» и на ходу обнажая клинки, Рошешуар и Голицын…

Когда изрубленного, истекающего кровью Багратиона оттащили от жертвы, то не нужно было звать лекарей, чтобы понять: царь не просто мертв, а «надежно мертв», как было сказано когда-то гвардейцами о его отце.

Назавтра было сообщено Манифестом о смерти государя «апоплексическим ударом», а через день мелким шрифтом в «Санкт-Петербургских ведомостях» — о кончине генерала Багратиона «вследствие старых ранений». (Он умер тем же вечером в ставшей тюремным лазаретом дворцовой кордегардии, так и не придя в сознание.)

А на трон вступил Николай Павлович — предпоследний сын «бедного Павла…»

Правда, конечно, вырвалась наружу, расползаясь темным шепотком…

Но кому интересна правда?

2

Из всех планов войны с Россией Бонапарт в 1815-м выбрал самый авантюристичный: поход на Петербург — наступление по линии Вильно-Дрисского лагеря — Псков и далее. Именно он принес победу и блистательный Псковский мир. Он в конечном итоге не спас Французскую империю, лишь ненадолго пережившую Наполеона I, но ее бы не спас и Бог…

Альберт Тойнблер, «Вероятности и неизбежности». Мюнхен, Баварское королевство, издательство Мюнхенского университета. 1976 год

* * *

…Через черный ход я был проведен в помещение из нескольких комнат, освещенных свечами и кинкетами. Судя по всему, это была офицерская квартира, ставшая своеобразным клобом. Вдоль стола выстроились стулья, в буфете размещались бутылки с вином и горки посуды. В углу, возле икон, я сразу приметил портреты Суворова и Барклая де Толли. Иногда заходили с улицы

офицеры. Поглядывая на меня, они выпивали кто водки, кто вина, курили из янтарей, тихо беседовали и удалялись, ни о чем меня не спрашивая. Я мало кого знал, только отметил, что немало людей из Финляндского полка, и среди них — полковник и командир батальона Петр Сергеевич Мишин. Я уже хотел прилечь на диване, когда в квартиру стремительным шагом вошли два офицера, и один из них, окинув меня острым, пристальным взором, представился:

— Полковник Пестель. С кем имею честь?

Я назвал себя…

— Господин Васильчиков, — коротко бросил он. — Я знал вашего брата, и если вы столь же храбры и верны России, предлагаю ныне же принять участие в некоем славном деле на пользу державе.

Я сразу понял, о чем речь — разговоры по Петербургу об инсуррекции шли уже не первый месяц, почти не раздумывая, словно обуянный неким демоном, бросил в ответ:

— Я с вами, Павел Иванович!

— Нет смысла скрывать, что сегодня ночью победим или все погибнем… Победят или погибнут все, кого вы здесь встретили!

Настроенный романтично, я, конечно, понял,

что речь идет о заговоре против нелюбимого в обществе монарха, и выразил желание следовать за полковником — ради свободы России.

Пестель вручил мне два пистолета.

— Любая свобода добывается кровью, — сообщил он, улыбнувшись.

Потом появился подполковник Драгутинов и посмотрел на часы:

— Господа, не пора ли? Помолимся…

Перед иконой святого Георгия офицеры пробормотали короткую молитву и принялись заряжать пистолеты и цеплять портупеи с палашами и саблями… Потом все вышли, и я пошел за ними.

Зимний дворец был темен, окна не светились.

Офицер охраны, вовлеченный в заговор, должен был открыть двери заднего входа. Он их открыл, и его тут же закололи.

— Не бейте своих! — прогорланил кто-то.

— Не время жалости — вперед! — призвал Драгутинов…

Клянусь, никогда еще не было мне так легко и весело, как в эти мгновения, да простит меня Бог!..

Задыхаясь в угаре порохового дыма, я слышал вопли раненых.

— Вперед! — увлекал нас Пестель.

Из темных залов отстреливались дворцовые гренадеры фон Моллера. Мы ломились дальше через грохот выстрелов. Наконец попали в императорскую спальню и увидели громадную кровать.

Балдахин над постелью еще покачивался.

— Но их здесь нету, — отчаялся Бестужев.

Полковник Мишин запустил руку под одеяло:

— Еще теплая. Царек с дрянью своей только что грели друг друга…

Мои спутники буквально бесновались, срывая гардины и переворачивая сонетки и козетки, словно августейшая чета могла прятаться под ними…

— Где этот самозванец Николка Палкин? — кричали они. — Где его сумасшедшая женушка? Куда они делись?

Затем они приволокли генерал-адъютанта Левашов, а и началось его зверское избиение.

— Где Николай? Где пруссачка? Куда они делись?

Пестель тяжеленным ботфортом наступил прямо на лицо Левашова:

— Или ты скажешь, где потаенная дверь, или…

— Вот она! — показал придворный генерал на внешне не отличимую от прочих резную панель.

И его тут же застрелили.

Потаенная дверь вела в уборную, где стояли фарфоровые клозеты и обширные медные ванны с большой пузатой колонкой — даже в домах весьма знатных людей, как отмечу, в моем Нижнем Новгороде подобной роскоши и близко не было…

Лунный свет падал через узкое окно, осветив две фигуры.

Император, держа шпагу, даже не шелохнулся. Полураздетая Александра пошла прямо на Пестеля:

— Убейте меня! Только не трогайте несчастного Николя…

В руке Драгутинова блеснула сабля, и лезвие рассекло лицо храброй женщины. Она мужественно приняла смерть, своим телом закрывая супруга. Не раз и не два взвились клинки над телом покойной монархини…

Император стоял, внешне ко всему безучастный.

— Отрекись! — орали заговорщики. — На колени перед Россией!

— Я все равно умру, но умру вашим императором! — равнодушно произнес он, взирая на тело супруги.

— Бей! — раздался клич, и выпалила дюжина

пистолетов.

— Россия свободна! — возвестил Каховский. — Открыть окно…

Беззаветно храбрый и столь же жестокий поручик взял мертвого императора за ноги, труп полетел в окно. Развеваясь юбками и волосами, следом за ним закувыркалась и покойная императрица.

— Мать их всех в поднебесную! — закричали мятежники и я с ними. С улицы громыхнули пушки, возвещая, что император низложен.

Мы вышли на Дворцовую под свет занимающегося утра. Петербург просыпался, встревоженный этой вестью, обыватели сбегались на площадь. Толпа волновалась. Одни кричали:

— За Константина и жену его — царицу Конституцию!

Другие:

— Хотим императором молодого Михаила!

Внимание мое привлекла сцена: известный поэт Пушкин смущенно улыбался в объятиях крепко выпивших Пущина и Кюхельбекера.

— Ты наш! Ты наш! — твердили оба, причем Кюхельбекер размахивал разряженным пистолетом. Я не был с ними лично знаком, хотя, конечно, видел их прежде.

Пушкин прочел какие-то свои стихи — увы, я забыл их… При этом собралась небольшая толпа, слушавшая речи наших служителей муз.

Вниманием всех завладел Бестужев-Марлинский. Забравшись на бочку, он произносил настоящий манифест, что-то толкуя о пользе революции, о конституции и о том, что «нет сомнения, что в России все пойдет хорошо».

— Мы полагаем, что пора вернутся к древнему русскому народоправству! Ведь, как мы помним, даже святому князю Александру Невскому вече вольного Новгорода указало путь. Мы желаем, чтобы не было личного культа, идолопоклонства, чтобы каждый русский выпрямился и больше ни перед кем не ползал. Мы хотим, чтобы закончилась эра барства и слабых людей…

— Вы желаете сделать Россию республикой на французский манер?! — изумился Пушкин.

— Не думали пока об этом, — высказался в ответ молчавший дотоле Мишин. — Но моя цель проще: я хотел выпустить кровь из мерзавца царя, называвшего мой полк и моих товарищей свиньями… Господь сподобил мне это совершить!

(Впоследствии мне довелось читать секретный отчет о предшествующих событиях, где полицейские агенты говорили о возросшем авторитете

Драгутинова и Пестеля, о том, что республиканские идеи имеют быстрое распространение в обществе и радикально настроенные офицеры готовы примкнуть к самым ярым карбонариям, дабы дворцовый переворот, задуманный Милорадовичем и Ольденбургами, использовать в целях создания Российской республики.)

Поодаль солдаты под руководством двух прапорщиков избивали штаб-офицера — я узнал Артамона Муравьева…

— Покайся хоть напоследок, клятвопреступник! — воскликнул молодой улан с гнусными крысиными усиками. — Ты нарушил присягу нашему Союзу, из-за тебя сбежал Михаил с семейкой!

— Я присягал, да! Святой вольности, а не шайке убийц и выродков! — прохрипел мужественный полковник, сплевывая кровь. — Вы сами клятвопреступники, вы и ваш мордатый немчик!

Выстрел оборвал его речь…

— Делом надо заниматься, братья, — произнес Драгутинов, пряча в ольстру дымящийся пистолет.

— Гвардейский батальон прибыл?

— Да. Артиллеристы выкатывают пушки из арсенала, — сообщил один из офицеров, отбрасывая

окровавленную перчатку.

— Надеюсь, у оставшихся хватит ума сдаться…

Прибежал какой-то пехотный поручик и доложил, что командующий конногвардейцами граф Орлов и петербургский губернатор Закревский вытащены на улицы из кроватей и расстреляны на порогах своих домов:

— Их жены плачут! Рвут на себе волосы…

— Солдаты твои где? — осведомился Пестель.

— Дома генералов грабить остались да девок дворовых сильничать… — неодобрительно бросил офицер, судя по грубому немолодому лицу, выслужившийся из солдат (при Александре Неудачливом в конце царствования много солдат производилось, ибо не хватало офицерских чинов в службе). А потом добавил: — Казаки Ольденбургов поймали у самого австрийского посольства… Жаль, Трубецкого-предателя не взяли — успел туда забежать.

— Так и надо, — ответил Пестель. — Братьев Ольденбургов тащите в казарму Гвардейского экипажа! Насадим на штыки этих зазнавшихся франтов, пожелавших быть царями на Руси. Всех перебьем! И до Трубецкого доберемся…

По Невскому двигался, маршируя, полковой оркестр — кажется, Семеновцев.

Неумело и не попадая в такт, они играли «Марсельезу». Многие начали подпевать на галльском:

Allons enfants de la Patrie,

Le jour de gloire est arrivé…

Потом кто-то подхватил и на русском:

Вперед, сыны Отечества…

Настал день славы!

— Наверно, теперь эта прекрасная песня и будет гимном России-матушки, — произнес какой-то напудренный щеголь в пенсне.

Мне было не до того. Я оперся о фонарный столб и безучастно смотрел, как на обледенелой мостовой в страшных муках помирает генерал Милорадович. Вокруг него бегал князь Оболенский, время от времени тыча в него штыком.

— Застрелите его уже, корнет! — сказал я, испытывая жалость к достойному воителю.

— Сам подохнет! — отвечал мне Оболенский…

Придя в себя, я начал сознавать, что свершилось на моих глазах и в чем я участвовал…

Вот тогда я зарыдал. Какой-то драгун дал мне выпить из фляжки водки…

Иван Борисович Васильчиков, «Исповедь быв-

шего мятежника».

Очерки Второй Русской Смуты, т. 1, 1878 год. Издание Русского исторического общества имени Е. И. В. Михаила Спасителя.

* * *

…Сведения о последних минутах августейшей четы смутны и разноречивы. В общем, по показаниям самих убийц, то, что произошло, не поддается разумному объяснению.

Главное же, что люди сии покрыли себя не только позором цареубийства, но и своим поистине зверским образом действий по отношению к трупам убитой ими августейшей четы. После того как монарх и супруга упали, убийцы продолжали стрелять в них и рубить их трупы саблями. Государыня почти вся была изрублена, грудь отрезана, живот вскрыт, щеки, руки тоже порезаны, особенно велики разрезы между пальцев, — вероятно, она схватилась руками за саблю, когда ее убивали, что, по-видимому, опровергает мнение докторов, будто она была убита сразу. Кроме того, тело ее было покрыто многочисленными кровоподтеками от ударов каблуками топтавших ее офицеров. О других надругательствах над трупом я предпочту не говорить — до такой степени они

чудовищны и омерзительны.

Потом убийцы оттащили трупы монаршей четы на площадь, причем труп жены государя был совершенно обнажен…

Новые власти предоставили обывателям и иностранцам осматривать нагие изуродованные тела государя и Александры Федоровны, выставленные на площадь, как туши на прилавке мясника или жертвы палача на эшафоте. Пришел на площадь и я — отчасти по греховному писательскому любопытству, отчасти потому, как не знал, что делать в охватившем весь Петербург возбуждении и испуге.

Толпа в основном равнодушно смотрела на августейших мертвецов. Кто-то, впрочем, плакал, кто-то, напротив, похохатывал…

— Энто им кара за батьковбывство, — важно говорил какой-то малоросс в свитке и смушковой шапке. — Всему роду их! Отчего у Мыколы с Олеськой-то дитэй не было? И у Ляксандра? Все кара Господняя!

Стоявший рядом с ним хлопчик сплюнул.

— Балакали, что царица — красава ненаглядная, а посмотришь — як опенок засушенный, тонка да тоща, як курченок… Так вот это — та богиня? Точно як курченок потрошенный!

Я же, задетый словами земляков, вспомнил, что Александра Федоровна в юности была первой красавицей, но после событий злосчастного 1815-го, когда пушки Корсиканца били по столице и лишь унизительный мир спас город Петра, у императрицы открылся нервный тик, который проявлялся в том, что при малейшем волнении ее голова начинала трястись, а мышцы тела непроизвольно сокращались. От этого и проистекли ее многочисленные неудачные беременности.

В этот миг толпа невольно замолчала, многие посрывали шапки — со стороны Невского шла депутация духовенства во главе с митрополитом Петербургским Иоанникием.

Нарочито не глядя на тела, он протодиаконовским басом возгласил:

— Свершилось! Тысячи голосов утверждают, что сегодня около полуночи на востоке было видно небесное сияние, из которого показалась рука, благословляющая столицу… Эта рука предсказала перемену в судьбе многострадального русского народа! Свершилась воля Божия! Россия вступила на путь новой государственной жизни. Да благословит Господь наше Отечество счастьем и славой на ея новом пути!

После слов святого отца стоявшие тут же офице-

ры выругались, и их брань вслед за поминанием сил вышних звучала кощунственно.

Кроме монаршей четы были убиты родственники династии — Ольденбурги, конногвардеец Орлов и петербургский наместник. Менее знатных никто не считал… А об участи женщин, столкнувшихся с разнузданными страстями, перед которыми была равна и знатная фрейлина, и трактирная служанка, я не буду говорить, дабы не оскорбить стыдливость публики…

Несколько дней продолжались самочинные празднества и народные гуляния, бунтовщики пьянствовали во дворце, стреляя из пистолетов и ружей в царские портреты. Монаршие тела еще несколько дней валялись на площади, позднее же были захоронены на Волковом кладбище, а заупокойные богослужения по ним были запрещены. Но я этого не видел.

Поняв, что чего-то доброго вряд ли стоит ждать, я собрал скромный свой багаж, пошел на извозчичью биржу и за три рубля серебром нашел место на санях ехавшего в Царское Село ямщика, думая остановиться у своего старого знакомого и друга моих родителей Вакуловского, помощника дворцового смотрителя.

Предчувствия меня не обманули. Вечером того

же дня царскосельские обыватели со страхом увидели разгорающееся зарево в той стороне, где располагалась столица империи, а посланные комендантом Царского Села генералом Стесселем конные дозоры встретили усиливающийся с каждым часом поток беженцев всех сословий. Те рассказывали ужасные вещи: что полковник Пестель убит в ссоре полковником Драгутиновым, обвинившим его в узурпации, а властью себя провозгласила какая-то Дума во главе с поэтом Рылеевым и Бестужевым, но по сути власти в городе нет. Что чернь всецело предалась возмущению, громит винные погреба, лавки и дома. Что вспыхнувшие пожары некому тушить… Из уст в уста передавали старое пророчество царицы Евдокии Лопухиной: «Месту сему быть пусту!»

Среди беглецов оказался и великий Пушкин. Мне довелось перемолвиться тогда у Жуковского с ним парой слов.

— Еду в Михайловское, — бросил он. — Там, конечно, мои друзья, да только во главе не они, а люди, кому чужая головушка — полушка, да и своя шейка — копейка… Уж как-нибудь в имении пересижу!

Так начинались те события, ставшие первыми искрами великого пламени, и не одну Россию

оно охватит… Никто из нас тогда не понимал, что дело уже шло не о свержении сидящего на троне для замены его другим — Константином или Михаилом, как думали многие заговорщики. Но весь социальный порядок от Москвы до Лиссабона будет поколеблен в своих основах, и вся Европа окажется занесена его обломками.

Н. В. Яновский[18], «Окаянные дни и ночи». «Очерки Второй Русской Смуты», т. 2, 1878 год. Издание Русского исторического общества имени Е. И. В. Михаила Спасителя.

*** * ***

…Мы побежали, а он звонким голосом кричит: «Бабы, что вы топчетесь на одном месте?! Подымайте ноги!» — и, провожая нас галопом, начал угощать до того времени еще не вводившимися любезностями и ругательствами. Наконец велел трубить отбой, мы остановились; он подъехал к нашим колоннам бледный, сам измученный зубною болью и неврастенией и, как выражались тогда, пошел писать и выговаривать: скверно! мерзко! гадко! и то дурно, и то не хорошо, и то-

[18] Примечания: 18

В данном случае Н. В. Гоголь-Яновский выбрал для псевдонима не первую, а вторую свою фамилию.

го не знаете, и того не умеете. Наконец, когда досада переполнилась, он прибавил: «Все, что в финляндском мундире, все свиньи! Слышите ли, все свиньи! Да, — завопил царь сорванным фальцетом, — финляндцы — свиньи! Свиньи! Свиньи!»… Тот миг до сих пор стоит у меня перед глазами, и его я не забуду до смертного одра. Но тогда я вспомнил другое: проигранную войну с Буонапартием, Синявинские высоты, последнюю батарею, что снималась и уходила в тыл… и нас — остатки Финляндского полка, — прикрывавших отход войск Барклая, точнее, их бегство…

Еще помню, как мы, последние, стояли по колено в грязи, без щепотки пороха и с обломанными штыками, а против нас разворачивали пушки «старые ворчуны» Наполеона. Подскакавший парламентер по-французски прокричал:

— Сдавайтесь, храбрецы! Император будет рад видеть вас у себя в гостях…

— Русские не сдаются! — на французском же бросил поручик Розен…

Следующие пять минут мы готовились к смерти, обнимались, кто-то молился, а штабс-капитан Толстой торопливо раздавал бутылки клико из походного погребца. Потом вновь подъехал парламентер, махнув рукой в сторону Петербурга,

произнес уже на русском:

— Тогда вот вам путь, северные львы!

И вот наш славный полк, чье знамя целовал Александр Павлович и называл спасителями армии и чести русской, был так оскорблен!

Я не мог простить этого и лишь надеюсь, что Бог простит меня за то, что я сделал…

П. С. Мишин, «Мемуары ссыльного».

«Очерки Второй Русской Смуты», т. 3, 1878 год. Издание Русского исторического общества имени Е. И. В. Михаила Спасителя.

* * *

— Нет! — ответствовал Ваня Васильчиков.

— Гадок ты, точно сто крокодильчиков!

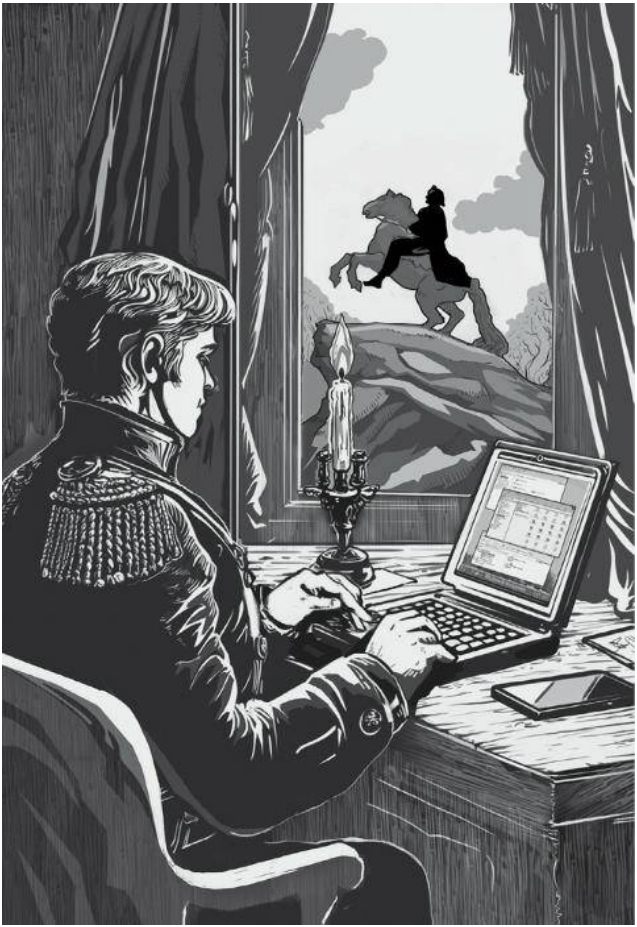
Оттого тебя, царскую гадину,

Я сейчас порублю, как говядину…

С. Корнейчук, «Сказ том, как царя Николу свергали».

Издательство Детская литература, 1930 г. (10-й год 2-й Российской Республики).

Декабристские страницы



Александр Бестужев (Марлинский)
Объявление

От общества приспособления точных наук к словесности

Общество приспособления точных наук к словесности, имея постоянною целью усовершенствование книгоделия в России, по всем отраслям сего ремесла, в художественном и механическом отношениях, предлагает всем и каждому на решение следующие задачи:

1-я задача. Так как признано и доказано, что вся туманная поэзия нынешняя есть не что иное, как пары наводнения, затопившего удолия русского Парнаса незадолго пред сим, то математическими выкладками определить время, в которое испарение сие должно окончиться при обыкновенной температуре внимания публики.

При оном не оставить исследовать:

a) Почему туманность сия, столь ложно выдаваемая за романтизм, лишена способности преломлять луч воображения цветами радуги?

b) Почему, охлаждаясь в чернильные капли, она становится даже безвкуснее пресной воды,

из коей произошла возгонкой?

с) Почему, вопреки законам акустики, пары сии передают звон необыкновенно громко?

2-я задача. В веке нашем, который по чести можно назвать *паровым,* пары всех родов играют важнейшую роль. Водяные, например, пущены в извоз, в поденщину, всюду. Они варят нам картофель, моют наше белье, бросают бомбы и кидают железными пальцами ткацкий челнок; они катают нас по морю и по суше, печатают газеты, шьют сапоги, и, вероятно, если б не вооружились английские работники из ревности, то мы бы скоро увидели паровых жен и мужей. Винные пары, в свою очередь, по новейшим открытиям есть великий двигатель в словесном, гражданском и политическом мирах. Какая сатира, какая поэма или книга, шалость или ссора, государственная перемена или тайный заговор производятся ныне без вина? В России особенно ни один талант, не говоря уже о гениях, не может существовать без этого сгораемого. Впоследствии сего общество, ограничиваясь одною словесностью, желает знать для хозяйственных соображений: сколько и какого рода вина, водки или полугара потребно для произведения, например, поэмы, стихотворной повести или известного вида прозаического

сочинения? Притом подробно исследовать:

a) Какого рода напитки наиболее свойственны романтизму и какие — классицизму; равно, какое имеют влияние напитки разных стран на местный колорит, то есть не нужно ли шампанского для записок о Франции, портера — для выражений английского юмора, аликанте — для испанской ревности и родимого меду и ржаного молока, чтобы одушевить себя в русских повестях? Равномерно сделать археологическое изыскание: какое вино ближе всех подходит к тому, которое пили Гомеровы герои, чтобы в выделке трагедий не потчевать зрителей французским сидром, как доселе у нас водилось. Для Средних веков составить приблизительный готический напиток, а для нынешнего века — какой-нибудь крепкий травник-космополит.

b) Определить степень силы вина, превращенного в пары, приняв в рассуждение крепость мозга и темперамент сочинителя: натощак и после еды. Очевидно, что подобные логарифмы принесут немалую пользу людям, занимающимся словесностью, когда они вперед будут замерены, что от известного количества и качества подливки неминуемо будет произведено столько-то и такой-то доброты стихов или прозы,

по желанию.

3-я задача. Изобрести орудие, вроде астролябии, для измерения плоскостей русской словесности и неизмеримых ее пустырей, пустопорожних мест и тому подобного. Для опыта съемки до́лжно подвести под тригонометрическую сетку по крайней мере один новый роман или в замену его — дюжину альманахов. Машина сия предназначается для г-д близоруких, пишущих обозрения отечественной словесности.

4-я задача. Найти химического противодействователя (reactif) для мгновенной осадки немногих капель мыслей, здравого смысла или остроты (буде оная случится) из любой модной поэмы, чтобы критик мог с точностью сказать, находится или нет достойное чтения в этой влаге, пресыщенной пустословием. Этот же процесс будет служить доказательством делимости русского ума, так что один удачный стих, счастливый оборот или свежее слово окрашивают занимательностью сотни страниц.

5-я задача. Определить удельный вес оригинальных, подражательных, поддельных и просто выкраденных мыслей, описаний и проч., так, чтобы читатель, погрузив данное сочинение в известную жидкость, как Архимед корону

Дионисия[19], мог с одного взгляда узнать, к которому разряду принадлежит оно в целости или по частям. Само собой разумеется, что сюда не принадлежат вещи, которые по чрезмерной тонкости своей неосязаемы чувствами или так тяжелы, что неподъемны человеческой силой, как, например, русские рассуждения о романтизме[20], и проч., и проч.

6-я задача. Назначить по тщательном испытании, во сколько времени звон падающих монет может заставить охрипнуть совесть критика, журналиста, историка и тому подобных. Скоро ли он заставит ее молчать вовсе и наконец начнет говорить похвалы вместо правды? Заметить, на какое сложение более действует звук серебра, золота или платины и не имеют ли перстни, часы, шали и прочие дорогие вещи магнетического свойства, привлекающего к себе самое железное бескорыстие. К сему прибавить статью: о вли-

---

[19] Примечания: 19

Архимед открыл свой знаменитый закон, пытаясь выяснить чистоту золота, из которого была сделана корона сиракузского царя Гиерона, а отнюдь не Дионисия. Похоже, это то ли потайная «проверка на грамотность» читателей, то ли… ошибка самого Бестужева. *(Здесь и далее — прим. ред.)*

[20] Примечания: 20

Бестужев сам был видным представителем романтизма и активным участником полемики вокруг этого направления, которая развернулась в 1820-х годах. Именно потому он говорит о ней с иронией.

янии устриц и шампанского на русскую сцену, о необходимости званых столов для поддержания мира между тучными головами и пустыми желудками и, наконец, о промене взаимного хваления с придачею, или ухо-на-ухо. Все это предназначается в пользу литераторов-богачей, сочинителей водевилей сам-пят и т. п.

7-я задача. Назначить, к какому роду пресмыкающихся принадлежит чудное для нашего времени явление, вероятно выползшее из развалин XVIII века: похвальные творения г-д Н. Н. и Х. Х. Равномерно, к какому разряду насекомых причислить до́лжно шести– и осьминогие стихи поэтов, коих список приложен на обороте, и разыскать, из чего составлены окаменелости, образовавшиеся в мозгу г-на Г. Г. Все это послужит к немалой выгоде занимающихся натуральною историей словесности; особенно последняя статья необходима для подбирателей классических мозаик и писателей, известных своим *каменистым слогом* (т. е. stile lapidaire).

Общество назначает наградой лучшего рассуждения или изобретения большую золотую медаль. Г-да состязающиеся соблаговолят присылать свои решения и модели в течение сего 1831 года, адресуя в общество приспособления точных наук

к словесности, в дом механика Шестерницына, что у Николы на-курьих-ножках.

В лавке, находящейся в том же доме, продаются разные машинки, новоизобретенные господами, членами упомянутого общества на пользу всех занимающихся практическою словесностию. А именно:

1. Водочильно-плющильный винт для вытягивания в проволоку бити и канители[21] эпитетов, необходимых при переводах с греческого языка. С немецкого тоже.

2. Стихотворный калейдоскоп для составления разных размеров. Он же может служить и для ситцевых образчиков.

3. Жестяная печка, вроде египетской, для высиживания мыслей, как цыплят.

4. Настольная мельница, подобная кофейной, для обращения в прах недружных сочинений.

5. Ноженки для обстригания ногтей журналистам.

6. Карманное перо-самопис, заряжаемое по произволу экспромтами, так что их можно написать двенадцать, не обмакивая в чернильницу. Вещь

---

[21] Примечания: 21

Суть в том, что бить и канитель, служившие для украшения, изготавливались из проволоки не обычной, а золотой или серебряной. Так что речь идет об украшательских тенденциях переводов.

необходимая для поэтов и остроумцев модного света, заваленных альбомами при каждом появлении их в гостиных.

7. Лампа для ученых, которая вовсе не пахнет постным маслом педантизма, как это обыкновенно случается. Г-да, желающие писать о важных предметах *для дам*, могут подливать в нее розового масла, отчего статьи, оным внушенные, будут так милы, что их можно литографировать на платьях и опахалах вместо узоров.

8. Театральный свисток, подкладываемый под мышку, так что он приводится в действие аплодисментами, — выдумка, бесценная для людей, желающих сохранить дружбу с обеими партиями.

9. Карманный будильник для персон, усыпляемых чтением сочинений знатных особ, начальников и вообще людей, нам нужных, — чрезвычайно учтивое изобретение. Но в особенности рекомендуется всем покупателям.

10. Усовершенствованная паровая машинка (выдуманная знаменитым немецким механиком Достеревивелем) для приготовления общих мест к новым историческим романам, поэмам и театральным пьесам. Приспособленная к русским нравам, она надевается на самовар и приводится

в ход его парами, так что г-да словесники за чашкою чая, набросав на бумагу что кому придет в голову и потом изрезав оную в лапшу, через пять минут могут иметь удовольствие видеть готовую главу со всем прибором, даже с пришитым вверху эпиграфом или целое действие комедии, драмы, водевиля с достаточным количеством куплетов. При сем прилагается наставление о разделении работ по системе Адама Смита[22]. Впрочем, известно, что собственные идеи и вымыслы в России чрезвычайно редки, а потому и предлагаются господам любителям подобранные сцены, пышные слова, нигде еще не напечатанные рифмы и такие старые остроумные изречения, что они легко могут идти за новые. Особенно для сочинителей исторических русских романов сотнями продаются русские поговорки, пословицы и даже брани, кои, будучи расположены в шахматном порядке, образуют презанимательные разговоры; описание одежд, оружия, посуды, кушаньев скоромных и постных; также отрывки из древних летописей о поездах, обедах, свадьбах и прочем

[22] Примечания: 22

Адам Смит (1723–1790) — знаменитый шотландский экономист, один из отцов экономики как науки. В 1820-х годах было модно если не изучать его труды, то хотя бы уметь приводить из них цитаты (знакомством с работами Адама Смита любил щегольнуть и Евгений Онегин).

для придания ученой краски сочинению, а между тем и для наполнения страниц и, наконец, описания местностей, извлеченных по недостатку топографических карт из русской природы вообще. Они имеют неоценимую выгоду в том, что приходятся ко всякому краю и всякому урочищу нашего отечества посредством пробелов, оставленных для вставки имени уезда или горы, реки, болота и прочего. Многие уже употребляли это средство с большим успехом, и так как Россия известна русским гораздо менее, чем внутренность Африки, то, конечно, никто не подумает вступаться за романтическую переноску границ и местностей. В случае же критики общество берет на себя неутомимую антикритику, ответы, возражения и так далее.

Примечание. При сей машинке для романов, кроме обыкновенного валика на манер Вальтер Скотта, продаются для охотников и другие:

на манер д'Арленкура[23], Пиго-Лебрена[24], Павла-Кока[25], Ирвинга[26], фан-дер-Фельде[27], Цшокке[28] и других модных писателей. Русские валики самородного образца, заказанные в Вене и Лондоне, еще не готовы, но как скоро получатся, немедленно будет повещено. Для освежения мозга г-д любителей, сочиняющих собственным иждивением, равно как и для внушения остроумия и веселости на литературных вечеринках, находится в продаже набор из разных невинных трав, или так называемый *парнасский чай.* Смотря по цене и назначению, он разделяется на многие виды, из коих известнейшие суть:

a) *Цветочный,* для издателей альманахов.

b) *Сквозник,* для остроумцев, эпиграмматистов, критиков и т. п.

---

[23] Примечания: 23

Виктор д'Арленкур (1789–1856) — французский поэт, известный как принц романтиков: во времена Бестужева считался непререкаемым авторитетом… но был автором скорее модным, чем действительно выдающимся.

[24] Примечания: 24

Пиго-Лебрен — псевдоним Антуана Пиго де л'Эпинуа (1753–1835), чрезвычайно плодовитого французского романиста и драматурга. Один из немногих авторов, основные труды которого образованные современники Бестужева могли читать не только по-французски, но и во многочисленных переводах на русский.

[25] Примечания: 25

Поль де Кок (1794–1871) — очень плодовитый и популярный французский автор, чье творчество во времена Бестужева (и еще добрых

два поколения спустя) считалось синонимом фривольности, хотя современным читателям трудно увидеть в нем сколько-нибудь запретные мотивы.

[26] Примечания: 26

Вашингтон Ирвинг (1783–1859) — американский писатель-романтик, считающийся отцом американской литературы. Самый известный его рассказ «Рип ван Винкль» впервые перевел на русский старший брат Александра Бестужева Николай. Сам же Александр писал о себе, что одно время подражал прозе Ирвинга если и не по сути, то «в форме».

[27] Примечания: 27

Карл Франц ван дер Вельде (1779–1824) — немецкий писатель, чью фамилию современники Бестужева обычно произносили на голландский манер, а с творчеством были знакомы по французским переводам. Автор многих романов, преимущественно исторических, и еще большего количества малой прозы разных жанров, включая и фантастику, главным образом ироническую.

[28] Примечания: 28

На самом деле Генрих Чокке (1771–1848) — немецкий, позже швейцарский писатель-просветитель и общественный деятель. Бестужев его читал еще во французских переводах, но вскоре Чокке стали переводить и на русский. Очень разносторонний автор, разрабатывал множество литературных направлений, в том числе и фантастику. Его иронический набросок «Похвала носу», как считается, повлиял на замысел гоголевского «Носа» и совершенно точно повлиял на Бестужева, в несколько завуалированном виде появившись на страницах его последней крупной вещи, романа «Мулла-Нур» (1836).

c) *Фамильный,* для домашнего обихода с дамами и приятелями.

d) *Жемчужный,* для внушения лестных посвящений, похвальных критик, некрологов, стихов ладонных и т. п.

e) *Торговый,* для всех г-д, употребляющих свои сочинения в виде товара. Его обыкновенно мешают пополам с жемчужным. Общество ручается за благотворное действие оного чая не только на голову, но даже на грудь и голос особ, которые удостоят его своим употреблением. Смело и справедливо можно сказать, что эликсир жизни, прудниковский пластырь и несравненная вакса — ничто в сравнении с ним.

Кроме того, в сей лавке общества находятся готовые эпиграфы в стихах и прозе на всех возможных языках, замысловатые конфектные билетцы, вырезанные из любимых наших писателей, и принимаются на заказ различные сюжеты для безымянных сочинений. Общество, желая поощрить юные таланты, дает им на отработку подобные вещи гуртом или по листам. Тут же можно сбывать с рук залежавшиеся творения, ибо, искрошенные по периодам, они в смеси с другими могут составить сносное целое, подобно тряпью, из которого выделывается бумага.

Секретарь общества А. М-ий

Примечание:

Александр Бестужев (1897–1837) был из семьи, оставившей в истории очень заметный след: все пятеро братьев Бестужевых отметились и в литературе, и в декабристском движении, и в изобретательстве. Но Александр среди них, безусловно, являлся самой масштабной фигурой.

Вторая фамилия, Марлинский, представляет собой, собственно, литературный псевдоним, взятый в честь места службы его Лейб-гвардии Драгунского полка, который в 1818–1819 годы был расквартирован в Петергофе, вблизи дворца Марли. Первоначально Бестужев пользовался им не очень регулярно (предлагаемый вниманию читателей рассказ, опубликованный за считанные месяцы до выхода на Сенатскую площадь, подписан как бы зародышем этого псевдонима — «М-ий»), но потом, в сибирской и кавказской ссылке, это станет настоятельной необходимостью. Публиковаться государственный преступник мог только под псевдонимом…

Его сибирский путь оказался менее тяжек и длителен, чем у большинства декабристов: сперва не каторга, а только ссылка (где он успевает создать несколько этнографических очерков о

Якутии), потом, всего через четыре года, перевод в «жаркую Сибирь», то есть в действующую армию на Кавказ — рядовым, но с правом выслуги… которое, правда, отчетливо притормаживалось. В промежутках между боями (где он не раз демонстрировал высочайшее мужество) Бестужев активно пишет. На эту пору, как ни парадоксально, приходится пик его творчества, понемногу перерастающего байронический колорит: в зрелой бестужевской прозе появляются те мотивы, без которых невозможен «Герой нашего времени». Впрочем, пока что нет не только лермонтовского «Героя…», но даже наиболее знаковых повестей Пушкина и Гоголя, так что на какое-то время Марлинский становится ведущим российским прозаиком.

Тогда же он ощущает, что это, видимо, и есть его основная стезя, после чего военная служба начинает Бестужева по-настоящему тяготить. С большой задержкой, несмотря на чудеса храбрости, он получает сперва Георгиевский крест, потом офицерский тогда чин прапорщика. Но в переходе на статскую службу, что позволило бы гораздо свободней заняться литературой, ему отказывают: по тем же причинам, по которым тормозили повторное производство в офицеры.

Возможно, эту «стеклянную стену» удастся проломить новыми чудесами храбрости — и Бестужев раз за разом снова рискует, вызывается на самые опасные дела…

Одно из них, на территории нынешних городских кварталов Адлера (тогда — непролазный лес, скрывающий горские аулы), стало последним. Бестужев взялся передать роте, завязшей в безнадежной схватке, приказ об отступлении — и передал его, в результате чего потери оказались гораздо меньше, чем могли бы. Но на обратном пути, вместе с отступающими, получил тяжелую, возможно, смертельную рану. Двое солдат бросились к нему, чтобы вывести или вынести из боя, однако Бестужев взглядом указал им на стремительно набегающих горцев и отдал приказ присоединиться к отступающей роте. А сам, шатаясь от раны, остался их прикрывать — с шашкой в одной руке и пистолетом в другой…

Мертвым его никто не видел. Впоследствии пошли легенды, будто горцы, оценив отвагу Бестужева, увели его с собой, а затем он якобы присоединился к ним и воевал против Николаевской армии. Эти легенды в какой-то степени поддерживались властями, потому что в их представлении соответствовали имиджу «неис-

правимого бунтовщика». Но ведь Бестужев рвался в бой, стремясь сменить военную судьбу на писательскую, а вовсе не затем, чтобы стать одним из мюридов Шамиля…

Фантастика в его творчестве встречается регулярно: главным образом готическая, в духе эпохи. Тем удивительней, что раннее «Объявление» представляет собой прямо-таки стимпанк — и это в 1825 году, когда такой фантастики практически не было ни в России, ни во всем мире!

Федор Глинка
Чудесная сопутница

Есть сторона, где на великом пустынном пространстве лежат обширные озера и, как полки исполинов, возвышаются скалы из тех пород горно-каменных, которые после великого испарения первобытных вод пришли в разрушение, в разломы. Камни величиною с огромнейшие палаты больших городов, отломясь от кряжей своих, лежат на берегах; у подножия их вечно шумят волны озер, над их главами воют пустынные ветры. Связующая их самородная клейкость испарилась в течение времени; они дали разнообразные трещины, в которых поросли дикие мхи. Яркая разноцветность сей растительности напоминает палитру художника или пестрые ковры — роскошь Востока. Далее дожди весенние и росы летние увлажнили крутые ребра скал, к коим прильнула возметаемая ветрами пыль. Бури, похищающие семена там, где они более созрели, и далеко их влекущие, засеяли скалы сии семенами растений, кустарников и дерев. При соединении благоприятных обстоятельств растительная сила

проснулась, и сии каменные громады оделись разновидною зеленью и частым ельником, которого благотворное испарение облегчает дыхание больной груди и окуривает окрестности кадильным запахом. Часто деревья растут, так сказать, на прилепе и под углом столь наклоненным, что, кажется, целый лес хочет упасть на путника, проходящего по узкой стежке между озером и стеною скалы. По местам видны следы бывших подземных пожаров и какого-то еще великого переворота, преобразившего древний Север, о котором молчит история, и только в небольших кругах доверчивым слушателям рассказывает великие чудеса темное предание или народное баснословие. В сей-то стороне, когда осень, со свистящею музыкою порывчатых ветров, со всею шумностию своих бурь приходила обирать лист с лесов и воздымать белоглавые волны на озерах, в сей стране любил я прогулки уединенные. Не раз я хотел разделить с кем-нибудь таинственное удовольствие сих прогулок, но подел мой не мог быть никем принят. Светские приятели имели свои обязанности: утренние посещения, званые обеды, гулянье в таких местах, где можно видеть людей и быть ими видимым — вот что наполняло их день, а вечером все увлекающий

вальс или мазурка похищали их у целого света и часто у самих себя. Я зазывал людей деловых, но — бедные денно-ночные труженики! — не имели ни одной минуты в своем распоряжении. Корпя над кипами бумаг, отупев от утомительного единообразия, они не успевали замечать, как дни за днями мимо них пробегали. Переселенные в какой-то бумажный мир, трудясь над делами в полном смысле текущими, они похожи на Данаид, усиливающихся наполнить сквозные ведра. Но занятие их, при всей многосложности, при всей запутанности образа производства оного, почтенно, если оно клонится к утолению страстей и стремится водворить в обществах гражданских нравственное равновесие, которое, именуясь на языке человеков правосудием, составляет здравие народное: ибо недостаток оного зарождает болезни общественные, воспалительные, обнаруживающиеся внезапно, или другие, производящие гниение медленное.

И так всякий имел свои причины отговориться от моих прогулок, и я гулял один. Но каждый раз, чем далее шел, тем явнее, тем ощутимее становилось мне, что я ходил не один, что нас было двое!.. Всматриваясь долго и прилежно, я наконец привык видеть невидимость моей подруги,

привык отличать ее образ — ничем не образованный; ее черты соединены между собою чем-то невидимым, как звуки какой-нибудь музыкальной песни; душа понимает их соединение, но глаз наружного человека не видит оного. Я видел ее прозрачное тело, отличал походку, неслышную уху; понимал ее слова, как разговоры следующего в сновидении. Она, моя легкая, красивая, живая, волшебная сопутница, ходила подле меня с каким-то жезлом и творила чудеса изумительные. Она строила замки, передвигала времена, развертывала огромные свитки минувшего.

Вдруг по ее мановению я видел прямо пред собой великую картину первобытного мира. Воды мало-помалу сбывали, из всеобщего мутного раствора происходил постоянный осадок. Разные породы обнажались. Солнце, так сказать, вонзало лучи свои в мягкий ил, и сила производительная кипела на всем пространстве, освобожденном от влажного плена. Тут совершался великий химический процесс[29]: жидкие растворы переходили в твердые тела; от сего получил свободу теплород; воздух как бы отапливался, и на севере

[29] Примечания: 29

Гумбольт полагает, что прехождение горных масс из жидкого в твердое состояние само собою могло произвести временный *теплый климат* и на севере. *(Прим. авт.)*

дышала теплота, от которой возрастали пальмовые леса, и слоны и мамонты — живые громады — разгуливали по холмам, едва ли еще посещенным человеком. Я видел и другое счастие юной земли, когда ось ее стояла отвесно к плоскости ее пути[30]. Тогда вечная весна царствовала на долинах, уже оглашенных песнями счастливых обитателей. Но в то время не знали еще ни раздела, ни спора, не ковали оружия, не проливали крови. Моя сопутница, незримая, быстрая и творческая, как мысль, рисовала или, лучше сказать, выдвигала из-за завесы прошедшего и другие, более знакомые картины. Но она представляла мне их — сии живые картины — с теми драгоценными подробностями, которых история не запомнила, потомство не уберегло. Так представляла она веки патриархальные, когда простота и незлобие обитали между человеками.

Впоследствии люди стали коварны, забыли простоту сердца, начали жить головою: пренебрегли раздолие полей, устроили города, простор сменен на тесноту; возникли новые условия, новые

[30] Примечания: 30

По сказанию древних (Геродота, Диодора), в Египте существовало предание, что некогда на шаре земном царствовала беспрестанно весна и ось земная стояла перпендикулярно к площади земного пути. *(Прим. авт.)*

порядки; лицо земли преобразилось; люди сделались умнее, но сделались ли они счастливее?.. Я любил всматриваться в картины рыцарских времен, в домашний быт Европы Средних веков… Так забавляла меня моя сопутница. Она делала несодеянное! То вдруг одним мановением прорубала дремучие леса, то сглаживала свинцовые бугры какого-нибудь озера в одну синюю, яхонтовую поверхность. Чего не делала она из шума ручьев? То выводила шум битв и великих сражений, то шум созидающихся городов, шум скрипящего снастями флота, готового ринуться в беспредельные моря.

Так часто даже в глубокую осень, когда ручьи и реки воздымали пухлые хребты, озера кипели под бурею, с лесов, обожженных летними пожарами, летел пестрою тучею лист и луна, как круглое дно светлого серебряного сосуда, кружилась в сгущенном дыму облаков, я любил услаждаться сопровождением моей сопутницы… Но люди, всегда улыбающиеся над наслаждениями неосязаемыми, лукаво говорили: «Он все гуляет сам-друг — с своею мечтательностью!»

Примечание:

Федор Глинка (1786–1880) как персонаж декабристского круга присутствует в одном из

рассказов этого сборника. Сам он к литературе, в том числе фантастической, очень даже причастен. Будучи поэтом и прозаиком все-таки второго ряда (что совсем не так уж мало, если вспомнить, с кем из современников ему довелось соперничать на этой ниве!), наиболее глубокий след он оставил в… городском романсе: его положенные на музыку стихотворения «Вот мчится тройка удалая…» и «Не слышно шуму городского…» поются по сей день.

Роль Глинки в декабристском движении весьма своеобразна и до конца не исследована. Похоже, в не сумевшем реализоваться варианте она была бы огромна. Пройдя наполеоновские войны (и Отечественную 1812 года, и заграничные походы) в качестве адъютанта при знаменитом генерале Милорадовиче — а это была вовсе не декоративная должность, она предполагала реальное участие в опаснейших кампаниях! — он оставался человеком Милорадовича и в 1825 году. Что, как становится ясно только сейчас, означало проведение в жизнь тех деталей «большого плана» Милорадовича, которые были связаны с готовящимся восстанием… и, определяя его базовую логику, оставались скрытыми от большинства непосредственных участников. Этот

«большой план» революцией назвать довольно трудно, скорее уж он напоминал что-то среднее между военным переворотом и олигархическим заговором (Милорадович, разумеется, был не один), осуществляемым на революционном фоне. И вот он-то действительно имел большие, даже преимущественные шансы на победу. Но когда в силу ряда нестыковок (одной из которых стала категорически не запланированная гибель самого Милорадовича) «большой план» сорвался, то видимая часть декабристского восстания, лишившись внутреннего стержня, превратилась в обреченную на провал импровизацию.

На следствии Глинка всеми силами старался скрыть самый факт существования этого «большого плана», без которого все его контакты с декабристской верхушкой выглядели совершенно малозначимыми. Любопытно, что следствие, явно по высочайшему указанию, с готовностью пошло ему навстречу: гораздо проще было признать восстание завершившимся и разгромленным, чем раскапывать «заговор в заговоре», тем самым побуждая оставшиеся в тени крупные фигуры к отчаянным ответным действиям.

Так что после Петропавловской крепости Глин-

ка отправился в довольно ближнюю ссылку, в Карелию, где сразу был определен на службу в губернское правление чиновником не самой мелкой руки. При этом работой он, похоже, мог не слишком себя утруждать, раз уж имел время для длительных прогулок на природе и с сочувствием относился к вечной занятости «деловых людей» (рассказ, предлагаемый вниманию читателей, был написан именно в карельской ссылке в 1827 г. и тогда же опубликован в альманахе «Северные цветы», издаваемом Дельвигом). Затем бывшего декабриста постепенно повышали по службе, переводя во все менее и менее отдаленные от цивилизации губернские города, пока в 1835 г. ему не была предоставлена возможность отставки и фактическая свобода. Он прожил еще долго, даже очень долго, ни разу не дав властям повод усомниться в его полной лояльности…

Фантастике Глинка отдал дань главным образом в ссылке. Сюжет большинства его рассказов (и полуфантастических поэм) опирается на мистико-романтический «фантдоп» или облачен в форму восточных легенд: интерес к мистической литературе у него обозначился как раз в те годы. Однако именно «Чудесная сопутница» к этому не сводится, представляя собой пусть своеобразную,

но все-таки научную фантастику — с некими дырами времени, сквозь которые можно увидеть прошлое Карелии... во всяком случае, как оно тогда представлялось. «Пальмовые леса» автор увидел потому, что наука того времени считала, будто мамонты способны жить лишь в том же климате, как современные слоны.

Кстати, мамонта Федор Глинка, похоже, и вправду видел — пускай не сквозь дыру времени и не живого. На страницах поэмы «Дева карельских лесов» в какой-то момент появляется страшная фигура слона-зомби — ходячий остов, покрытый лохмотьями плоти. Скорее всего, это воспоминания о мамонте, чей частично сохранившийся труп вытаял из линзы вечной мерзлоты и попался на глаза тому, кто бродил по карельским лесам «сам-друг со своею чудесною сопутницей...»

Александр Улыбышев
Сон

Из всех видов суеверия мне кажется наиболее простительным то, которое берется толковать сны. В них действительно есть что-то мистическое, что заставляет нас признать в их фантастических видениях предостережение неба или прообразы нашего будущего. Лишь только тщеславный предастся сну, долго бежавшему его очей, как он уже увидит себя украшенным орденом, который и был причиной его бессонницы, и убеждает себя, проснувшись, что праздник Пасхи или Новый год принесут с собой исполнение его сна. Несчастный любовник наслаждается во сне предметом своих долгих вожделений, и почти угасшая надежда вновь оживает в его сердце. Блаженная способность питаться иллюзиями! Ты — противовес реальных несчастий, которыми постоянно окружена наша жизнь; но твои очарования вскармливают не одни только эгоистические страсти. Патриот, друг разума и в особенности филантроп имеют также свои мечтания, которые иногда воплощаются в снах и

доставляют им минуты воображаемого счастья, в тысячу раз превосходящего все то, что может им предоставить печальная действительность. Таков был мой сон в прошлую ночь; он настолько согласуется с желаниями и мечтами моих сотоварищей по «Зеленой лампе», что я не могу не поделиться с ними.

Мне казалось, что я среди петербургских улиц, но все до того изменилось, что мне было трудно узнать их. На каждом шагу новые общественные здания привлекали мои взоры, а старые, казалось, были использованы в целях, до странности непохожих на их первоначальное назначение. На фасаде Михайловского замка я прочел большими золотыми буквами: «Дворец Государственного Собрания». Общественные школы, академии, библиотеки всех видов занимали место бесчисленных казарм, которыми был переполнен город. Проходя перед Аничковым дворцом, я увидел сквозь большие стеклянные окна массу прекрасных памятников из мрамора и бронзы. Мне сообщили, что это русский Пантеон, т. е. собрание статуй и бюстов людей, прославившихся своими талантами или заслугами перед отечеством. Я тщетно искал изображений теперешнего владельца этого дворца.

Очутившись на Невском проспекте, я кинул взоры вдоль по прямой линии и вместо монастыря, которым он заканчивается, я увидал триумфальную арку, как бы воздвигнутую на развалинах фанатизма. Внезапно мой слух был поражен рядом звуков, гармония и неизвестная сила которых казались соединением органа, гармоники и духового инструмента — серпента. Вскоре я увидел бесчисленное множество народа, стекающегося к месту, откуда эти звуки исходили; я присоединился к толпе и оказался через некоторое время перед ротондой, размеры и великолепие которой превосходили не только все наши современные здания, но и огромные памятники римского величия, от которых мы видим одни лишь осколки. Бронзовые двери необычной величины открывались, чтобы принять толпу; я вошел с другими.

Благородная простота внутри соответствовала великолепию снаружи. Внутренность купола, поддержанного тройным рядом колонн, представляла небосвод с его созвездиями. В середине залы возвышался белый мраморный алтарь, на котором горел неугасимый огонь. Глубокое молчание, царившее в собрании, сосредоточенность на всех лицах заставили меня предположить, что

я нахожусь в храме, но, какой религии, я не смог отгадать. Ни единой статуи или изображения, ни священников, одежда или движение которых могли бы рассеять мои сомнения или направить догадки. После минутного предварительного молчания несколько превосходных по правильности и звучности голосов начали петь гимн созданию. Исполнение мне показалось впервые достойным гения Гайдна, и я думал, что действительно внимаю хору ангелов. Следовательно, там должны быть женские голоса? Без сомнения. И это новшество, столь согласное с хорошим вкусом и разумом, доставило мне невыразимое удовольствие. «Так, — рассуждал я, — если насекомое своим жужжанием и птица своим щебетанием прославляют всевышнего, то какая смешная и варварская несправедливость запрещать самой интересной половине рода человеческого петь ему хвалы!» Чудесные звуки этой музыки, соединяясь с парами благовоний, горящих на алтаре, поднимались в огромную высь купола и, казалось, уносили с собой благочестивые мысли, порывы благодарности и любви, которые рвались к божеству из всех сердец.

Наконец песнопения прекратились. Старец, украшенный неизвестными мне знаками от-

личия, поднялся на ступень алтаря и произнес следующие слова: «Граждане, вознося дань благодарности подателю всех благ, мы исполнили священный долг; но этот долг будет пустой формой, если мы не прославим божество также и нашими делами. Только если мы будем жить согласно законам человечности и чувству сострадания к нашим несчастным братьям, которое сам бог запечатлел в наших душах, мы сможем надеяться ценой нескольких лет добродетели достигнуть вечного блаженства». Сказав это, старец препоручил милосердию присутствующих нескольких бедняков, разорение которых произошло от несчастных обстоятельств и было ими совершено незаслуженно. Всякий поторопился по возможности помочь, и через несколько минут я увидел сумму, которой было бы достаточно, чтобы десять семейств извлечь из нищеты.

Я был потрясен всем тем, что видел, и по необъяснимой, но частой во сне непоследовательности забыл вдруг свое имя, свою страну и почувствовал себя иностранцем, впервые прибывшим в Петербург. Приблизясь к старцу, я заговорил с ним, несмотря на его высокий сан, беспрепятственно. «Сударь, — сказал я ему, — извините любопытство иностранца, который, не зная, должно ли

верить глазам своим, осмеливается спросить у вас объяснения стольким чудесам. Разве ваши сограждане не принадлежат к “греко-кафолическому вероисповеданию”? Но величественное собрание, которого я только что был свидетелем, равно не похоже на обедню греческую и латинскую и даже не носит следов христианства».

«Откуда же вы явились? — ответил мне старец. — Или изучение истории до того поглотило вас, что прошедшее для вас воскресло, а настоящее исчезло из ваших глаз? Вот уже около трех веков, как среди нас установлена истинная религия, т. е. культ единого и всемогущего бога, основанный на догме бессмертия души, страдания и наград после смерти и очищенный от всяких связей с человеческим и суеверий. Мы не обращаем наших молитв ни к пшеничному хлебу, ни к омеле с дуба, ни к святому миру, но к тому, кого величайший поэт одной нации, давней нашей учительницы, определил одним стихом: “Вечность имя ему и его созданье — мир”. Среди простого народа еще существуют старухи и ханжи, которые жалеют о прежних обрядах. Ничего не может быть прекраснее, говорят они, как видеть архиерейскую службу и дюжину священников и дьяконов, обращенных в лакеев,

которые заняты его облачением, коленопреклоняются и поминутно целуют его руку, пока он сидит, а все верующие стоят. Скажите, разве это не было настоящим идолопоклонством, менее пышным, чем у греков, но более нелепым, потому что священнослужители отождествлялись с идолом? Ныне у нас нет священников и тем менее — монахов. Всякий верховный чиновник по очереди несет обязанности, которые я исполнял сегодня. Выйдя из храма, я займусь правосудием. Тот, кто стоит на страже порядка земного, не есть ли достойнейший представитель бога, источника порядка во вселенной? Ничего нет проще нашего культа. Вы не видите в нашем храме ни картин, ни статуй; мы не думаем, что материальное изображение божества оскорбительно, но оно просто смешно. Музыка — единственное искусство, которое с правом допускается в наших храмах. Она — естественный язык между человеком и божеством, так как она заставляет предчувствовать то, чего ни одно наречие не может выразить и даже воображение не умеет создать. Мой долг призывает меня в другое место, — заметил старец, — если вы захотите сопровождать меня, я с удовольствием расскажу вам о переменах и реформах, происшедших в России за 300 лет, о

которых вы, по-видимому, мало осведомлены».

Я с благодарностью принял его предложение, и мы вышли из храма.

Проходя по городу, я был поражен костюмами жителей. Они соединяли европейское изящество с азиатским величием, и при внимательном рассмотрении я узнал русский кафтан с некоторыми изменениями.

— Мне кажется, — сказал я своему руководителю, — что Петр Великий велел высшему классу русского общества носить немецкое платье, — с каких пор вы его сняли?

— С тех пор, как мы стали нацией, — ответил он, — с тех пор, как, перестав быть рабами, мы более не носим ливреи господина. Петр Великий, несмотря на исключительные таланты, обладал скорее гением подражательным, чем творческим. Заставляя варварский народ принять костюм и нравы иностранцев, он в короткое время дал ему видимость цивилизации. Но эта скороспелая цивилизация была так же далека от истинной, как эфемерное тепличное растение от древнего дуба, взращенного воздухом, солнцем и долгими годами как оплот против грозы и памятник вечности. Петр слишком был влюблен в свою славу, чтобы быть всецело патриотом. Он при жизни хо-

тел насладиться развитием, которое могло быть только плодом столетий. Только время создает великих людей во всех отраслях, которые определяют характер нации и намечают путь, которому она должна следовать. Толчок, данный этим властителем, надолго задержал у нас истинные успехи цивилизации. Наши опыты в изящных искусствах, скопированные с произведений иностранцев, сохранили между ними и нами в течение двух веков ту разницу, которая отделяет человека от обезьяны. В особенности наши литературные труды несли уже печать упадка, еще не достигнув зрелости, и нашу литературу, как и наши учреждения, можно сравнить с плодом, зеленым с одной стороны и сгнившим с другой. К счастью, мы заметили наше заблуждение.

Великие события, разбив наши оковы, вознесли нас на первое место среди народов Европы и оживили также почти угасшую искру нашего народного гения. Стали вскрывать плодоносную и почти не тронутую жилу нашей древней народной словесности, и вскоре из нее вспыхнул поэтический огонь, который и теперь с таким блеском горит в наших эпопеях и трагедиях. Нравы, принимая черты все более и более характерные, отличающие свободные народы,

породили у нас хорошую комедию, комедию самобытную. Наша печать не занимается более повторением и увеличением бесполезного количества этих переводов французских пьес, устаревших даже у того народа, для которого они были сочинены. Итак, только удаляясь от иностранцев, по примеру писателей всех стран, создавших у себя национальную литературу, мы смогли поравняться с ними, и, став их победителями оружием, мы сделались их союзниками по гению.

— Извините, если я перебью вас, сударь, но я не вижу той массы военных, для которых, говорили мне, ваш город служит главным центром.

— Тем не менее, — ответил он, — мы имеем больше солдат, чем когда-либо было в России, потому что их число достигает пятьдесят миллионов человек.

— Как — армия в пятьдесят миллионов человек? Вы шутите, сударь!

— Ничего нет правильнее этого, ибо природа и нация — одно и то же. Каждый гражданин делается героем, когда надо защищать землю, которая питает законы, его защищающие, детей, которых он воспитывает в духе свободы и чести, и отечество, сыном которого он гордится быть.

Мы действительно не содержим больше этих бесчисленных толп бездельников и построенных в полки воров — этого бича не только для тех, против кого их посылают, но и для народа, который их кормит, ибо если они не уничтожают поколения оружием, то они губят их в корне, распространяя заразительные болезни. Они нам не нужны более. Леса, поддерживавшие деспотизм, рухнули вместе с ним. Любовь и доверие народа, а главное — законы, отнимающие у государя возможность злоупотреблять своею властью, образуют вокруг него более единодушную охрану, чем шестьдесят тысяч штыков. Скажите, впрочем, имелись ли постоянные войска у древних республик, наиболее прославившихся своими военными подвигами, как Спарта, Афины, Рим? Служба, необходимая для внутреннего спокойствия страны, исполняется по очереди всеми гражданами, могущими носить оружие, на всем протяжении империи. Вы понимаете, что это изменение в военной системе произвело огромную перемену и в финансах. Три четверти наших доходов, поглощавшихся прежде исключительно содержанием армии, которой это не мешало умирать с голоду, — употребляются теперь на увеличение общественного благосостояния, на

поощрение земледелия, торговли, промышленности и на поддержание бедных, число которых под отеческим управлением в России, благодаря небу, с каждым днем уменьшается.

В это время мы находились на Дворцовой площади. Старый флаг вился над черными от ветхости стенами дворца, но вместо двуглавого орла с молниями в когтях я увидел феникса, парящего в облаках и держащего в клюве венец из оливковых ветвей и бессмертника.

— Как видите, мы изменили герб империи, — сказал мне мой спутник. — Две головы орла, которые обозначали деспотизм и суеверие, были отрублены, и из пролившейся крови вышел феникс свободы и истинной веры.

Придя на набережную Невы, я увидел перед дворцом великолепный мост, наполовину мраморный, наполовину гранитный, который вел к превосходному зданию на другом берегу реки и на фасаде коего я прочел: «Святилище правосудия открыто для каждого гражданина, и во всякий час он может требовать защиты законов».

— Это там, — сказал мне старец, — собирается верховный трибунал, состоящий из старейшин нации, членом которого я имею честь быть.

Я собирался перейти мост, как внезапно ме-

ня разбудили звуки рожка и барабана и вопли пьяного мужика, которого тащили в участок. Я подумал, что исполнение моего сна еще далеко…

Примечание:

Александр Улыбышев (1794–1858) — не столько писатель, сколько музыкант и музыкальный критик (а «по трудовой книжке» — средней руки чиновник в Министерстве иностранных дел), в очень небольшой степени общественный деятель, а уж революционером его точно никто не называл. Тем не менее в молодости он был членом того же литературного общества «Зеленая лампа», в которое входил и юный Пушкин, и несколько активнейших декабристов. Вообще же, как считают исследователи, оно представляло собой «литературный филиал» вполне декабристского «Союза благоденствия». Другое дело, что, разумеется, не всех его членов можно было считать декабристами даже в широком смысле слова.

На одном из заседаний 1819 года Улыбышев зачитал свою утопию «Сон»; написана она была на французском языке, на русский переведена лишь в 1928 году В. Б. Враской-Янчевской и опубликована знаменитым пушкинистом Б. Л. Модзалевским в сборнике «Декабристы и их время». Считать это произведение декабристским можно с определен-

ной натяжкой, но формулировки оно содержит весьма смелые: выпады в адрес ортодоксального православия (греко-кафолического вероисповедания) и основанной на рекрутской системе армии как толпы «бездельников и построенных в полки воров»... Мысли о необходимости законов, «отнимающих у государя возможность злоупотреблять своею властью». Наконец, сама символика рождения феникса свободы из пролившейся крови двуглавого орла с предварительным отрубанием обеих его голов. И помянутый прямо там же в положительном контексте «верховный трибунал»: практически якобинское сочетание!

Конечно, писалось это в отрыве от практики, а к 1825 году Улыбышев и от теории отошел (его, человека глубоко штатского, сторонники «военного решения» не стремились удержать в своем кругу). Но после 14 декабря такие строки, даже шестилетней давности, были бы оценены совершенно иначе. К счастью, они, по-видимому, не попали в поле зрения тех, кто тогда проводил такую оценку.

А вот будущие декабристы (и Пушкин) слышали «Сон» в авторском исполнении, перечитывали на французском рукописные копии, и для них это была не только фантастика, но смелое

футурологическое исследование с явственно диссидентским уклоном. Хотя современному читателю неизбежно придет в голову аналогия с путешествием Привалова в описываемое будущее, «полупрозрачными изобретателями» и бессмертным «даже самый последний землепашец имел не менее трех рабов»…

Владимир Одоевский
Зефироты

На днях получена здесь Chiapas Advertiser — газета, издающаяся в Шиапе (между Мексиканским заливом и Великим океаном). Это газета совершенно местная, не выходившая из границ своей маленькой провинции; при множестве существующих здесь газет едва знали о ее существовании; но теперь она обратила на себя общее внимание рядом статей под общим названием «Замечательная игра природы». Нам посчастливилось получить любопытнейшие нумера этой газеты разных годов, и мы спешим сообщить в хронологическом порядке некоторые выписки о предмете столь странном, что не знаешь, чему верить и чему не верить: дело идет не более или не менее как о появлении совершенно новой, странной и небывалой на земном шаре породы животных.

…В одном из семейств, живущих на границе Юкатана, произошло событие, представляющее совершенно неожиданную физиологическую задачу. Родилось дитя безногое. Это не новость — такие примеры бывали, но вот что любопытно.

Верхняя часть этого дитяти, т. е. голова, шея, руки, грудь, образованы вполне, и вся эта часть туловища даже очень красива; но затем у ребенка нет и следов ни ног, ни живота; с самого рождения у оконечности спинного хребта с обеих сторон ребер были замечены два небольшие отростка; должно думать, что эти отростки суть неразвившиеся ноги, как это часто бывает у несчастных уродов. Что странно, дитя ничего не ест, сколько ни употребляли к тому усилий, а лишь припадает к матерней груди; оно, видимо, неспособно принимать какую-либо пищу; посему полагали, что этот ребенок умрет через несколько дней, но вот прошли уже два месяца, а ребенок жив, здоров и весел: явление очень любопытное и возбудившее внимание многих из здешних ученых, которые постоянно следят за развитием этого странного существа. От времени до времени мы будем сообщать нашим читателям наблюдения, производимые над этой игрой природы.

* * *

Наши читатели, верно, помнят известие, сообщенное нами о безногом ребенке; вот уже скоро год, как этот несчастный все еще жив и, по-видимому, пользуется совершенным здоро-

вьем, хотя — необъяснимое дело — доныне не принимает никакой пищи; во всем другом он ничем не отличается от детей его возраста. Он узнает родных, улыбается; очень любит цветы, особенно душистые: жадно хватается за каждый цветок, прижимает его к губам, но если цветок не душистый, то бросает его, с душистым же цветком, как, например, с розой, не расстается до тех пор, пока цветок не завянет; тогда он бросает его и ищет другого. Отростки у ребер значительно увеличились и приняли странную форму: они сделались продолговатыми, и в них образуется род маленького колена; впрочем, нет никакой надежды, чтоб из этих отростков могло образоваться что-либо похожее на ноги; несчастное дитя никогда не будет в состоянии ходить иначе как на руках.

* * *

Через два года. В безногом ребенке, обращающем теперь на себя общее внимание, на днях произошла замечательная перемена: отростки у ребер, в течение первого года едва заметные, в последнее время развились значительно, выросли почти на аршин и образовали род колена, свободно сгибающегося. Этих странных оконечностей

нельзя было сравнить ни с чем иным, как разве с ногами огромной лягушки, но несчастный ребенок никогда не опирался на них, ограничиваясь для движений лишь руками; засыпая, он сгибал свои спинные оконечности. Но на днях заметили, что отростки начали покрываться пухом, после которого появились перья, похожие на те, какие бывают у едва родившегося цыпленка.

…По полученным сегодня известиям из Юкатана, безногий ребенок не есть единственное произведение природы. Недавно один охотник в горах заметил целую стаю птиц огромного размера, которые с шумом, довольно приятным и похожим на пение, перелетали с одной скалы на другую; он прицелился было в них из ружья, но внезапная боль в руке, как бы от ожога, заставила его бросить ружье. Можно представить себе его удивление, когда стая того, что он принимал за птиц, начала спускаться к нему ближе и он заметил, что то были… крылатые существа с человеческими лицами. К сожалению, охотник не мог хорошенько рассмотреть их, ибо, испугавшись, бросился бежать; стая этих странных существ понеслась за ним, долго над ним носилась на довольно большой высоте и оставила лишь тогда, когда охотник добрался до города.

Многие здесь не верили этому повествованию, полагая, что оно принадлежит к обыкновенным охотничьим выдумкам, но скоро жители города могли собственными глазами удостовериться в справедливости слов охотника. Стая крылатых существ не только пронеслась над городом, но некоторые из них опускались столь низко, что можно было явственно различить огромные крылья, а между ними человеческие лица и руки. Некоторые из жителей города, посмелее, схватились за ружья и намеревались принять залпом этих воздушных незваных гостей, но всякий, кто только поднимал ружье, чувствовал сильную боль или в руке, или в лице, как бы от ожога, что также согласно с рассказом охотника. Явление, совершенно непонятное, которого, может быть, никогда не удастся объяснить, ибо как войти в сношение с этими странными существами, которые летают очень быстро, спускаются к земле лишь на минуту, с любопытством оглядывая все окружающее, и потом снова взвиваются на огромную высоту. Будем ожидать новых известий об этой дивной породе, к которой, без сомнения, принадлежит и наш безногий ребенок. Действительно, мы живем в чудном веке — но никогда ничего подобного нельзя было ожидать. Ученые

бросились искать в старых книгах, не было ли чего подобного в прежние века, но до сих пор все их усилия остаются тщетными; некоторые полагают, что эта порода и прежде существовала и что именно эти существа древние разумели под именем зефиротов. Но это весьма неверно.

* * *

Загадка до некоторой степени объяснилась. На днях Марианна К***, дочь здешнего садовника, лет десяти, гуляла по лугу; собирая цветы в корзинку, она зашла довольно далеко от дома; вдруг над нею что-то зашумело, она подняла голову — говорим по ее рассказам, ибо при ней никого из взрослых не было, — над нею неслась стая больших птиц, как она их называла. То были просто так называемые зефироты.

Спустясь ближе к девочке, зефироты подняли на воздух и ее, и корзинку. Впрочем, они несли несчастную очень бережно и дружно поддерживали на лету. Долетев до высокой неприступной скалы, зефироты остановились на самой ее вершине, где, как Марианна рассмотрела впоследствии, было множество низеньких избушек, вроде навесов над какими-то гнездами, искусно сделанными из мха, коры и листьев. Здесь, в одно

из таких гнезд, зефироты посадили испуганную девочку и разными ласками старались ободрить ее. Ее корзинка обратила особенное внимание этих получеловеков; они нюхали цветки один за другим, иные бросали, другие принимали с знаками большой радости. Перебрав всю корзину, они уселись, если можно так выразиться, вкруг Марианны и затянули какую-то непонятную, но приятную песню, показывая Марианне отобранные ими цветы. Испуганная девочка никак не могла понять, что это все значит.

Между тем наступила ночь; зефироты уложили ее в одно из гнезд большой величины; двое поместились вместе с нею и прикрыли ее своими крыльями. Усталая девочка скоро заснула — она рассказывала, что, несмотря на холод, всегда господствующий на такой высоте, ей было очень тепло под ее странным покрывалом. С восходом солнца зефироты опять обступили Марианну и опять что-то запели, показывая ей цветы. Что им говорила девочка, они, по-видимому, не понимали, хотя очень прислушивались к ее словам, выражая удивление. Наконец они снова подняли ее на руки, понесли и опустили на тот луг, где схватили ее вчера. Затем они дали ей в руки ее корзинку, снова запели, показывая ей цветы, и

быстро взвились на воздух. Избавившись от своих похитителей, Марианна бросила корзинку и, разумеется, пустилась бежать домой. Но на сей раз ей это не удалось: похитители остановили ее на бегу, снова подняли на воздух и на более далеком расстоянии опустили уже посреди луговой степи. Один из зефиротов, напевая, указал Марианне на цветок, поблизости находившийся, сорвал его, дал ей в руки, потом положил его в корзинку и мгновенно взвился на воздух. Марианна поняла наконец, что от нее требуют того же, и прилежно принялась рвать цветы и класть их в корзинку. Зефиротам того, как видно, только и хотелось. Они носились над нею, а когда корзинка была полна, спустились, опорожнили ее и снова поднялись на воздух. Между тем бедная Марианна, не поужинав вчера, несмотря на страх, который наводили на нее крылатые люди, почувствовала сильный голод и, нашедши случайно дикие бобы, принялась их есть с большим аппетитом. Это простое действие привело, по-видимому, зефиротов в большое удивление; они беспрестанно спускались на землю, смотрели на завтракавшую Марианну и снова улетали, напевая свою непонятную песню. Вдруг несколько из них отделились от стаи, полетели куда-то в сторону и

возвратились с огромным запасом бананов и других плодов. Марианна, разумеется, бросилась на эту пищу с жадностью, которая привела зефиротов еще в большее удивление. Они смотрели ей в рот и, казалось, не могли понять, как могла исчезать пища. Подкрепив силы, девочка опять было решилась бежать, чтобы как-нибудь добраться до дому. Зефироты снова ее не допустили, но, видя ее сопротивление, накинули ей на шею длинную ворсину из лиан; один из зефиротов взял конец этой веревки и, придерживая ее, несся над Марианной, указывая ей между тем на корзину, точно как охотник, который приучает собаку носить поноску или отыскивать трюфели. Выбившись из сил, девочка с отчаяния бросилась на землю и горько зарыдала, полагая, что наступил ее последний час. Плач ее, кажется, подействовал на зефиротов: они мгновенно спустились к ней, развязали веревку, подняли девочку на воздух, принесли на луг, лежавший близ ее дома, и оставили на свободе. Ни жива ни мертва прибежала домой Марианна и долго от страха не могла рассказать, что с ней случилось. Все непонятное в ее рассказе объяснилось впоследствии. Игнаций, брат Марианны, прекрасный и смелый молодой человек, решился во что бы то ни стало войти в

сношение с похитителями. Наложив в корзину все нужное, чтобы хорошо пообедать, и запасшись заряженным револьвером, он пошел по направлению к той скале, о месте которой он мог догадаться по рассказам Марианны.

Игнаций не замедлил встретить незваных гостей: они стаей взвились над ним и то опускались, то поднимались, стараясь, кажется, угадать намерение смельчака. Подумав несколько, Игнаций приловчился было так, чтобы схватить рукою или подстрелить кого-либо из их крылатой стаи. Но ни то ни другое ему не удалось: едва он вынул револьвер, как почувствовал в разных частях тела нечто вроде ожога, за которым следовало онемение суставов; в то же мгновение быстро спустились к нему несколько зефиротов, и без дальних околичностей отняли у него револьвер, корзинку, палку, и, что еще хуже, подняли его, как ребенка, на руки и понесли на самую возвышенную плоскость скалы; вместо тихого и приятного пения, о котором рассказывала Марианна, в стае раздавались грозные звуки, которые, как говорил Игнаций, напомнили ему бури, разыгрываемые сильным оркестром.

Спустившись на скалу, зефироты быстро обвязали бедного Игнация длинным побегом

баугинии[31] так, что он не мог пошевельнуться.

Пропускаем некоторые подробности: дело в том, что Игнаций пробыл в сообществе этих странных существ более полугода; в продолжение этого времени он сумел научиться немного их языку. Вот некоторые подробности, записанные со слов Игнация.

«Эти господа — такие же люди, как мы, или, лучше, если прямо говорить, — полулюди. Несмотря на то, они имеют многие над нами преимущества: не говоря уже о крыльях, которые позволяют им летать куда угодно, словно птицам, есть у них преимущества гораздо важнее; так, напр., они не нуждаются ни в какой пище, как мы, а питаются просто запахом цветов и плодов; как это ни странно кажется с первого взгляда, но действительно так; я в том убедился, проживя с ними более шести месяцев; в особенности они любят нюхать орхидеи и другие сильно пахучие цветы и с величайшим старанием всюду их отыскивают, что не всегда удается; по чрезвычайной раздражительности обоняния они не могут долго оставаться близко земли; особенно им отврати-

[31] Примечания: 31

Из породы лиан, побеги этого растения окутывают большие деревья и так крепки, что тигры цепляются за них, влезая на дерево. *(Примеч. авт.)*

тельны жилища человека, а тем более города. Они не постигают, как люди могут жить в такой атмосфере. Вот почему этим полулюдям нужны настоящие люди для собирания им пищи, то есть некоторых пород пахучих растений; эти господа попросту считают совершенно позволенным употреблять нас на это дело почти так, как мы употребляем собак на охоте; признаюсь, это намерение мне показалось сначала очень обидным, но на поверку выходит, что волею или неволею, а мы сделаемся их ищейками. Огнестрельное оружие они знают, сколько я мог понять; кто-то из них был уже подстрелен из карабина; с тех пор эти полулюди сделались очень осторожными в обращении с нами, но, впрочем, они огнестрельного оружия не боятся: у них есть свое, естественное, гораздо страшнее нашего; вот в чем оно состоит: глаза их одарены непонятною способностью испускать нечто вроде электрического пламени; один из этих полулюдей, когда мы поближе познакомились, по просьбе моей сделал следующий опыт: на расстоянии более тысячи шагов он одним взглядом испепелил ветвь бананового дерева; этот выстрел глаз, как можно назвать его, в животных производит онемение, как я сам испытал это на себе. Против такого страшного

оружия наши карабины ничто, ибо эти полулюди очень зорки и, подобно орлам, могут смотреть на солнце в полном его сиянии.

Говорить словами они не могут, но сообщаются друг с другом посредством какого-то пения. Наш говор им кажется очень грубым, и они его сравнивают с криком животных. Мне удалось, однако же, перенять у них несколько напевов, так что хотя с трудом, но наконец я мог с ними кое-как объясняться. Себя они называют рядом звуков, которых нельзя выразить словами; когда я сказал им, что их прозвали зефиротами, они этому слову очень смеялись, но выговорить сами никак не могли; тому, вероятно, препятствует внутреннее устройство их горла.

Есть между ними мужчины и женщины: их легко различить по бороде и по устройству груди; не могу скрыть, что они довольно часто между собою целуются; но следствие этих поцелуев совсем другое, нежели у нас: женщины делаются беременными.

При мне было несколько женщин в различных периодах беременности, и это явление так любопытно, что я не поверил бы ему, если бы не видал собственными глазами.

Самка, или, если угодно, женщина, носит ре-

бенка в точном смысле под сердцем, т. е. в груди. В минуту разрешения ее грудь раскрывается и в отверстии появляется детеныш; в этом зрелище нет ничего неприятного для глаз, напротив, преграциозная картина; самка нисколько не стыдится этой минуты; в это время от нее не отходят или, лучше сказать, не отлетают родные: самки и самцы, все ухаживают за родительницею. Через несколько дней детеныш выходит из груди, мать укладывает его в род гнезда из цветочных листьев и, пока он не оперится, носит его на руках. Детеныш не сосет, но только припадает к матерней груди.

Я было свел между тамошними барышнями нечто вроде интрижки, но она очень несчастливо для меня кончилась.

Я, как видно, понравился одной очень хорошенькой зефиротке; да и я, со своей стороны, если бы она не была получеловеком, мог бы влюбиться в нее без памяти: никогда я не видывал такого прелестного бюста; лицо совершенно правильное, глаза черные, несколько продолговатые и подернутые влагою, которая придавала им невыразимую томность; маленький ротик, на щечках ямочки; темно-русые волосы, кудрями рассыпанные по обнаженным плечам; вокруг нее

всегда особого рода обворожительная атмосфера, похожая на тонкий свежий запах цветника при восходе солнца; одного недоставало моей красавице — зубов, которых вообще нет у этой породы, но это нисколько не портит их вообще прекрасной физиономии; щеки их имеют гораздо более полноты и упругости, нежели наши, и потому не требуют поддержки челюстей.

Моя красавица, которой имя можно только пропеть, так полюбила меня, что мы почти ни на минуту с нею не расставались; разве когда я сходил в долину за цветами, за что моя красавица была всегда мне очень благодарна. Как скоро я заходил в чащу так, что ей не было меня видно, красавица тревожилась и кликала меня по-своему; я так привык к ее кличке, что узнавал ее посреди десятка разных звуков. Мне нечего рассказывать, что я недолго оставался связанным; как скоро зефироты заметили, что я не имею никакого злого против них намерения, они развязали меня и лишь издали за мною присматривали, а потом и совсем вверили меня моей барышне.

Признаюсь, мне было довольно грустно питаться одними плодами, особенно когда моя провизия вышла, но делать было нечего: хотя я

мог несколько раз убежать, но не могу скрыть, мне тяжело было расстаться с моей красавицей, так я к ней привязался; в угоду ей я даже прятался от нее, когда мне хотелось поесть, ибо заметил, что на это действие она всегда смотрела с отвращением.

Спал я отдельно в особом гнезде; иначе не могу назвать своей постели, которую устроили мне зефироты, разорив пары три своих гнезд.

Красавица так меня полюбила, что однажды хотела положить меня с собою спать и уже, по их обычаю, покрыла меня своими широкими, пушистыми крыльями; но родные, увидев это, стали ее бранить, а мне гневно указали на мое гнездо. Впрочем, я не понимал, чего они могли бояться; зефиротка, правда, позволяла мне целовать свои хорошенькие ручки, сама ласкала меня, но, правду сказать, ласкала меня, как мы ласкаем собаку.

Несмотря на это унизительное положение, я не мог вырваться из этого очарования, в которое приводила меня зефиротка.

Однажды, когда мы сидели друг подле друга на солнце (любимое место зефиротов), она гладила меня по голове, трепала по щекам, была так мила, так игрива, что мне захотелось поцеловать ее в губки, на что прежде, по непонятному чувству,

никогда не мог я решиться. И что же? Моя красавица вскрикнула и с ужасом отскочила от меня; на крик ее прилетела целая стая зефиротов; они были очень рассержены, и в звуках их голоса, сколько я мог понять, было что-то очень грозное. Увы! Это была последняя минута моего свидания с красавицей. Зефироты подняли меня на воздух и спустили в долину поблизости города, выражая мне с угрозами, чтобы я никак не смел возвращаться. Красавице, несмотря на мою дерзость, также нелегко было со мною расстаться; до сих пор я вижу ее слезы, и мне все слышится ее грустный голос на прощанье…»

Здесь прерывается рассказ охотника; ожидаю с нетерпением новых подробностей об этом чудном событии и как скоро получу что-либо новое, то поспешу сообщить вам.

Между тем здесь нет конца толкам; вопрос принимает серьезную форму: что делать, если зефироты, или как угодно их называйте, — словом, эти народы полулюдей размножатся? Наши средства обороны против них совершенно ничтожны; наши лучшие оружия не хватают и на половину того расстояния, с которого эти летучие люди могут своими глазами обратить человека в уголь; между тем мы необходимы для зефи-

ротов, чтобы им доставлять их пищу, как выше объяснено; следственно, волею или неволею мы должны рано или поздно сделаться послушными рабами этой чудодейной породы и уступить ей первенство на земном шаре. Положение незавидное и проч…

* * *

Помещая перевод из Chiapas Advertiser в нашей газете, долгом считаем напомнить нашим читателям, что вопрос о возможности новой, более нас совершенной породы разумных животных был уже затронут наукой. До сих пор человек был первостепенным из живых земных существ, теперь приходится ему уступить первое место зефиротам. Кто знает? Быть может, нам придется быть у них чем-нибудь вроде домашних животных.

Ред.

Объяснение:

По неосмотрительности наборщика в статье «Зефироты», помещенной в «Северной пчеле» первого апреля (№ 73), пропущено несколько слов в самом ее начале. Напечатано: «На днях получена здесь Chiapas Adrvertiser»; следует читать: «На днях получена здесь газета Chiapas Adrvertiser за пять лет XXIX столетия, с 2857 по 2861 годы».

Примечание:

Будем надеяться, что Одоевского (1804–1869) все-таки не нужно представлять читателям вообще и любителям фантастики в частности, хотя последним он знаком прежде всего по романтическим сюжетам, для которых характерна скорее сильфида, возникающая из перстня, или, если уж речь заходит о путешествии в будущее (незавершенный роман «4338-й год: Петербургские письма»), то осуществляется оно не на машине времени, а «месмерическим способом», в сомнамбулическом сне, без материального перемещения. Так что описание небесного (пребывающего под эгидой Зефира, бога ветра, а не тверди), но при этом вполне научно-фантастического народа в его творчестве довольно неожиданно. Равно как упоминание револьверов, дальнобойных нарезных карабинов и электрических бластеров, направляемых взглядом. А также эволюции (правда, какой-то не дарвиновской) и возможности гибридизации между Homo sapiens и явно негуманоидным (пускай земным!) разумным видом…

Впрочем, на дворе и вправду не пушкинское время, но шестидесятые годы XIX века, эпоха пара, электричества, а также предметных рас-

суждений о покорении неба. Пока что без выхода за пределы атмосферы, однако, как видим, для встречи с «чужими» даже не обязательно пересекать космические бездны. Ни нам, ни им.

Одоевского обычно не считают декабристом, тем не менее он в 1823–1825 гг. возглавлял так называемое «Общество любомудрия» — одно из многих тайных обществ той преддекабристской эпохи. Вроде бы это был главным образом литературно-философский кружок, но известно, что как раз незадолго до восстания «любомудры» (в число которых входил и безусловный декабрист Кюхельбекер, и в высшей степени продекабристски настроенный Веневитинов) начали активно интересоваться политической жизнью. А сразу же после известий о разгроме восстания на Сенатской площади Владимир Одоевский как председатель счел необходимым общество распустить и собственноручно сжег его устав вместе с протоколами собраний.

Что бы обнаружили власти в этих документах? Как знать: в те первые дни и месяцы они буквально вцеплялись в каждое подозрительное слово, начинали раскручивать цепочку, что действительно сплошь и рядом плохо заканчивалось не только для активных сторонников восстания,

но также для причастных лишь краем или вообще просто «слишком умничающих». Веневитова, секретаря общества, эта ситуация буквально погубила, причем даже как частное лицо, без связи с «любомудрами»: после ареста его, заподозрив (обоснованно!) в симпатиях к декабристскому движению, несколько дней продержали на холодной гауптвахте — так подорвав здоровье молодого поэта, что прожил он после этого считаные месяцы.

Оболенскому, безусловно, припомнили бы и совместное с Кюхельбекером издание «Мнемозины», альманаха в целом декабристской ориентации. Не прекратись его выход тогда же, попасть бы князю-рюриковичу в списки декабристов вместе с напарником по изданию!

Каковы были взгляды Оболенского на восстание и грядущее переустройство российского бытия, не знаем. Точнее, не знаем это именно для 1825-го. Известно, что позже, в 1840-х, он считал немедленную отмену крепостного права нежелательной, но видел необходимость в его трансформации, предлагая ввести для помещиков специальный экзамен на право владеть людьми: мол, такое владение — аналог государственой службы, и даже если сейчас эта идея

выглядит странно, то к 1900-м, дескать, будет казаться странным, как крепостнический строй вообще прежде обходился без таких экзаменов. Однако это уже взгляд из сердцевины Николаевского царствования, когда от верховной власти давно не ждали ничего хорошего, а от затеваемых или имитируемых ею реформ (слухи о якобы готовящейся по воле царя отмене крепостного права были как раз таким информационным вбросом) тем более. Когда в новом царствовании пришло время настоящих реформ, Оболенский отнюдь не выглядел ретроградом и тем более не утверждал, что крепостничеству хорошо бы просуществовать до XX в.

Рассказ «Зефироты» писался именно в эти годы, ставшие порой новых надежд и давшие особую свободу фантазии.